

НОВЫЙ МИР

10

МОСКВА

1945

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1945 г.

№ 10

Год издания XXII

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
АНАТОЛИЙ КАЛИНИН — Товарищи, роман	2
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — Четыре стихотворения	23
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — Далекие годы, повесть о детстве	25
СЕМЕН ГУДЗЕНКО — Стихи из дневника	57
Т. ЛОГУНОВА — В лесах Смоленщины	59
ВЕРОНИКА ТУШНОВА — Лирика	86
БОРИС ФИЛИППОВ — Месяц в Крыму, стихотворения	87
СТЕПАН ЦИПАЧЕВ — Строки любви. Из нового цикла	88
АННА АНТОНОВСКАЯ и БОРИС ЧЕРНЫЙ — Ангелы мира, роман	89
А. А. КЮНДЕ — Стихи. Перевод с якутского Анатолия Ольхона	123
—	
ЮРИЙ ЖУКОВ — Русские и Япония	124
—	
ОСИП ЧЕРНЫЙ — Дмитрий Шостакович	140
А. МАКАРОВ — По страницам журналов	148
А. ЛЕЙТЕС — Маленькие недоразумения в серьезном разговоре	156
—	
БОРИС СОЛОВЬЕВ — Гордое дело	168
Я. РЫКАЧЕВ — Свершения и неудачи	170
И. АСТАХОВ — Новая поэма Аркадия Кулешова	172
О. ИВИНСКАЯ — У «Лукоморья» Л. Мартынова	175
Л. СВЕТЛОВ — Четыре книжки о Крылове	176
Б. БРАЙНИНА — Лирика Степана Ципачева	179
—	
НОВЫЕ КНИГИ	181
—	
ПАРОДИИ И ШАРЖИ. Худ. КУКРЫНИКСЫ. Конст. Федин (Дружеский шарж). — Худ. В. ГОРЯЕВ. Рисунок. — Я. САШИН. А. Ахматова (Из дневника). Заметки не рецензента. Не жизнь, а Турсо де малина. Липовый тополь. — А. РАСКИН. Прозаики (М. Пришвин, В. Каверин, Л. Никуллин).	184

ТОВАРИЩИ

Роман

АНАТОЛИЙ КАЛИНИН

★

1

В знойный день июля 1942 года по главному приазовскому тракту, вдоль берега моря, шли два солдата на восток.

Хороша бывает в середине лета южная русская степь. От гребня до гребня ее, из края в край стоит сплошная, в рост человека, стена пшеницы охровой желтизны. Из пшеницы, как из огня, встают могильные курганы, вешие памятники старины. Издалека в бело-розовом мареве виден могучий Матвеев Курган, насыпанный на границе Дона и Украины еще казаками Матвея Платова. От подножья до вершины курганы покрыты темнозеленой короткой и густой травой и расписаны узорами полевых цветов. Ближе к подошве тесно жмутся табунки разлуки — ярко-желтого, неказистого цветка, необычайно ароматного после дождя. Середина кургана вся в белой пене ромашки. Еще выше цветет дурнопыль. И на самой вершине утвердился дикорастущий мак. Горькие, медвяные, терпкие, резкие и нежные запахи цветов смешиваются с теплым ароматом пшеничного поля, с грустным неуловимым дыханием подгоревшей на солнце травы и вместе составляют первозданную, дикую и дурманящую смесь.

Близость моря подчеркивает пленительную прелесть степи. С одной стороны дороги — червонный разлив пшеницы, с другой — трепещущая, зеленоватого-серого блеска громада воды. Рядом с величавым молчанием — неумолкающий шорох волн. Море и степь живут по соседству, как рамка и полотно, и дают неповторимое сочетание красок: охры, киновари и бирюзы, жизни и молчаливого однообразия, спокойствия и мятежного духа. Соленый запах моря смешивается с ароматами злаков, трав и цветов и вносит в них волнующий оттенок беспокойства.

Но в глазах двух идущих по тракту русских солдат цветущая, полнорезлая, пахучая степь и усеянное россыпью сол-

нечных пятен море не имели той магической прелести, которую они, казалось бы, должны были иметь. На фоне ликующего буйства красок в природе им еще более зловещим казался сухой июльский день и еще более тяжелым, непонятным и беспросветным все то, что происходило в этот день вокруг них.

По тракту, вдоль побережья моря и по всем боковым конным дорогам, а больше по бездорожью, прямо по красной, вызревшей пшенице, в клубах суглинистой пыли, в фантастическом освещении идущего на закат солнца, брэнча и громыхая, двигался с запада на восток пестрый, гомонливый поток повозок, людей, лошадей и машин, пушек и полевых кухонь, беженцев и солдат. Южная армия, прикрывающая крайний левый фланг огромного русско-германского фронта, отступала к Дону и к Волге. Всю зиму и весну армия просидела под Таганрогом, зарываясь в землю, строя ур'ы, дот'ы и дзот'ы¹, но случилось то, что сердцем предчувствовали многие, а разумом никто предугадать не смог. Враг пришел не оттуда, откуда его ожидали каждый час, не с запада, а с севера и северо-востока, и в один день все ур'ы, дот'ы и дзот'ы, обращенные к Таганрогу, оказались не нужны. После прорыва немцами фронта под Харьковом и в Донбассе юго-западные армии хлынули к Сталинграду и к Ростову-на-Дону. У левофланговой, южной армии оказалась открытым тыл, и она тоже должна была стремительно отступить, снявшись с укрепленного таганрогского рубежа, за которым можно было сидеть не год и не два.

В грохоте потока, заполнившего степь, не было слышно голосов людей, лишь изредка звучали хриплые, отрывистые слова команды. Люди молчали. Они шли и ехали на повозках, на машинах и лафе-

¹ Ур — укрепленный район; дот — долговременная огневая точка; дзот — деревянно-земляная огневая точка.

тах пушек, покрытые землистой тенью усталости и суглинистой пылью. Смешиваясь с потом, она легла на их лица твердой красноватой коркой.

Два солдата, идущие в самом хвосте потока, тоже молчали. Они отстали, потому что один из них натер ногу портянкой. Он шел, сняв с себя гимнастерку и обнажив свои худые, но необычайно хорошо развитые плечи и грудь. Он держался правой стороны дороги, ближе к морю, подставляя его солонцеватому ветру разгоряченное тело и лицо. Его попутчик шел слева, вдыхая исходящий от пшеницы сладкий, устойчивый дух. Он был на полголовы ниже своего товарища и шире его в плечах. Бурая, вылинявшая гимнастерка на спине пропотела, и между лопатками выступили темные, влажные круги.

— Чорт! — вдруг рассердился высокий солдат и, сев на дорожку, прямо в пыль, стал стаскивать с ноги сапог. — Век бы не видал этих портянок.

Размотав портянку, он снова стал обертывать ею ногу.

— Нет, не так, — наблюдая за его движениями, сказал товарищ. — Видишь, у тебя складка. Ты опять угол завернул. Погоди-ка, Петр, я покажу.

Он присел на корточки и стал ловко обматывать ногу товарища портянкой.

— Во-от, — сказал он, вставая, и они снова пошли по дороге. — Теперь легче?

Петр небрежно кивнул головой. Они опять замолчали. Петр думал о своей матери и сестренке, оставшихся в Таганроге, за его спиной. Они остались у немцев еще с прошлого года — первого года войны, потому что мать была больна, а сестренка не могла ее покинуть. Когда зимой фронт снова придвинулся к Таганрогу, у Петра появилась надежда, что он скоро сможет их увидеть. Он старался не думать о том, что их, возможно, нет в живых. Но последняя надежда рушилась после того, как армия начала новое отступление на восток. После зимы, проведенной в работе по укреплению рубежей, после многочисленных подготовительных атак на позиции врага у самбекских высот¹ это новое отступление представлялось ему чудовищно бессмысленным и нелепым.

— Нет, я не понимаю, не понимаю, Андрей, — волнуясь, заговорил Петр.

Его товарищ промолчал. Андрею встреча с родными предстояла впереди. Он происходил из казачьей семьи, и станица, где жил его отец и мать, лежала на пути армии, отступавшей через Дон. Он знал, что скажет ему при встрече отец. Последнее письмо отца лежало в левом кармане

гимнастерки Андрея, и он помнил его наизусть: «Должно быть легко, вам, сынок, — писал отец, — отступить перед неприятелем и отдавать дедовскую землю. Мы в наши времена прытче были и не допускали германца на Дон. Видно, мне придется вспомнить старое и снаряжаться к тебе на подмогу. А тебе, сынок, придется возвратиться в колхоз и вместе с бабами крутить тут быкам хвосты».

Приближаясь к Дону, Андрей все более ощущал беспокойство за семью. Нет, не послушает его отец, не отступит с армией на восток. Андрей заранее знал — поступит отец кабулком по тугому, поросшему ковылью и полынком донскому чернозему и скажет только одно слово: «земля».

А вот он, Андрей Рубцов, должен теперь покинуть родную землю, уйти из этой степи. И сердце его наполнялось скорбью и тоской. Долгим взглядом окидывал он знакомые с детства дали, курганы и перелески, точно видел их в первый раз. Взор его с жалостью ловил все: и полет беркута, упавшего на курган, и синие лезвие речки, блеснувшей в камышах, и рыжую тень лисицы в бурьяне. С новой, неизведанной стороны все открывалось его глазам, новая, невиданная красота пленила душу.

А степь, озаренная лучами предвечернего солнца, и правда была хороша. По грядке пшеницы бежала к горизонту легкая зыбь. В лиловых облачках марева на гребне четко рисовались пирамидальные силуэты тополей. Набежавшая кособокая тучка нечаянно брызнула веселым, слепым дождем, и дорога вдруг остро и сладко, как в детстве, запахла прибитой каплями пылью.

Но по дороге все так же вразброд, смешавшись, брэнча и громыхая, шла молчаливая, подавленная масса людей. На влажной после дождя земле оставались следы подковок тысяч солдатских сапог.

Вечером рота остановилась на ночлег на берегу, у самого моря. Петр спустился к морю, мерцавшему в темноте зеленым, фосфорическим светом. Холодные искры то гасли, то снова вспыхивали в его глубине. Зыбкая лунная дорожка протянулась к морскому гребню. Черным конусом легла на гладкой поверхности тень от стоявшего на причале баркаса.

Где-то на западе горел несокошенный массив пшеницы. Оттуда тянуло густой гарью. Польшающее над степью зарево отражением перекипало в морских глубинах. Море будто загорелось. Розовое призрачное пламя на глубине переливалось то зеленым, то голубино-сизым, то лиловым отсветами. Далекий гребень смыкался с окраиной неба, и нельзя было понять, где кончается море, а где начинается небесный, звездно мерцающий мир.

Петр сел на берегу, на теплый, еще не

¹ Самбекские высоты — место ожесточенных боев с немцами под Таганрогом в 1941, 1942 и 1943 гг.

остывший после дневного зноя камень, достал из кармана брюк черную в кожаном переплете книжку, куда он по укореившейся школьной привычке заносил все свои мысли и чувства, и записал:

«Я не знаю, что со мной будет потом, жив ли я останусь или умру, но это горящее, расплавленное, живое море и небо останутся в памяти навсегда.

Мама и Наташа, увижу ли я вас?

Почему мы отступаем? Почему я не ушел к партизанам в Таганрог? Андрей говорит, что нельзя, что мы солдаты и должны пройти весь путь с армией до конца».

Петр сидел на берегу на теплом камне и при свете зарева писал свой дневник. Море тихо плескалось у его ног и дышало солонцеватым запахом ему в лицо.

Андрей в этот вечер выстирал в море и высушил на ветру свою пыльную, пропахшую горьким потом гимнастерку, разобрал и почистил покрытую налетом суглинка винтовку. Сварив в котелке кашу, он позвал Петра ужинать, потом, помыв и выскоблив котелок, ушел в пшеницу и долго лежал на земле вниз лицом, слушая шорохи колосьев и шелест кузнечиков. Они умолкали на ночь, но, засыпая еще долго и пронзительно трещали, наполняя нежным, прозрачным звоном глубокою тишину.

II

Рота расположилась на морском берегу, среди висевших на кольях рыбацких снастей. Униженные круглыми свинцовыми грузилами сети мягко светились в темноте. Красноармейцы лежали на плащ-палатках сквозь которые проступала свежая, песчаная сырость, хорошо холодившая тело, разгоряченное днем. Среди них были люди с ладонями, изрезанными кузнечкой рудой, изъеденными донецкой антрацитовой пылью. Калужское, сибирское, кубанское, московское, нижеволжское наречья сплетались вместе и составляли тот общий язык, который был доступен и понятен всем, потому что все они, в сущности, были детьми одной и той же страны. Они все собрались на одном узком клочке песчаной земли, стиснутые с одной стороны южно-русской степью, а с другой — Азовским морем, слушая их ропшущие звуки и вдыхая их терпкие ароматы.

— Пахнет-то ка-ак, — вздохнув, растроганно сказал сочный, молодой басок

— Сейчас самая взятка для пчелы, — отозвался ему рассудительный голос.

— А у нас недалеко в трубку вышла, — особенным, сибирским говорком сказал широколицый рябоватый солдат.

От Таганрога приходил глухой и беспокойный гул. Тяжелые, тупые удары рав-

номерно и настойчиво долбили тишину. Белые, красные и желтые отсветы артиллерийских молний косо пробегали по лицам красноармейцев. Но люди точно заключили между собой молчаливое соглашение не говорить и не думать в этот вечер о том, что неотступно стояло у всех за спиной и лежало у каждого на душе; они говорили о мирном, домашнем, семейном, о том, что находилось в резком, непримиримом противоречии с этим натекающим с запада тревожным гулом.

— Сейчас бы братцы, с жёнкой поиграться, — протяжно сказал теплый, переливающийся низкими нотами голос.

— Как бы с ней другой не поигрался без тебя, — насмешливо возразил ему другой голос.

— Не-ет, у меня жёнка строгая.

— И камень капля долбит.

— Ну, там видно будет, — ответил первый и громко зевнул.

— А я, ребята, только оженился — и война, — виновато сказал сочный, молодой басок.

В простых, обнаженных, бесхитростных словах они изливали свою тоску по дому. В их грубых мужских словах не было ничего стыдного, а было, пожалуй, больше целомудрия, чем в тонких намеках испорченных людей. Но Петр был еще очень молод, он пришел на фронт прямо со школьной скамьи. И, слушая разговоры солдат, он заливался краской в темноте. Как они могли так говорить!

Андрей, хотя он и был старше Петра, тоже мало знал женщин. Но он с малых лет привык к простому языку крестьян, и его не смущал этот разговор в тесном кругу товарищей.

Полная зеленоватая луна вышла к вершине неба и ярким, искрящимся светом озарила море и степь. Море успокоилось и теперь лежало загадочно-темное, точно затянутое в черный бархат. В степи было тихо, даже кузнечики не верещали больше, замолкнув до утра. Лишь слышен был в ночи молодой сильный голос ротной телефонистки Сашки в балочке у полевого аппарата. И так звучно разносился в настороженной тишине ее грудной, полный жизни голос, что на душе у солдат, лежавших на берегу, полегло, стало свободнее.

— Хорошая девушка, — ласково сказал рябоватый солдат.

— Справная, — поддакнул сосед.

— Позаревать бы с ней часок.

Петр знал телефонистку Сашу как хорошую, строгую девушку и не мог вынести последних слов молодого солдата, который только перед этим хвалился, что он совсем недавно женат. Но Петр ничего не сказал, а лишь издал горлом низкий звук, отошел и лег в стороне.

— Чего он? — спросил молодой солдат.

— Томится человек, — ответил ему сосед и вздохнул.

Эти слова напомнили всем, что все их думы и разговоры о доме и семьях — ветошь, обман, пока идет война, пылают зарева и в сердце толкается этот надсадный гул. Все сдвинулись ближе, умолкли и стали прислушиваться. На западной окраине степи вставали иссиня-багровые столбы пожарич. Они отвесно поднимались с земли и развешивались на десятки кривых вишнево-красных ветвей. Эти трепещущие ветви лихорадочно и скорбно шарили по небу, точно вымаливая у него пощаду земле. Ветер приносил жаркий и душный запах хлеба, горящего на корню. Сгорая, хлеба протяжно и глухо гудели.

...Тот, кто отступал с Красной Армией по донской степи, слышал этот стон пшеницы, охваченной огнем. Тот помнит стай искр, летящих над степью в ночи, багровые столбы, неотступно идущие вслед за армией. Ветер гнал по пятам уходящих бушующую лаву огня.

Одни курганы, не тронутые пожаром, все так же стояли в степи в уборе цветов.

— Сейчас бы я его живьем запалял, — сказал молодой солдат.

— Кого? — переспросил сосед.

— Ясно кого. Немца.

— А-а, — спокойно протянул сосед.

— Капитан Батурин идет, — слышался промкий шопот с краю. Все встали и не ложились на землю, пока не подошел капитан.

— Отдохнули? — приближаясь к солдатам, бодрым голосом спросил капитан.

За день все смертельно устали, и за короткое время привала нельзя было отдохнуть, это знал и сам капитан, но он шел с ротой от самой границы, и его успели за это время полюбить. Поэтому никто не осудил солдата, когда он весело ответил за всех:

— Свеженькие, как огурчики, товарищ капитан.

— Ну, а теперь рыть окопы, занимать оборону.

— Не темновато будет, товарищ капитан?

— Какое! Луна, — проходя между рядами солдат, капитан махнул рукой.

— В том-то и горе наше, Андрей, что мы роем окопы и приучаем себя к обороне, в то время как нужно наступать, — взяв с повозки лопату и с ожесточением погружая ее в мягкую, песчаную землю, сказал Петр.

— Вы что сказали, Середа? — приближаясь к нему, спросил капитан.

— Я сказал... — встряхнув головой, громко и раздельно начал Петр, но его остановил взгляд Андрея.

— ...Он сказал, что земля мягкая и копать легко, — спокойно докончил за товарища Андрей.

Петр метнул в него возмущенный взгляд.

— Копать, копать... — отходя от них, другим, усталым голосом повторил капитан.

Андрей продолжал рыть землю наступая на лопату ногой. Он, казалось, не видел искр, вспыхнувших в глазах Петра.

— Однако ближе гукает, — произнес кто-то.

— Что ж это будет? — промком спросил молодой солдат.

Ему никто не ответил. В тишине был слышен ропот моря да шорох лопат, разгребавших песок.

III

Андрей поднялся раньше Петра, по детской привычке вставать на заре, когда отец заставлял его выгонять в станичное стадо корову. Секунду полежав неподвижно и зажмурился глаза, он даже как будто услышал мелодичный звон медных погремков на шеях коров, идущих по главной станичной улице. Но потом Андрей сообразил, что это был утренний плеск моря, сразу все вспомнил и, нахмурившись, стал одеваться. Смоченная ночными туманами степь искрилась блестками росы, нанизанными на усики пшеничных колосьев, на стебельки травы и венчики цветов. На горизонте вздымались ясные контуры омытых росой курганов. На месте вчерашних пожаров вставали бледные, голубчатые дымки.

Он умылся, подогрел в котелке конфервы и пошел будить Петра. Но позавтракать они не успели, потому что наблюдатель в этот момент подал сигнал о появлении танков.

— Занять круговую оборону! —скомандовал капитан Батурин.

— Вставай! — Андрей стал трясти Петра за плечо. Петр спал на боку, подложив под щеку лалонь. Ему всегда ообенно сладко спалось по утрам. Обычно мать не могла добудиться его в школу. На его русом курчавом хохолке тоже искрились светлые капелюшки росы.

— Танки! — громко сказал Андрей, потеряв надежду разбудить Петра.

Петр открыл глаза, и первое, что он увидел, было море, сверкавшее в лучах утра так, что больно было смотреть. Но тотчас же он взглянул по направлению взгляда Андрея и километрах в двух от роты, на западном пребне степи, увидел немецкие танки.

Они спустились с гребня и, как утюги, врезались в крутой массив спелой пшеницы, круша и подминая ее под себя и вздымая облака золотистой пыли. Там, где они проходили, в пшенице оставались темные просеки, нагие полосы глянцевоитой, пере-

паханной гусеницами земли. В воздухе стал слышен только низкий, буравящий звук машин.

Над крайним справа танком полоскалось знамя, воткнутое древком в орудийную башню. На черном, блестящем шелке скамился белый, пустоглазый череп. И так не вязалось это черное знамя с ясным утром, с дремотной, росистой степью и светлосиним морем, что солдаты, занявшие оборону в окопах, невольно затихли, не сводя глаз с танков.

— Бронебойщики на фланги! — передал по цепи капитан Батурин.

Эта команда относилась и к Петру с Андреем, потому что у них было противотанковое ружье. В походе они несли его попеременно, но больше нес Андрей, шадя натертую ногу Петра. Ружье было тяжелое, и у Андрея вспухла и ныла ключица.

Они перешли на правый фланг роты и заняли крайний окоп. Андрей положил ружье на бруствер и стал смотреть в прицел. На орудийных башнях танков стояли, подбоченясь, рослые, здоровые танкисты в серых комбинезонах.

— Дай я, — протягивая руку к ружью, сказал Петр.

— Лучше ближе подпустить, — заметил Андрей, уступая ему свое место.

Но Петр ждать не стал и, припав к ружью, тотчас же выстрелил в правофланговый танк, шедший под черным знаменем.

— Промажнулся, — выглядывая, сказал Андрей и опять нырнул в окоп Пуля, чиркнув по брустверу, пропела над ухом Андрея. За танками шла пехота и стреляла из-за брони машин.

Поблуднев, Петр выстрелил во второй раз и снова не попал. Из правофлангового танка должно быть заметили дымки, попавшие над их окопом. Тяжелый танк вдруг легко повернулся на месте и, круто изменив направление, устремился прямо на окоп. Приземистый и широкий, он бежал по полю, поводя впереди стволом пулемета, как черепаха головой.

— Ниже бери, — с досадой крикнул Андрей после того, как Петр промахнулся в третий раз.

— Нет, эта хлопущка не для меня, — сказал Петр, отшвырнув приклад ружья от себя. Он сел в окоп и начал отстегивать от пояса гранаты. Андрей взял ружье и медленно стал целиться. Прижимаясь к прикладу, он почувствовал исходившее от дерева тепло, оставленное Петром.

Над окопом вспыхивали и подхватывались ветром темные лохмотья дыма. Они плыли над степью, поднимаясь все выше, похожие на стаи воронья. Танки шли, не открывая огня. Под их тяжелыми корпусами трепетала земля, и в окопах осыпалась суглинистая пыль.

— Утожить будут, — втягивая голову

в плечи и забиваясь в угол окопа, сказал молодой солдат.

— Пропустить танки и отрезать пехоту, — скомандовал капитан Батурин.

Рота лежала в обороне по обеим сторонам тракта, окаймленного с одной стороны кромкой морского берега, а с другой — массивом темноокрасной пшеницы. По старому приазовскому тракту в старину ездили в Таврию за солью казаки на серых добродушных быках. А в еще более древние времена продвигались здесь в глубь Руси кочующие племена крымских татар. На рогоподобной береговой косе турецкий Таган-паша закладывал стены крепостного города, думая пробиваться дальше, к Волге, но был сброшен в море и ушел на челнах к берегам Анатолии. Изжелта-смуглые, хищные янычары на арабских скакунах, тяжеловесные, вислоусые запорожцы, как будто вросшие в своих лохмотных лошадей, спускались к морю по отлогому берегу, усыпанному цветной галькой. Не раз в глубокой древности на далеком кургане, где как будто сливаются воедино море, небо и степь в предвечерних лучах солнца, рисовалась тень славянского всадника с копьем, увеличенная на опаловом фоне заката.

И как тогда центром кровопролитных битв была эта главная тропа, проторенная хищными племенами, стремившимися проникнуть на восток, так и ныне весь смысл большого сражения в приазовской степи в сущности сводился к борьбе за обладание трактом. По тракту и по боковым дорогам, сходившимся к нему, как сходятся к дереву ветви, двигался главный поток левофланговых советских армий, отступавших из донецкой степи. Генералы стремились удержать дорогу в своих руках, чтобы вывести массу войск к Ростову и переправить их за Дон. А панцырные дивизии Клейста, Паулоса и Готта стремились перехватить тракт за спиной советских войск и завязать их в большом югозападном мешке.

Справа от дороги по всей степи, в спелой пшенице, зелеными волнами лежали роты и батальоны, стояли в балках серые танки и пушки, укрывались в кустах пунцово цветущего татарника и позолоченного солнцем чернотала пулеметные расчеты. Капитан Батурин, окидывая взглядом степь, видел все движение боя. Оно стремительно и непрерывно перемешалось по всему огромному пространству, утасая в одном месте и вспыхивая в другом. Послушные этому движению, шарахались из края в край волны людей. Но как бы эти волны ни разбегались, они неизбежно возвращались к главному узлам. В этих местах движение было особенно бурно. Один узел — развилка, где сходились приазовский тракт и донецкое шоссе, занимала рота. Справа от нее, ближе к Мат-

вееву Кургану, чернела ниточка дощато-го моста, перечеркнувшего жилку мелководной речки. Там все время с густой яростью били пушки, вспыхивала пулеметная стрельба, в тучах пыли сходилась врукопашную пехота. Над всем этим не переставая кружились, купались в утренней дымке красивые, оперенные алюминием птицы, похожие на жирующих голубков. На северо-восток вставали кусты разрывов вокруг голого и белого, вылизанного ветрами косогора. На нем, точно серый большой беркут, гнезвился над степью дощатый ветряк с надломленными крыльями, бессильно поникшими вниз. У его подножья, обнимая косогор полукругом, лежала немецкая пехота.

Капитан Батурин хорошо видел, как маленькие фигурки в одежде оловянного цвета высypали из пшеницы и полезли на приступ косогора. От ветряка их встречали косоприцельные струи пулеметных пуль, взбив гребешками пыль. Клубясь, она поползла по склону косогора.

По балке, с юга, к ветряку подтягивался эскадрон кавалерии. На всадниках выделялись багряные полосы лампас, пришитых к обычным армейским шароварам. На одном был синий форменный чекмень, и на фуражке краснел казачий околыш. Под всадником горячился серый, точно обыпанный крупносеянной мукой конь. Он было полез на косогор, упираясь расставленными задними ногами, но всадник в слитом чекмене осадил его и, указывая зажатой в руке плетью, что-то прокричал. Кавалеристы бросили лошадей в балке конводам и полезли по склону косогора, в обход немецкой пехоте. Лампасы запылали вокруг ветряка, как дольки цветов.

Всадник в чекмене остался на седле. Конь червно плясал под ним. Сдерживая коня, всадник ездил из края в край балки, и к нему беспрепятственно подбегали из цепи спешенных кавалеристов связные и бежали от него обратно в цепь. Был он мужественно статен и красив, вся его крупная фигура в чекмене прочно сидела на коне.

Потом среди красных лампасов на косогоре и в балочке среди лошадей стали густо разрываться мины. Воздух прорезал тонкий, жалобный визг раненой лошади. Всадники начали скатываться с косогора, бросались на лошадей и поодиночке выносились из балки на восток. Командир загоразивал им дорогу конем и, вставая на стременах, потрясал плетью. Все это капитан Батурин успел охватить взглядом в какую-то короткую долю минуты. Но дальше он не мог смотреть на то, что происходит у ветряка. К роте приближались танки.

Знамя, волнуясь, окутывало черным облаком правофланговый танк. Передняя часть танка была слегка приподнята, а

задняя чуть приплюснута к земле. Покатый лоб с изображением фантастического бесхвостого полубога-полузверя переходил вверх в основание орудийной башни. Из башни высовывался ствол пушки, тускло отсвечивая на солнце.

— Сейчас давить начнут, — заклацав зубами, сказал молодой солдат и сел на дно окопа, прикрыв руками голову.

— Молчи, убью! — злобно прикрикнул на него сосед с кержацкой бородой.

Вторая группа танков шла стороной, прорываясь к мосту через речку. Вокруг моста поднялся возня, забегали люди, с новым ожесточением застучали выстрелы. Красноармейская часть, огрызаясь винтовочным огнем, перебежками стала отходить от моста. Средний немецкий танк спустился к речке и, утробно заскулив передаточными шестернями, вступил на деревянный настил. Стрельба прекратилась. Вслед за первым танком к мосту спускались другие. Но вдруг в том месте промадный столб земли, смешанной с водой, взметнулся над рекой, тяжелый раскат прокатился через степь к морю и с мягкой звучностью угас в его глубине. Из поднявшейся над рекой мглы выступили контуры разрушенных балок и темная громада машины, вставшей на дыбы посреди моста.

Три танка, зажженные выстрелами бронбойщиков, горели на пшеничном поле. Огонь перекинулся на пшеницу, и поле вокруг танков быстро выгорело до черна. На обугленной стерне долевали искры. Но другие танки продолжали идти на окопы. Тень правофланговой машины надвигалась на Андрея и Петра.

— Уж я тебя угощу, — связывая на дне окопа гранаты, говорил Петр. У него возбужденно блестя глаза.

Андрей же стал серьезнее и словно потускнел. Припав к ружью, он молча целился в правую гусеницу надвигавшегося танка.

— Отсечь пехоту! — охрипшим голосом снова прокричал капитан Батурин.

Петр встал из окопа и занес над головой связку гранат. Но бросить он ее не успел. Андрей выстрелил, и танк в пяти метрах от окопа круто затормозил, выюном повернулся вокруг оси и замер. С лязгом отскочила правая гусеница и развернулась по земле блестящей стальной змейкой.

Но другой танк вывернулся из-за подбитой машины и устремился на окоп. Андрей и Петр едва успели сесть на дно окопа. Грохочущая машина пронеслась над их головами, промелькнули траки перепончатых гусениц и в окоп посыпалась земля. В ту же секунду Петр с бледным лицом поднялся из тучи черной пыли и швырнул в спину танку связку гранат. Подброшенный силой взрыва танк задрал

тяжелый зад, рухнул и накренился набок, окутываясь бурным дымом.

— А-а! — вскакивая на бруствер, торжествуяше закричал Петр. Подняв над головой автомат, он прыгнул в гущу набежавшей немецкой пехоты. Вслед за ним из окопов высыпала вся рота. Два танка прошли через первую линию окопов, но подорвались на минах, с вечера заложенных саперами перед вторым рубежом. Рота стала преследовать немецких солдат, повернувших от окопов назад. Впереди всех бежал капитан Батурин. Он очень тонким голосом что-то кричал и махал рукой. Один раз он споткнулся и упал, но тут же поднялся и, прихрамывая, побежал дальше.

Мимо капитана верхом на поджаром сером коне проскакал всадник в синем чекмене. Он весь сжался на седле и, по хищному ссутулив плечи, как коршун, летел вперед. За ним карьером вытягивался из балки эскадрон. Кавалеристы проскакали через редкие порядки роты, догоняя немецкую пехоту. Полуоборотившись на седлах влево, они выдернули из ножен клинки и, отставляя локти, озабоченно, дружно задвигали руками. В воздухе ясного дня разлился светлый, трепещущий блеск точенной стали.

— А-а-а! — кричал Петр.

Он бежал, ничего не видя, не слыша, в самой толпе распроенных немецких солдат, кого-то отбрасывая в сторону руками и в кого-то стреляя на бегу. Его увлекало сознание того, что враг панически бежит перед ним. Перед его глазами промелькнула меднокасная борода кержака, потом он увидел лицо молодого солдата. Солдат уже успел оправиться от первого испуга перед танками и теперь что-то кричал вместе со всеми. Но вдруг он покачнулся и, подламываясь в коленях, шаря рукой в воздухе, медленно упал.

Перепрыгнув через него, Петр побежал дальше. Оглянувшись назад, он увидел неподалеку от себя Андрея, и Петра поразило серьезное, сосредоточенное выражение его лица. Андрей бежал валкой, неторопливой походкой, работая прикладом, как цепом на молотье. Окидывая взглядом поле боя, он выбирал себе мишень и, догоняя солдата в серой куртке, заносил над ним приклад.

Когда танковая атака была отбита и они возвращались назад, Петр, угловато размахивая длинными руками, говорил:

— Как мы их! Они, пожалуй, запомнят, Андрей.

По дороге они наткнулись на убитого молодого солдата. Пуля вошла ему в живот. Падая, он обхватил живот руками и застыл, судорожно поджимая колени. Между пальцами убитого проступила темная, густеющая кровь, а по лицу, по запекшим-

ся губам уже деловито сновали зеленые, летние мухи.

«А я, братцы, только оженился — и война», — вспомнил Петр. Он осторожно обошел убитого и, не оглядываясь, пошел вперед.

Но вокруг была не одна эта смерть, а удача боя так подействовала на Петра, что скоро он уже взволнованно говорил:

— Нет, это им урок, Андрей. Теперь нужно не дать им опомниться и гнать.

— Строиться и уходить! — зычно прокричал капитан Батурин.

— Как уходить? — Петр повернул к Андрею растерянное лицо.

Рота строилась в колонну и вытягивалась по тракту. Справа роптало море, слева лежала выжженная степь. Над ней вздымался редкий, грязноватый дымок.

— А опять на восток. Почему? — шагая рядом с Андреем, спрашивал Петр.

IV

В движущейся лавине пехоты, артиллерии, всадников, машин и повозок рота входила в Ростов.

Ветер повернул и подул с моря. Над Доном бежали светлые, нежно оперенные облака. Снизу их кровавили отсветы пылавших в городе пожаров. Подхваченные ветром облака, как раненные белые птицы, стаями уносились вверх по реке на восток.

В пронизанный чистым дыханием реки город колонны отступающих принесли острые, разнородные запахи полыни, конского пота, кожаного снаряжения, машинного масла. Улицы и переулки заполнились суровым, волнующим ароматом похода, близким сердцу каждого солдата. На донском берегу раскинулся шумливый табор полевых кухонь, бричек, колхозных можар, цветных женских платков, мерлушковых папах, запыленных армейских пилоток, чумацких шляп, лошадей, пушек, танков, баранты. Разливом они захлестнули город, запрудили правобережье, продвинулись к реке и расперли узкие дощатые переправы.

А в город вливались новые потоки пехоты, обозов, машин, мычали стада коров, с автомобильных платформ немо зарились в небо жерла пушек, дребезжали солдатские котелки, плыли густые запахи моря, степи, донецкой угольной пыли, ковыльных дорог.

Лежал Ростов на большом перекрестке северных, южных, западных и восточных путей, связанных узлом у синей реки. В разные времена вобрал он в себя пеструю людскую смесь кавказского разноплеменья, безземельной тамбовской гольтыбы и окрестных жителей — казаков, правобережных украинцев, искавших на Дону защиты от шляхты. Проч-

но соединили Россию с Кавказом на ростовской меже густая паутина стальных дорог и воды Дона. Караваны крутобоких барж, напаленных сальной пшеницей, грушевским антрацитом, цымлянским виноградом, новороссийским цементом, ажиновскими арбузами, то поднимались вверх по донскому фарватеру почти до самого Воронежа, то бросали чалки в черноморских портах.

Германский фельдмаршал Лист спешил стать на ростовский перекресток твердой ногой. Днем и ночью шли к Ростову танки, вздымая гусеницами сухую, ржавую пыль степных дорог. Шли они, чтобы стальным тараном отсечь Кавказ от Москвы; чтобы подняться потом вверх по Дону до волжской излучины и обложить Сталинград; чтобы спуститься вниз на юг и рассеяться по хлебным полям Кубани; пройти через желтые астраханские степи и захлопнуть ворота в Каспий, и ринуться по главной кавказской магистрали через горные хребты и перевалы, на Баку.

Танки шли по следам обозов отступавших советских армий. С севера обозы втягивались в город по новочеркасскому шляху, с запада и северо-запада — по гравийному донецкому шоссе и старому приазовскому тракту. По новочеркасской дороге отходили части правофланговых украинских армий. Главные силы этих армий, боясь окружения, ушли прямыми степными дорогами на Клетскую и на Сталинград, но аррьергарды не успели уйти, потому что к этому времени в Миллерово появились немецкие танки. И командиры отрезанных частей, выскальзывая из мешка, спускались на юг. С ними отходили донецкие армии, оголенные на правом фланге. При этом положении командующий левофланговой армией принял решение оставить миусский рубеж и отвести свои дивизии за Дон.

В полдень капитан Батурин привел роту к переправе на Буденновском проспекте. Крупная верховая волна раскачивала понтонный мост. Дощатый настил, суживаясь, уходил к левому берегу. За ним начиналась батайская эстакадная цепь насыпей и перемычек, могучих железобетонных быков, вышагивающих через весь задонский заливной луг. Весной быки погружались в полую воду. Теперь же над высохшей поймой шуршал, шевелил своими жесткими стеблями речной камыш. За его желтеющим гребешком, где-то далеко выступали из степи копны и стога скошенного сена.

Эстакаду заливал асфальт. Узкая глянцева змейка то пропадала из глаз, ныряя под железнодорожную насыпь, то взлетала на пережат и вдруг сверкающим черным водопадом обрушивалась вниз.

Сейчас дорога кишела серой массой людей и обозов. Все они стремились в одном

направлении, на юг. Слева, синевя гранями рельс, уходила по гребню насыпи кавказская магистраль. От Дона до самого горизонта нескончаемо двигалась по ней (тоже на юг) сплошная череда товарных составов. Крыши вагонов густо облепили беженцы.

Над рекой повис в воздухе стальной каркас разводного моста. В навигацию средняя ферма моста семафором вздымалась вверх, пропуская из моря в Дон большие, высокотрубные пароходы. Взорванная при первом ноябрьском отступлении из Ростова, она теперь свисала над рекой обрубленными нитями тонких конструкций. Эшелоны проходили через Дон по другому мосту, положенному саперами на деревянные быки.

У переправы сбились пушки артиллерийской дивизии, стояли брички госпитального обоза, высокий смуглый пастух в смужковой шапке втиснул между ними стадо коров, кишела пестрая толпа женщин, стариков и детей. Дорожная казачка в зеленом, с цветными разводами платке наезжала на коменданта переправы ручной тачкой. На тачке уцепились за окулки два кудрявых черномазых казачонка. Играя красивыми темными глазами и низкими бархатными тонами контрального голоса, казачка просила:

— Уважь, родимый, вдовицу с детьми, пропусти.

Командант переправы — лейтенант с круглощеким юношеским лицом, взъерошенный и вспотевший, отмахивался от нее руками, разговаривая с майором, командиром артиллерийской дивизии.

— Техника, понимаешь, техника. Что мы должны спасать? — говорил коменданту майор.

— Не могу, товарищ майор, я должен вперед госпиталь пропустить, раненные... — лейтенант оглядывался на мост, и на лице его изображалось страдание. Посредине моста стала полуторатонка и, заглухнув, переторидила путь потоку. Ругаясь, забегали вокруг нее шоферы. Подводы, машины и пешеходы сбились на мосту, а сзади, с берега напирала новая, и дощатый настил заколебался, угрожающе затрещал, понтоны осели, и вода стала заливать палубы.

— Что-то долго не летят, — закидывая голову вверх, глубокомысленно сказала автоматчик, охраняющий мост, соседу — регулировщику с красным флажком. Его слова, как морская зыбь, передались по рядам сгрудившихся у переправы людей, и до самых задних дошло лишь окончание этих слов.

— Летят, летят, — прокатилось по всему потоку, заполнившему Буденновский проспект до самых западных городских окраин.

Женщины, подхватывая заголосивших

ребятишек, бросились в окрестные перелуки. Ездовые яростно нахлестывали лошадей, вырываясь из общей массы. Скоро ряды подвод, машин и людей поределели. Но те, что остались, плотнее надвинулись на переправу и загнали на мост автоматчиков, цепью стоявших на берегу. Автоматчики залазали затворами. Передние отхлынули, но задние опять придвинули их к берегу. Ругань повисла над рекой.

Протискиваясь к мосту, капитан Батурин подошел к коменданту переправы. Лейтенанта окружала толпа командиров частей, начальников обозов, мужчин и женщин в гражданской одежде. Все они наперебой кричали, тянулись к нему руками, теребили за лацканы желтой кожаной куртки. Массивный мужчина в гороховом костюме, с маленькими серебряными очками на большом синем носу все старался сунуть в карман комендантской куртки бутылку с красной сургучной головкой, жужжал ему что-то на ухо, и комендант отмахивался от него обеими руками, как от овода.

— Застрелю! — хватаясь рукой за кобур, вдруг закричал комендант, и мужчина в гороховом костюме моментально куда-то исчез, растворился в толпе.

— Нет, нет, у меня техника, — говорил комендант переправы наступавшим на него людям. И оглядывался за поддержкой на артиллерийского майора. Майор с солидным лицом кивал головой.

Капитан Батурин хотел узнать у коменданта порядок переправы воинских частей, но тот не дал ему раскряки рта.

— В общем порядке, — замахаал он на капитана руками и, выбираясь из толпы, пошел на мост. Какой это был порядок, он так и не сказал. Да он и не смог бы этого сказать, потому что вокруг был полный беспорядок. Каждый хотел пройти на мост раньше соседа.

Казачка в зеленом платке с игривым лицом заступила коменданту дорогу.

— Я сказал, не пуцу, — отстраняя ее рукой, надтреснутым юношеским баском закричал комендант.

И, засунув руки в карманы, размахивая полами кожаной куртки, пошел дальше к застрявшей на мосту полуторатонке. Коменданту было жарко в плотной куртке, но ему казалось, что она хорошо идет ему и делает его внушительным в глазах других. На самом же деле комендант был добрым круглощеким юношей, это все понимали и это вредило переправе.

Казачка в зеленом платке отошла в сторону и остановилась рядом с Андреем с застывшим игривым и жалким выражением красивого лица.

— Детишки у меня, — сказала она виноватым голосом, ища сочувствия у Андрея.

— Ну и каша, — окидывая взглядом

берег и подходы к переправе, покачал головой Петр.

Дон плескался под мостом, обтекая понтоные лодки. Встречный течению ветер подернул его легкой, почти незаметной рябью. Она не могла замутить зеленовато-светлой прозрачности его вод. Лучи солнца пронизывали их насквозь, и отчетливо выступало песчаное дно, все в белых крапинках ракушек, с бронзовыми слитками больших рыб, объятых знойным полуденным сном.

Юрко обезжая подводы, фургоны и пушки, скользя, как челнок, к переправе, спустилась из города короткотелая, звероподобная армейская машина, покрытая желтой пылью и обтянутая зеленой сеткой, закиданная и увитая сухими стеблями татарника, полынй, чернобыла, будьяльями кукурузы. Пропуская ее, полук, недовольно урча, расступился. За машиной тянулся ароматный шлейф многоцветных запахов степи. Но была в их медовой прелести какая-то чуть уловимая, тревожная, пороховая горечь. Машина казалась горячей, только вынырнувшей из боя, и люди с напряженным ожиданием провожали ее глазами.

— Боятся опоздать, начальнички.

— Торопятся... — расступаясь, заговорили люди.

Но машина не стала спускаться к самому мосту, а остановилась поодаль от него, чуть в стороне. Приподнимая рукой сетку и взблеснув на солнце стеклышками пенсне, из нее выпрыгнул высокий, сухощавый человек в дорожном защитном комбинезоне. Быстрыми, твердыми шагами он стал спускаться к переправе. Фуржак, комбинезон и сапоги, и весь он с головы до ног был покрыт сплошной коркой пыли. Люди, проводившие его глазами, обратили внимание, как широки у него плечи и как тонок, хрупок он в поясе, перехваченном желтым ремнем. К ремню были пристегнуты компас, большой целлулоидный планшет и — почти совсем на спине — маленький, почти игрушечный револьвер.

Комендант переправы ничего не мог поделать с машиной, застрявшей посреди моста, и, потеряв надежду, сделав рукой жест, изображавший полное отчаяние, возвращался обратно, окруженный толпой, как свитой. Люди забегали вперед его, размахивали руками и говорили все хором. Из этого хора выделялся густой благообразный баритон массивного мужчины в гороховом костюме. Он опять вынырнул около коменданта и в конце концов воткнул ему в карман желтокожаной куртки бутылку с сургучной головкой. Положив руку на горлышко бутылки и прикрыв ее от взглядов, комендант теперь слушал мужчину в очках с большим

вниманием, задумчиво полуобернув к нему рассеянное лицо. Артиллерийский майор шел позади них, сурово нахмурившись, но не отставая ни на шаг.

Дойдя до конца моста, все остановились и, увидев на берегу беспокойную массу людей, снова заговорили хором, обступив коменданта и преграждая ему путь.

— Нет, ты скажи, кого мы должны в первую очередь спасать? Скажи! — допрашивал коменданта артиллерийский майор.

— Людей, — приближаясь к ним сзади, сказал человек в дорожном комбинезоне и в пенсне.

Он произнес эти слова негромко, но что-то в их тоне было такое, что на секунду все смолкли. Артиллерийский майор сердито обернулся и уже раскрыл рот, чтобы отчитать стоявшего перед ним человека в простом шоферском костюме, но во-время спохватился, увидев на его запыленной фуражке золоченую генеральскую ветвь. Бывшие при этом офицеры подобрались, опуская руки по швам. Мужчина в гороховом костюме проворно спрятался за спину коменданта.

— Людей должны спасти, товарищ майор, — повторил генерал, как бы подчеркнув эти слова неуловимым и грустным движением подбородка в ту сторону, где сгрудилась в ожидании переправы толпа. Сняв пенсне, он стал медленно протирать стеклышки платком, и все увидели тонко очерченное, интеллигентное лицо с широко расставленными усталыми глазами, с мохнатой от пыли сединой ресниц и бровей. Он опять надел пенсне, и лицо мгновенно преобразилось. Холодные стекла сообщали его чертам резкость.

— Товарищ генерал, я прошу переправить пушки, — делая под козырек, взволнованно сказал артиллерийский майор.

— А зачем их переправлять? — спокойно спросил генерал. Он окинул взглядом шеренгу новых пушек, закрытых брезентовыми чехлами. Лафеты, пушечные стволы, зарядные ящики облепила артиллерийская прислуга, взмокавшая до нитки от соседства с горячим металлом.

Генерал пробежал глазами вдоль берега и тем же ровным голосом продолжал:

— Я полагаю, пушки делают для того, чтобы из них стрелять, а не для того, чтобы на них кататься. Я приехал из Новочеркасска, там появились немецкие танки и... — он помолчал, — почти нет нашей артиллерии. А вы спешите переправиться. Вы должны уходить последними, товарищ майор.

Он говорил негромко, совсем не повышая голоса, но в его тоне слышалась та непоколебимость командира, которая в армии не знает преград. Люди, стоявшие на берегу, сдвинулись плотнее, притихли. В

его словах они увидели проблеск надежды.

— Но, товарищ генерал, у меня совсем нет снарядов, — сказал артиллерийский майор.

— Снарядов? — переспросил генерал. Он обвел глазами стоявшие у переправы машины, фургоны и брички госпитальных обозов, вторых эшелонов и походных мастерских, выхватил взглядом из общей массы в сторонке подводу, тщательно укрытые серым брезентом. Из-под брезента выступали ребра каких-то ящиков правильной формы. Генерал приблизился быстрыми шагами к крайнему ездовому — мохнатому, рыжеусому солдату, спросил:

— Ведь это артеклад? Я не ошибаюсь?

— Ну, склад, — покосившись на его пенсне, неохотно пошевелил усами солдат.

— Снаряды везете? — осведомился генерал.

Ездовой оглянулся на толпу (она, жадно притихнув, ловила каждое их слово), посмотрел на небо и снова перевел взгляд на человека в сером комбинезоне. Замеченная на его фуражке золоченая генеральская ветвь произвела на него впечатление.

— Снаряды, — слезая с брички и прикладывая кнутовище к голенищу сапога, сказал ездовой.

— Сидите, — жестом остановил его генерал. Он заглянул в подводу, отвернув брезент. — И противотанковые есть?

— Все они противотанковые, товарищ генерал, — с озабоченным оживлением заговорил ездовой. — От самого Кулянска их без толку возим. Начальник склада приказал без нарядов не выдавать. А какие там наряды, когда люди как ошалелые прибегают на машинах прямо из боя. И кони уже пристали их возить, ведь не игрушки. Такая чертовщина, — ездовой сплюнул.

— Где ваш начальник?

— Да вот он сюда идет, — ездовой указал кнутом и опять медведем полез на подводу, ступая ногой на спицу колеса. К подводе подходил полный мужчина с рыхими формами, в хаки.

— Я забираю ваш склад, — окидывая любопытным взглядом его фигуру, сказал генерал.

— Мне приказано эвакуироваться, товарищ генерал, — заморгал глазами человек в хаки.

— А я придаю ваш склад ардивизиону, который идет в бой, — холодно сказал генерал.

— Да, но мы из разных соединений, — у начальника артсклада заколыхался живот, слабо стянутый ремнем.

— Но вы, надеюсь, тоже служите в Красной Армии? — уничтожающим тоном произнес генерал.

Он повернулся к нему спиной и чуть кивнул головой своему адъютанту, молодому парню с отчаянно красивым, нехорошим лицом, ходившему за генералом по пятам. Адъютант подозвал к нему артиллерийского майора. Генерал раскрыл целлулоидовый планшет. В планшете с недавних пор заключался весь его штаб, всегда кочующий, связанный с частями не проводами телефонов, а посыльными, офицерами связи.

Генерал развернул на планшете карту. Артиллерийский майор заглядывал ему через плечо, задерживая дыхание, косясь на просвечивающее розовинкой ухо.

— Это новочеркасский шлях, — иным, озабоченным голосом говорил генерал, передвигая по карте острие карандаша. — Здесь противотанковый ров, через пять километров — другой. Вы укроетесь в роще и немедленно пристреляете этот развлок. Они его не минуют. В обход они едва ли пойдут, это лишние тридцать километров. Но на всякий случай поставьте одну батарею справа от шоссе, в балке, вот здесь, — короткими взмахами карандаша он отчеркивал крестики на карте.

Ближние к ним люди не дышали, подхватывая обрывки разговора. Надежда, посеянная этим человеком в сером комбинезоне, росла, облегчая их души. Они переводили взгляд то на генерала, то на открытые серыми чехлами пушки. «Ты слышал, он приказал повернуть их обратно, на передовую». «Еще могут отбить». «А ты как думаешь?» «Видать важная птица». «Может, сам командующий», — зашепестело в толпе.

— Вам понятна задача?

— Да.

— Поторопитесь, товарищ майор. Я скоро тоже там буду, — и генерал пожал ему руку.

Артиллерийский майор быстрыми шагами побежал от него к пушкам. Чихая и окутываясь синим газом, взрокотали маленькие тягачи, и артдивизион, с трудом разворачиваясь в людском потоке, потянулся обратно через город. За ним двинулись обозы артиллерийского склада.

— Ну ты, пошевеливайся! — сердито-радостным голосом заорал рыжеусый ездовой, нахлестывая кнутом пристяжную — худую, грязновато-пегую лошадь с затертыми боками.

За первой подводой заскрипели колеса другие. Толпа охотно расступилась, давая им дорогу. На мгновение у переправы стало просторнее. Но потом сверху опять надвинулись колонны пехоты, беженцев и обозов, загроудили весь берег.

Генерал сложил карту и расправил широкие плечи — казалось, большая, сильная птица расправляет крылья перед полетом. Зорким взглядом он окинул берег и под-

ходы к переправе и сразу увидел весь беспорядок.

— Найти коменданта переправы, — вполголоса сказал он адъютанту. Придерживая кавалерийский маузер (все адъютанты страсть как любят маузеры), тот бросился на мост. Так же бегом он вернулся и доложил, что коменданта нигде нет. Призвав генерала и, должно быть, опасаясь разноса, комендант поспешил затеряться в толпе.

— Нет? — переспросил генерал, и легкая усмешка тронула его тонкие, почти женственные губы. Он поискал глазами в группе офицеров, начальников обозов, командиров колонн и частей. Взгляд его задержался на капитане Батурине, стоявшем чуть в стороне от других. Может быть седина, покрывавшая голову Батурина, привлекла внимание генерала. Он поманил капитана к себе.

— Я вас назначаю начальником переправы, — повысив голос так, чтобы его слышали другие, сказал генерал.

Капитан Батурин хотел ему сказать, что он непременно должен догнать свой батальон, ушедший вперед, но генерал, не дав ему сказать, громким отчетливым голосом продолжал:

— Раньше всех пропустите госпитали. Порожные машины загружайте людьми, в первую очередь армейскими и женщинами с детьми (по толпе кругами прошел гул). Одиночек пристраивать к частям и пропускать только в колоннах. За порядок отвечают начальники колонн. Злостных нарушителей разрешаю расстреливать на месте (гул с новой силой прошел по толпе, и самые ближние отодвинулись от переправы). Все Действуйте.

И, повернувшись, он легкими шагами пошел к своей машине. За ним адъютант. Приподнимая рукой маскировочную сетку, оба скрылись в машине. Взревев и развернувшись почти на месте, машина полезла на бугор. Люди еще издали сторонились, давая ей проход.

V

По команде капитана Батурина рота рассыпалась и оцепила подходы к переправе. Автоматчики цепью растянулись по обоим сторонам дощатого настила через весь мост. Андрей и Петр оказались с краю. Прямо перед ними была многоликая толпа, грудью напиравшая на переправу.

— Ну попалось нам с тобой местечко, — покачал головой Петр.

Андрей насупил густые темные брови, перекинул из руки в руку автомат. Капитан Батурин подошел к машине, застрявшей посредине моста, и отдал солдатам команду Десятки рук со всех сторон протянулись к машине, вцепились в ее кры-

лья и борта, стали мерно раскачивать ее взад и вперед. Мост затрещал, заходил ходуном. под настилом заколыхались понтоновые лодки.

— О-ох! — единым вздохом пронеслось в толпе.

Отрываясь колесами от моста, полуторатонка пошла в Дон. Всплеск! Фонтан жемчужных брызг — и темный корпус машины поглотила череда набежавших волн. Лишь дрожание круги, увеличиваясь, расходились к берегам. А под мостом все так же переливалась, плескалась звучной волной зеленовато-прозрачная донская вода.

И опять через мост покатылся поток повозок, людей и машин. На подножке одной машины стоял бывший комендант переправы в желтокожаной куртке. Проезжая мимо того места, где стоял капитан Батурин, он сочувственно помахал ему рукой и что-то прокричал, блеснув белозубой улыбкой. По всему было видно — новое положение больше устраивало бывшего коменданта переправы.

А вокруг капитана Батурина уже составила толпа начальников обозов, командиров колонн и частей. Ближе всех к нему жался мужчина в гороховом костюме. И капитан ловил себя на том, что отвечает ему теми же словами, что и бывший комендант.

— Отойдите. Пропущу в общем порядке.

Мужчина в гороховом костюме, казалось, вполне удовлетворился этим ответом и побежал на берег. Через минуту его большая массивная фигура уже плыла в кузове грузовой машины, продвигавшейся к переправе в массе других машин. Когда она приблизилась, капитан Батурин увидел в ее кузове зеркальный орехового дерева трельяж, черное, глянцево-блестевшее в лучах солнца пианино и диван, обтянутый желтой, пупырчатой кожей. Кузов был завален ручными саквояжами, клеенчатými чемоданами, желтыми шляпными коробками, заставлен кадками с домашними пальмами, фикусами и олеандрами. Люди у переправы, провожая машину глазами, зажужжали, как пчелы.

Капитан Батурин почувствовал, как горячая волна бешенства прихлынула к его сердцу. Он сделал автоматичку знак задержать машину. Из кузова высунулась встревоженная голова в очках.

— Это что т-такое? — сдерживая себя и заикаясь, спросил капитан, охватывая одним взглядом чемоданы, фикусы, пианино, зеркальный трельяж и диван. Он перевел взгляд на притихшую толпу стариков и женщины, терпеливо ожидающих переправы, обремененных ручными тележками, окулунками и детьми.

— Товарищ капитан, я директор пищевого треста, — с авторитетной важностью

благообразным баритоном сказал тучный мужчина.

— С-сгрузить все на землю и посадить женщин с детьми! — резко приказал автоматчикам капитан.

Автоматчики с готовностью откинули борта машины и, похохатывая, мигом стащили на землю всю мебель и выбросили чемоданы. Потом они стали усаживать в машину женщин с детьми и подавать им узлы.

— А ну, красавица! — крикнул солдат смуглолицей казачке в зеленом платке.

Ловко подержав молодайку за круглый розовый локоть, он поднял вслед за нею в кузов ее чернокудрявых мальчишек. Казачка, раскрасневшись и улыбаясь, поправляла рукой сбившийся платок. Мужчина в гороховом костюме то бегал к сваленным на земле в кучу чемоданам, то возвращался обратно к машине.

— А тебе, директор, придется порастрясти свой жирок, — сказал из толпы язвительный голос.

Грянул хохот. Капитан Батурин подал шоферу знак, и машина с женщинами и детьми тронулась с места. Мужчина в гороховом костюме побежал за нею, нелепо раскачиваясь на толстых ногах. Капитан Батурин брезгливо отвернулся.

Высокий смуглый пастух в косматой папаше, с плетеным арапником через плечо подошел к Андрею с просьбой пропустить через мост стадо. Андрей видел как раньше пастух подходил к капитану Батурину, и капитан на его слова отрицательно покачал головой. Теперь пастух должно быть надеялся добиться успеха у Андрея, который расположил его к себе широким, на вид простодушным лицом.

— Пропусти, милоч, я в один миг проскочу, — упрашивал пастух.

— Не могу, папаша, ведь сам видишь — раненые едут, штабы, — говорил Андрей. А самому страшно хотелось пропустить этого старика. Вот уже полдня он на глазах Андрея безуспешно толкался со своими коровами у переправы.

— Кабы были свои, разве я просил бы. Колхозные. Вернусь — народ спросит с меня: где полевал? Пропусти, дорогая душа, век тебя буду благодарить, — старик снял с головы шапку, обнажив голый, как яйцо, череп, и поклонился Андрею.

— Ну прогоняй, дед. Только живей, — суровым голосом сказал Андрей и оглянулся на капитана Батурина.

— Спасибочко, тебе, милоч, — старик надел шапку и бегом кинулся к своему стаду. Через минуту коровы уже застучали, затарахтели копытами по деревянному мосту. Капитан Батурин издали погрозил Андрею пальцем. Андрей отвернулся, как будто это относилось не к нему.

— Летя! — взметнулся тревожный крик.

В стороне Батайска заухали зенитки.

Толпа охнула и раскололась. Стоявшие наверху люди, подводы и машины стали разбегаться и разъезжаться, и вскоре вся гора опустела. Но ближние волной прихлынули к Дону, стремясь перебежать на другой берег и, смяв автоматчиков, прорвались на мост. Затрещали деревянные поручи, на мосту произошла давка. Истукленным воплем колыхнувшись над рекой голос женщины, У нее выбили из рук годовалую дощечку, и она упала в воду.

Оглянувшись на крик, Петр увидел белокурую головку в воде под мостом. Петр быстро взглянул на Андрея. Тот с красным и страшным от напряжения лицом пытался автоматом сдерживать напор людей, У Петра мелькнула мысль, что Андрею одному не управиться. Но раздумывать не было времени. Набежавшие волны поглотили кудрявую головку девочки. Петр упруго оттолкнулся ногами от края деревянного настила и, мелькнув в воздухе, погрузился в Дон.

Через секунду он вынырнул, снова нырнул и потом показался над водой уже с девочкой, которую осторожно поддерживал над водой одной рукой. Загребая свободной рукой, Петр подтлал к мосту и поддал девочку голосившей матери. Подтянувшись на руках, он взобрался на понтон и отряхнулся, как утка.

По лицу, по гимнастерке, по автомату, висевшему за спиной Петра, ручьями сбегала желтоватая вода. Он с беспокойством подумал, что в автоматном диске, покалуд, отсыреют патроны. Выжимая подол гимнастерки, украдкой посмотрел на Андрея. Толпа сорвала Андрея с моста, подхватила его и несла по мосту. Он тщетно старался противостоять ее бурному течению, поднимая над головой автомат. Клацая затвором, Петр бросился ему на помощь. Почти у самой середины реки им удалось сдержать и остановить поток, прозивший разнести мост.

— За то, что покинули пост, пойдете под трибунал, — приближаясь к Петру, жестко сказал капитан Батурий.

Петр взглянул на него, уголки его губ задрожали. Но он ничего не сказал и отвернулся.

Выстрелы зениток приближались. Они уже гремели над головой. Пушки отовсюду высовывали свои суженные кверху дула — из расщелин в железнодорожной насыпи, из-под эстакадных перемычек, из темных круглых ям, изрытых донские берега. С их канонадой сплетались прерывистые голоса пулеметов. Они были установлены на крышах эшелонов, на понтонных лодках, на палубах полузатопленных барж, чьи ржавые остовы торчали вдоль речного фарватера из воды. Мост опустел. Одни убежали в город и рассеялись в его улицах и переулках. Другие

успели проскочить на левый берег и теперь залегли вдоль батайского шоссе, пережидая налет.

Смеркалось. Самолеты шли прямо над рекой, но их не было видно в низком, мутнеющем небе. Плыла в нем только густая каша зенитных разрывов. И вдруг гигантские бичи засвистели в воздухе. По реке вокруг моста пошли всплески, заплесали водяные столбы и один за другим прокатились взрывы, приглушенные водой.

Петр упал на мост вниз лицом и, сотрясаясь всем телом, прижался к мокрым доскам. Андрей стоял на мосту, устремив в небо автомат, и ловил глазами чернокрылую тень, пижирующую из облака на переправу. Пронзительный рев приближался. Андрей с силой нажал спусковой крючок и, не слыша выстрелов, почувствовал, как затрепетал, затрясся в его руках автомат.

С моста и с обоих берегов навстречу самолету ударили пулеметы и скорострельные пушки. Летчик не выдержал и у самой цели круто отвалил в сторону, сбросив бомбы в воду. Замыкая круг, самолеты проходили над городом в бело-розовой пене зенитного огня. Ветер принес оттуда гулкое эхо далеких ударов, и над темными кварталами домов на правом берегу в разных местах взвились стяги пожаров.

Летние вечера на юге стремительны и внезапны. Быстро стемнело. Самолеты опять подходили к мосту, равномерно буравя тишину гулом своих моторов где-то в недосыгаемой бездне темного неба. И потом над рекой разлилось голубоватобелое сияние поплывших ракет. Они медленно снижались над мостом. Дон заиграл желтыми, синими и багровыми огнями на гребешках верховых волн.

Петр приподнял голову и увидел прямо над собой сияющие шары. Где-то высоко, за непроницаемой пеленой мертвого света, сверлил небо однообразный, мурлыкающий звук. Петр почувствовал себя беззащитным на ярко освещенном мосту. На секунду он поставил себя на место немецкого летчика и увидел свою одинокую маленькую фигуру, распластанную на досках и залитую волнами света.

Он хотел крикнуть Андрею. Но опять засвистели в воздухе бичи. Петр на четвереньках подполз к краю моста и, вобрав голову в плечи, нырнул под доски, в понтон.

Ветер отгонял ракеты вверх по Дону, и они, спускаясь все ниже, гасли где-то за городом, в реке. С новой яростью застучали скорострельные пушки и пулеметы, освещая небо пятнами вспышек и пунктирами трасс. Над рекой мгновенно возникали и тотчас же распадалась голубоватые нити арок, ажурные колоннады, ро-

зовые видения причудливых лестниц, фонтанов и галлерей.

На берегах зажглись прожекторы и заметались по окружности, распарывая небо, как большие отточенные до белого блеска ножи. Вдруг перестав метаться, они скрестились над рекой и осветили в черной бездне треугольную стайку белокрылых птиц. Они медленно уплывали от моста в сторону Батайска. Яростно ударили зенитки. Вокруг белых птиц образовался веноч вспышек. Птицы невредимо шли в этом венке, удаляясь на юг, может быть, в Крым. По небу все время перемещалось желтовато-белое облако в форме высокой, стройной яхты под альхими парусами с изогнутой лебедем кормой.

Медленно глохла канонада. Потом ее вовсе не стало слышно. Но где-то за Батайском еще долго трепегали смутные отсветы, озаряя горизонт, и полыхало высокое зарево, то разгораясь, то почти совсем угасая.

Петр вылез из понтона и, оглянувшись, увидел Андрея. Он стоял на мосту и менял в автомате диск. В полусвете всходящей луны мерцали рассыпанные вокруг него медножелтые гильзы патронов.

Петр отвел глаза, осторожно, как хрупкую вещь, перекинул в другую руку свой автомат, зябко повел плечами. За воротник ему набежала вода, холодные капельки медленно стекали по спине. Он подавил вздох. На душе было гадко.

Андрей продолжал возиться с автоматом, сделав вид, что не заметил Петра: что-то жалкое было во всей фигуре товарища. Андрей звучно дослал диск, и смутная усмешка пробежала по его губам.

Заскрипели брочки, зашумели моторы машин, зацокали по мосту копыта лошадей. Темный поток, жужжа, опять пополз через реку. В этот момент к мосту подъехал мотоцикл. С него прыгнул человек в черном шлеме, в рукавицах, и подошел к капитану Батурину. Доставая из сумки пакет с сургучной печатью, он сказал:

— Я офицер связи. Где тут командир понтонеров?

— Ищите там, — капитан Батурин указал рукой под мост.

Посвечивая себе ручным фонариком и ругаясь: «Тут сам черт ногу сломит!» — мотоциклист полез под мост. Спустя минуту он вынырнул и большими шагами бежал к мотоциклу.

— Можете передать, что уже выполнено, — крикнул ему вдогонку осипший, простуженный голос.

Вслед за этим из-под моста вылез командир понтонеров, весь в черной блестящей коже, как леший, подошел к капитану Батурину и суровым голосом сказал:

— Закрывайте переправу, приказано разводить мост.

Капитан Батурин с недоумением посмотрел сначала на него, потом на темную массу обозов и людей, неясно шевелившуюся на берегу. Тогда командир понтонеров наклонился к самому уху капитана и, обдав его прогорклым запахом махорки, пояснил:

— Немцы в городе. Понятно?

Он сказал это тихо, но его услышали на берегу. Точно ток пронизал толпу.

— Немцы!

Женский голос крикнул, что будут взрывать мост. Опрокидывая повозки, ручные тачки, наступая на узлы, на тела упавших людей, толпа отхлынула от переправы. Громко зашалакали дети. Над берегом повисли голоса:

— В Нахичевань!

— На железный мост!

— Разворачивай!

— К ло-о-оджкам!!!

Повозки, машины, полевые кухни, пушки на конной тяге и на прицепах вырывались в боковые улицы и переулки. Берег, только что многолюдный и густоголосый, быстро опустел и затих. Подгоняемые страхом люди разбежались в разные стороны. Кто бежал направо, к железнодорожному мосту, кто сворачивал налево и устремлялся в Нахичевань, где, по слухам, еще работала переправа через Дон. Смелчаки сунулись вниз к мосту, надеясь успеть перебежать на другой берег, но автоматчики, выступив из темноты, преградили им путь.

Капитан Батурин подошел к командиру понтонеров.

— Я должен переправить роту. Мы охраняли мост.

— Не успеете, — сказал командир понтонеров. — Видите, уже катер подошел.

Понтонеры тучей облепили мост, заступали топорами и молотками, сбрасывая в воду доски. К средней лодке подошел катер, и с его палубы бросили на понтон конец буксирного троса.

— Как же мы теперь? — тревожно прозвучал над ухом капитана Батурина голос ротного старшины Крутицкого.

— Пойдем по правому берегу и переправимся где-нибудь выше, — помедлив с ответом, сказал капитан.

— Но вверху немцы, кажется, уже вышли к Дону, — осторожно заметил старшина.

— Будем пробиваться с боем, — сердито сказал капитан. И, точно убеждая в чем-то самого себя, заикаясь, повторил. — С б-боем.

Андрей слышал его последние слова, и у него дрогнуло сердце. Вверх по Дону в казачьей станице жили отец и мать Андрея.

VI

— Конечно, я плохо сделал, что покинул свой пост и нарушил воинскую дисциплину. Но сначала я услышал, как закричала женщина, потом увидел девочку в реке... и... прыгнул в воду. Но вы не подумайте, что я боюсь трибунала... — с жаром говорил Петр, пожимая своими широкими, угловатыми плечами и шагая по дороге рядом с бричкой, на которой ехала ротная телефонистка Саша.

Андрей шел сбоку дороги, чуть в стороне. Вокруг них снова расстилась степь. Но теперь справа от шляха было не море, а поблескивал сквозь камышковые плавни Дон. За камышами сверкал левый берег, усыянный белым песком.

Было утро, туман еще клубился в балках по степи, вдоль дороги сияли влажные кусты дикого терна. Степь переливалась радугой красок. Они все время меняли оттенки, перемещались, загорались и угасали. Только что в низинах лежал тяжелый туман, но ветер сдернула белесый покров и обнажил склон, буינו поросший релейником с головками ярко-лилового цвета. Мелкие озерца то вспыхивали отраженным багрянцем восхода, то, потускнев, прятались в зеленях. По старой меже темносиней прошивой убегали к горизонту васильки. И даже на хлебном массиве в разных тонах выступали одни и те же цвета. Все поле сначала казалось сылошь желтым, почти золотистым. Потом взор находил долянку ячменя, уже перестоявшего и начинавшего краснеть. Озимая пшеница отсвечивала зрелой, восковой желтизной. А через дорогу яровая, отливая темносизой прозеленью, еще достаивала свой срок. Оранжевая полоса подсолнуха сменялась белым разливом ромашки на незапаханной голоке.

Солнце будто нарочно выбирало самые яркие и красивые цвета, озаряя скользкими лучами лиловое поле, спрятанное в ложине, голубую жилку родника под курганом, кусты калины за степным перекастом, забрызганные пурпурными каплями зреющих ягод. Набегала косматая тень облака, и краски блекли, темнели, степь лежала однообразная, упрямая и скупая.

— Бывает так, что хочешь сделать одно, а тебя понимают совсем по-другому, — рассеянно скользая взглядом по степному покрову глуховатым баском продолжал Петр. — Вот в школе меня тоже считали дисциплинированным. В химическом кабинете у меня в руках взрывались колбы, а на урок естествознания я однажды принес живого зайца. Ну, заяц вырвался из рук, выбил стекло и убежал. Девчата, конечно, подняли визг, и директор пригрозил меня исключить. А истерик как-то выставил меня за дверь, честное слово! Он стал нам объяснять, что Иван Гроз-

ный был великий русский царь, собира- тель государства и так далее. Ну, я встал с места и сказал, что Иван Грозный выжимал последние соки из крестьян. Между нами завязался спор, истерик хотел посадить меня на место, я сказал, что у него буржуазный метод, и он предложил мне покинуть класс.

Петр поправил на плече ремень автомата и движением головы откинул упавший на лоб русо-кудрявый чуб. В минуты возбуждения у него под чубом, у самого корня волос выступал маленьким полумесяцем шрам — след пули.

— А теперь меня будут судить, — с горечью сказал Петр.

Он снова окинул глазами дорогу. В клубах пыли серыми кучками и в одиночку брели солдаты роты, сломав строй походной колонны и рассыпав ряды по команде «вольно».

— Нет, зачем я пошел в пехоту! Когда я прибежал в военкомат и попросил записать добровольцем, военком глазами смерил мой рост и посоветовал итти во флот. Тогда я отказался, потому что для этого нужно было учиться целый год. Я боялся что за это время кончится война. А теперь одни портянки скоро сведут меня с ума! — он с ожесточением потопал по дороге растертой ногой. — Вечно родем окопы, оставляем их, переходим на новое место и опять начинаем копать. Больше воюем лопатой, чем вот этой штукой, — и он подергал рукой ремень автомата. — Говорят, что пехота царяца полей, а эта царяца все время старается с головой зарыться в землю.

— Вы просто горячитесь, Петя, — возразила Саша, с улыбкой слушающая его и поправляя на коленях складки армейской хлопчатобумажной юбки. Она сидела на перекинутой через борта брички доске, подогнув под себя ноги, без пилотки, с зачесанными назад мягкими каштановыми волосами. Они тяжелым узлом колькались над ее белой, округло-тонкой шеей, придавая ее лицу выражение ясности и чистоты. Отблеск восхода падал на щеки Саши. Андрей издали любовался ее хорошенькой резовой головкой.

— Вы сами знаете, что неправы, — говорила Саша. — Позавчера вы мне говорили, что вас танк не раздавил только потому, что у вас был глубокий окоп...

Она то посматривала с брички сверху вниз на Петра, то переводила взгляд блестящих серых глаз на раскиснутый вокруг них степной простор.

Гребешки дорожных кюветов были густо обсыпаны маленькими полевыми цветками с темными бордовыми лепестками. Петр смотрел на цветы, переводил взгляд на влажные приоткрытые губы Саши и, жмурясь, встряхивал головой, отгоняя от себя какую-то мысль.

Вокруг них снова скрипели обозы, шуршали машины, двигались массы людей. По всем степным дорогам катились бурные облачка пыли, похожие на отары овец. Слева и позади вспыхивала и гасла стрельба. Мимо роты, сбоку дороги, проехала маленькая приземистая машина, закиданная ветками и польнью, оставляя в росистой траве дымчатый, сизый след. На миг промелькнул тонкий профиль в пенсне, и Петр узнал вчерашнего генерала. Сзади него сидел адъютант с красивым суровым лицом.

— Я все время взглядывалось в этот поток беженцев, и мне кажется, что я обязательно должна увидеть среди них Григория Мелехова, — глядя на Петра с брнички, сказала Саша, впервые с изумлением замечая, какие у него светлые, неправдоподобно-чистой голубизны глаза.

— Да? — улыбнувшись ее мыслям, переспросил Петр и невольно пробежал глазами по рядам подвод, заглядывая под коматые барашковые палачи мужчин. Что ж, на подводах, судя по одеждам, ехало немало казаков, и, кто знает, — подумал Петр, — быть может на одной из них и сидит Григорий Мелехов, теперь уже постаревший, сутулый.

— Да, я вчера ужасно поспорила с капитаном Батуриным, — продолжала Саша. — Он мне сказал, что Гришка Мелехов не наш человек.

— Не наш? — рассеянно переспросил Петр, шагая сбоку брнички и прислушиваясь к своим шагам.

— Да. Я ему сказала, что, конечно, если Григорию дать заполнить анкету «Чем вы занимались в двадцатом году», то тогда он будет не наш. У нас в институте была завкадрами, он заставлял вспоминать в анкетах всех дедушек, бабушек и теток. Усмехнувшись, Петр кивнул головой.

— Но в Григории новое всегда боролось с темным, и хорошего у него было больше. Ведь правда?

— Верно. — Петр помолчал и раздумчиво добавил. — И все же капитан Батурин больше прав.

— Почему?

— Помните, как Гришка рубил пленных красноармейцев? С потягом, — сказал Петр. — Нет, нельзя человека раскладывать по графам, — горячо заговорила Саша.

— Но что же вам сказал капитан Батурин? — спросил Петр.

— Он сказал, что, когда враг берет нас за горло, мы не можем разбираться, сколько у него в душе хорошего и сколько плохого, а сами должны брать его за горло.

— Гм! — Петр пробежал глазами по дороге и, найдя впереди роты капитана Батурина, с уважением ощущал взглядом его прочную, сутуловатую спину.

Вокруг них звучали выстрелы, плакали дети, мычал скот, женщины, спотыкаясь

от усталости, толкали ручные тележки. Поддерживая друг друга, ковьяляли по дороге легко раненные солдаты, а на повозках, вверж лицом, лежали тяжело раненные с заостренными, сумеречными чертами небритых лиц. На узорном фоне полнорезлой степи резче выступали страдающие люди.

Но у молодости есть свойство закрывать глаза на темные стороны жизни и видеть только то, что освещено солнцем. За дни отступления Саша и Петр привыкли постоянно видеть вокруг себя пеструю, ошеломленную, охватенную горем толпу и поэтому они не могли думать только об одном. В их жестках, словах, улыбках и взглядах, обращенных друг к другу, неизбежно пробивалось сознание молодости. Не признаваясь себе, они безотчетно это чувствовали и понимали. К этому привыкли, ошеломленные сознанием близости. Невольно Петр замечал округлость сапанных коленей, выступавших из-под края защитной красноармейской юбки, тяжелей, пронизанный солнцем узел волос над девичьей шеей и оживленный блеск серых глаз, оттененных высокими дугами бровей.

И она, одаривая Петра взглядами подознательного лукавства, замечала и мужественную широту его сильных, хорошо развитых плеч, и голубизну его больших глаз, и маленький шрам под губом.

— Болит нога? — наклоняясь с брнички, сочувственно спрашивала она Петра.

— Ерунда, — он пренебрежительно пожимал плечами.

— А то садитесь, места хватит, — подбирая юбку, она отодвигалась в сторону на доске, перекинутой через борта брнички.

— Нет, не стоит, — Петр старался ровнее ступать больной ногой, бледнел от пронзительной боли, но, взглядывая на Сашу, небрежно улыбался и шел, совсем не хромя.

Это жизнерадостное ощущение молодости и светлого отношения к жизни, заставляя Петра не видеть ничего другого, кроме яркого солнечного дня и ласковых, серых глаз, вытесняло из его груди все тревоги. На миг он забывал суровые слова капитана Батурина, свой страх во время вчерашнего налета, мучительный стыд перед Андреем и перед самим собой...

Он оглядывался на Андрея, уже не избегая встречаться с ним взглядом, кивал ему головой и улыбался открытой, беспечной улыбкой. И видел сквозь плену дорожной пыли, что Андрей тоже улыбается ему в ответ. Правда, его улыбка была какая-то грустная и скучная.

— Ведь вы, кажется, из здешних мест? — наклоняясь к Петру, спрашивала Саша.

— Да. Не совсем. Я из Таганрога.

— Это все равно. Вы казак?

— Нет. Мой отец был штурманом на море. Вот мой товарищ — казак.

— Он? — посмотрев на Андрея, недоверчиво спросила Саша.

— Да, Андрей.

— Казак? — с разочарованием в голосе сказала Саша.

В ее представлении с этим словом всегда связывалась тонкий и темпераментный образ. А у Андрея было обличье крестьянского лица, как у большинства солдат, широкое, скуластое, темное, будто отлитое из старой бронзы. Несбыточными на его лице, пожалуй, были одни глаза — ядро-карие, блестящие, почти лиловые, точно черешни.

Андрей чувствовал, что они говорят о нем, видел улыбки и жесты, которыми обменивались между собой Петр и Саша, с простодушной доверчивостью то приближаясь, то отдаляясь друг от друга. Он смутно завидовал их настроению и горько признавалась себе в том, что не может его разделить.

С каждым новым шагом тоска все больше охватывала Андрея. Предчувствие встречи с отцом и матерью и неизбежной скорой разлуки с ними отзывалось в нем острым, тягостным беспокойством. Уж лучше бы совсем не встречаться!

Приближаясь к станице, он узнавал родные места, и каждая знакомая примета открывала новую рану в его сердце.

В эту балку Андрей, бывало, гонял из станицы на выпас табун. Так же блещет на склоне струя родника, и вокруг него рассыпаны ноздреватые глыбы желтого известняка. Вот покрытая мягкой мшистой зеленью круглая каменная станина от старого ветряка, когда-то он неутомимо махал на кургане своими бревенчатыми крыльями, далеко видный в окружности, как степной маяк. В развилке дорог все так же стоит путевой столб, покрашенный на памяти Андрея красными и белыми полосами. Теперь краска уже выцвела, ее смыли дожди и вылуцил ветер.

Оглядываясь на Дон, он видел знакомый залив, спрятанный в камышах. Не раз с отцом и с матерью он ездил на лодке в этот залив тянуть невод. А дальше, на левобережье, начиналось займище, откуда они каждое лето переправляли в станицу на баркасах сено.

Дон как бы делил степь на две половины, и одна резко отличалась от другой. Правобережье, по которому отступала рота, желтело массивами хлебных полей, зеленело левадами и горбатилось перекатами балок. А левый берег, до самого горизонта сплошь занимал ровный и пушистый луг в красных, синих и оранжевых крапинах цветов. Сейчас луг был скошен и повсюду на нем, до самых голубых далей, лежали валки сена.

Андрей втянул в себя воздух и явствен-

но ощутил на губах горьковато-терпкий сениной аромат. И сладкая отрада вошла ему в сердце. На секунду он прикрыл веки, чувствуя, как взбитая тьсячами ног и колес дорожная пыль пощипывает ему глаза.

Открыв глаза, он увидел сквозь туман бредущих и едущих по всем стетным дорогам беженцев, и это скорбное зрелище с новой силой потрясло его душу. С детства он привык видеть другую степь — то величаво-спокойную, укрытую покровом глубокого снега зимой, то наполненную бешеным жизним летом. Он знал ее с строгими квадратами вспаханных и засеянных полей, с голубыми кудрями дымов над молотильными токами, с пирамидами хлебных копен и скирд, с лиловыми ветроушорами на горизонте и с мягчайшими взмахами мельничных крыл в сумеречной мгле.

А тут шла по степи черная туча людей, машин и скота. Шли они по всем дорогам, прямо по крутой, вызревшей пшенице. Колеса пушек, каблуки солдат, копыта лошадей рушили и подминали под себя литой колос. Была пора жатвы, а в желто-пламенном хлебном разливе черной готой зияли безмолвные молотильные тока. Над ними не колыхались облака душистой пшеничной пыли, не всплескивался суровый крик зубарей: «Поддай, поддай, поддай-а-а-й!» Не стучало в ясном прозрачном воздухе деловито, весело и ушруго стальное сердце комбайна.

Впереди Андрея молодая женщина толкала перед собой по горячей пыльной дороге ручную тележку. На тележке, как грачата, испуганно и покорно жались двое ребятишек. Босые ноги женщины вспухли, покрылись струпьями, платок сбился с волос, и их густо припудрила дорожная пыль. В неподвижных, расширенных глазах женщины застыл вопрос: «Куда?»

Рядом на обозной бричке умирал раненый. Он вытянулся телом через всю бричку, так что его ноги в тяжелых солдатских сапогах со стертыми подковами торчали через борт. Под голову раненому кто-то положил его вещевой мешок. Скрестив на животе желтые, обескровленные руки, он все время шевелил длинными худыми пальцами, словно считал деньги. Когда бричка подпрыгивала на ухабах, он начинал шевелить пальцами быстрее. Андрей подумал, что, наверное, у него уже не оставалось никакого другого средства утешить боль. Не открывая вспухших синих век, раненый с короткими промежутками бормотал одно и то же слово: «ложись». И каждый раз это слово «ложись», точно острый нож, входило в сердце Андрея.

Оглядываясь на Сашу и Петра, он видел, как они, разговаривая, чему-то улыбаются. И, как бы освещенное их улыбка-

ми, перед взором Андрея резче выступало горе людей. Он глядел на толпу беженцев — и родная степь терла для него все очарование своих запахов и красок. Он не мог так, как Саша и Петр, любоваться ею поверх этого потока народных страданий. Темная туча, застилая глаза Андрею, шла по степи. И вокруг, на сиреневом горизонте, точно в немом изумлении безжизненно застыли неподвижные крылья серых бревенчатых мельниц.

Стоял яркий день. Волны света заливали землю. Нестерпимо резко блестел белый диск солнца. Андрей снова прикрыл веки, чувствуя, как горькая дорожная пыль все сильнее щиплет ему глаза.

VII

— Пора сделать привал. С самого расвета идем, — посмотрев на солнце, сказал капитан Батурин старшине.

— Привал! — закричали взводные командиры.

— Привал, привал! — веселым говорком пробежало по рядам.

Подводы съезжали с дороги, ездовые распрягали лошадей, стреноживали и пустили на попас. Солдаты сели на гребешки кюветов и стали разматывать портянки. Над их головами поплыл кудрявый махорочный дым.

Андрей сел на траву и развязал вещевой мешок. Подошел Петр.

— Ты будешь? — не поднимая головы, спросил Андрей, вынимая из мешка хлеб и завернутый в лист бумаги кусок мяса.

— Нет, не хочу, — возбужденно блестя глазами, отмахнулся Петр. На его щеках расходился кирпичный румянец. Он сбросил с плеч на траву свой вещевой мешок. — Там у меня сало осталось, можешь взять.

И пошел, нескладно размакивая длинными руками, туда, где остановилась бричка Саши. Андрей молча посмотрел ему в спину долгим взглядом. Он вынул из кармана брук складной нож с большой деревянной ручкой, достал из мешка Петра сало и, нарезая его мелкими ломтиками, стал накладывать их на хлеб. После этого он стал есть. За щеками у него зашуршали желваки.

На склоне балки, курчаво поросшем густой травой, завтракали офицеры. Капитан Батурин полулежал на траве. Фуражку он снял, и резко выступило, бросясь в глаза, несоответствие между его седыми волосами и молодым лицом. Старшина Крутицкий принес пшеничную булку, большими белыми руками аккуратно открыл консервы и нарезал сыр. Капитан Батурин рассеянно наблюдал за его руками. Рядом пласкался родник, пробивший себе русло на склоне балки. Вокруг него жевали глыбы известняка.

— Погреемся? — спросил политрук Тиунов, отстегнув от пояса большую алюминиевую флягу в кожаном чехле и отвинчивая пробку. Капитан Батурин улыбулся. День обещал быть жарким, солнце уже начинало печь. Тиунов истязал его улыбку по-своему и, бережно наливая в опрокинутую пробку фляги зеленовато-белую, прозрачную жидкость, с неповторимым кавказским складом речи заговорил:

— Десять лет живу в России я, русская жена, дети есть, а характер ваших людей, капитан, до конца никак не могу понимать. У нас вино, как вода все равно. Крестьянин землю пашет — под деревом бурдюк висит. Мальчик пяти лет уже кишку от боченка сосет. Под каждым домом свой погреб есть. А меня, капитан, в Москве, в тридцать седьмом году, честное слово, из академии хотели исключить — на именинах дочки выпивал. Нет, ты скажи, как может проживать такая... такая...

— Глупость? — улыбаясь, подсказал капитан Батурин.

— Нет! — поморщившись, Тиунов пощелкал костяшками пальцев.

— Чуть?

— Чуть, чуть! — обрадованно подхватил Тиунов. — Нет, и это не так, — приложив ладонь ко лбу, он полускрыл глаза, вспоминая нужное слово. Его полные, простодушно вывернутые губы беззвучно шевелились. Капитан Батурин, приподняв голову, ждал, рассеянно улыбаясь.

— Нашел! Такое... такое недоверие к человеку. Умный сам будет понимать, сколько можно пить. У вас хорошая поговорка есть: «Душа меру знай». А пустой человек все равно будет себя вином наливать. Каждый своей голове сам хозяин должен быть.

Он перевел свои ярко-черные глаза, то на капитана Батурина, то на старшину. Крупное белое лицо Крутицкого было неподвижно. Он много ел и смотрел за тем, чтобы другие ели, нарезая своими большими красивыми руками сыр, хлеб и открывая консервы. Один раз он налил себе из фляги водки в пробку и опрокинул ее в рот так, точно она была пустая. Тиунов проследил за его движением, полуоткрыв рот, на секунду перестал говорить и выразительно пощелкал языком.

— Нет, ты скажи, откуда в такой большой семье такой нехороший, мелкий бычок? — спросил он.

Тиунов был почти вдвое старше Батурина, но, посмотрев на седую голову капитана и на глянцево-черные волосы политрука, никто бы этого не сказал. У Тиунова было неправильное, скуластое лицо, гладко выбритое, до синеватого оттенка на щеках. Когда он говорил, особенную выразительность приобретали его быстрые, блестящие, точно сливы, глаза.

— Ты бы все это в политбюро вклю-

чил, Хачим, — выпив свою порцию водки и понохав корочку хлеба, с загоревшимися искорками в глазах сказал капитан.

— Ну, это совсем другой вопрос! — Тиунов взял из рук капитана пробку и, нахмурился брови, стал навинчивать ее на флажку. Капитан смотрел на него, прятая улыбку. Тиунов поднял глаза и, встретившись с его взглядом, просиял.

— Жарко, капитан! — он снял мерлушковую, с белым дном шапку и вытер ею бритый череп, усеянный капельками пота. В холод и в жару он носил горскую шапку с широким верхом, с темно-золотым отливом мельчайших, шелковых завитков. Когда он снимал ее, людям, привыкшим всегда видеть политрука в шапке, его череп казался срезанным наполювину.

Из-за Дона тянуло горечью вянущей луговой травы. По степи бежали быстрые тени облаков. Родник на склоне балки то шелестел чуть слышно, то наполняясь силой, начинал звенеть трубным, упругим звуком. Желтой точкой трепетал в недосягаемой высоте неба орел. Исчезая в тени облака, он через мгновение, загребая крылом, выплывал в светлый межоблачный колодец. В лучах солнца цветное оперение орла, вспыхивало пестрым, радужным блеском.

Капитан Батурич проследил глазами полет орла, перевел взгляд на усеянную точками бричек, арб и машин степь, и веселые искорки погасли в его глазах.

— Сколько у нас осталось патронов? — вполголоса спросил он, не глядя на старшину.

— По одному диску на автомат, — без запинки ответил старшина. Отрезав себе большой ломоть хлеба, он аккуратно намазывал на него перочинным ножичком сливочное масло.

— Мин? — не поворачивая головы и не меняя позы, спросил капитан. Он знал, что в роте давно уже не оставалось мин. Но ему очень хотелось услышать сейчас от старшины — не отыскался ли где-нибудь еще хоть один комплект.

— Ни одной, товарищ капитан, — подтвердил старшина таким тоном, точно радовался тому что в роте не оставалось ни одной мины. На самом деле ему приятно было лишний раз показать капитану и политруку свою осведомленность в делах роты.

Тиунов, не вмешиваясь в их разговор, молча переводил глаза то на одного, то на другого. На лице капитана уже не было тонкого, рассеянного выражения, а при последних словах старшины оно как будто окаменело. Бритое лицо Крутицкого после выпитой водки слегка порозовело.

Сквозь плеск родника и мелодичное повязыванье сбруи на лошадях, бродивших по склону балки в поисках травы, откуда-

то с верховьев Дона доносился звук разрыва. Капитан Батурич прислушался, не поворачивая головы. Звук повторился. Тень пробегающего облака надвинулась на лицо капитана, и Тиунову показалось, будто оно сразу постарело на несколько лет.

— Рыбу глушат, черти! — беспечно тоном сказал Тиунов.

Капитан ничего не сказал, но легкое движение пережало по его губам. Он достал из грудного кармана гимнастерки нитку четырехугольных блестящих бус янтарного цвета и медленно стал перебирать их в пальцах. Тиунов смотрел на его пальцы. Ему давно хотелось спросить капитана, откуда у него эти бусы, но и на этот раз он не спросил.

— Я командира батальона совсем не могу понимать, — привставая на коленях и поблескивая глазами, заговорил Тиунов. — Роту оставлять в арьергарде, самому вперед уходить, людей бросать. Какую надо совесть иметь?

— Батальон ушел на Кубань, Хачим, — устало возразил капитан.

— Но связного он мог бы прислать? — раздувая ноздри, спросил Тиунов.

— Нам придется вливаться в другой батальон. Я уже послал связаться с ближайшим штабом, — сказал капитан, и выраженные озабоченности появились у него на лице.

Ветер опять принес с верховьев Дона звуки разрывов. Ясно стала различима отдаленная и скоротечная артиллерийская стрельба. Лошади на склоне балки запрядали ушами.

Было видно, что солдаты, лежавшие вокруг на траве, тоже прислушиваются. Кто поднял голову, кто приподнялся на коленях, а кто встал с травы во весь рост. Ехавшие по всем степным дорогам арбы, телеги и фуры остановились, ездовые привстали на передках с кнутами в руках и стали смотреть на восток.

— Этого надо было ожидать, — невнятно, сквозь зубы сказал капитан.

— Что? — быстро спросил Тиунов.

— Нас обходят, — с уверенностью качнул головой Крутицкий.

— Э, старшина, зачем так людей пугать, — поморщился Тиунов.

— Да, это окружение. Надо разбиваться на мелкие группы и просачиваться по ночам, — невозмутимо продолжал Крутицкий. Он собрал хлеб, сыр и стал складывать их в чемодан. На секунду капитан Батурич вскинул на него острые, сузившиеся глаза и опять опустил взгляд.

— На Кавказе поговорка есть, — насмешливым тоном сказал Тиунов. — «Ишак ревел — баран пугался, думал, что барс», — он оглянулся на солдат и, понижая голос, добавил, — раньше чем такие слова говорить, надо думать, старшина.

— Мелкими группами легче проникать через фронт, товарищ политрук, — рассудительно возразил Крутицкий.

— Чушь! — отрезал Тиунов и, пощелкав пальцами, звучно повторил подсказанное ему ранее капитаном Батуриным слово. — Чушь! Если тебя послушать, можно всю роту погубить. Это все равно, как тебе сказать... — Он пошарил глазами, и взгляд его упал на большие белые руки Крутицкого. — Вот! — Тиунов выбросил вперед свою смуглую, поросшую светлым курчавым волосом руку. — Все пальцы вместе сжимать, — он сжал до синевы небольшую, тугой, как свинчатка, кулак, — крепкий удар можно наносить. А так, если каждый палец один, — он растопырил шершавую, желтоватую ладонь и пошевелил каждым, в отдельности, пальцем, — что он может сделать?

И он посмотрел на капитана. Капитан достал из кармана папиросу и, закурив, окутался густым облаком дыма. Сквозь завесу дыма Тиунову почудилась смутная улыбка на его лице.

— Все равно, что можно сделать с одной ротой, когда у них здесь главные силы? — самоуверенно сказал Крутицкий.

— Ты, должно быть, в школе учился, старшина, географию изучал, — тонко улыбнулся Тиунов. — От Харькова до Сталинграда почти тысяча километров, откуда у них тут через две недели могут главные силы быть? Просто проскочило несколько десятков танков. Как это называется — дуриком захотели нас взять. Обыкновенный немецкий авантюризм...

Капитан шурился, наблюдая, как такт в воздухе белесые колечки дыма. Казалось, его совсем не интересует их разговор. Степь была объята истомной тишиной, мягко подчеркнутой голосами птиц и шорохами трав. «Пить пойду, пить пойду», — бормотал неподалеку перепел. Золотистой точкой трепетал в небе орел.

— Так что же мы будем делать с Середой? — тоном, исключавшим какое бы то ни было участие в их споре, спросил капитан.

— Я уже приказал произвести дознание, — встрепенувшись ответил Крутицкий, и его неподвижное лицо впервые словно оживилось.

— Он что сделал? — спросил Тиунов.

— Он покинул пост вчера на мосту, — не сразу ответила капитан.

— Да, и этим затруднил переправу, — подсказал Крутицкий.

— ...покинула пост, чтобы спасти девочку, — медленно продолжал капитан.

— Какую девочку? — удивился Тиунов.

— Девочка упала в воду, он прыгнул и вытащил ее из реки, — неохотно пояснил капитан.

— Кроме этого, он трус, — вставил Крутицкий.

— Трус? — переспросил Тиунов.

— Да, вчера во время налета он спрятался под мост и просидел там до конца.

— Ну, чтобы Середа был трусом, этого нельзя сказать, — сухо заметил капитан. — Третьего дня он подбил танк.

— Это разные вещи, — пожал плечами Крутицкий.

Тиунов внимательно посмотрел на него, потом на капитана. Устапо прикрытые глаза капитана будто потухли. «Пить пойду», — опять пробормотал перепел где-то совсем рядом. Взгляд капитана на мгновение оживился. Из травы вытлгнула рябенькая головка птицы, с блестящими, как бусы, глазами и тотчас же скрылась.

В покров степной тишины врезался тонкий, сверлящий свист. Высоко над ротой, чуть в стороне от дороги шло на запад звено самолетов. Блистая алюминием, они то скрывались в белой пене облаков, то снова показывались из них, затейливо кувыркаясь, кружась каруселью и обгоняя друг друга. Паривший над степью орел, заслышав над собой металлический рокот, вдруг резко метнулся в сторону и, сложив крылья, камнем упал вниз. Тиунов проследил глазами его полет и повернулся к Крутицкому.

— Посмотри, старшина, какая могучая птица орел. Когда он летит, все птицы прочь бегут от него, звери скрываются в норы, всякая живая тварь перед ним дрожит. А когда пролетел самолет, сам орел испугался. Ты когда-нибудь боялся, старшина?

— Я думаю, это лишний вопрос, — пожал плечами Крутицкий.

— А я думаю, что только очень равнодушный человек никогда страха не знает. Презрение к смерти — это я понимаю. Это, когда сначала боялся человек, а потом сам себя поломал. А если говорят — пренебрежение смертью, я всегда думаю, что это какая-то глупая башка один раз сказала, а другая глупая башка после него стала повторять. Зачем человеку было рождаться, если он может равнодушно умирать. Теперь ты скажи, если человек в воду прыгал, девочку спасал, разве ему трусливое сердце приказало так сделать?

— Он в это время стоял на посту, — с угрюмоватым раздражением сказал Крутицкий, и выражение упорства застыло на его лице.

Тиунов посмотрел на него, видимо, хотел что-то сказать, но только пошевелил губами. Сняв шапку и вытерев мерлушкой вспотевший череп, он повернул к капитану лицо.

— Так что же мы будем делать с Середой? — он помолчал и вполголоса, будто про себя добавил. — Я знаю, что у него в Таганроге оставались сестренка и мать.

Полуприкрытые веки капитана слегка дрогнули, и легкая гримаса, как отраже-

ние какой-то мгновенной внутренней боли, пробежала по его лицу. Он сжал рукой лежавшие на траве бусы, медленно, заикаясь, сказал:

— Прикажите от моего имени, чтобы с-строились, старшина.

— А как же с этим делом? Продолжать дознание или... — вставая с земли, неуверенно спросил Крутицкий.

— Делайте сейчас то, что вам говорят, — служебным тоном повторил капитан. Он помолчал и мягче добавил. — Этим делом я сам займусь.

— Есть, — вставая, сказал Крутицкий и, повернувшись, пошел к роте.

«Вот за это и люблю», — глядя своими большими, черно-блестящими глазами в молодое и прустное под белыми волосами лицо капитана, подумал Тиунов.

— Главное его достоинство — трезвая голова, — провожая Крутицкого глазами, сказал капитан.

Крутицкий подошел к взводным командирам, которые отдельной стайкой сидели в стороне, и те, выслушав его, стали подниматься с земли. После этого он подошел к ротной телефонистке Саше, стояв-

шей у подводы с каким-то красноармейцем. Отозвав Сашу в сторону, старшина что-то сказал ей, и она отрицательно покачала головой.

— Трезвая голова? — переспросил Тиунов. — Ну, пить-то он может, как лошадь, — с уверенностью сказал он.

— Ты так думаешь? — с интересом посмотрел на него капитан. — Скажи, Хачим, какого ты мнения о старшине?

— Чтобы хороший дом покупать, надо сначала посмотреть, какой он бывает днем, когда солнце, и когда ночь. Потом надо узнавать, как в нем проживать, когда лето и когда зима. — осторожно и не сразу ответил Тиунов.

— Вот как? — глядя на него и улыбаясь, сказал капитан.

— Но все же Середу за то, что он покинул свой пост, надо наказать. Судить — это строго, а наказать надо, — сказал Тиунов.

— Да, да, — неопределенно ответил капитан. — Но что же это не едет связной? — вставая с травы, озабоченно сказал он, и тень окаменелости опять набежала на его лицо.

(Продолжение следует.)

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

★

НА ЭЛЬБЕ

Я помню Волги величавый бег,
Днепровские взбурлившиеся воды.
Вчера я была на Эльбе, Сколько рек
Мне воспевать пришлось за эти годы.

Последняя военная река
Струилась, как беседа меж друзьями,
Бойцы американского полка
Переключались через волны с нами.

За их плечами строились в ряды,
Толкаясь и шумя от нетерпенья,
Рабы и пленники большой беды,
Дожившие до счастья возвращения.

Как в сказке, вырос мост. И по нему
Пошла толпа. В рядах нестройно пели.
У нас, солдат, привыкших ко всему,
Совсем некстати веки повлажнели.

Страна моя, Москва моя... Поют
И рукавами утирают слезы.
Быть может, я друзей увижу тут
И вспомню подмосковные морозы.

Шел горестью испытанный народ
По свежим доскам, мокрым и покатым,
То возвращался сорок первый год,
Чтоб утолить печали в сорок пятом.

Из лагерей угрюмых люди шли.
На лицах таял грусти отпечаток.
В руках цветы нерусские несли
Глазастые полтавские девочки.

Быть может душу сберегли не все
В толпе огромной. После разберемся.
Но эти лица в утренней росе
Ни капли не таили вероломства.

Пора домой! Мы все — одна семья.
Мы сыновья Советского Союза.
Прощаясь с нами, в дальние края
Голландцы шли, бельгийцы и французы.

Лучилась солнца золотая сень,
Все начиналось сызнова, как в детстве.
Вчера я это видел. Светлый день,
Как в волнах Эльбы, отразился в
сердце

Магдебург

★

КАБАРЕ «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»

Как скучно, друзья, в воскресенье
На тусклой немецкой заре.
Сегодня дает представление
Открытое вновь кабаре.

Красавица смотрит с афиши,
Знакомая нам по кино.
Сквозь бомбой разбитую крышу
Вечернее небо видно.

Нет, я эту улигу злою
В обличье ином опишу.
Я все еще сердцем воюю,
Я все еще боем дышу.

Но тихо и грустно в Берлине.
Давно отгремела война,
Костлявые пляшут богини
И скрипка в оркестре пьяна.

Кривляется карлик во фраке,
Но зрители грустно молчат.
Их белые лица во мраке,
Как лица убитых солдат.

В кирпичные дыры и раны
Вдруг дождь залетает сюда
И медленно сходит с экрана
Голодная кино-звезда.

Мотив сорок первого года
 Артистка поет в микрофон.
 Наверное перед походом
 Запомнился юношам он,

Как снилась она гренадерам
 Под Киевом и на Дону,
 Поклонникам, черным позором
 Окончившим эту войну!

Ничто не приснится им больше,
 Распотаны песня и честь,

В Орле, на Полесье и в Польше
 Крестов из березы не счесть.

...Пойдемте, товарищи, что ли.
 Сюда заглянули мы зря,
 Чужой мы не чувствуем боли.
 На улице дождь и заря.

Пройдемте по Унтер-ден-Линден,
 Я в гости к себе вас зову,
 По радио, может, на длинных
 В двенадцать поймаем Москву.

Берлин

★

СНОВА НА РОДИНЕ

Снова цветут при дорогах ромашки,
 Тихие ивы стоят у реки.
 Снова зеленые с синим фуражки,
 Словцо в траве васильки.

В долгом пути, как страницы тетрадки,
 Перелистал я четыре страны,
 Перечитал я в обратном порядке
 Годы великой войны.

Вспомнил я тех, с кем шагали мы
 вместе,
 Тех, кто победы увидеть не смог.
 Трубку набил я махоркою в Бресте —
 Сладок и горек дымок.

Снова на родине, снова я дома,
 Болью давнишней мне сердце щемит.
 Темные избы под бурой соломой,
 Край — неказистый на вид.

Как материнские любят морщины,
 Каждый из нас полюбил навсегда
 Эти овраги, болота, равнины,
 Где громыхала беда.

Вон проплывает по синей природе
 В шрамах, избитый снарядами весь,

Как пароходик, пыхтящий, заводик,
 Вновь появившийся здесь.

Много я видел красот за границей —
 Гладкие реки шоссеиных дорог,
 Дачи стеклянные под черепицей,
 Чистенький жадный мирок.

В танках и пушках была наша слава,
 Труден был путь нашей честной судьбы:
 Самая сильная в мире держава
 С аистом возле трубы.

Не пригибаясь и не потакая,
 Горе любое встречая без слез,
 Вот ты каких победила, такая
 Родина белых берез.

Время на крыльях стремительных
 мчится,

Горы сдвигает родная страна.
 А черепица — да что черепица,
 Будет у нас и она.

Стало дышаться легко и широко,
 Все перевозимо наш великий народ,
 И не на версты — далеко-далеко
 Видно на годы вперед.

Минск

★

НОЧНОЙ САМОЛЕТ

Ночью в тучах слышен самолет.
 Смутный гул его доносит ветер.
 Вот сейчас над нами он пройдет,
 Нас с тобой заметит? Не заметит?

Ты прижмешься к моему плечу
 И в убежище идти не надо.
 Но опять — хочу иль не хочу —
 Вспоминаю ночи Сталинграда.

Погасите лампочки скорей!
 Затопчите тотчас папиросы!

Самолет летает у дверей,
 Словно когти, выпустив колеса.

...Но никто не слушает меня.
 Город пляшет и смеется ночью.
 Площадей веселых толкотня,
 Огоньков живое многоточье.

Мы тревожно замерли. Опять
 Ровный рокот проползает мимо.
 Завтра будут розы продавать,
 Самолет доставил их из Крыма.

Москва

ДАЛЕКИЕ ГОДЫ

Повесть о детстве

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

★

СМЕРТЬ ОТЦА

Я был гимназистом седьмого класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля моего отца — начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длиннородный, близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.

Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.

Феоктистов рассказал мне, что ночью пошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина — гребля.

Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула-извозчик.

Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова гимназистка Зина старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатым ломтик лимона на блюдечке и молчал.

— Ну что ж, позovem Брегмана, отпетого старика, — решил, наконец, Феоктистов. — Ему сам черт не брат.

Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами «Нивы» в тисненых золотом переплетах, вошел извозчик Брегман, — самый храбрый человек в Белой Церкви.

Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щечки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.

— Ой, несчастье! — сказал он, наконец,

фальцетом. — Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятя и кони, и файгон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в «Киевской мысли». Вот что мне невъяснимо, пане Феоктистов! А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать! Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца, я не побожусь, что пять или, положим, десять.

— Спасибо, Брегман, — сказал Феоктистов. — Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу «Ниву» до конца года.

— Ну, уже если я такой храбрый, — пропищал, усмехаясь, Брегман, — так вы мне лучше выпишите «Русский инвалид». Там я по крайности почитаю про кантонистов и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.

Брегман ушел.

В телеграмме, полученной в Киеве, была странная фраза: «Привези из Белой Церкви священника или ксендза — все равно кого, лишь бы согласился ехать».

Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист, поклонник Эрнеста Ренана. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабкой-полькой — фанатичной, как почти все польские женщины.

Отец никогда не ходил в церковь. Один только раз он повел меня в Софиевский собор в Киеве на пышную службу, полную отблесков золота и торжественных песнопений. Это было вечером 31 декабря 1899 года. Служили молебен по случаю начала нового, двадцатого века.

В тот вечер на город падал отвесный снег, тускло горели фонари и отец говорил мне, что носый век принесет свободу и счастье, что я должен верить в это и

быть очень передовым и честным; если судьба наградила меня способностями, то непременно сделаться писателем.

Мне шел тогда девятый год. Я представлял себе писателя человеком с бакенбардами, с веселым зычным голосом, с наганом в кармане — нечто вроде героев любимого мною тогда Луи Буссенара.

Он колесил, этот писатель, по Индии и Старому Свету, спасал красивых женщин из рук пиратов, нюхал морской ветер, пил ром и вообще вел хлопотливую и опасную жизнь. Непонятно было только, когда же он успевал писать. И как он, должно быть, скучал, когда ему приходилось садиться за стол и брать в загорелые руки, привыкшие к холоду стакана, к рукоятке пистолета, к зверскому рукопожатию, — простое вульгарное перо.

Отец совершенно не следил за мной и не знал, что я зачитывал тогда до дыр толстые тома «Вокруг света».

Я догадывался, что на приезде священника настояла сестра моего отца Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетушка Дозя.

Она была старая дева, сектантка, штундистка и отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял «Кобзарь» Шевченко, спрятаанный в окованном сундуке и такой же пожелтевший и закапанный воском, как библия.

Тетушка Дозя доставала его изредка по вечерам, читала при свече «Катерину» и поминутно вытирала темным платком глаза.

Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-деваде за усадьбой зеленела могила ее сына, «малесенького хлопчика», умершего много лет назад, когда тетушка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, «незаконным» ее сыном.

Любимый человек обманул тетушку До-зю, бросил ее. Но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, — почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, — и она, отругав его как следует, приютит, наконец, и пригреет.

Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святые дары, нельзя разговаривать.

Ксендз носил черное длиннополое пальто с бархатным воротником, странную, тоже черную круглую шляпу и черные перчатки.

В костеле было сумрачно, холодно. По-нижнему, висели у подножья распятия

очень красивые бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органичных раскатов костел напоминал театральные кулисы при скучном дневном освещении.

Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы, не «но», а «вье!». Дождь шумел в низких и дико пахнущих садах. Ксендз держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.

В дыму дождя подымались, казалось, до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, как говорил мне Феоктистов, равные по величине Версалю. В них таял снег, заволакивал холодным паром деревья, Брегман, обернувшись, рассказал, что в этих садах волются косули.

— Эти сады очень любил Мицкевич, — сказал я ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу. Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.

В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетающие с криками галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце.

Я прожил с ним почти всю жизнь, но мало его знал. Он был известным в то время статистиком и служил на разных железных дорогах. Мы часто переезжали из города в город. — из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, легкомысленный и добрый человек.

Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недолго, отец неожиданно бросил службу и вернулся в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат — сельский учитель Илько и тетушка Дозя.

Поступок отца — необъяснимый и как будто бессмысленный — смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время со старшим братом в Москве.

Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь — умирает.

Дорога пошла вниз по оврагу, и в конце его был уже слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.

— Гребля! — сказал он упавшим голосом. — Теперь молитесь богу, пассажиры! Гребля открылась внезапно за поворотом, Ксендз привстал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.

Вода легко неслась, зажата гранитными скалами. В этом месте река Рось прорывалась, беснуясь, через мало кому из-

вестные Авратынские горы. Вода шла через каменную плотину прозрачным валом, с грохотом падала вниз и моросила в лицо холодной пылью.

За рекой, по ту сторону гребли, вздымались огромные тополя и белел маленький дом. Я узнал усадьбу на острове, где жил в раннем детстве — ее левады и плетни, коромысла колодцев-журавлей и скалы у берега, неутомимо резавшие речную воду, разнимавшие ее на отдельные могучие потоки. С этих скал мы когда-то с отцом ловили усатых пескарей.

Брегман остановил коней около гребли, слез, поправил кнутовищем сбрую, недоверчиво осмотрел свой экипаж и покачал головой. Тогда впервые ксендз нарушил обет молчания.

— Езус-Мария! — сказал он тихим голосом. — Как же мы переедем?

— Э-э! — ответил Брегман. — Откуда я знаю, как? Сидите спокойно. Потому что кони уже трясутся

Гнедые лошади, задрав морды, храпя, вошли в стремительную воду. Она редела и стаскивала легкую коляску к неогороженному краю гребли. Коляска шла как-то боком, косо, скрежетала железными шинами. Лошади дрожали, упирались, почти ложились на воду, чтобы она не сбила их с ног. Брегман вертел кнутом над головой.

По середине гребли, где вода шла сильнее всего и даже звенела, лошади остановились. Черные водопады бились около их тонких ног. Брегман закричал плачущим голосом и начал немилосердно хлестать лошадей. Они попятнулись и сдвинули коляску к самому краю гребли.

Тогда я увидел дядю Илько. Он скакал на серой лошади от усадьбы к гребле. Он что-то кричал и размахивал над головой связкой каната.

Он въехал на греблю и швырнул Брегману канат. Брегман торопливо привязал его где-то под козлами, и трое коней — двое гнедых и серый — выволокли, наконец, коляску на остров.

Ксендз перекрестился широким католическим крестом. Брегман подмигнула дяде Илько и сказал, что долго еще люди будут помнить такого балагула, как старый Брегман, а я спросил: как отец?

— Еще жив, — ответил Илько и поцеловал меня, оцарапав бородой. — Ждет. А где мама? Где Марья Григорьевна?

— Я послал ей телеграмму в Москву. Должно быть, придет завтра.

Илько посмотрел на реку.

— Прибывает, — сказал он. — Плохо, милый мой Костик. Ну, может быть, пронесет. Пойдемте!

На крыльце нас встретила тетушка Дозя — вся в черном, с сухими, заплаканными глазами.

В душных комнатах пахло мятой. Я не сразу узнал отца в желтом старике, за-

росшем серой щетиной. Отцу было всего пятьдесят лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с его необыкновенной печальной улыбкой и серыми внимательными глазами.

Сейчас он сидел в кресле, трудно дышал, смотрел, не отрываясь, на меня, и по сухой его щеке сползла слеза. Она застыла в бороде, и тетушка Дозя вытерла ее чистым платком.

Отец не мог говорить. Он умирал от рака гортани.

Всю ночь я просидел около отца. Все спали. Дождь кончился. Звезды угрюмо горели за окнами. Все громче шумела река. Вода быстро подымалась, через плотину уже нельзя было проехать, и Брегман с ксендзом застряли на острове.

Отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог и сказал свистящим шопотом.

— Боюсь.. погубит тебя.. бесхарактерность.

— Нет. — тихо возразил я. — Этого не будет.

— Маму увидишь, — прошептал отец, — пусть простит..

Он замолчал и слабо стиснул мою руку. Я не понял тогда его слов, и только гораздо позже, через много лет мне стало ясно их горькое значение. Также на много позже я понял, что мой отец был по существу совсем не статистиком, а поэтом. Он стремился жить поэтической сущностью вещей, не зная, что законы действительности расходятся с поэзией и что невозможность сделать поэзию жизнью всегда приводит таких людей, как он, к мучениям, запутанности и катастрофам.

На рассвете он умер, но я не сразу об этом догадался. Мне показалось, что он спокойно уснул.

На острове у нас жил старый лед Нечипор. Его позвали читать над отцом псалтырь.

Нечипор часто прерывал чтение, чтобы выйти в сени покурить махорку. Там он шопотом рассказывал мне незамысловатые истории, потрясшие его воображение, — о бутылке пива, выпитой им прошлым летом в Белой Церкви, о том, что он видел под Плевной самого Скрбелева так близко, «как до того плетня», и об удивительной американской веялке, работающей от громоствода. Дед Нечипор был, как говорили на острове, «легкий человек» — враль и болтун.

Он читал псалтырь весь день и всю следующую ночь, отщипывая черными ногтями нагар со свечи, засыпал стоя, всхрапывал и, очнувшись, снова бормотал молитвы.

Ночью на другом берегу реки кто-то

начал махать фонарем и протяжно кричать Я вышла с дядей Илько на берег.

Река редела. Вода шла через греблю холодным волопадом. Ночь стояла поздняя, глухая — ни единой звезды не было над головой. В лицо дуло дикой свежестью разлива, оттаявшей землей. И все время кто-то махал на том берегу фонарем и кричал, но слов за шумом реки нельзя было разобрать.

— Должно быть, мама, — сказал я дяде Илько, но он мне ничего не ответил.

— Пойдем, — сказал он, помолчав. — Холодно на берегу. Простудиться.

Я не захотел идти в дом. Дядя Илько помолчал еще немного и ушел, а я стоял и смотрел на далекий фонарь. Ветер дул все сильнее, качал тополя, нес откуда-то сладковатый дым соломы.

Мама! Я не видел ее почти год. Семья наша давно распалась. Я остался один в Киеве. — мне было трудно одному.

Я снимал комнату на Лукьяновке у пехотного поручика Ромуальда Козловского. Он жил вместе с молчаливой и доброй своей матерью, весь день ходил с бинтами на белокурых усах, из комнаты его пахло иодоформом и бриллиантином. В хорошие минуты он напевал тенором «Спите орлы боевые» или «В старину жилаи деды веселей своих внучат», заходил ко мне, снисходительно перебирал книги на моем дощатом столе — Томаса Манна, Метерлинка, Флобера — и говорил:

— Все это — типичная болтовня импонтентов. Вы сделаетесь неврастеником от этих сочинений. Играйте лучше в футбол.

Среди зимы ко мне приехала из Москвы мама. В молодости она была красивой и тонкой и носила темные бархатные платья с треном и вырезом на груди. Я помню, как свежо и празднично пахли эти платья и ее рука с тяжелым браслетом.

Сейчас ничего этого не осталось. Узкие ее губы были сжаты до синевы, седые редкие волосы сильно стянуты узлом на затылке.

Черное старенькое платье пахло бензином и еще каким-то осбенным запахом, свойственным старушечьим вещам — запахом залежалости, непроветренных комодов.

Она сжала мне ладонями щеки и все плакала молча, горько, как плачут дети. Потом она начала быстро говорить, что мой отец — фантазер, что ему нельзя было жениться и иметь семью, что мы теперь нищие, что она уже все что можно заложила в ломбарде, ничего сейчас не в состоянии сделать, чтобы облегчить мне жизнь, и потому я должен терпеть и надеяться.

Я давно уже знал, что мне не на кого надеяться, что у меня нет семьи. Я ничего не хотел от нее, кроме теплоты, ласки.

Я гладил ее сморщенные, худые руки, а она все так же лихорадочно говорила об отце, о своем горе, обедах и подозрениях и все спрашивала меня — неужели я оправдываю отца, пожертвовавшего семьей ради своих увлечений, выдумок, своего неуживчивого характера и эгоизма.

— Ты с кем? — спрашивала она, теребя ридикюль. — С ним или со мной? Что же ты молчишь? Говори!

Я любил и отца и ее — и не знал, что ответить. За стеной Ромуальд Козловский прокашлялся и зашел: «Хвала тебе, бог Гименей!» Мать испуганно замолчала, достала платок, вытерла глаза и сказала.

— Я пойду к пани Козловской. Надо поблагодарить ее за тебя.

Она ушла к пани Козловской. Они долго о чем-то говорили, и я слышал, как пани Козловская сказала маме:

— Надо шадить молодость, Мария Григорьевна.

Утром отца хоронили. Нечипор и дядя Илько выкопали могилу в левале на краю оврага. Оттуда были далеко видны леса за Росью и белесое мартовское небо.

Гроб вынесли из дома на широких вышитых рушниках. Впереди шел ксендз. Он смотрел серыми спокойными глазами прямо перед собой и говорил аполгодоса латинские молитвы.

Когда гроб вынесли на крыльцо, я увидел на том берегу реки старую коляску, распряженных и привязанных к ней лошадей и маленькую женщину в черном — маму. Она стояла неподвижно на берегу. Она видела оттуда, как выносили отца. Потом она опустила на колени и упала головой на песок.

К ней подошел высокий, тощий извозчик, наклонился над ней и что-то говорил, но она все так же лежала неподвижно.

Потом она вскочила и побежала вдоль берега к гребле. Извозчик схватил ее. Она бессильно села на землю и закрыла лицо руками.

Отца несли по дороге в леваду. На повороте я оглянулся. Мать сидела все так же, закрыв лицо руками.

Все молчали. Только Брегман похлопывал кнутовищем по сапогу.

Около могилы ксендз поднял глаза к холодному небу и внятно и медленно сказал по-латыни:

— *Reguem aeternam dona eis, Domine. et lux perpetua luceat eis.*

«Вечный покой и вечный свет даруй ему, господи!»

Ксендз замолчал, прислушался. Шумела река, и над головой, в ветвях старых вязов, пересвистывались синицы. Ксендз вздохнул и снова сказал:

— *Ad te clamamus exules filij Haevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle!*

Ксендз говорил о вечной тоске по сча-

стью и о долине слез. Слова эти удивительно подходили к жизни отца. У меня от них сжалось сердце.

Шумела река, осторожно свистели птицы, и гроб, осыпая сырую землю и шурша, медленно опускался на рушниках в могилу.

Мне было тогда семнадцать лет.

ДЕДУШКА МОЙ МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ

После похорон отца я прожил еще несколько дней в Городище.

Только на третий день, когда сошла вода, мать смогла переехать через платину. Мать осунулась, почернела, но уже не плакала, только часами сидела на отцовской могиле.

Живых цветов еще не было, и могилу убрали бумажными пионами. Их делали девушки из соседней деревни. Они любили влетать эти пионы в свои косы вместе с шелковыми разноцветными лентами.

Тетушка Дозя беспокоилась, что мне будет скучно. Чтобы развлечь меня, она вытащила из чулана — «коморы» сундук, полный старинных вещей. Крышка его открывалась с громким певучим звоном.

В сундуке я нашел пожелтевшую, написанную по-латыни гетманскую грамоту — «универсал», медную печать с гербом, георгиевскую медаль за турецкую войну, несколько обкуренных трубок и черные кружева тончайшей работы.

«Универсал» и печать остались у нас в семье от гетмана Сагайдачного — нашего отдаленного предка. Отец посмеивался над своим «гетманским происхождением» и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными терпеливыми хлеборобами, хотя мы и потомки запорожских казаков.

Когда Запорожская Сечь при Екатерине Второй была разогнана, часть казаков поселилась на берегах реки Рось, около Белой Церкви. Казаки неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце девятнадцатого века, слышал от стариков рассказы о кровавых сечах с поляками, походах «на Туретчину», об Уманской резне и чигиринских гетманах.

Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Игнали мы в овраге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох — будяк. Красные его цветы и листья с колючками издавали в жару приторный запах. Облака останавливались в небе над оврагом — ленивые и пышные, настоящие украинские облака. И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим

чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови.

С годами запорожская буйность потускнела. Во времена моего детства она сказывалась только во многолетних и разорительных тяжбах с графиней Браницкой из-за каждого клочка земли, в упорном браконьерстве и казачьих песнях-думках. Их пел нам, своим внучатам, дед мой Максим Григорьевич.

Маленький, седой, с бесцветными добрыми глазами, он все лето жил на пасеке за леводои: отсиживался там от гневного характера моей бабки-турчанки.

В давние времена дед был чумаком. Он ходил на волах в Перекоп и Армянск за солью и сушеной рыбой. От него я впервые услышал, что где-то за голубыми и золотыми степями Катеринославщины и Херсонщины лежит райская крымская земля.

До того, как дед стал чумаком, он служил в николаевской армии, был на турецкой войне, попал в плен и привез из плена, из города Казанлыка во Фракии, жену, красавицу-турчанку. Звали ее Фатьма. Выйдя за деда, она приняла христианство и новое имя — Христина.

Бабушку-турчанку мы боялись не меньше, чем деда, и старались не попадаться ей на глаза.

Дед, сидя около шалаша среди желтых шершавых цветов тыквы, напевал дребезжащим тенорком казацки думки и чумацкие песни или рассказывал всяческие истории.

Я любил чумацкие песни за их заунывность. Такие песни можно было петь часами под скрип колес, валяясь на возу и глядя на небо. Казацкие же песни всегда вызывали непонятную грусть. Они казались мне то плачем невольников, законных в турецкие цепи — кайданы, то широким походным напевом под топот лошадиных копыт.

Чего только не пел дед! Чаще всего он пел любимую нашу песню:

Засвисталы козаченьки
В поход с полуночи.
Заплакала Марусенька
Свои ясны очи.

А из дедовских рассказов мне больше всего нравилась история лирника Остапа.

Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь украинскую лиру. Сейчас, должно быть, ее можно увидеть только в музее. Но в те времена не только на базарах в маленьких прохладных городках, но и на улицах Киева часто встречались слепцы-лирники.

Они шли, держась за плечо босого маленького поводыря в посконной рубахе. В холщевой торбе за спиной были спрятаны хлеб, лук и соль в чистой тряпочке, а на груди висела лира. Она напоминала

екрипку, но к ней были приделаны рукоятка и деревянный стержень с колесиком.

Лирник вертел рукоятку, колесико кружилось, терлось о струны, и они жужжали на разные лады, будто вокруг лирника гудели, аккомпанируя ему, добрые ручные шмели.

Лирники почти никогда не пели. Они говорили певучим речитативом свои думки, «псалмы» и песни, потом замолкали, долго слушали, как жужжит, затихает лира и, глядя перед собой незрячими глазами, просили милостыню.

Просили они ее совсем не так, как обыкновенные нищие. Я помню одного высокого лирника в городе Черкассах. «Киньте грошик, — говорил он, — мне, слепцу, и хлопчику, потому что без того хлопчика слепец заплутается и не найдет дорогу после своей кончины в божий рай».

Я не помню ни одного базара, где бы не было лирника. Он сидел, прислонившись к пыльному тополу. Вокруг него теснились и вздыхали жалостливые бабы, бросали в деревянную миску позеленевшие медяки.

Представление о лирниках навсегда связалось у меня с памятью об украинских базарах — ранних базарах, когда роса еще блестит на траве, холодные тени лежат поперек пыльных дорог и синеватый дымок струится над землей, уже освещенной солнцем.

Запозевшие кувшины-глетчики с ледяным молоком, мокрые бархатцы в ведрах с водой, гречишный мед в мажитах, горячие ватрушки с изюмом, решета с вишнями, запах тарани, ленивый церковный перезвон, стремительные перебранки баб-«цокотух», кружевные зонтики молодых провинциальных щеголих и внезапный гром медного котла — его тащил на плечах какой-нибудь румын с дикими глазами. И все «дядьки» считали своей обязанностью постучать по котлу кнутовищем, попробовать, хороша ли румынская медь.

Историю лирника Остапа я знал почти наизусть.

«Случилось то в селе Замощье под городом Васильковом, — рассказывал дед, — Остап был в том селе ковалем. Кузня его стояла на выезде под черными вербами по-над самой рекой. Не знал Остап неудачи — ковал коней, гвозди, ковал оси для чумацких возов.

«Как-то к летнему вечеру раздувал Остап меха в кузне, а на дворе прошла в тот час гроза, раскидала по лужам листья, ковалила трухлявые вербы. Раздувал Остап меха и вдруг слышит — топая горячие кони, останавливаются около кузни. И чей-то голос — женский, молодой — зовет коваля.

«Вышел Остап и замер, — у самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина большой красоты в длинном

бархатном платье, с хлыстом, с вуалькой. Только глаза смеются из-под той вуальки. И зубы смеются. А бархат на платье мягкий, сияющий и блискается на нем капли, падают после дождя с черных верб на ту женщину. И рядом с ней на другом коне — молодой офицер. В ту пору в Василькове стоял полк уланов.

«— Коваль, голубчик, — говорит женщина, — поджуй мне коня. Потеряла подкову. Очень скользкая дорога после грозы.

«Женщина сошла с седла, села на колоду, а Остап начал ковать коня. Кует и все поглядывает на женщину, а она вдруг сделалась такая смутная, откинула вуаль и тоже смотрит на Остапа.

«— Не встречал я вас до сей поры, — говорит ей Остап. — Не из наших вы, мабуть, мест.

«— Я из Петербурга, — отвечает женщина. — Очень хорошо ты куешь.

«— Что подковы! — говорит ей тихо Остап. — Пустое дело! Я для вас могу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете.

«— Какую же это вещь? — спрашивает женщина.

«— Что хотите. Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую розу с листьями и шипами.

«— Хорошо! — так же тихо отвечает женщина. — Спасибо, коваль. Я за ней через неделю приеду.

«Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатке, чтобы опереться, и Остап не удержался — жарко прильнул к той руке. Но не успела она отдернуть руку, как офицер ударил Остапа наотмашь хлыстом поперек лица и крикнул: «Знай свое место, мужик!»

«Кони взвились, поскакали, Остап схватил молот, чтобы кинуть в того офицера. Но не сдужил. Ничего не видит, кровь по лицу льется. Выбил ему офицер глаз.

«Но Остап и не думал тогда про пропащий глаз. Только страх был у него, — как же теперь он, с одним глазом, выкует розу.

«Однако перемогся Остап, шесть дней работал и ковал-таки розу. Смотрели ее разные люди, говорили, что такой работы не было, должно быть, даже в итальянской земле.

«А на седьмой день ночью кто-то тихо подъехал к кузне, сошел с коня, привязал его к пряслу.

«Остап боялся выйти, показать свое лицо, закрыл руками глаза и ждал. И слышит легкие шаги и дыхание, и чьи-то теплые руки обнимают его и падают ему на плечо одна-единственная ее слеза.

«— Знаю, все знаю, — говорит женщина. — Сердце у меня изболелось за эти дни. Прости, Остап. Из-за меня случилась твоя страшная беда. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург.

«— Зачем? — спрашивает Остап тихо.

«— Милый мой, сердце мое, — говорит женщина, — все равно не дадут нам люди счастья.

«— Воля ваша, — отвечает Остап. — Я простой человек, коваль. Мне о вас думать — и то радость.

«Взяла женщина розу, поцеловала Остапа и уехала шагом. А Остап вышел на порог, глядел ей вслед, слушал. Два раза останавливала женщина коня. Два раза хотела вернуться. Но не вернулась. Звезды играли над ярами, падали в степь, будто само божье небо плакало над их любовью. Так-то, хлопчик!».

В этом месте дед всегда замолкал. Я сидел, боясь пошевелиться. Но я долго не выдерживал дедовского молчания и спрашивал:

— Так они и не виделись больше?

— Нет, — отвечал дед, — Это верно, — не виделись. Остап начал слепнуть. Надувал он тогда дойти до Петербурга, чтобы увидеть ту женщину, пока еще не совсем ослеп. Дошел он до царской столицы и узнал, что умерла та женщина. Нашел Остап на кладбище ее могилу из белого мрамора-камня, глянул — и сердце у него сорвалось, — на камне лежала его железная роза. Завещала та женщина положить розу на ее могилу. На веки. А Остап начал лириничать и, мабуть, так и помер на шляху или на базаре под возом.

Косматый пес Рябчик с реляями в морде громко зевал, слушая дедовский рассказ. Я толкал его от негодования в бок, но Рябчик ничуть не обижался и лез ко мне ласкаться, высунув горячий язык.

В пасти у Рябчика торчали обломки зубов. Прошлая осень, когда мы уезжали из Городища, он вцепился в колесо, хотел остановить коляску и поломал зубы.

Ах, дед Максим Григорьевич! Ему я отчасти обязан чрезмерной впечатлительностью и романтизмом. Они превратили мою молодость в ряд болезненных столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но все же знал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть, и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. «На всякого человека, — как говаривал дед, — другая препорция». И каждому, очевидно, свое.

Может быть, поэтому дед и не уживался с бабкой. Вернее, прятался от нее. Ее турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности.

Бабка была деспотична, придирчива. Она скуривала в день не меньше фунта крепчайшего черного табака. Курила она его в коротких раскаленных трубках.

По праздникам она надевала атласное платье, отороченное черными кружевами, выходила из дома, садилась на завалянку, дымилась трубкой и смотрела на быструю

реку Рось. Изредка она громко смеялась своим мыслям, но никто не решался спросить ее, над чем она смеется.

Единственная вещь, которая несколько примиряла нас с бабкой, был твердый розовый брусок, похожий на мыло. Он был спрятан у нее в комод. Она изредка вынимала его и с гордостью давала нам нюхать. Брусок издавал тончайший запах роз. Запах этот казался мне ароматом Турции, мечетей, восточных женских одежд.

Отец рассказал мне, что долина вокруг Казанлыка — родного города бабки — называется «Долиной роз», что там добывают розовое масло, и чудесный брусок — это какой-то состав, пропитанный этим маслом.

Долина роз! Самые эти слова меня волновали. Я не понимал, как в таких поэтических местах мог появиться человек с такой суровой душой, как у моей бабки.

КАРАСИ

Сейчас, семнадцатилетним гимназистом, я вспоминал раннее свое детство, то время, когда мы, веселые и счастливые, приезжали иногда на лето в Городище из Киева. Тогда отец и мать были еще молоды и еще не умерли дед и турчанка-бабка.

Поезд из Киева приходил в Белую Церковь вечером. Отец тотчас нанимал на вокзальной площади крикливых извозчиков.

В Городище мы добирались ночью. Сквозь дремоту я слышал надоедливое дребезжание рессоры, потом шум воды около мельницы, лай собак Фыркали лошади и скрипели плетни. Ночь сияла незакатными звездами Из сырой темноты пахло сочным бурьяном.

Тетушка Дося вносила меня, сонного, в хату, усталую разноцветными полсвиками. В хате пахло топленным молоком. Я открывал на минуту глаза и видел около своего лица пышную вышивку на белоснежных рукавах тетушки Дося.

Утром я просыпался от жаркого солнца, бившего в белые стены. Красные и желтые малывы-монашки покачивались за открытым окном. В комнату заглядывала цветок настурции. В нем сидела мохнатая пчела. Я, замерев, следил, как она сердито пятится и выбирается из тесного цветка. По потолку без конца бежали светлые струи, легкие волны — отражения реки. Река шумела тут же рядом.

Потом я слышал, как насмешливый дядя Илько говорил кому-то.

— Ну, конечно, солнце не успело пригреть, а уже появилась процессия! Дося, ставь на стол вишневку и пироги.

Я вскакивал, подбегал босиком к окну и видел процессию — с того берега по

гребле, постукивая суковатыми посохами, медленно надвигались на усадьбу старики в больших соломенных шляпах — брилях. Медали брэнчали и поблескивали на их коричневых свитках.

Это шли приветствовать нас и поздравить с благополучным приездом почтенные деды из соседней деревни Пилипчи. Впереди шел шерватый староста Трофим с медной бляхой на шее.

В хате начиналась суета. Тетушка Доля взмахивала над столом скатертью. Велер проносился по комнате. Мама торопливо накладывала на блюдо пироги, отец откупоривал бутылки с домашней вишнежкой, а дядя Илько расставлял граненые стаканчики.

Потом тетушка Доля и мама убежали переодеваться, а отец и дядя Илько выходили на крыльцо навстречу старикам, приближавшимся торжественно и неотвратимо, как судьба.

Старики, наконец, подходили, молча целовались с отцом и дядей, садились на завалинку, все сразу вздыхали, и тогда староста Трофим, предварительно откашлявшись, произносил свою знаменитую фразу.

— Честь имею покорнейше вас поздравить, Георгий Максимович, с приездом до нас, в нашу тихую местность!

— Спасибо! — говорил отец.

— Да-а! — отвечали сразу все старики и облебенно вздыхали. — Оно так, конечно..

— Да-а! — повторял Трофим и поглядывал через окно на стол, где поблескивали бутылки.

— Вот оно, значит, как слагается, — произносил старый николаевский солдат с ноздреватым носом.

— Понятное дело! — вступал в разговор маленький и очень любопытный старик Недоля — отец двенадцати дочерей. От старости он позабыл их имена и мог считать по пальцам не больше пяти: Ганна, Парася, Горшыня, Олеся, Фрося... Потом старик сбивался и начинал счет сначала.

— Так! — говорили старики и надолго замолкали. В это время из хаты выходил дедушка Максим Григорьевич. Старики вставали, низко кланялись ему. Дедушка кланялся им в ответ, и старики, шумно вздохнув, снова садились на завалинку, кричали, молчали и смотрели в землю.

Наконец, по каким-то неуловимым признакам дядя Илько догадывался, что в хате все готово для угощения, и говорил:

— Ну, спасибо вам за разговор, добрые люди. Пожалуйте теперь откусать чем бог послал.

В хате стариков встречала мама в летнем нарядном платье. Старики целовали ей руку, а она в ответ целовала их коричневые руки, — таков был обычай. Тетушка Доля в синем платье и в шали с пун-

цовыми розами — румяная, красивая, рано поседевшая — кланялась старикам в пояс.

После первого стаканчика липкой вишневки Недоля, мучимый любопытством, приступал к неизменным расспросам. Все вещи, привезенные нами из Кизва, вызывали его недоумение, и он, показывая на них, спрашивал:

— Шо воно, для чего воно и яка в нем словесность?

Отец объяснял ему, что вот это — духовой утюг, а это — мороженница, а там на комод — складное зеркало. Недоля с восхищением крутил головой:

— На всячину свое средство!

— Оно так, конечно! — соглашались старики, выпивая.

После посещения стариков лето в Гордище вступало в свои права — жаркое лето с его страшными грозами, шумом деревьев, прохладными струями речной воды, рыбной ловлей, зарослями ежевики, с его сладостным ожиданием беззаботных и разнообразных дней.

Остров, на котором стояла дедовская усадьба, был, конечно, самым таинственным местом на свете.

За домом лежали два опромных глубоких пруда. Там всегда было сумрачно от старых ив и темной воды.

За прудами вверх по склону подымалась роща-левада с непролазным орешником. За левадой начинались поляны, заросшие по полю цветами, и такие душистые, что от них в знойный полдень разбалывалась голова.

За полянами на пасеке курился слабый дымок около дедовского шалааша. А за дедовским шалашом шли неизведанные земли — красивые гранитные скалы, заросшие ползучими кустами и крошечной земляничкой.

В углублениях этих скал стояли маленькие озера дождевой воды. Трясогузки, подрагивая пестрыми хвостами, пили теплую воду из этих озер, а неуклюжие и нахальные шмели, свалившись с размаху в воду, кружились и гудели, тщетно зывая о помощи.

Скалы обрывались отвесной стеной в реку Рось. Туда нам запретили ходить. Но мы изредка подползали к краю скал и смотрели вниз. Тугим прозрачным потоком, кружа голову, неслась вниз Рось. Под водой, навстречу течению, медленно шли, вздрагивая, узкие рыбы.

На том берегу подымался по скалу заповедный лес графини Бранищкой. Солнце не могло прорваться через мощную зелень этого леса. Лишь изредка одинокий луч прорезал наискось чащу и открывал потрясающую силу растительности. Как сверкающие пылики, всплывали в этот луч маленькие птицы. Они с писком гонялись друг за другом и внезапно ныряли в листву, как в зеленую воду.

Но самым любимым моим местом были пруды.

Каждое утро отец ходил туда удить рыбу. Он брал меня с собой.

Мы выходили из дома очень рано и осторожно шагали по мокрой траве. Тихими золотящими пятнами светились среди темной, еще ночной листвы ветки из озаренные перьям солнцем. В глухой воде плескались караси. Заросли кувшинник, рдеста, стрелолиста и водяной гречишки висели, казалось, над черной бездной.

Таинственный мир воды и растений раскрывался передо мной. Очарование этого мира было так велико, что я мог просиживать на берегу пруда с восхода до заката солнца.

Отец беспшумно закидывал удочки и закуривал. Я набирал в ведро воды из пруда, бросал в эту воду траву и ждал. Красные поплавки неподвижно стояли в воде. Потом один из них начинал вздрагивать, пускал легкие круги, внезапно нырял или быстро плыл в сторону. Отец подсекал, леска натягивалась, ореховое удилище сгибалось в дугу, и в тумане над прудом начиналось бульканье, плеск, возня. Вода разбегалась, качая кувшинки, торопливо удирала во все стороны жуки-водомеры и, наконец, в загадочной глубине появлялся бьющийся золотой блеск. Нельзя было разоборать, что это такое, пока отец не выволакивал на примятую траву тяжелого карася. Он лежал на боку, отдуваясь, шевелил плавниками, и от его чешуи шел удивительный запах подводного царства.

Я пускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, и мне очень хотелось напиться из ведра, но отец не позволял этого.

Мне казалось, что вода в ведре с карасем и травой должна быть такой же душистой и вкусной, как вода прозовых дождей. Мы, мальчишки, жадно пили эту воду и верили, что от нее человек будет жить до ста двадцати лет. Так, по крайней мере, уверял Нечипор.

ПЛЕВРИТ

Грозы в Городище бывали часто. Они начинались на Ивана Купала и длились весь июль. Они обкладывали остров разноцветными громадами туч, блистали и гремели, сотрясая наш дом, и пугали до обморока тетюшку Дозю.

С этими грозами связано воспоминание о первой моей детской любви. Мне было тогда девять лет.

В день Ивана Купала девушки из Пилипчи приходили нарядной стайкой к нам на остров, чтобы пускать по реке венки. Они плели венки из полевых цветов. Внутри каждого венка они вставляли кре-

стовянину из щепочек и прилепляли к ней восковой огарок. В сумерки девушки зажигали огарки и пускали венки по реке.

Девушки гадали, — чья свеча заплывет дальше, та девушка будет счастливее всех. Но самыми счастливыми считались те, чей венок попадал в водоворот и медленно кружилась над омутом. Омут был под крупотаром. Там всегда стояло затишье, свечи горели на таких венках очень ярко, и даже с берега было слышно, как трещат их фитили.

И взрослые и мы, дети, очень любили эти венки на Ивана Купала. Один Нечипор пренебрежительно кричал и говорил: — Глушество! Нема в тех венках никакой радции!

С девушками приходила Ганна, моя троюродная сестра. Ей было шестнадцать лет. В рыжеватые пышные косы она влетала оранжевые и черные ленты. На шее у нее висело тусклое коралловое монисто. Глаза у Ганны были зеленоватые, блестящие. Каждый раз, когда Ганна улыбалась, она опускала глаза и подымала их уже не скоро, будто ей было тяжело их поднять. Со щек ее не сходил горячий румянец.

Я слышал, как мама и тетюшка Дозя жалели Ганну за что-то. Мне хотелось узнать, что они говорят, но они всегда замолкали, как только я подходил.

На Ивана Купала меня отпустили с Ганной к девушкам на реку. По дороге Ганна спросила:

— Кем же ты будешь, Костик, когда вырастешь большой?

— Моряком, — ответил я.

— Не надо, — сказала Ганна. — Моряки тонут в гучине. Кто-нибудь да проплачет по тебе ясные свои глаза.

Я не обратил внимания на слова Ганны. Я держал ее за горячую смуглую руку и рассказывал о своей первой поездке к морю.

Ранней весной отец ездил на три дня в командировку в Новороссийск и взял меня с собой. Море появилось вдали, как синяя стена. Я долго не мог понять, что это такое. Потом я увидел зеленую бухту, маяк, услышал шум волн у мола, и море вошло в меня, как входит в память великолепный, но не очень ясный сон.

На рейде стояли черные броненосцы с желтыми трубами — «Двенадцать апостолов» и «Три святителя». Мы ездили с отцом на эти корабли. Меня поразили загорелые офицеры в белых кителях с золотыми кортиками, маслянистое тепло из машинных отделений. Но больше всего удивил меня отец. Я его таким никогда не видел. Он смеялся, шутил, оживленно говорил с офицерами. Мы даже зашли в каюту к одному корабельному механику. Отец пил с ним коньяк и курил турецкие папиросы из розовой бумаги с золотыми арабскими буквами.

Ганна слушала, опустив глаза. Мне стало почему-то жаль ее, и я сказал, что когда сделается моряком, непременно возьму ее к себе на корабль.

— Кем же ты меня возьмешь? — спросила Ганна. — Стряпкой? Или прачкой?

— Нет! — ответила я, загораясь мальчишеским воодушевлением. — Ты будешь моей женой!

Ганна остановилась и строго посмотрела мне в глаза.

— Побожись! — прошептала она. — Поляжись сердцем матери!

— Клянусь! — ответил я, не задумываясь.

Ганна улыбнулась, зрачки ее сделались зелеными, как морская вода, и она крепко поцеловала меня в глаза. Я почувствовал жар ее рдеющих губ. Всю остальную дорогу до реки мы молчали.

Свеча Ганны погасла первой. Из-за леса графини Браницкой подымалась дымная туча. Но мы, увлеченные венками, ее не заметили, пока не ударил ветер, не зашвыстели, нагибаясь к земле, ракиты и не хлестнула, взорвавшись ослепительным громом, первая молния.

Девушки с визгом бросились под деревья. Ганна сорвала с плеч платок, обвязала им меня, схватила за руку, и мы побежали.

Она тащила меня, ливень настигал нас, и я знал, что до дому мы добежать все равно не успеем.

Ливень догнал нас недалеко от дедовского шалаша. До шалаша мы добежали, промокшие насквозь. Деда на пасеке не было.

Мы сидели в шалаше, прижавшись друг к другу. Ганна растирала мои руки. От нее пахло мокрым ситцем. Она все время испуганно спрашивала:

— Тебе холодно? Ой, заболеешь ты, что я тогда буду делать!

Я дрожал. Мне было действительно очень холодно. В глазах Ганны сменялись страх, отчаяние, любовь.

Потом она схватилась за горло и закашляла. Я видел, как билась жилка на ее нежной и чистой шее. Я обнял Ганну и прижался головой к ее мокрому плечу. Мне захотелось, чтобы у меня была такая молодая и добрая мама.

— Что ты? — растерянно спрашивала Ганна, не переставая кашлять, и гладила меня по голове — Что ты? Ты не бойся... Нас гром не убьет. Я же с тобой. Не бойся.

Потом она слегка оттолкнула меня, прижала ко рту рукав рубахи, вышитой красными дубовыми листьями, и рядом с ними по мокрому полотну расплзлось маленькое кровавое пятно, похожее на вышитый дубовый листок.

— Не надо мне твоей клятвы! — прошептала Ганна, виновато взглянула на

меня исподлобья и усмехнулась. — Это я пошгутила.

Гром гремел уже за краем огромной земли. Ливень прошел. Только шумели по деревьям частые капли.

Ночью у меня начался жар. Через день приехал из Белой Церкви на велосипеде молодой доктор Напельбаум, осмотрел меня и нашел, что у меня плеврит.

Из нашей усадьбы Напельбаум ходил в Пилипчу к Ганне, вернулся и сказал в соседней комнате моей матери тихим голосом:

— У нее, Мария Григорьевна, скоротечная чахотка, она не доживет до весны.

Я заплакал, позвал маму, обнял ее и заметил, что у мамы на шее бьется такая же нежная жилка, как и у Ганны. Тогда я заплакал сильнее и долго не мог остановиться, а мама гладила меня по голове и говорила:

— Что ты? Я же с тобой. Не бойся.

Я выздоровел, а Ганна умерла зимой, в феврале.

На следующее лето я пошел с мамой на ее могилу и положил на зеленый маленький холмик цветы ромашки, перевязанные черной лентой. Такие ленты Ганна влетала в свои кофты. И мне было почему-то неловко, что рядом со мной стоит мама с красным зонтиком от солнца и что я пришел к Ганне не один.

ПОЕЗДКА В ЧЕНСТОХОВ

В городе Черкассы на Днепре жила вторая моя бабушка, Викентия Ивановна — высокая старуха-полька.

У нее было много дочерей, моих тетушек. Одна из этих тетушек Ефросиния Григорьевна служила начальницей женской гимназии в Черкассах. Бабушка жила у этой тетушки в большом деревянном доме.

Викентия Ивановна всегда ходила в трауре и черной наколке. Впервые она надела траур после разгрома польского восстания в 1863 году и с тех пор ни разу его не снимала.

Мы были уверены, что во время восстания у бабушки убили жениха — какого-нибудь гордого польского мятежника, совсем не похожего на упрямого бабушкиного мужа, моего деда — бывшего нотариуса в городе Черкассах.

Деда я помню плохо. Он жил в мезонине и редко оттуда спускался. Бабушка поселила его отдельно от всех из-за невыносимой страсти деда к курению.

Изредка мы пробирались к деду в комнату, горькую и мутную от дыма. На столе готами лежал табак, высыпанный из коробок. Дед, сидя в кресле, набивал трясуцимся жилистыми руками папиросу за папиросой.

С нами он не разговаривал, только взьерошигивал тяжелой рукой волосы у нас на затылке и дарил лиловую глянцевою бумагу, в которую завертывают табак.

Мы часто приезжали из Киева погостить к Викентии Ивановне. У нее существовал твердый порядок. Каждую весну великим постом она ездила на богомолье по католическим святым местам — в Варшаву, Вильно или Ченстохов. Но иногда ей приходило в голову посетить православные святцы, и она уезжала тогда в Троице-Сергиевскую лавру или в Почаев.

Все ее дочери и сыновья вместе с моим отцом посмеивались над этим и говорили между собой, что если так пойдет дальше, то Викентия Ивановна начнет навещать знаменитых еврейских цадиков и закончит свои дни папничеством в Мекку к пробу Магомета.

После богомольных странствий бабушка возвращалась в Черкассы и устраивала традиционную пышную пашу.

Самое крупное столкновение между бабушкой и отцом произошло, когда бабушка воспользовалась тем, что отец уехал в Вену на конгресс статистиков, и взяла меня с собой в одно из религиозных путешествий. Я был счастлив этим и не понимал негодования отца.

Я помню прозрачную виленскую весну и каплящую Острая Брама, куда бабушка ходила к причастию.

Весь город был в зеленоватом и золотистом блеске первых листьев. В полдень на Замковой горе стреляла пушка времен Наполеона.

Бабушка была очень начитанная женщина. Она без конца мне все объясняла.

Религиозность удивительно уживалась в ней с передовыми идеями. Она увлекалась Герценом и одновременно Генрихом Сенкевичем. Портреты Пушкина и Мицкевича всегда висели в ее комнате рядом с иконой Ченстоховской божьей матери. В революцию 1905 года она прятала у себя революционеров-студентов и евреев во время погромов.

Из Вильно мы поехали в Варшаву. Я запомнил только памятник Копернику и кавярни, где бабушка угощала меня «пшверуцной кавой» — перевернутым кофе. В нем было больше молока, чем кофе. Она угощала меня пирожными — маренгами, таявшими во рту, с маслянистой холодной сладостью. Нам подавали вертлявые дедушки в гофрированных передниках.

От Варшавы у меня надолго осталось воспоминание, как о городе, пахнущем кремом, горячим шоколадом и дешевыми духами девушек из кафе. Оно изгладилось только в 1915 году, когда я смотрел из Варшавы — Праги, как пылало под ветром Мокотовское предместье и наша армия отступала ненастной ночью через мосты.

Из Варшавы мы поехали с бабушкой в Ченстохов в знаменитый католический

монастырь «Свента гура», где хранилась чудотворная икона божьей матери.

Впервые я тогда столкнулся с религиозным фанатизмом. Он потряс меня и напугал. С тех пор страх перед фанатизмом и отвлечение к нему вошли в мое сознание. Я долго не мог избавиться от этого страха.

Поезд пришел в Ченстохов рано утром. От вокзала до монастыря, стоявшего на высоком зеленом холме, было несколько километров.

Из вагона вышли богомольцы — польские крестьяне и крестьянки. Среди них были и городские обыватели в пыльных котелках. Старый тучный ксендз и мальчики-причетники в кружевных одеяниях ждали богомольцев на вокзале.

Тут же около вокзала процессия богомольцев выстроилась на пыльной дороге. Ксендз благословил ее и пробормотал в нос молитву. Толпа рухнула на колени и поползла к монастырю, распевая псалмы.

Толпа ползла на коленях несколько километров до самого монастырского собора. Впереди ползла седая женщина с белым иступленным лицом. Она держала в руках деревянное распятие.

Ксендз медленно и равнодушно шел впереди этой толпы. Было жарко, пыльно, пот катился по лицам. Люди хрипло дышали, пневно оглядываясь на отстающих.

Я схватил бабушку за руку.

— Зачем это? — спросил я шопотом.

— Не бойся, — ответила бабушка польски. — Они прешники. Они хотят вымолить прощение у пана-бога.

— Усдем отсюда, — сказал я бабушке, но она сделала вид, что не расслышала моих слов.

Ченстоховский монастырь оказался средневековым замком. В стенах его торчали ржавые шведские ядра. В крепостных рвах гнила зеленая вода. На валах шумели густые деревья.

Подъемные мосты на железных цепях были опущены, и мы въехали в извозничьем экипаже в путаницу монастырских дворов, переходов, закоулков и аркад.

Служка-монах, подпоясанный веревкой, провел нас в монастырский гостиницу. Нам отвели холодную сводчатую комнату. Неизменное распятие висело на стене. На пробитые гвоздями латунные ноги Христа кто-то повесил венок из бумажных цветов.

Монах спросил бабушку, не страдает ли она болезнями, требующими исцеления. Бабушка была очень мнительная и тотчас пожаловалась на боли в сердце. Монах достал из кармана коричневой ряссы горсть маляньких, сделанных из серебра сердец, рук, голов и даже прудных детей и высыпал их горкой на стол.

— Есть сердца, — сказал он, — на пять рублей, на десять и на двадцать. Они уже

освященные. Остается только повесить их с молитвой на икону божьей матери.

Бабушка купила маленькое пухлое сердце за десять рублей. На нем была поставлена проба. Она повесила его на зеленой шелковой ленточке на чудотворную икону и уверяла, что с тех пор боли в сердце сделались значительно легче.

Бабушка сказала мне, что ночью мы пойдём в костел на торжественную службу, напоила меня чаем с варшавскими черствыми булочками и прилегла отдохнуть. Она уснула. Я смотрел в низкое окно. Прошел монах в блестящей выгоревшей рясе. Потом два польских крестьянина сели в тени у стены, достали из узелков серый хлеб и чеснок и начали есть. У них были синие глаза и крепкие зубы.

Мне стало скучно, и я осторожно вышел на улицу. Бабушка велела, чтобы в монастыре я не разговаривал по-русски. От этого мне было страшно, по-польски я знал всего несколько слов.

Я заблудился, попал в узкий проход между стен. Он был вымощен треснувшими плитами. В трещинах цвел подорожник. К стенам были привинчены чугунные фонари. Их, должно быть, давно не зажигали, — в одном фонаре я разглядел птичье гнездо.

Узкая калитка в стене была приоткрыта. Я заглянул в нее. Яблочный сад спускался по склону холма. Я осторожно вошел. Сад отцветал. Часто падали пожелтевшие лепестки. Жидкий, но мелодичный звон долетал с костельной колокольни.

Под старой яблоней сидела на траве молоденькая польская крестьянка и кормила грудью ребенка. Ребенок морщился и кричал. Рядом с женщиной стоял бледный, опухший крестьянский парень в новенькой фетровой шляпе. Он смотрел себе под ноги круглыми глазами и не шевелился.

Низенький плащевый монах с садовыми ножницами в руке присел на сне против женщины. Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Нех бендзи похвалёны Езус-Христу!

— На веки векув! — ответил я так, как меня учила бабушка. Сердце у меня остановилось от страха.

Монах отвернулся и снова стал слушать женщину. Пряди белых волос падали ей на лицо. Она отбрасывала их черной нежной рукой и жалобно говорила:

— Как сыночку пошел пятый месяц, Михас застрелил аиста. Он принес его в нашу халупку. Я заплакала и сказала: «Что ты надедала, глушеч! Ты же знаешь, что за каждого убитого аиста бог отнимает у людей по одному ребенку. Зачем ты его застрелила, Михас?»

Парень в фетровой шляпе все так же безразлично рассматривал землю.

— И с того дня, — продолжала крестьянка, — сыночек мой посинел и болезнь

начала его душить за горло. Поможет ему божья матка?

Монах уклончиво смотрел в сторону и ничего не ответил.

— Ох, теискнота! — сказала женщина и начала царапать себя рукой по горлу. — Ох, теискнота! — закричала она и прижала к груди ребенка. Ребенок таращил глаза и кричал.

Я вспомнил про игрушечных серебряных младенцев, которых показывал бабушке служка в монастырской гостинице. Мне было жаль эту женщину. Я хотел сказать ей, чтобы она купила такого младенца и подвесила его к ценстоховской иконе. Но у меня нехватало польских слов, чтобы дать такой сложный совет. Кроме того, я боялся монаха-садовника. Я ушел из сада.

Когда я вернулся, бабушка еще спала. Я лег, не раздеваясь, на жесткую койку и тотчас уснул.

Бабушка меня разбудила среди ночи. Я умылся холодной водой в большом французском тазу. Я дрожал от возбуждения. За окнами проплывали ручные фонари, слышалось шарканье ног, перезванивали колокола.

— Сегодня, — сказала бабушка, — будет служить кардинал, папский нунций.

С трудом мы добрались с бабушкой до костела. «Держись за меня», — сказала бабушка в неосвященном притворе.

Мы ощупью вошли в костел. Я ничего не увидел. Не было ни одной свечи, никакого проблеска света среди душного мрака, скованного высокими костельными стенами и наполненного дыханием сотен людей. Кромешная эта темнота сладковато пахла цветами.

Я почувствовал под ногой стертый чугунный пол, сделала шаг и тотчас споткнулся о чью-то руку.

— Стой спокойно! — сказала шопотом бабушка. — Люди лежат крестом на полу. Ты наступишь на них.

Она начала читать молитву, а я ждал, держась за ее локоть. Толпа, лежавшая крестом на чугунном полу, тихо вздыхала. Печальный шелест разносился вокруг.

Внезапно в этом тяжелом мраке раздался, сотрясая стены, рыдающий гром органа. В ту же минуту вспыхнули сотни свечей. Я вскрикнул, ослепленный и испуганный.

Весь костел был убран гроздьями белой сирени. Она переливалась в огнях, подобно пене. Большая золотая завеса, закрывавшая чудотворную икону, начала медленно раздвигаться. За ней возникали груди цветов, синий дым курений, витые серебряные подвечники, сияние золота и драгоценных камней на окладе иконы.

Шесть старых седых ксендзов в кружевном облачении стояли на коленях перед иконой спиной к толпе. Их руки были воздеты к небу. Только худой кардинал в

пурпурной сутане с широким фиолетовым кушаком, стягивавшим его тонкую талию, стоял во весь рост — тоже спиной к молящимся, — как бы прислушиваясь к затихающей буре органа, к звону серебряных топечек на кадильницах, к всхлипываниям толпы.

Кардинал обернулся к молящимся и поднял руку. Орган замолк, и чистые детские голоса зашептали под сводами костела.

Я еще никогда не видел такого театрального и непонятного зрелища. К куполу, озаренному дрожащим светом, все двались, как стая звонких белых голубей, ликующие детские голоса.

После ночной службы мы прошли с бабушкой в длинный сводчатый коридор. Светало. Под стенами стояли на коленях молящиеся. Бабушка тоже опустилась на колени и заставила опуститься и меня. Я боялся спросить ее, чего ждут все эти люди с безумными глазами.

В конце коридора показался кардинал. Он шел легко и стремительно. Пурпурная его сутана развевалась и задевала молящихся по лицу. Они ловили край сутаны и целовали его страстно и униженно.

— Поцелуй сутану! — быстро сказала мне бабушка. Но я не послушался. Я поблещел от обиды и прямо посмотрел в лицо кардиналу. Должно быть, у меня были слезы на глазах. Он остановился, положил на мгновенные сухую маленькую руку мне на голову и сказал по-польски:

— Слезы ребенка — лучшая молитва господу.

Я смотрел на него. Острое его лицо было стянуто коричневой кожей. Будто тусклое зарево освещало это лицо. Черные прищуренные глаза смотрели на меня выжидающе. Я молчал.

Кардинал резко повернулся и так же легко, подымая ветер, пошел дальше.

Бабушка стиснула меня за руку так сильно, что я чуть не вскрикнул от боли, и вывела из коридора.

— Весь в отца! — сказала она, когда мы вышли во двор. — Весь в отца, мать божья Ченстоховска! Что же с тобой будет в жизни!

РОЗОВЫЕ ОЛЕАНДРЫ

На галлерее в бабушкином доме в Черкассах стояли в зеленых кадках олеандры. Они цвели розовыми зонтичными цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандр и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море — далеком, теплом, омывающем цветущие олеандрами страны.

Бабушка хорошо выращивала цветы. Зимой у нее в комнате всегда цвели фуксии. Летом в саду, заросшем около заборов лопухом, распускалось столько цветов, что сад казался сплошным букетом. За-

пах цветов проникал даже в дедушкин мезонин и вытеснял оттуда табачный перегар. Дедушка сердито захлопывал окна. Он говорил, что от запаха цветов у него разыгрывается застарелая астма.

Цветы чудились мне тогда живыми существами. Резеда была бедной провинцией в сером заштопанном платье. Только удивительный запах выдавал ее царственное происхождение. Желтые чайные розы казались молодыми красавицами, потерявшими румянец от злоупотребления чаем. Они висели, поникнув, и загадочно улыбались.

Клумба с анютиными глазками походила на маскарад. Это были не цветы, а веселье и лукавые цыганки в черных бархатных масках, быстрые танцовщицы — то синие, то лиловые, то желтые.

Миргаритки я не любил. Они напоминали своими розовыми скучными платьицами дедочек бабушкиного соседа-мукомола Циммера. Девочки были безбровые и бело-брысье. При каждой встрече они делали кивок, придерживая кисейные юбочки.

Самым интересным цветком был, конечно, портулак — ползучий, пылающий всеми чистыми красками. Вместо листьев, у портулака торчали мягкие и сочные иглы. Стоило чуть нажать их, и в лицо брызгал зеленый сок.

Бабушкин сад и все эти цветы с необыкновенной силой действовали на мое воображение. Должно быть, в этом саду и родилось мое пристрастие к путешествиям. Потому что в детстве я представлял себе далекую страну, куда я непременно поеду, как холмистую равнину, заросшую до горизонта травой и цветами. В них тоннули деревни и города. Когда скорые поезда пересекали эту страну, то на стенках вагонов толстым слоем налипала пыльца.

Я рассказывал об этом братьям, сестре и маме, но никто меня не хотел понять. В ответ я впервые услышал от старшего брата презрительную кличку «фангазер».

Понимала меня, пожалуй, одна тетя Надя — самая младшая из бабушкиных дочерей.

Ей было тогда двадцать три года. Она училась пению в Московской консерватории. У нее было прекрасное контральто.

Тетя Надя приезжала на пасху и летом к бабушке в Черкасы, и сразу же в тихом просторном доме делалось шумно и тесно. Она играла с нами и носилась с хохотом по навозненным полам. — стройная, тоненькая, с растрепанными белокурыми волосами и всегда чуть приоткрытым свежим ртом.

В серых ее глазах как будто просыпались золото, — они смеялись в ответ на все, на любую шутку, веселое слово, даже в ответ на брезгливую морду кота Антона, недобровольно нашим весельем.

— Для Нади все трын-трава! — говорила с легким осуждением мама.

Беспечность тети Нади вошла в нашей семье в поговорку. Она часто теряла перчатки, браслеты, пудру, деньги, но никогда этим не огорчалась.

В день ее приезда мы подымали крышку рояля, и она не опускалась до тех пор, пока тетя Надя не возвращалась в свою веселую и хлебосольную Москву.

Груды нот валялись на креслах. Дымили свечи. Рокотал рояль, и я иногда просыпался ночью от прудного и нежного голоса, певшего баркаролла.

А утром меня будило вкрадчивое пение, почти шепот, около самого уха, и щекочущие мои щеки теплые волосы тети Нади.

— Вставай скорей, — пела она, — не стыдно ль спать, закрыв глаза, предавшись грезам? Давно малиновки звенят и для тебя раскрылись розы.

Я открывал глаза, она целовала меня, тотчас исчезала, а через минуту я слышал, как она уже кружилась по залу в быстром вальсе со своим братом — юнкером дядей Колей. Он тоже иногда приезжал к бабушке на паску из Петербурга.

Я вскакивал, предчувствуя бурный, веселый, неожиданный день.

Когда тетя Надя пела, даже бабушка открывал настежь дверь на лестницу из мезонина и говорил потом бабушке:

— Откуда только у Нади эта цыганская кровь?

Бабушка уверяла, что у Нади кровь не цыганская, а польская. Ссылаясь на историю Речи Посполитой, она доказывала, что среди полек часто бывали такие неудержимо веселые, взбалмошные и беспечные женщины.

— Вот именно! — отвечал язвительно дедушка и плотно затворял за собой дверь.

— Вот именно! — громко повторял он за закрытой дверью, садясь набивать папирсы.

Однажды в саду я рассказал тете Наде о своей далекой, выдуманной стране. Она слушала сначала с удивлением, потом посмотрела на меня с такой печалью, какой я никогда еще не видел в ее глазах, и сказала:

— Все это есть на свете, Костик. Все! Только, чтобы увидеть все это, нужна вечная молодость.

— А она разве бывает?

— Бывает, — ответила тетя Надя. — Очень редко. Иногда даже у стариков.

— А что это такое — вечная молодость?

Тетя Надя не ответила. Она подняла сухую палочку и написала на песке две строчки:

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна...

Она подумала и стерла носком туфли написанное.

— Ну вот, — сказала она и вздохнула,

Я давно заметил зеленую лягушку. Она сидела на клумбе с портулаком и пялила на нас глаза. Тетя Надя тоже заметила лягушку и сказала: «Бре-кэ-кэ-кэ!» Лягушка, испугавшись, прыгнула в сторону. Тетя Надя встала и ушла в дом.

Однажды, я помню, была поздняя пасха. В Черкассах уже зацвели сады. Мы приехали из Киева на пароходе. Потом из Москвы приехала тетя Надя.

В пасхальную ночь мы сели за стол. Тьма стояла рядом с нами. Звезды мерцали прямо в глаза. Из сада долетало полпискивание бессонной птицы. Все говорили мало и прислушивались к то возникавшему, то затихавшему в темноте далекому колокольному звону.

Тетя Надя сидела бледная, усталая. Я заметил, как отец передал ей в передней, когда помогал снять пелерину, свою телеграмму.

Тетя Надя вспыхнула и скомкала телеграмму.

Вскоре меня послали спать. Проснулся я поздно, когда в столовой звенели чашки и взрослые уже пили кофе.

Весь день приходили визитеры: учителя в синих вицмундирах, воинский начальник — промогласный полковник с орденами и серебряным кушаком, рыжий мукомол Циммер, отцы учениц тетушки Ефросинии Григорьевны — судебские чиновники, арендаторы, домовладельцы в котелках. Пришел даже Мандель — владелец склада сельскохозяйственных машин Мак Кормика — широкий, задыхающийся и насмешливый. Он подарил мне большое фарфоровое яйцо, расписанное пестрыми цветочками.

За обедом тетя Надя сказала, что она получила телеграмму из соседнего городка Смелы от своей подруги Лизы Яворской. Лиза приглашает тетю Надю приехать погостить на один день к себе в усадьбу около Смелы.

— Я хочу поехать завтра, — сказала тетя Надя, взглянула на бабушку и добавила, — и возьму с собой Костика.

Я покраснел от счастья.

— Бог с тобой, — ответила бабушка. —

Поезжайте, но смотрите не простудитесь.

На станции в Смеле нас встретила Лиза Яворская, толстая и смешливая девица. В пароконном экипаже мы проехали через чистый и красивый городок — резиденцию графов Бобринских. Под зелеными обрывами тихими омутами разлилась река Тясмин. Только по середине омутов серебрилось ее медленное течение. Было жарко. Над рекой летали стрекозы.

Когда мы въехали в свежий и пустынный парк за городом, Лиза Яворская сказала, что здесь любил гулять Пушкин. Я не мог поверить, что Пушкин бывал в этих местах и что я могу находиться

там, где бывал он. В то время Пушкин был для меня существом легендарным. Его блестящая жизнь должна была, конечно, проходить в стороне от этих украинских заколустий.

— Рядом Каменка, имение Раевских, — сказала Лиза Яворская. — Он подожду гостил у них и написал здесь чудесные стихи.

— Какие? — спросила теть Надя.

Играй, Адель, —
Не знай печали.
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.

Я не знал, что значит «хариты» и «Лель», но певучая сила этих стихов, высокий парк, цветущие липы и небо, где плыли облака — все это настроило меня на сказочный лад. Поэтому весь этот день остался у меня в памяти, как праздник тихой и пустынной весны.

Лиза Яворская остановила экипаж в широкой аллее. Мы вышли и пошли к дому по боковой дорожке среди густого шиповника.

Неожиданно из-за поворота дорожки показался загорелый бородатый человек без шапки. Охотничья двустволка висела у него на плече. В руке он нес двух убитых уток. Куртка его была растегнута, и под ней виднелась коричневая крешка шея.

Теть Надя остановилась, и я заметил, как сильно она поблещнула.

Бородатый сломал большую ветку цветущего шиповника, исцарапал в кровь руки и подал эту ветку тете Наде. Она осторожно взяла колючий шиповник, протянула бородатому руку, и он поцеловал ее.

— От вас пахнет порохом, — сказала теть Надя. — И вы исцарапались. Надо вынуть занозы.

— Пустое! — сказал бородатый и улыбнулся. У него были ровные белые зубы, и сейчас, вблизи, я увидел, что он совсем еще не старший человек.

Мы пошли к дому. Бородатый говорил очень странно, обо всем сразу — о том, что он приехал из Москвы два дня назад, что здесь чудесно, что послезавтра он должен уезжать в Венецию, что его околдовала цыганка — натурщица художника Врубеля и что он вообще — человек пропащий и спасти его может только голос тети Нади.

Я смотрел на бородастого. Он очень мне нравился. От него действительно пахло порохом. Руки его были покрыты липкой сосновой смолой. Из черных утиных клювов изредка капала на дорожку яркая кровь.

В густых волосах у бородастого запуталась паутина, застряла хвоя и даже сухая веточка. Теть Надя взяла его за локоть, остановила и вынула эту веточку.

— Неисправимый! — сказала она. — Совсем мальчишка, — добавила она и грустно улыбнулась.

— Вы поймите, — умоляющим голосом пробормотал бородатый, — как это замечательно! Я продирался через молодой сосняк, изодрался вконец, но какой запах, какие гвоздики, рыжая хвоя, какая паутина! Какая прелесть!

— Вот за это я вас и люблю, — тихо сказала теть Надя, а бородатый вдруг снял ружье с плеча и выстрелил из обоих стволов в воздух. Вырвалась струя синего порохового дыма. Залаяли и понеслись к нам собаки. Где-то вскрикнула и закудакала испуганная курица.

— Салют жизни! — сказал бородатый. — Чертовски чудесно жить!

Мы подошли к дому, окруженные взволнованно лающими собаками.

Дом был белый, с сколочными и полосатыми шторами на окнах. К нам вышла навстречу маленькая пожилая женщина в бледном лиловом платье, с лорнетом, вся в седых кудряшках — мать Лизы Яворской. Она шурилась, улыбалась и очень долго, сжимая руки, восхищалась красотой тети Нади.

В прохладных комнатах дул ветер, туго натягивал шторы, сбрасывал со стола газеты «Русское слово» и «Киевскую мысль». Всюду бродили, приноживаясь, собаки. Услышав какие-нибудь подозрительные звуки из парка, они сразу срывались и с громким лаем, налетая друг на друга, мчались из комнат наружу.

Мы пили густой кофе. Бородатый рассказывал мне, как он удил рыбу в Париже прямо с набережной против Собора Богоматери. Теть Надя смотрела на него и усмехалась. А мать Лизы все повторяла:

— Ах, Саша, когда же вы будете взрослым! Пора уже, наконец!

После кофе бородатый взял тетю Надю и меня за руки и повел в свою комнату. Там валялись кисти, раздавленные тубики с краской и вообще был беспорядок. Бородатый начал торопливо собирать разбросанные рубахи, ботиночки, куски холста, сунул все это под тахту, потом набил трубку маслянистым пахучим табаком из синей жестянки, закурил и велел, чтобы мы с тетей Надей сели на подоконник.

Мы сели. Солнце сильно грело нам спины. Бородатый подошел к картине, висевшей на стене и закрытой холстом, и снял холст.

— Ну вот! — пробормотал он растерянным голосом. — Ни черта у меня не вышло.

На картине была изображена теть Надя. Тогда я еще ничего не понимал в живописи. Я слышал, конечно, споры отца с дядей Колей о Верещагине — отец его не выносил — и Врубеле. Но я не видел ни одной хорошей картины. Те, что висели у бабушки, изображали угрюмые пейзажи

с мельницами у ручья или висящих вниз головой коричневых уток.

Когда бородатый открыл портрет, я невольно засмеялся. Портрет был неотделим от сияющей весенней красоты тети Нади, от солнца, что лилось в старый парк золотым водопадом, от ветра, сквозившего по комнатам, от зеленоватого отблеска листьев.

Тетя Надя долго смотрела на портрет, потом слегка взъерошила бородатому волосы и быстро вышла из комнаты, не сказав ни слова.

— Ну слава богу! — вздохнула бородатый. — Значит, можно везти этот холст на выставку в Венецию.

Вечером перед отъездом тетя Надя пела в низком задке. Бородатый аккомпанировал ей и сбивался из-за того, что его пальцы, измазанные смолой, прилипали к клавишам.

Первые встречи, последние встречи,
Многого голоса звуки любимых...

А потом мы снова ехали в пароконном экипаже в Смелу. Бородатый с Лизой нас провожали. Лошади стучали копытами по твердой дороге. С реки несло сыростью, квакали лягушки. Высоко в небе горела звезда.

На станции Лиза повела меня в буфет купить мороженого, а тетя Надя и бородатый остались на скамейке в станционном палисаднике. Мороженого в буфете, конечно, не было, и, когда мы вернулись, тетя Надя и бородатый все так же сидели, задумавшись, на скамейке.

Вскоре тетя Надя уехала в Москву, и я ее больше не видел. На следующий год на масляной она ездила на тройке к цыганам в Петровский парк, пела на морозе, у нее началось воспаленные легких, и перед самой пасхой она умерла.

Я очень тосковал тогда. И до сих пор я не могу забыть тетю Надю. Она навсегда осталась для меня воплощением всей прелести девичества, сердечности и счастья.

ШАРИКИ ИЗ БУЗИНЫ

В коробке перекатывались белые мягкие шарики. Я бросал такой шарик в таз с водой. Шарик начинал набухать, потом раскрывался и превращался то в черного слона с красными глазами, то в оранжевого дракона или в цветок розы с зелеными листьями.

Эти сказочные китайские шарики из бузины привез мне из Пекина мой дядя и крестный отец Иосиф Григорьевич, или попросту — дядя Юзя.

— Авантюрист чистой воды! — говорил о нем мой отец, но не с осуждением, а даже с некоторой завистью.

Он завидовал дяде Юзе, что тот извездил всю Африку, Азию и Европу, но сов-

сем не как благонравный турист, а с шумом, треском, дерзкими выходками и неистребимой жадной заводить всякие невероятные дела в любом уголке земли — в Шанхае и Аддис-Абебе, в Харбине и Мешхеде. Все эти дела кончались крахом.

— Мне бы дорваться до Клондайка, — говаривал дядя Юзя. — Я бы им показал, американцам!

Что именно он собирался показать клондайским отпетым золотоискателям — оставалось неизвестным. Но было совершенно ясно, что он действительно показал бы им что-нибудь такое, что слава о нем прогремела бы по всему Юкону и Аляске.

Из своих трех сыновей бабушка Викентия Ивановна побаивалась только одного дядю Юзю. Его она считала «божьим наказанием», белой вороной в нашей семье. Когда она сердилась на меня за шалости и непослушание, она говорила: — Смотри, чтобы из тебя не вышел второй дядя Юзя!

Бедная бабушка! Она не подозревала, что жизнь этого дяди казалась мне смертельно заманчивой. Я только и мечтал быть «вторым дядей Юзей».

Дядя Юзя всегда появлялся у нас в Киеве или в Черкассах внезапно и так же внезапно исчезал, чтобы через год-полтора снова оглушительно позвонить у дверей и наполнить квартиру крипучим голосом, шумом втаскиваемых по полу тяжелых чемоданов со всякими редкостями, кашлем, клятвами и заразительным смехом.

Это был высокий бородатый человек с пробитым носом, с железными пальцами, которыми он гнул рубли, прокуренный насквозь бреттер с подозрительно спокойными глазами.

Он не боялся ни бога, ни чорта, ни смерти, но жалко терялся и размякал от женских слез и детских капризов.

Первый раз я увидел его после англо-бурской войны.

Дядя Юзя пошел добровольцем к бурам. Этот его поступок — героический и бескорыстный — сильно возвысил его в глазах родственников.

Мы, дети, были потрясены этой войной. Мы жалели флегматичных буров, дравшихся за независимость. Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на другом конце земли — осаду Ледисмита, сражение под Блумфонтейном и штурм горы Маюбы. Самыми популярными людьми были у нас бурские генералы Деветт, Жубер и Бота. Мы зачитывались книгой «Питер Мариц, молодой бур из Трансвааля».

Но не только мы — весь культурный мир с замкнутым сердцем следил за трагедией, разыгравшейся в степях между Ваалем и Оранжевой рекой, за неравной схваткой маленького народа с могучей мировой державой. Даже киевские шар-

манжики начали играть новую песню: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горюшь в огне».

Англо-бурская война была для мальчиков вроде меня крушением детской экзотики. Африка оказалась совсем не такой, какой мы воображали ее себе по романам из «Вокруг Света» или по дому инженера Городецкого на Банковской улице в Киеве.

В стены этого делового серого дома, похожего на замок, были вмурованы уродливые скульптурные изображения носорогов, жираф, львов, крокодилов, антилоп и всех прочих зверей, населяющих Африку. Бетонные слоновые хоботы свисали над тротуарами и заменяли водосточные трубы. Каменные обезьяны висели вниз головой на карнизах.

Владелец этого дома инженер Городецкий был страстный охотник. Он ездил охотиться в Африку. В память этих охот он разукрасил свой дом каменными тушами зверей. Взрослые говорили, что Городецкий дурак, но мы, мальчики, любили этот странный дом. Он помогал нашим мечтам об Африке.

Но сейчас, хотя мы и были мальчишками, мы понимали, что страдание и борьба за человеческое право вторглись на огромный черный материк, где до тех пор, по нашим понятиям, только трубили мудрые слоны, дышали миазмами тропические леса и бегемоты сопели в жирной тине великих и неисследованных рек. До тех пор Африка существовала только как земля для путешественников, для разных Стэнли и Ливингстонов.

Война показала нам подлинную Африку. Мне, как и другим мальчикам, было жалко расставаться с той Африкой, где мы бродили в мечтах, — расставаться с охотой на львов, плотами на Нигере, свистом стрел, неистовым гамом обезьян и мраком непроходимых лесов. Там опасности ждали нас на каждом шагу. Мысленно мы уже много раз умирали от лихорадки или от ран за бревенчатыми стенами форта, слушая жужжание одинокой пули, вдыхая запах ядовитой травы, глядя воспаленными глазами в черное бархатное небо, где догорал Южный Крест.

Сколько раз и я так умирал, жалея о своей молодой и короткой жизни, о том, что необъятная и таинственная Африка не пройдена мной от Алжира до Мыса Доброй Надежды и от Конго до Занзибара.

Но все же это представление об Африке нельзя было целиком выбросить из памяти. Оно оказалось очень живучим. Поэтому трудно передать то ошеломление и тот немой восторг, которые я испытал, когда на нашей скучной улице в Киеве появился бородатый, сожженный африканским солнцем человек в широкополой бурской шляпе, в рубашке с открытой шеей, с патронташем на поясе — дядя Юзя.

Я ходил за ним следом, я смотрел в его глаза, и мне не верилось, что вот эти глаза видели Оранжевую реку, зулусские краалли, английских кавалеристов, бурии Тихого океана.

В то время президент Трансвааля, старый и грузный Крюгер, приезжал в Россию просить о помощи бурам. Дядя Юзя приехал вместе с ним. Он пробыл в Киеве всего один день и уехал в Петербург вслед за Крюгером.

Дядя Юзя был уверен, что Россия поможет бурам. Но из Петербурга он написал отцу: «Высшие государственные соображения вынудили русское правительство сделать подлость, — бурам мы помогать не будем. Значит, все кончено, и я опять уезжаю к себе на Дальний Восток».

Дед мой, нотариус, был человек небогатый. У него нехватало бы средств дать образование многочисленным детям — пятерым девочкам и трем сыновьям — если бы дед не отдал всех сыновей в Киевский кадетский корпус. Обучение в корпусе было бесплатное.

Дядя Юзя обучался вместе с братьями в этом корпусе. Четыре года прошли благополучно, но на пятый год дядя Юзя был переведен из Киева в штрафной «кааторжный» корпус в город Вольск на Волге. В Вольск кадетов ссылали за «тяжкие преступления». Дядя Юзя совершил такое преступление.

Кухня в Киевском корпусе помещалась в подвале. К одному из праздников в кухне напекли множество сладких булочек. Они остывали на длинном кухонном столе. Дядя Юзя достал шест, привязал к нему гвоздь, нанизал на этот гвоздь через открытое око кухни несколько десятков румяных булочек и устроил пышный пир в своем классе.

В Вольске дядя Юзя пробыл два года. На третий год его исключили из корпуса и разжаловали в солдаты за то, что он ударил офицера. Офицер остановил его на улице и грубо изрутал за мелкий непорядок в одежде.

На дядю Юзю надели солдатскую шинель, дали ему винтовку и отправили пешим порядком из Вольска в город Кутно, около Варшавы, в артиллерийскую часть.

Он прошел зимой всю страну с востока на запад, являясь к начальникам гарнизонов, выпрашивая по деревням хлеб, ночуя где попоало.

Из Вольска он вышел вспыльчивым мальчиком, а в Кутно пришел озлобленным солдатом.

В Кутно он дослужился до первого офицерского чина. Его произвели в прапорщики.

Однажды его послали по какому-то делу в Варшаву. Была весна. В варшавских садах цвела сирень. В загородном саду

Лазенки дядя Юзя встретил красивую девушку, познакомился с ней, и на второй день они уже без памяти полюбили друг друга.

Девушка оказалась дочерью командующего войсками Привислянского военного округа, известного генерала Гурко. Нечего было и думать о женитьбе с согласия родителей. На пятый день знакомства дядя Юзя бежал с дочерью Гурко, но они не успели обвенчаться: их захватили в Жирардове.

За «похищение девицы Гурко» дядю Юзя приговорили к месячному церковному покаянию. Он отбывал его в маленьком монастыре на Волыни. В монастыре он пробыл всего две недели, Игумен не выдержал дядино пребывания и отправил его обратно в часть. Дядя учил монахов играть в железку, пел им цыганские романсы и втихомолку поил их сливянкой.

На военной службе дяде Юзе не везло самым роковым образом. Из артиллерии его перевели в пехоту. Полк дяди Юзи был вызван в Москву нести охрану во время коронации Николая II. Рота дяди Юзи охраняла Кремлевскую набережную.

Ранним утром в день коронации дядя увидел, как его солдаты бросились к берегу реки и там началась безмолвная свалка. Придерживая шапку, дядя побежал к солдатам.

Он увидел валявшееся в грязи на берегу страшное существо с медной головой, опутанное проводами. Существо это солдаты сбили с ног, навалились на него, а оно неуклюже отбрыкивалось от них железными буцами. Один из солдат зажал резиновую трубку около медной головы этого существа, и оно, захрипев, перестало сопротивляться. Дядя догадался, что это водолаз, крикнул на солдат, быстро отвинтил медный шлем, но водолаз был уже мертв.

Дядя и солдат не предупредили, что в это утро водолазы из Кронштадта осматривали дно Москва-реки и водостоки под Красной площадью, разыскивая адские машины.

После этого случая дядя Юзя был уволен из армии. Он уехал в Среднюю Азию и служил некоторое время начальником верблюдьих караванов, ходивших из Уральска в Хиву и Бухару. В то время Средняя Азия еще не была связана с Россией железной дорогой, все товары перегружались в Уральске на верблюдов и шли дальше караванным путем.

Во время этих караванных путешествий дядя Юзя сдружился с исследователями Средней Азии братьями Грум-Гржимайло и охотился с ними на тигров. Он прислал в подарок бабушке тигровую шкуру с таким свирепым выражением на морде убитого тигра, что бабушка тотчас спрятала эту шкуру в подвал, предварительно пересыпав ее нафталином.

Дядя Юзя любил рассказывать, как одним своим чихом он убивал на месте шакалов. На бивуаках в пустыне дядя ложился, подкладывая под голову сумку с продуктами и притворялся спящим. Шакалы подползали, поджав хвосты. Когда самый наглый из них начинал осторожно вытаскивать зубами сумку из-под дядиной головы, дядя оглушительно чихал — и трусливый шакал, даже не взвизгнув, тут же на месте умирал от разрыва сердца.

Мы верили этому, потому что хорошо знали, как чихал по утрам дядя Юзя, готовясь к новому дню. В ответ на этот чих звенели стекла в окнах и кошка, обезумев, металась по комнатам в поисках спасения.

Рассказы дяди Юзи были для нас интереснее похорождений барона Мюнхгаузена. Мюнхгаузен надо было себе представлять, а дядя Юзя был рядом — живой, сотрясающий хохотом диван, тонущий в облаках табачного дыма.

Потом в жизни дяди Юзи наступила неясная полоса. Он скитался по Европе, очутился почему-то в Абиссинии и вернулся оттуда с опрометным золотым орденном, пожалованным ему за что-то негусом Менеликом. Орден был похож на медную дворянскую бляху.

Дядя Юзя не находил себе ни места, ни занятия в жизни, пока взоры его не обратились на туманный Дальний Восток, на Уссурийский край. Эта страна была как будто нарочно присоединена адмиралом Невельским к России для таких людей, как дядя. Там можно было жить широко, шумно, не подчиняясь никаким «дурашким законам», — во всю силу своего необузданного характера и своей шредримчивости.

Это была русская Аляска — необжитая, богатая и опасная. Лучшего места на свете нельзя было и придумать для дяди Юзи. Амур, тайга, золото, Тихий океан, китайцы, Корея, а дальше — Камчатка, Япония, Полинезия. Обширный неизученный мир шумел, как прибой, у берегов Дальнего Востока и тревожил воображение.

Дядя Юзя, захватив с собой молодую жену-подвижницу — так как никто, кроме подвижницы, по мнению моей мамы, не мог быть женой такого человека, как дядя Юзя — уехал на Дальний Восток.

Он участвовал в обороне Харбина во время китайского восстания, в стычках с хунхузами, в постройке Восточно-Китайской дороги. Занятие это он прервал только для того, чтобы поехать в Трансвааль.

После англо-бурской войны он вернулся на Дальний Восток, но уже в Манчжурию, в Порт-Артур. Там он работал агентом Добровольного флота.

К тому времени жена его умерла, и на руках у дяди Юзи остались две девочки — его дочери. Он трогательно и неумело вос-

питывал их вместе со старым китайцем-мяньюхой, которого он называл Сам-Пью-Чай. Этого преданного ему китайца дядя Юзя любил, пожалуй, не меньше, чем своих дочерей. Вообще он очень любил китайцев и говорил, что это великолепный, добрый и мудрый народ и единственный его недостаток — панический страх перед джоджями.

Во время японской войны дядя Юзя был призван, как старый офицер, в армию. Дочерей вместе с Сам-Пью-Чаем он отправил в Харбин.

После войны он проезжал в Киев навещать родных. Это был последний раз, когда я его видел.

Он уже был седой, спокойный, но бешеные веселые искорки попрежнему перебегали в его глазах.

Он рассказывал нам о Пекине, о садах китайских императоров, о Шанхае, о Желтой реке. Но теперь дядя Юзя уже ничего не выдумывал, не вращал глазами и не хохотал, а говорил усталым голосом, поминутно стряхивая пепел с папиросы.

Это было в 1905 году. Дядя Юзя плохо разбирался в политике. Он считал себя старым солдатом и действительно был им — честным, верным присяге. Когда мой отец начинал резкие и опасные свои речи, дядя Юзя отмалчивался, уходил в сад, садился на скамейку и там курил в одиночестве. Отца он считал «левее левых».

В пятом году в Киеве восстал саперный батальон. К нему присоединилась артиллерийская батарея Мяттежников прошли с боем через город, отбиваясь от наседавших на них казачьих частей, и остановились за Демиевской заставой.

Оттуда батарея мятежников открыла огонь по дворцу генерал-губернатора и по казачьим казармам. Но батарея стреляла редко и плохо, и ни один снаряд не попал ни во дворец, ни в казармы.

В этот день дядя Юзя очень нервничал, без конца курил, бродя по саду, и вполголоса бранился.

— Сопляки! — бормотал он. — Куроцаны, а не артиллеристы. Позор!

Днем он неожиданно ушел из дому, а к вечеру батарея мятежников, разметав прямой наводкой наступавших казаков, открыла беглый и меткий огонь по казармам, крепостным фортам и дворцу генерал-губернатора.

Смятение охватило военное командование города. Под прикрытием этого артиллерийского огня восставшие саперы, дело которых было тогда уже явно проиграно, рассеялись в лесах и болотах к западу от Киева.

Дядя Юзя не вернулся ни вечером, ни ночью, ни на следующий день. Он вообще не вернулся. Только через два месяца от его дочери Нади пришло письмо из

Харбина. Она сообщала, что дядя Юзя поселился за границей и просит его простить за внезапное исчезновение.

Гораздо позже мы узнали, что сердце дяди Юзи — старого артиллериста — не выдержало плохого огня мятежников. Он ушел из дому, пробрался к мятежникам, принял командование батареей и, как он выражался, «прописал ижигу» правительственным войскам.

Ему, естественно, пришлось бежать. Он вскоре умер в городе Кубе от сердечной астмы и страшной болезни ностальгии — тоски по родине.

Перед смертью этот огромный и неистовый человек плакал от малейшего напоминания о России. А в последнем, как будто шутовском письме, он просил прислать ему в конверте самый драгоценный для него подарок — засушенный лист киевского каштана.

СВЯТОСЛАВСКАЯ УЛИЦА

Поездки в Черкассы и Городище были в моем детстве праздниками, а будни начинались в Киеве, на Святославской улице, где в сумрачной и неуютной квартире проходили длинные осени и зимы.

Святославская улица, застроенная скучными дождными домами из желтого киевского кирпича с такими же кирпичными тротуарами, упиралась в огромный пустырь, изрезанный оврагами. Таких пустырей среди города было несколько и назывались они «ярами».

В яр нам строго запретили ходить. Это было страшное место, приют воров и нищих. Но все же мы, мальчишки, собирались иногда отрядами и шли в яр. Мы брали с собой на всякий случай полицейский свисток. Он казался нам таким же верным оружием, как револьвер.

Сначала мы с опаской смотрели сверху в овраги. Там блестело битое стекло, валялись ржавые умявальники и тазы и рылись в мусоре собаки.

Потом мы осмелели и начали спускаться в овраги, откуда тянуло дрянным желтым дымком. Дымок этот шел от землянок и нищих лачуг. Лачуги были слеплены из чего попало — ломаной фанеры, старой жести, разбитых ящиков, сидений от венских стульев, матрацев, из которых торчали пружины. Вместо дверей висели грязные мешки.

Около лачуг дымили глиняные очаги с дырчатыми самоварными трубами. У очагов сидели простоволосые женщины в отряпьях с серыми лицами, визгливые и злые.

Они обзывали нас барчуками или прощали «на монопольку». Только одна из них — седая косматая старуха с львиным лицом — улыбалась нам единственным зубом.

Это была известная в Киеве нищенка-итальянка. Она ходила по дворам и играла на гармонике. За особую плату она играла Марсельезу. В этих случаях кого-нибудь из мальчишек высылали к воротам, чтобы предупредить, если появится окологородный надзиратель.

Нищенка не только играла Марсельезу на гармонике — она кричала ее хриплым яростным голосом, Марсельеза в ее исполнении звучала, как злобещий голос, как проклятье обитателей Святославского яра.

Среди жильцов этих лачуг мы узнавали старых знакомых. Вот Яша Падучий — нищий с белыми водочными глазами. Он постоянно сидел на паперти Владимирского собора и выкрикивал одну и ту же фразу: «Господа милосердные, обратите внимание на мое калецтво — вецтво».

В яру Яша Падучий был совсем не таким грустным и тихим, как на паперти. Он выпивал одним духом четвертинку водки, с размаху бил себя в грудь и вопил со слезой: «Придите ко мне все страждущие и обремененные и аз успокою вы».

Вот лысый старик, торгующий зубочистками на Фундуклевской улице около кафе Франсуа, а рядом — шарманщик с попугаем.

Лачуга шарманщика нравилась мне больше других. Днем шарманщика никогда не было — он ходил по дворам. Около лачуги сидела на земле босая девушка с землистым лицом и красивыми хмурыми глазами. Она чистила картошки. Одна нога у нее была обмотана тряпками.

Это была дочь шарманщика, гимнастка, «человек без костей». Она ходила раньше с отцом по дворам, раскладывала коврик и показывала на нем — худая, в голубом трико — разные акробатические трюки. Сейчас она повредила ногу и не могла работать.

Иногда она читала все одну и ту же книгу с оторванным переплетом. По картинкам я догадался, что это были «Три мушкетера» Дюма.

Девушка недовольно кричала на нас:

— Чего вы тут ходите! Не видели, что ли, как люди живут!

Но потом она привыкла к нам и перестала кричать. Ее отец, низенький седой шарманщик, застав нас около своей лачуги, сказал:

— Пусть видят, как мается наше общество. Может быть, это им сгодится, когда будут студентами.

Вот старая цыганка Паша, черная, как табачный корешок, пыльная от множества пестрых и грязных юбок. Она очень ловко била в бубен коричневыми обезьяньими руками, выкидывала его над головой, трясла им и пела лихие песни.

Она гадала нам на картах, но мы ничего не понимали, кроме слов: «Серебри ручку!» После этих слов надо было класть

на ее ладонь монету, иначе она сулила нам страшные несчастья. Мне она предсказала смерть от воды.

Сначала мы ходили в яр целой ватагой. Потом я привлек к обитателям яра и начал ходить туда один.

Я долго скрывал это от мамы, но меня выдала дочь шарманщика. Я принес ей почитать «Хижину дяди Тома», но заболел и долго не приходил за книгой. Она обеспокоилась и сама принесла книгу к нам на квартиру. Мама открыла ей дверь и все обнаружилось. Я повял от сожатым губам мамы и по ее ледяному молчанию.

Вечером между мамой и отцом был в столовой разговор о моем поведении. Я слышал его из-за двери. Мама волновалась и сердилась, но отец сказал, что нет ничего страшного, что меня трудно испортить и что он предпочитает, чтобы я дружил с этими обездоленными людьми, а не с сыновьями киевских купцов и чиновников. Мама возразила, что в моем возрасте меня надо оберегать от тяжелых житейских впечатлений.

— Пойми, — сказал отец, — что эти люди на человеческое отношение отвечают такой преданностью, какую не найдешь в нашем кругу. При чем же тут тяжелые житейские впечатления!

Мама помолчала и ответила:

— Да, может быть, ты прав...

Когда я выздоровел, она принесла мне «Принца и нищего» Марка Твена и сказала:

— Вот.. отнеси это сам.. дочери шарманщика. Я не знаю, как ее зовут.

— Лиза, — ответил я робко.

— Ну вот, отнеси эту книгу Лизе. В подарок.

С тех пор мне не надо было тайком тащить из буфета сахар для моих новых друзей или китайские орешки для подслеповатого зеленого попугая Митьки. Я открыто просил все это у мамы. Она мне никогда не отказывала.

Однажды ранней осенью шарманщик пришел к нам во двор без попугая. Он равнодушно крутил ручку шарманки. Она высвистывала польку: «Пойдем, пойдем, ангел милый, пойдем танцевать со мной!» Шарманщик обводил глазами балконы и открытые окна, дожидаясь, когда, наконец, полетит во двор медная монета, завернутая в бумажку.

Я выбежал к шарманщику. Он сказал мне, не переставая вертеть шарманку:

— У Митьки хвороба. Сидит, как еж. Твои орешки — и то лущить бросил. Видать, подыхает.

Шарманщик снял черную пыльную шляпу и вытер ею лицо.

— Пропащее существование! — сказал он. — Одной шарманкой без Митьки не то что на хлеб — на водку не заработаешь. Кому теперь вытягать «счастье».

Попугай за две копейки вытаскивал желаемые зеленые, синие и красные билеты с напечатанными на них предсказаниями. Билетики эти назывались почему-то «счастьем». Они были свернуты в трубочки и уложены, как папиросы, в деревянную коробку от гильз.

Предсказания были написаны темным языком.

«Вы родились под знаком Меркурия, и камень ваш есть изумруд, иначе смарагд, что означает нерасположение и окончательное нахождение житейского устройства в годы, убуеленные сединами. Бойтесь блондинок и блондинов и предпочитайте не выходить на улицу в день Усекновения главы святого Иоанна Крестителя».

Горничные, охотнее всех покупавшие «счастье», ничего не поняв в одном билетице, покупали другой. Но и там они не находили ответа.

Иногда в билетице были короткие и зловещие фразы: «Завтра к вечеру» или «Если хочешь остаться живым — никогда не оглаживайся».

Горничные тихо визжали от страха, а Митька, засунув голову под крыло, щелкал клювом и ловил блох.

Через сутки Митька издох, и я похоронил его в яру в картонной коробке от ботинок. Шарманщик напился и исчез.

Я рассказывал маме о смерти попугая. Губы у меня дрожали, но я сдержался.

— Одевайся! — строго сказала мама. — Пойдем к Бурмистрову.

Бурмистров был старичок с зеленой от старости бородой. Он держал темный и тесный магазин на Бессарабке. Там глуховатый этот человек, похожий на гнома, торговал великолепными вещами — удочками, разноцветными поплавками, аквариумами, золотыми рыбками, птицами, муравьиными яйцами и даже переводными картинками.

Мама купила у Бурмистрова пожилого зеленого попугая с оловянным кольцом на ноге. Мы одолжили у Бурмистрова клетку. Я нес в ней попугая. По дороге он изловчился и прокусил мне палец до самой кости. Мы зашли в аптеку. Мне перевязали палец, но я был так взволнован, что почти не почувствовал боли.

Мне очень хотелось поскорее отнести попугая к шарманщику, но мама сказала: — Я пойду вместе с тобой. Я должна это видеть сама.

Она ушла к себе переодеться. Мне было стыдно, что мама переодевается, чтобы пойти к нищим, оборванным людям, но я не смел ей ничего сказать.

Через несколько минут она вышла. На ней было старенькое платье, заштопанное на локтях. На голову она накинула платок. На этот раз она даже не натянула на руки свои элегантные лайковые перчатки. И туфли она надела со стоптанными каблуками.

Я с благодарностью взглянул на нее, и мы пошли.

Мама мужественно спустилась в овраг, прошла мимо окаменевших от изумления расстрепанных женщин и даже ни разу не приподняла юбку, чтобы не запачкать ее о кучи мусора и золы.

Лиза, увидев нас с попугаем, вспыхнула, серое ее лицо покрылось жарким румянцем, и она неожиданно сделала маме реверанс. Шарманщика не было дома. — Он все еще заливал свое горе с приятелем на Демиевке.

Лиза взяла попугая и, все больше краснея, повторяла одни и те же слова:

— Ну зачем это вы! Зачем это вы!

— Его можно будет выучить вытаскивать «счастье»? — спросила мама.

— Да в два дня! — радостно ответила Лиза. — Но зачем это вы? Господи! Зачем? Это же каких денег стоит!

Дома отец, узнав об этом случае, усмехнулся и сказал:

— Дамская филантропия! Сентиментальное воспитание.

— Ах господи! — воскликнула с досадой мама. — Не знаю, почему ты обязательно хочешь противоречить самому себе. Удивительный у тебя характер! На моем месте ты бы сделал то же самое.

— Нет, — ответил отец. — Я бы сделал большее.

— Больше? — переспросила мама, и в голосе ее послышалась угроза. — Ну хорошо! Посмотрим!

— Посмотрим!

Я не догадывался, что отец говорил все это нарочито, чтобы раздражить маму.

На следующий день после этой стычки мама отослала Лизе в Святославский яр черное платье моей сестры и свои коричневые ботинки.

Но отец не остался в долгу перед мамой. Он дождался, когда шарманщик пришел к нам во двор с новым попугаем.

Красный шарф был завязан у шарманщика на шее. Нос его победно блеснул от водки. В честь мамы шарманщик проитрал все, что могла вывистывать его шарманка, — марш «Тоска по родине», вальс «Дунайские волны», польку «Разлуку» и песню «Эх, полным-полна коробушка».

Попугай снова вытягивал «счастье». Медяки в бумажках щедро сыпались из окон. Некоторые из них шарманщик ловко ловил шляпой.

Потом он вскинул шарманку на спину и, как всегда сильно согнувшись, пошел не на улицу, а вверх по парадной лестнице и позвонил у наших дверей.

Сняв шляпу и держа ее в вытянутой руке так, что шляпа касалась пола, он поблагодарил маму и поцеловал ей руку.

Отец вышел и пригласил шарманщика к себе в кабинет. Шарманщик прислонил шарманку в угол передней и, осторожно шагая, ушел за отцом.

Пока отец разговаривал с шарманщиком, я присел на корточки и рассматривал шарманку. На ней были наклеены портреты мировых красавиц — Лины Кавальери и Элеоноры Дузе, виды Шварцвальда и выпуклые картинки, изображавшие девочек, игравших в серсо.

Отец угостил шарманщика коньяком, сказал, что знает, какая трудная у него жизнь, и предложил ему место путевого сторожа на Юго-Западной дороге. Будет свой маленький дом, огород.

— Не обесудьте, Георгий Максимович, — тихо ответил шарманщик и покраснел. — Благодарствую от чистого сердца, но никак не могу. Загорю я будочником. Мне, видно, век бедовать с шарманкой.

Он ушел. Мама не могла скрыть своего торжества, хотя и молчала.

Через несколько дней полиция неожиданно выселила из Святославского яра всех его обитателей. Шарманщик с Лизой исчезли, очевидно, они перекочевали в другой город.

Но до этого я успел еще раз побывать в яру. Шарманщик пригласил меня: «Иде «птерять»».

На перевернутом ящике стояла тарелка с печеными помидорами и черным хлебом, бутылка вишневой наливки и лежали грязные конфеты — толстые в розовую и белую полоску сахарные палочки.

Лиза в новом платье, с туго зачесанными косами, обидчиво следила за тем, чтобы я ел, «как у мамы». Попугай спал, прикрыв глаза кожаной пленкой. Шарманка изредка сама по себе издавала певучий вздох. Шарманщик объяснил, что это из каких-то трубок выходит застоявшийся воздух.

Был уже сентябрь. Приближались сумерки. Кто не видел киевской осени, тот никогда не поймет нежной прелести этих часов.

Первая звезда загорается в вышине. Осенние пышные сады молча ждут ночи, зная, что ночью звезды обязательно будут падать на землю и сады поймают эти звезды, как в гамак, в гущу своей листвы и опустят на землю так осторожно, что никто в городе даже не проснется и не узнает об этом.

Лиза проводила меня до дому, сунула мне на прощанье розовую липкую конфету и быстро сбегала с лестницы. А я долго не решался позвонить, боясь, что мне испадет за позднее возвращение.

КОНЬКИ ГАЛИФАКС

На рождество отец подарил мне коньки Галифакс.

Теперешние мальчики долго бы смеялись, увидев эти коньки. Но тогда не было на свете лучших коньков, чем коньки из города Галифакс.

Где этот город? Я расспрашивал всех. Где этот старый город Галифакс, заваленный снегом? Там все мальчишки бегают на таких коньках. Где эта зимняя страна, населенная оставшимися моряками и шустрыми школьниками? Никто мне не мог ответить.

Старший брат Боря сказал, что Галифакс — это вовсе не город, а фамилия изобретателя коньков. Отец сказал, что, кажется, Галифакс — это, правда, городок на острове Нью-Фаундленде у северных берегов Америки и знаменит он не только коньками, но и собаками-водолазами.

Коньки лежали у меня на столе. Я смотрел на них и думал о городе Галифаксе. Получив коньки, я тотчас выдумал этот город и уже видел его так ясно, что мог бы нарисовать подробный план его улиц и площадей.

Я видел его газовые фонари, залепленные мокрым снегом (конечно, снег налетал с океана), его облетелые сады, слышал болтовню женщин, шум мутных зеленых волн и стук молотков на площади. Там плотники чинили маленький цирк для езжего зверинца.

Я мог долго сидеть за столом над задачей Малюгина и Буренина — я готовился в ту зиму к экзаменам в гимназию — и думать о Галифаксе.

Это мое свойство пугало маму. Она боялась моих «фантазий» и говорила, что таких мальчиков, как я, ждет нищета и смерть под забором.

Это мрачное предсказание «ты умрешь под забором» было очень распространено в то время. Почему-то смерть под забором считалась особенно позорной. Это была участь пропойц.

Я часто слышал это предсказание. Но гораздо чаще мама говорила, что у меня «вывихнутые мозги и все не так, как у людей», и боялась, как бы из меня не вышел неудачник.

Отец очень сердился, когда слышал это, и говорил маме:

— Пусть будет неудачником, нищим, бродягой! Кем угодно, но только не проклятым киевским обывателем!

В конце-концов, я сам начал побаиваться и стесняться своего воображения. Мне казалось, что я занимаюсь чепухой, тогда как все вокруг занято серьезными взрослыми делами, — братья и сестра ходят в гимназию, зубрят уроки, отец служит в управлении Юго-Западных железных дорог, мама шьет и распоряжается по дому. Только я один живу в оторванном от общих интересов мире и напрасно трачу время.

— Ты бы лучше пошел на каток, чем бессмысленно сидеть и что-то выдумывать, — говорила мама. — Что это за мальчиш! На что ты похож!

Я уходил на каток. Зимние дни были короткие. Сумерки заставляли меня на кат-

ке. Приходил военный оркестр. Зажигались разноцветные лампочки. Гимназистки в шубках катались по кругу, раскачиваясь и пряча руки в маленькие муфты. Гимназисты ездили задом наперед или «пистолетом» — присев на одну ногу и далеко выставив другую. Это считалось высшим шиком. Я им завидовал.

Домой я возвращался раскрасневшийся и усталый. Но тревога не покидала мое сердце. Потому что и после катания на коньках я чувствовал прежнюю опасную склонность к выдумкам.

Я шел домой. С неба сыпался густой снег, и мне уже казалось, что ночью он, конечно, засыплет весь город выше крыш, закроет Соловцовский театр и кондитерскую Киржгейма, и мы будем ходить туда по вырытым в снегу ущельям.

В газетах всего мира будут писать о красивом городе Киеве, погребенном под снегом. К нам начинают приезжать наряженные туристки и туристы с биноклями через плечо. В снежных пропастях зазвучат французские и английские слова, а мальчишки из гостиницы «Континенталь» со множеством золотых пуговок на курточках потащат вслед за иностранцами желтые скрипучие чемоданы.

Я спохватывался. Мне становилось стыдно от этих глупых мыслей. Я торопился домой и старательно считал шаги, чтобы ни о чем таком больше не думать.

На катке я часто встречал подругу моей сестры Гали — Марусю Весницкую, гимназистку старших классов Фундукле-вской женской гимназии. Маруся тоже каталась на коньках Галифакс, но сделанных из черной вороненой стали.

Мой старший брат Боря — ученик реальной школы и знаток математики — ухаживал за Марусей. Он танцевал с ней на коньках вальс.

Конькобежцы очищали широкий круг на льду. Уличным мальчишкам, шнырявшим под ногами на самодельных коньках, давали подзатыльники, чтобы они успокоились, и начинался скользкий и медленный танец.

Даже капельмейстер военного оркестра рыжий чех Коваржик поворачивался лицом к катку, чтобы видеть этот танец. На красном лице капельмейстера (мы называли его «капельдудкиным») бродила сладкая улыбка.

Длинные косы Маруси Весницкой разлетались в такт вальсу. Они ей мешали, и она, не переставая танцевать, перекидывала их к себе на грудь. Она надменно смотрела из-под полуопущенных век на восхищенных зрителей.

Я со злорадством следил за Борей. Он танцевал хуже Маруси. Иногда он даже поскользнулся на своих хваленых коньках «яхт-клуб».

С Борей у меня были свои счеты. Он первый обозвал меня «фантазером», на-

смехался надо мной, и мне было ясно, что он считает меня ничтожным человеком.

Боре было уже семнадцать лет. Он свободно разговаривал за столом со взрослыми, даже спорил с ними. Однажды я слышал, как он говорил маме, что меня неправильно воспитывают, что я окружен только женщинами, что у меня нет товарищей-мальчишек и из меня выйдет «кисейная барышня».

Мог ли я думать тогда на катке, что жизнь Маруси Весницкой окажется гораздо интереснее всех моих самых смелых фантазий.

В то время в Англии, в Кембридже или в Оксфорде воспитывался один из сыновей сиамского короля.

Этот сиамский принц не выносил морских перевозов. Он ездил из Англии на родину длинным сухопутным путем — через Европу, Россию и Индию.

Во время одной из таких поездок принц заболел в дороге около Киева воспалением легких. Путешествие было прервано. Принца привезли в Киев, поместили в царском дворце и окружили заботами лучших киевских врачей.

Принц выздоровел. Но прежде, чем продолжать путешествие в Сиам, ему надо было отдохнуть и поправиться. Принц прожил в Киеве два месяца.

Ему было скучно. Его старались развлечь — возили на балы в Купеческое собрание, на лотереи-аллегри, в цирк и театры.

На одном балу желтолицый принц увидел Марусю Весницкую. Она танцевала вальс так же, как на катке, закинув косы себе на грудь и надменно поглядывая из-под полуопущенных век синими таинственными глазами. Принц был очарован. Маленький, раскосый с блестящими, как вакса, волосами, он танцевал с Марусей, пока капельки пота не появились на его круглом лице.

Принц влюбился в Марусю. Он уехал в Сиам, но через полгода вернулся в Киев инкогнито и предложил Марусе стать его женой. Она согласилась.

Смятение охватило киевских гимназисток. Все в один голос говорили, что на ее месте они бы ни за что не согласились выйти замуж за азиата, хотя бы и сына короля.

Маруся уехала в Сиам. На вокзале молодую чегу провожали родные и киевский генерал-губернатор. В сторонке плакала старая нянька Христа. Она боялась сиамского принца и стеснялась при всех попроситься со своей любимицей Марусей.

Сиамский король вскоре умер от какой-то тропической заразной болезни. Вслед за ним умерли от той же болезни первый и второй наследные принцы.

Муж Марии был третьим сыном короля. У него было очень мало надежд на сиамский престол. Но после смерти брать-

ев он оказался единственным наследником и неожиданно стал королем. Так веселая киевская гимназистка Маруся Весницкая сделалась сиа́мской королевой.

Она прислала об этом коротенькое письмо из Бангкока всем своим подругам. Сестра Галя приносила его домой. Письмо было написано тушью на нежнейшей голубой бумаге. Если смотреть эту бумагу на свет, то она делалась ярко-красной. На бумаге были отпущены письма и узоры из золота.

Придворные ненавидели королеву-инностранку. Ее существование нарушало традиции сиа́мского двора.

В Бангкоке по требованию Маруси провели электрическое освещение. Это переполнило чашу ненависти придворных. Они решили отравить королеву, поправшую древние привычки народа. В пищу королеве начали постепенно подсыпая истертое в тончайший порошок стекло от разбитых электрических лампочек. Через полгода королева умерла от кровотечения в кишечнике.

На могиле ее король поставил памятник. Высокий слон из черного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Маруся Весницкая — молодая королева Си́ама.

С тех пор, каждый раз, когда я попадал на каток, я вспоминал Марусю и капельмейстера, игравшего вальс «Невозвратное лето», и как Маруся стряхивала варежкой снег со своего лба и бровей, и ее коньки из синей стали — коньки из города Галифакса. Там жили простодушные отставные моряки. Вот рассказать бы этим старикам историю Маруси Весницкой. Сначала они открыли бы от изумления рты, потом покраснели бы от гнева на придворных и долго бы качали головами, сокрушаясь над шреватностью человеческой судьбы.

ЗИМНИЕ ЗРЕЛИЩА

Киевская зима почти всегда была мягкой, с легкими оттепелями, туманами, с радужным сиянием вокруг уличных фонарей. Часто падал снег — густой, тихий, совершенно театральный.

Зимой меня водили в театры.

Первая пьеса, которую я увидел, было «Взятие крепости Измаила». Мне она не понравилась, потому что я заметил у кулисы человека в очках и потертых бархатных брюках. Он стоял рядом с Суворовым, потом сильно толкнул Суворова в спину, тот вприпрыжку вылетел на сцену и запел петухом.

Но зато вторая пьеса «Принцесса Преза» Ростана меня ошеломила. Там было все, чтобы потрясти мое воображение, —

палуба корабля, огромные паруса, трубы дуры, рыцари, принцесса.

Я полюбил драматический Соловцовский театр, его синюю бархатную обшивку и маленькие ложи. Меня нельзя было увести отсюда никакими силами, пока не гасили свет. Темнота театрального зала, запах духов и апельсиновых корок — все это казалось мне настолько заманчивым, что я мечтал спрятаться под креслом и провести всю ночь в пустом театре.

В детстве я не мог отделить театрального зрелища от действительности и понастоящему мучился и даже болен после каждого спектакля.

Я полюбил не только самые спектакли. Мне нравились театральные коридоры с зеркалами в тусклых золотых рамах, темные вешалки, где пахло мехом от шуб, перламутровые бинокли, топот застоявшихся лошадей у театрального подъезда.

В антрактах я бегал в конец коридора и смотрел через окно наружу. Там лежала крошечная тьма. Только снег белел на деревьях. Я быстро оборачивался и видел свет нарядного зала, люстры, блеск женских волос, браслетов, серег и бархатный театральный занавес. В антрактах его качало теплым ветром. Я повторял это занятие по несколько раз — то смотрел в окно, то на зал — и оно мне очень нравилось.

Оперу я не любил. Очевидно потому, что первой оперой, которую мне показали, был «Демон» Рубинштейна. Жирный с начальным и брыластым лицом актер лениво и как-то вразалку пел демона. Он играл почти без грима. Было смешно, что на этого солидного человека с брюшком надели длинную черную рубаху из кисеи, обшитую блестками, и привязали к спине крылья. Актер сильно картавил, и, когда он пел «Проклятый мир, презренный мир», я не мог удержаться от смеха. Мама была возмущена и перестала водить меня в оперу.

Каждую зиму к нам приезжала из Городища тетя Дося. Мама любила водить ее в театр.

Перед этим тетя Дося плохо спала ночь. За несколько часов до спектакля она уже надевала широкое шумящее платье из коричневого агласа, выканного желтыми цветами и листьями, накидывала коричневую шаль на шею, закинула в руке кружевной платочек и потом, помолодевшая на десять лет и немного испуганная, ехала на извозчике с мамой в театр. Голову тетя Дося повязывала, как все украинские бабы, черным платком с маленькими розами.

В театре все смотрели на тетю Дозю, но она так была занята спектаклем, что ни на кого не обращала внимания.

Возили ее, главным образом, на украинские пьесы: «Наташка Полтавка», «Запоро-

жец за Дунаем» и «Шельменко денщик». Один раз среди действия тетя Дозя вскочила и крикнула по-украински театральному злодею:

— Что ж ты делаешь, подлаго, бесстыжи твои глаза!

И она оглушительно плюнула на пол от негодования.

Публика хохотала. Дали занавес. Отец ездил извиняться к антрепренеру Сагаганскому. А тетя Дозя проплакала весь следующий день от стыда, просила у отца прощения, и мы не знали, как ее успокоить.

С тетею Дозей мы впервые ходили в кино. Тогда кино называли «Иллюзионом» или «Синематографом Люмьера».

Первый сеанс был устроен в Оперном театре. Отец был в восторжении от «Иллюзиона» и приветствовал его, как одно из великодушных новшеств двадцатого века.

На сцене натянули мокрое полотно. Потом погасили люстры. По полотну замигал злобещий зеленоватый свет и забегали черные пятна. Прямо над нашими головами струился дымный луч света. Он страшно шипел, будто у нас за спиной жарили целого вепря, и тетюшка Дозя спросила маму:

— Почему он так скворчит, этот иллюзион? Мы от него не сторим, как в курятнике?

После долгого шипа на полотне появилась надпись: «Извержение на острове Мартинике. Видовая картина».

Экран задрожал, и на нем, как бы сквозь ливень пыли, возникла огнедышащая гора. Из недр ее лилась горящая лава, и зрительный зал зашумел, потрясенный этим зрелищем.

После видовой показывали комическую картину из жизни французской казармы. Горнист бил в барабан, солдаты просыпались, вскакивали, натягивали брюки. Из штанины у одного солдата вываливалась крыса. Она бежала по казарме, а солдаты в ужасе, неправдоподобно тараща глаза, лезли на койки, на двери и окна. На этом картина кончалась.

— Балаган! — сказала мама. — Только с той разницей, что на Контрактовой ярмарке балаганы гораздо интереснее.

Отец заметил, что точно так же недалевоидные люди смеялись над паровозом Стефенсона. А тетюшка Дозя, стараясь примирить отца с мамой, сказала:

— Бог с ним, с иллюзионом! Не нашего это женского ума дело.

На Контрактовой ярмарке балаганы действительно были интереснее. Мы любили эту ярмарку и с нетерпением ждали всю зиму, когда она откроется.

Открывалась она в марте в старинном Контрактовом доме на Подоле и в дощатых палатках около этого дома.

Обычно ко дню ее открытия наступала

распутица. Острые запахи ярмарочных товаров были слышны издаиска. Пахло новыми бочками, кожей, пряниками и колескором.

Нищие и босяки со всего Киева — знаменитые шулявские и соломенские хлопцы собирались на Подоле. Нищие пели на разные голоса, а босяки, божась и богохульствуя, играли в подворотнях в «три листика».

Мне нравились на ярмарке карусели, игрушки, паноптикум и пряники.

Контрактовая ярмарка славилась на всю Россию своими пряниками — большими пухлыми караваемися на меду и разными сортами мелких пряников — мятных, тульских, вятских, черниговских и полтавских.

Маслянистые глыбы белой и шоколадной калвы хрустели под ножами продавцов. Прозрачный розовый и лимонный рахат-лукум заклеивал рот. Желтоватая, присыпанная сахарной пудрой пастила лежала в мелких ящичках из фанеры. На огромных глиняных блюдах были навалены пирамиды засахаренных груш, слив и вишен — изделия знаменитого киевского кондитера Балабухи.

На разостланных в грязи рогожах стояли рядами грубо вырезанные из дерева и ярко раскрашенные липкой краской солдатки — казаки в папахах и шароварах с малиновыми лампасами, барабанщики со зверски выпученными глазами и трубки с пышными кистями на трубах. Кучки были свалены глиняные свистульки.

Веселые старики толкались в толпе, выхваляя «тещины языки» и «морского жителя». Это была заманчивая игрушка. В стеклянной узкой банке нырлял и перепорачивался в воде черный мохнатый чортик.

Множество звуков оглушало нас — выкрики продавцов, лязг кованых дрог, величественный звон из Братского монастыря, писк резиновых чортиков, свист свистулек, рыдания шарманок, жужжание лир, хриплое пение старого слепого актера в зеленой шляпе и черных очках, звон бубен в балаганах и вопли мальчишек на карусели.

За приплату карусель вертели так бешено, что все превращалось в пеструю смесь оскаленных лошадиных морд из папье-маше, галстуков, сапог, вздувшихся юбок, разноцветных подвязок, кружев, зажмуренных глаз. Иногда в лицо зрителям, как пули, летели стеклянные бусы от разорванного стремительным вращением мониста.

Паноптикума я побаивался, особенно восковых фигур.

Убитый французский президент Карно лежал, улыбаясь, на полу во фраке со звездой. Густая неестественная кровь, по-

хожая на красный вазелин, стекала у него по пластрогу. Казалось, Карно был доволен, что умер так эффектно.

Восковая царица Клеопатра прижимала к твердой зеленоватой груди черную змею.

Русалка с лиловыми глазами лежала в цинковой ванне. В ее грязной чешуе отражались электрические лампочки. Вода в ванне была мутная.

В открытом сундуке, обтянутом проводочной сеткой, среди ватных одеял спал удав. Он изредка перебирал мускулами, и зрители шарахались.

Чучело гориллы, окруженное листвой из крашенных стружек, уносило в лесную чащу бесчувственную девушку с распущенными золотыми волосами.

Каждый желающий за три копейки мог выстрелить в эту гориллу из монтэкристо и спасти девушку. Если он попадал в кружок на груди обезьяны, она роняла тряпичную девушку на пол. От девушки густо подымалась пыль.

После этого гориллу на минуту задерживали ситцевой занавеской, и потом она опять появлялась, все так же свирепо увлаживая девушку в те же самые выцветшие лесные чащи.

С Контрактной ярмарки мы возвращались усталые и оглушенные.

Я особенно любил Контрактную ярмарку — она предвещала близкую пасху, поездку к бабушке в Черкассы, а потом — всегда прекрасную и необыкновенную киевскую нашу весну.

ГАРДЕМАРИН

Весна в Киеве начиналась с разлива Днепра. Стоило только выйти из города на Владимирскую горку, и тотчас перед глазами распаивалось голубоватое море.

Но, кроме разлива Днепра, в Киеве начиналась и другой разлив — солнечного сияния, свежести, теплого и душистого ветра.

На Бибиковском бульваре распускались клейкие пирамидальные тополя. Они наполняли окрестные улицы запахом ладана. Каштаны выбрасывали первые листья — прозрачные, измятые, покрытые рыжеватым пухом.

Когда на каштанах расцветали желтые и розовые свечи, весна достигала разгара. Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое дыхание молодой травы и первых цветов.

Гусеницы ползали по тротуарам даже на Крещатике. Ветер дулвал в кучи высохшие лепестки. Майские жуки и бабочки залетали в вагоны трамваев. По ночам в палисадниках пели соловьи. Тополевый пух, как черноморская пена, накатывался гребнем на панели. Между камней желтели сотни одуванчиков.

Над открытыми настежь окнами кондитерских и кофеен натягивали полосатые тенты от солнца. Сирень, побрызганная водой, стояла в тени на ресторанных столиках. Молодые киевлянки искали в прозьях сирени цветы из пяти лепестков. Их лица под соломенными летними шляпками приобретали желтоватый матовый цвет.

Наступала весна киевских садов. Весной я все дни напролет пропадал в садах. Я играл там, учил уроки, читал. Домой я приходил только обедать и ночевать.

Я знал каждый уголок огромного Ботанического сада с его оврагами, прудами и густой тенью столетних липовых аллей.

Но больше всего я любил Мариинский парк в Липках, около дворца. Он нависал над Днепром. Стены лиловой и белой сирени высотой в три человеческих роста звенели и качались от множества пчел.

Широкий пояс садов тянулся над красными глинистыми обрывами Днепра — Мариинский и Дворцовый парки, Царский и Купеческий сады. Из Купеческого сада был знаменитый вид на Подол, особенно по вечерам. Киевляне очень гордились этим видом. В Купеческом саду все лето играл симфонический оркестр. Ничто не мешало слушать музыку, кроме протяжных парходных гудков, доносившихся с Днепра.

Город был так хорош весной, что я не понимал мамино пристрастие к обязательным воскресным поездкам в дачные места — Боярку, Пушу Водицу или Дарницу. Я скучал среди однообразных дачных участков Пуши Водицы, равнодушно смотрел в боярском лесу на чахлую аллею поэта Надсона и не любил Дарницу за вытоптанную землю около сосен и сыпучий песок, перемешанный с окурками.

Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелеными лентами лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты.

Галя была близорукая, очень доверчивая и вывести ее из добродушного состояния было почти невозможно.

Утром прошел дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли.

Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала упрямо прыгать через веревочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно просыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стояла с книжкой, капли дождя и продолжала читать.

И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.

По аллее легко шел высокий гардемарин с загорелым и спокойным лицом.

Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тского ветра. Он был весь в черном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.

В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата «Паллада», из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом появился в Мариинском парке как будто со страниц Стиггенсона.

Гардемарин прошел мимо нас, хрустя по песку. Я поднялся и пошел за ним. Галья по близорукости не заметила моего исчезновения.

Вся моя тоска по морю воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далекие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый kaleidoscope, за стеклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.

Гардемарин оглянулся. На черной ленточке его бескозырки я прочел загадочное слово: «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота.

Я шел за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк.

Несколько раз гардемарин оглядывался, а на углу Мединговской он остановился и поздравил меня.

— Мальчик, — спросил он насмешливо, — почему вы тащитесь за мной на буксире?

Я покраснел и ничего не ответил.

— Все ясно, он мечтает быть моряком, — догадался гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице.

— Я близорукий, — ответила я упавшим голосом.

Гардемарин положил мне на плечо худую руку:

— Дойдем до Крещатика!

Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки гардемарина.

На Крещатике гардемарин зашел со мной в кофейную Семадени, заказал две порции фисташкового мороженого и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трехногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан

цифрами, — у Семадени собирались биржевые дельцы и подчитывали на столиках свои прибыли и убытки.

Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне:

— Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль.

Он крепко пожал мне руку и ушел. Я посидел еще немного, пока на меня не начали оглядываться потные софеды в канотье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста, Галья ушла. Я заплакал. Я догадался, что гардемарин меня пожалел, и я впервые понял, что жалость всегда оставляет в душе горький и обидный осадок.

После этой встречи желание сделаться моряком вселилось в меня и мучило меня много лет.

Часами я просиживал над атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек.

Я придумал сложную игру. Я составил длинный список парокордов со звучными именами «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сиринус». Список этот разбухал с каждым днем. Я был владельцем самого большого флота в мире.

Конечно, я сидел у себя в парокордной конторе, в мужественном дыму сигар, среди пестрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Желтые мачты парокордов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязы. Парокордный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом рассола и новельких веселых рогож.

Я придумал список удивительных рейсов для своих парокордов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они не заходили. Они посещали даже острове Тристан д'Акуню.

Я снимал парокорды с одного рейса и посылал на другой. Я следил за плаваньем своих кораблей и безошибочно знал, где сегодня «Адмирал Истомино», а где «Летучий Голландец». «Истомино» грузит бананы в Сингапуре, а «Летучий Голландец» разгружает муку на Фаррерских островах.

Для того, чтобы руководить таким обширным парокордным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдаленное касательство к морю.

Тогда впервые я услышал от мамы слово «менингит».

— Он дойдет бог знает до чего со своими играми, — сказала однажды мама. — Как бы все это не кончилось менингитом.

Я знал, что менингит — это болезнь мальчишек, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи.

Все кончилось тем, что родители решили поехать всей семьей на лето к морю.

Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения. Она думала, что я буду, как это всегда бывает, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.

КАК ВЫГЛЯДИТ РАЙ

Однажды нам торжественно объявили, что на-днях мы на все лето уезжаем на Черное море в маленький городок Геленджик, вблизи Новороссийска.

Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом.

Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами норд-остами. Только колючие кусты держи-деревя и чахаая акация с желтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От лысых гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод.

Но геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и теплой ее воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, гнилые поплавки-балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темнозеленых бутылок, очевидно от боржома.

Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах.

В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Анастасом. Он был грек, родом из города Волю. У него была новая парусная шлюпка, белая, с красным килем и вымытым до седины решетчатым настилом.

Анастас катал на шлюпке дачников. Он славился ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом.

Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду тот ужас и восторг, который я испытал, когда парус, надувшись, накренил шлюпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы

покатились навстречу, просвечивая зеленью и обдавая лицо соленой пылью.

Я схватился за ванты, мне хотелось обратнo на берег, но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил:

— Почему твоя мама отдала за эти чувяки? Ай, хороши чувяки!

Он кивнул на мои кавказские туфли — чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил, Анастас зевнул и сказал:

— Ничего! Маленький душ, теплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить — скушай за палу-маму!

Он небрежно и уверенно повернул шлюпку. Она черпнула воду, и мы помчались обратно в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало.

Неожиданно Анастас зашел. Я перестал дрожать и с недоумением слушал эту песню.

От Батума до Сухума —

Ай-вай-вай!

От Сухума до Батума —

Ай-вай-вай!

Бежал мальчик, тащил ящик —

Ай-вай-вай!

Упал мальчик, разбил ящик —

Ай-вай-вай!

Под эту песню мы спустили парус и с разгона беспшумно и быстро подошли к пристани, где ждала бледная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристань и сказал:

— Теперь он у вас соленый, мадам. Уже имеет к морю привычку.

Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал.

Сначала щебенчатая дорога шла по склону голых гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины, одни и те же облака из серой сухой ваты.

Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала, — там я нальюсь вкусной и холодной воды. Но я не верил извозчику.

Дорога подымалась все выше и выше, и вдруг в лицо нам пахнуло свежестью.

— Самый перевал! — сказал извозчик, остановил лошадей, слез и подложил под колеса железные тормоза.

С гребня горы мы увидели густые леса. Они волнами тянулись по горам до горизонта. Кое-где из зелени торчали красные гранитные утесы, а вдали я увидел вершину, горевшую льдом и снегом.

— Норд-ост сюда не достигает, — сказал извозчик. — Тут рай!

Линейка начала спускаться. Тотчас тень шакрыла нас, и мы слышали в непролазной чаще деревьев журчание воды, и свист птиц, и шелест листьев, взволнованной полуденным ветром.

Чем ниже мы спускались, тем гуще делался лес и тенистее дорога. Прозрачный ручей уже бежал по ее обочине. Он перемывал разноцветные камни, задевая своей струей лиловые цветы и заставлял их качаться и дрожать, но не мог оторвать их от каменистой земли и унести с собой вниз, в ущелье.

Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиток. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась потом.

— Пахнет озоном, — сказал отец.

Я гаубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг, но мне казалось, что меня завалили ворохами веток, смоченных душистым дождем.

То тут, то там на откосах дороги высовывался из-за камня какой-нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей, задранных головы и выступавших торжественно, как на параде, чтобы не сорваться вскачь и не раскатить линейку.

— Вон ящерица! — сказала мама.

— Где?

— Вон там. Видишь, цветет орешник? А налево — красный камень в траве? Смотри выше. Видишь желтый цветок? Это азалия. Чуть правее азалии на поваленном буке. Около самого корня. Вон, видишь, такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах? Так вот — рядом с ним.

Я увидел ящерицу. Но пока я ее нашел, я проделал чудесное путешествие по орешнику, красному камню, цветку азалии и поваленному буку.

«Так вот он какой, Кавказ!» — подумал я. — Тут рай! — повторил извозчик, сворачивая с пустынного шоссе на травянистую узкую просеку в лесу. — Сейчас распряжем коней, будем купаться.

Мы въехали в такую чащу и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и итти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами.

Мы вышли на поляну в зеленом ущелье. Как белые острова, в сочной траве стояли толпы высоких одуванчиков. Под темными буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переливалась через камни прозрачную воду, шипела и увлаживала вместе с водой множество воздушных пузырьков.

Пока извозчик распрягал лошадей и ходил с отцом за хворостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром.

Мы хотели тотчас итти вверх по реке, но мама расселила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что пока мы не поедем, она никуда нас не пустит.

Я, давясь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом и сахаром, но оказалось, что я совершенно напрасно торопился, — упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть потому, что вода из речушки была совершенно ледяная.

Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костер. Мы налили крепкого чаю и начали торопить отца, чтобы итти в лес. Извозчик сказал, что надо быть осторожнее, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам.

Мама заволновалась, — итти с нами она не могла, у нее была одышка, — но извозчик успокоил ее, заметив, что кабана нужно нарочно раздражить, чтобы он бросился на человека.

Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу, поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой, — в них синими искрами пронесилась форель, — огромных зеленых жуков с длинными усами, пенистые ворчливые водопады, — около них стояли забрызганные водой хвощи выше нашего роста, заросли лесных анемонов и полянки с пионами.

Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли ее. Очевидно, это было место ночевки дикого кабана.

Отец ушел вперед. Он начал звать нас. Мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны.

Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтесанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятью обтесанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек.

— Это дольмены, — сказал отец. — Древние могильники скифов. А, может быть, это вовсе и не могильники.

Я был уверен, что дольмены — это жилища давно вымерших карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу, так как с нами был Боря. Он сейчас же поднял бы меня насмех.

В Геленджик мы возвращались совершенно сожженные солнцем, пьяные от усталости и лесного воздуха. Я уснул и сквозь сон почувствовал, как на меня дохнуло жаром, и услышал отдаленный рожок моря.

С тех пор я сделался в своем воображении владельцем еще одной великолепной страны — Казгза. Началось увлечение Лермонтовым, абреками, Шамилем. Мама опять встревожилась.

Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому.

Но я была совсем непохож на захлебывающихся слюной, шумных и увлекающихся мальчиков, никому не дающих покоя. Наоборот, я была очень застенчивый и со своими увлечениями ни к кому не пристаивала.

БРЯНСКИЕ ЛЕСА

Осенью 1903 года я должен был поступить в подготовительный класс Первой киевской гимназии. В ней учился мой средний брат Вадим. После его рассказов я начал бояться гимназии, иногда даже плакал и просил маму оставить меня дома. — Неужели ты хочешь быть экстерном? — испуганно спрашивала мама.

Экстернами назывались те мальчики, что учились дома и только каждый год давали экзамены при гимназии.

Со слов братьев я хорошо представлял себе страшную судьбу этих экстернов. Их нарочно проваливали на экзаменах, всячески издевались над ними, требовали от них гораздо больше знаний, чем от обыкновенных гимназистов. Ниоткуда экстернам не было помощи. Им даже не подсказывали.

Я представляла себе этих истощенных от зубрежки заплаканных мальчиков с красными от волнения оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое. Я сдавалась и говорил:

— Ну хорошо, я не буду экстерном.

— Кисейная барышня! — кричал из своей комнаты Боря. — Нуля!

— Не смей его обижать! — вскипала мама.

Она считала Боря бессердечным и все удивлялась, откуда у него такой черствый характер. Очевидно — от деда-нотариуса или бабки-турчанки. Вся остальная наша семья отличалась необыкновенной отзывчивостью, привязчивостью к людям и непрактичностью.

Отец знал о моих страхах и волнениях и нашел, как всегда, самое неожиданное лекарство от этих бед. Он решил, после легкой стычки с мамой, отправить меня к моему дяде, мамину брату Николаю Григорьевичу.

Это был тот самый веселый юнкер, дядя Коля, что приезжал к бабушке в Черкасы из Петербурга и любил танцевать вальс с тетей Надей. Сейчас он уже сделался военным инженером, женился и служил в городе Брянске Орловской губернии на старинном артиллерийском за-

воде. Завод этот назывался арсеналом.

На лето дядя Коля снял дафу около Брянска в старом запущенном имении Рэвны в Брянских лесах и звал нас всех приехать туда же. Родители согласились. Но они не могли уехать раньше, чем у сестры и братьев окончатся экзамены. Меня послали вперед одного.

— Пусть привыкает, — сказал отец. — Это очень полезно для таких стеснительных мальчиков.

Отец написал дяде Коле письмо. Что он писал, я не знаю. Мама, украдкой вытирая слезы, сложила мне маленький чемодан, где ничего не было забыто и лежала записка со всякими наставлениями.

Мне взяли билет во втором классе до станции Синезерки, — дядина дача была в десяти верстах от этой станции.

На вокзал меня провожали все, даже Боря. Отец о чем-то поговорил с седоусым проводником и дал ему денег.

— Довезу, как пушинку, — сказал проводник маме. — Не извольте волноваться, сударыня.

Мама попросила соседей по купе присматривать за мной и не позволять мне выходить на станциях. Соседи любезно согласились. Я очень стеснялся и осторожно тянул маму за рукав.

После второго звонка все расцеловали меня, даже Боря, хотя он тут же, незаметно от остальных, дал мне так называемую «грушу» — больно ковырнула большим пальцем меня по макушке.

Все вышли из вагона на платформу. Но мама все не могла уйти. Она держала меня за руки и говорила:

— Будь хорошим. Слышишь? Будь умным мальчиком и очень осторожным.

Она смотрела на меня испытующими глазами. Пробил третий звонок. Она обняла меня и быстро, шурша платьем, пошла к выходу. Она соскочила почти на ходу. Отец подхватил ее и покачал головой.

Я стоял у закрытого окна, смотрел, как мама впереди всех быстро шла по платформе, и только сейчас увидел, какая она красивая, маленькая и ласковая. Мои слезы капали на пыльную раму.

Я долго смотрел за окно, хотя уже не видно было ни мамы, ни платформы, а проносились товарные пути, крикливые маневровые паровозы и проплывал, как бы вращаясь, готический новый костел на Васильковской улице. Я боялся оглянуться, чтобы соседи по купе не заметили моих заплаканных глаз. Потом я вспомнил, что дяде Коле послали телеграмму о моем приезде. Легкая гордость от того, что обо мне послали настоящую телеграмму, немного успокоила меня, и я обернулся.

Купе было обито красным бархатом. В нем было тесно и уютно, и пыльные зайчики от солнца все сразу, будто по команде, начинали быстро переползать из одно-

го угла купе в другой, а потом так же быстро ползали обратно, — поезд вырывался из путаницы киевских предместий и шел по закруглениям.

Меня устроили в дамское купе. На этом настояла мама. Я осторожно осмотрел своих спутниц. Одна из них, черная сухая француженка, быстро закивала мне, улыбнулась, показав лошадиные зубы, и протянула коробку с мармеладом. Я не знал, что делать, но поблагодарил и взял мармелад, испачкав руки.

— Клади его скорей в рот! — сказала вторая спутница — гимназистка лет шестнадцати в коричневом форменном плаще, с раскосыми веселыми глазами. — Жуй, не задумывайся!

Француженка, очевидно, гувернантка, что-то строго сказала гимназистке по-французски. Гимназистка тотчас сгримасничала, и тогда француженка начала говорить по-французски быстро, сердито и долго. Гимназистка, не дослушав, встала и вышла в коридор.

— Ох, молодежь! — сказала третья моя спутница — маленькая толстая старушка со ртом, похожим на баранку. За ее спиной в плетеной сумочке действительно висели баранки, посыпанные маком. — Ох, уж эта мне декадентская молодежь!

— О-о! — закивала француженка. — Это одно непослушание. Один фиф! Один каприз!

Что значило слово «фиф» я не знал, но догадался, что это что-то плохое, потому что старушка подняла глаза к потолку и так тяжело вздохнула, что даже француженка взглянула на нее с интересом.

Мне хотелось смотреть в окно, и я вышел в коридор. Гимназистка уже стояла у открытого окна.

— А, Витя! — сказала она мне. — Становись рядом. Будем смотреть.

— Я не Витя, — ответил я, краснея.

— Все равно, становись!

Я влез на карниз отопления и высунулся в окно. Поезд шел по мосту через Днепр. Я увидел Лавру, и далекий Киев, и мелкий Днепр, успевший намыть около устоев моста чистые песчаные острова.

— Чортова хрычовка! — сказала гимназистка. — Мадам Демифамм! Но в общем, ты ее не бойся. Она добрая старушечка.

Так началось мое путешествие. Я от него очень устал, потому что всю дорогу, кроме ночей, простоял около открытого окна. Но я был счастлив. Я впервые испытал ту путевую беззаботность, когда ни о чем не надо думать, а только смотреть за окно на ржаные поля, рощи, маленькие станции, где босые бабы продают молоко, на речонки, стрелочников, начальников станций в красных фуражках, гусей, деревенских ребят, что бегут за поездом и кричат: «Дяденька, кинь копейку!»

Дорога на Брянск была тогда круговая и длинная — через Львов и Дмитриюв. Только на третий день поезд пришел в Синезерки.

Он шел не торопясь, подолгу стоял на станциях, отдувался около волокачек. Сначала пассажиры выскакивали, бежали за кипятком и в буфет, торговались с бабами из-за земляники и жареных цыплят. Потом все возвращались по вагонам, успокаивались, и давно пора было ехать. На станции воцарялась сонная тишина, жгло солнце, плыли облака, волоча по земле синюю тень, пассажиры дремали, а поезд все стоял и стоял. Только паровоз вздыхал, и из него капала на песок горячая маслянистая вода.

Наконец, из станции выходил толстый обер-кондуктор в парусиновом скюртуке, вытирал усы, прикладывал ко рту свисток и залиvisto свистел. Паровоз не отвечал, все так же отдуваясь. Тогда обер-кондуктор лениво шел к паровозу и снова свистел. Паровоз не откликнулся. Только на третий или четвертый свисток он, наконец, огрызнулся коротким недовольным гудком и медленно трогался.

Я высовывался из окна, потому что знал, что сейчас же за семьяфором пойдут откосы, заросшие клевером и колокольчиками, а потом — сосновый лес. Когда поезд входил в него, стук колес делался гораздо громче, его подхватывало эхо, и по всему лесу начинали ковать молотками веселые кузнецы.

Я впервые видел среднюю Россию. Она мне нравилась больше Украины. Она была пустыннее, просторнее и глуше. Мне нравились ее леса, заросшие дороги, разговоры крестьян.

Старушка-соседка все время спала. Мадам Демифамм успокоилась и вязала кружево, а гимназистка пела, высунувшись из окна, и ловко срывала листья с деревьев, пролетающих около поезда.

Каждые два часа она устраивала еду и заставляла есть и меня. Мы ели крутые яйца, жареную курицу, пирожки с рисом, землянику и долго пили чай.

Потом мы снова висели в окне, дуря от запаха цветущей гречихи и от вечера. Тень от поезда бежала, постукивая, по полям, а вагон был залит таким оранжевым заходящим солнцем, что в нашем купе, как в огненном тумане, ничего нельзя было разобрать.

В Синезерки поезд пришел в сумерки. Проводник вынес мой чемодан на платформу. Я ждал, что меня встретит дядя Коля или его жена тетя Маруся, но на платформе никого не было. Мои соседи встревожились.

Поезд стоял в Синезерках одну минуту. Он ушел, а я остался около своего чемодана. Я был уверен, что дядя Коля опоздал и сейчас придет.

Ко мне по платформе подошел, ковыляя, бородастый крестьянин в пиджаке, в черном картузе, с кнутом, засунутым за голенище. От него пахло лошадиным потом и сеном.

— Это ты и есть Костик? — спросил он меня. — А я тебя дожидаюсь. Дядя капитан приказали тебя встретить и доставить в сохранности. Давай сундучок, пойдем.

Это было последнее испытание, приготовленное мне отцом. Он написал дяде Коле, чтобы никто меня не встречал, в Синезерках.

Восница — его звали Никитой, — что-то бормоча о дяде моем капитане, усадил меня на телегу в мягкое сено, покрытое рядом, отвязал торбу с сеном, сел на облучок, и мы поехали.

Сначала мы долго ехали по вечеряющему полю, а потом дорога пошла по взгорью среди лесов. Они тянулись во все стороны — сумрачные и тихие. Иногда телега скатывалась на деревянный мост, и под ним блестяла черная болотная вода. Потянуло сыростью, запахом осоки. За лесами и низкими чащами поднялась багровая мертвая луна, прогудела вышь, и Никита сказал:

— Наша сторона лесистая, безлюдная. Здесь корья и воды много. Самая это духовитая местность во всей Орловской губернии.

Мы въехали в сосновый бор, стали спускаться по крутому изволу к реке. Сосны закрыли луну, совсем стемнело. На дороге слышались голоса. Мне стало немного страшно.

— Ты, Никита? — крикнул из темноты знакомый дядин голос.

— Тпру! — отчаянно закричал Никита, сдерживая лошадей. — Известно, мы! Тпру, леший тебя раздери!

Кто-то схватил меня, снял с телеги, и я увидел в неясной темноте смеющиеся глаза дяди Коли и белые его зубы. Он поцеловал меня и тотчас передал тете Марусе.

Она тормошила меня, смеялась своим грудным смехом, и от нее пахло ванилью, — должно быть, она недавно возилась со сладким тестом.

Мы сели на телегу, а Никита пошел рядом. Тетя Маруся все расспрашивала, как я доехал, и хохотала.

Мы проехали старый черный мост через чистую глубокую реку, всю в зарослях, потом второй мост. Под ним тяжело ударила рыба. Наконец, телега въехала,

зацепившись за каменный столб у ворот, в такой темный и высокий парк, что казалось, деревья запутались своими вершинами среди звезд.

В самой гуще парка под шатрами непроглядных лип телега остановилась около маленького деревянного дома с освещенными окнами. Две собаки — белая и черная — Мордан и Четвертак начали лаять на меня и прыгать, стараясь лизнуть в лицо.

С этого вечера началась моя жизнь в Рёвках — бывшем потемкинском поместье, среди дремучих Брянских лесов, рек, кротких орловских крестьян, в старинном и таком обширном парке, что никто не знал, где он кончается и переходит в лес.

Это было последнее лето моего настоящего детства. Потом началась гимназия. Семья наша разделилась. Я рано остался один и в последних классах гимназии уже сам зарабатывал на жизнь и чувствовал себя совершенно взрослым.

С этого лета я навсегда и всем сердцем привязался к средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной поэтической силой и такой трогательно живописной — со всей своей грустью, спокойствием и простором, — как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревцо над озером, трепещущее листьями, каждый крик петуха и каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу.

И если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, как предсказывал Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и исцеляющую силу нашей русской природы.

Детство кончалось. Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем понимать только, когда делаемся взрослыми. В детстве все было другим, светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир, и все нам казалось гораздо более ярким.

Гораздо ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче был гром, обильнее дожди и выше трава. И шире было человеческое сердце, острее горе и в тысячу раз более загадочна была земля — самое великолепное, что нам дано для жизни. Ее мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа.

СТИХИ ИЗ ДНЕВНИКА

СЕМЕН ГУДЗЕНКО

★

1

Никогда я не забуду,
сколько буду на войне,
взбудораженную Буду,
потонувшую в огне.

И обломки переправы,
и февральский ледоход,
и Дуная берег правый,
развороченный, как дзот.

И того, кто самым первым
был в немецких блиндажах,
королевский пряный вермут
пил как воду влопыхах.

Кто в простреленном бушлате
шел на дамбу в полный рост —

мой отчаянный приятель,
севастопольский матрос.

Неприменно так случится:
мы придем издалека,
в шумном скверике
в столице
повстречаю я друга.

На скамейке смолкнут люди,
улыбнутся.

И опять
мы до поздней ночи будем
битву в Бude вспоминать.

г. Будапешт

2

Горят леса от Дрездена
до самого Берлина.
Земля как в пекле треснута,
как в пекле тает глина.

Пылают сосны, кренятся
и рушатся как в пекле.
И все поляны в пенном,
в сигарном сером пепле.

А дым дорогу кутает
и путает шюфера.
Жара такая, будто мы
заедем в пламя скоро.

Мы, как слепые странники,
все шупаем руками.
То пни или кустарники?
То немец или камень?

Дрезден—Берлин

3

Зачем ты спрашиваешь нас —
в России знают все:
и Венский лес,
и Венский вальс,
и Венское шоссе.

Но что нам вальс
и лес в росе,
когда мы об одном:
скорей бы выйти на шоссе.

...И вот шоссе —
гудит оно
и ходит ходуном.

Снаряды рвутся по краям,
а мы спешим на Дьер, —
насвистывает Штрауса
пехотный офицер.

На Венском шоссе

4

На чужой земле у Дуная
мне особенно дорога
непокорная речка лесная,
затопившая берега.

И гнездовья
на топиях болотных,
где шумит камышами весна,
И кочевья
гусей перелетных.
И вечерняя тишина.

На чужой земле у Дуная
я всегда ее вспоминаю.

Но волнует любимую то, что
третий месяц все писем нет,
Где-то возит солдатская почта
от меня новогодний привет.

Только почта не виновата,
нелегко ей теперь, нелегко.
В чуждадьные страны солдаты
далеко забрели, далеко.

г. Комарно

5

В Праге хоронят погибшего после
победы майора.
Влтава тиха,
но гремит орудийный салют.
Женщины плачут,
мужчины молчат у забора
и, обжигая ладони, гильзы на память
берут.

Гильзы начистят хозяйки кирпичною
пылью.
Первые ландыши будут стоять на окне.
Ландыши красными станут
И к правнукам былью
сказка придет о салютах, цветах и
войне.

г. Прага

6

Над нами тысячи стрижат,
как оголтелые визжат.
Как угорелые стремглаз
весь день бросаются стрижи
в заброшенные блиндажи,
в зеленую прохладу трав.
Они купаются в росе,
они росой опьянены.

По Кишиневскому шоссе
мы возвращаемся с войны,
Вокруг трава до самых плеч
такая,
что нельзя не лечь.

Вода в ручьях на всем пути,
пригубишь —
и не отойти.
И по заказу старшины
то ветерок, то солнцепек.

Мы из Европы.
Мы с войны
идем с победой на восток.

..Как сорок первый год далек!

Бессарабия

На обратном пути обязательно
после всех заграничных чудес
мы придем с закадычным приятелем
на рассвете в Житомирский лес.

В дневниках было это отмечено
там, под Дрезденом,
где-то в Неметчине.

Мы явились,
От гомона птичьего
точно бубен гудел небосвод.
Пыльный виллис
к сторожке лесничего
нас довел —
ни столбов, ни ворот,
ни межи, ни плетня на урочище,
только выкрик, удачу пророчащий,
только совы на пнях, как на тронах,
восседаят в чащобах нетронутых.

Несмышлелыши мы,
несмышлелыши.
Влезли в воду —
сидим захоловуши.
И до одури бегаем по лесу,
и от птичьего глоснем пророчества.
Мы одни, как на Северном полюсе,
но не чувствуем одиночества.
Если б старый лесник возвратился
домой,
он в испуге бы кланялся лешим.
А увидев пилотку
в траве
со звездой,
стал бы шедрым, повеселевшим.
На неструганный стол бы подал первача
и другие принес угошенья
Проживем, прошумим, пропируем
сплеча
первый день своего возвращенья!

Украина

В ЛЕСАХ СМОЛЕНЩИНЫ

Т. ЛОГУНОВА

Литературная обработка А. Татаровой

★

ГРОЗА

В субботу 21 июня 1941 года я получила диплом литературного факультета Смоленского педагогического института, а в воскресенье 22 июня радио передало речь Вячеслава Михайловича Молотова. Фашисты напали на нашу землю.

В тот же день я выехала на родину, в деревню Стабна, где мой отец, которого даже у нас в семье все звали просто Петрович, был председателем сельсовета.

Две липы, сросшиеся густыми кронами, стояли посреди поселка. Правление колхоза подвесило к ним большой колокол: в полдень счетовод раскачивал его язык, и густой гул плыл по полям и лугам, возвещая обеденный перерыв.

Уже стояли сумерки, когда я, созывая комсомольское собрание, ударила в колокол.

В те дни у всех болело сердце одной болью и каждый жался душой к людям. На собрание пришли и старики, и подростки. В хате, где помещалось правление, было темно, только вдоль стен вспыхивали огоньки цыгарок. Женщины сидели на полу рядком, молчали. Повестку дня знали все: эвакуация скота.

3 июля вся страна слушала по радио речь Сталина и сейчас наш председатель повторил её на память перед собравшимися — не потому только, понял я, что заучил ее, а потому, что продумал, прочувствовал от первого слова до последнего. И получалось так, что именно с нашим колхозом говорил несколько дней назад ранним утром Сталин.

Стояла долгая тишина, когда Петрович кончил. Потом послышался скорбный старушечий голос:

— Сейчас коровенку выгонять или густь до утра дома поживет... до солнышка?!

На этот вопрос Петрович не успел ответить — как громкий женский голос прокричал:

— Разрешика спросик, докладчик! — Все узнали Вассу Коршунову, бедовую, корыстолюбивую девку. Она сразу уже зашлась: — Корову ты у меня отнимешь, а кормить кто станет?

— Для немца корову норовит приберечь! — выкрикнула, негодуя, Феня Бойкова, наш депутат совета.

— Нужны ему ваши коровы! У него своих колбас хватит!

Собрание зашумело. Дурной смешок прозвучал у двери. Кто-то прогнусавил измененным голосом:

— Ох, нелегко немца победить! Это не со стариком Коршуновым воевать.

— Кто это? Кто говорит?! — Зачиркали спички. Возмущенные люди двинулись на голос Петр, мой брат, шаря руками, чтобы не наступить на сидящих, пошел к двери. Но опоздал: по ступенькам крыльчика торопливо прогрохотали шаги.

— Сейчас не время его разыскивать, — сказал Петя. Он так и остался стоять у двери и оттуда попросил у Петровича слова. Говорил он всегда горячо, был в нашем агитколлективе лучшим оратором.

— Мы, товарищи собрались, быть может, в последний раз Мы были верными товарищами в мирном труде. Но истинная дружба познается в беде. Беда надвинулась. Она у околицы. Трудно разрушать своими руками всё, чем мы богаты. Но мы разрушим! Враг не получит ни зернышка из колхозных закромов. Не на жизнь, а на смерть начинается борьба.

Спустилась ночь, а мне казалось, что я вижу подвижное лицо брата, его быстрые глаза. Он окликнул тихо:

— Мама, ты здесь?

— Здесь, Петушок, — отозвалась мать.

— Слушай, старенькая, каждая корка хлеба, которую найдет немец в нашем доме, будет для меня, для отца, для сестры ножом в сердце. Накормишь врага — нас ослабишь.

— Крошки он у нас не найдет, ни зернышка, ни глотка воды! — Это сказала не

мать — это отозвались на слова Петра все женщины нашего колхоза.

Они окружили Петровича, заговорили, как хозяйки большого хозяйства:

— А как с колхозным добром? Трудодни, семенной, страхового фонда, хлеба сотни пудов?

— Если не успеем зарыть, — ответил Петрович, — то сожжем, сгноим.

В это время с улицы закричали мальчишки:

— Немцы летят!

Мы выскочили во двор, бросились под липы. Матери шопотом скликали детей. Высоко над нами ныли моторы. Затемнять окна у нас еще не было привычки — избы мерцали мирными огоньками. Самолеты снизились, сделали круг над колхозом, снова набрали высоту и ушли на восток.

— Понесли груз на Смоленск, а может на Москву, — сказал Петрович. И после этих слов люди молча разошлись по домам. Лишь Петрович да колхозный конюх, дядя Иван Самуилов, вернулись в контору.

Дядя Иван зажег лампешку, поставил ее посреди стола, выпрямился. Седина еще не коснулась ни его черных волос, ни густой аккуратной бороды. В работе сын родной не мог за ним угнаться. Вот только оратором наш дядя Иван не был.

— К примеру, хлеб... — сказал он и остановил на Петровиче свой спокойный взгляд, — хлеб, к примеру, спрятать... я могу. Колхозный хлеб... Закопаю — никто не найдет.

Высказавшись, он нагнулся к лампе, сначала приглушил огонек, потом задул.

Не прошло и часа, как у колхозных амбаров стояли три груженные доверку подводы. Дядя Иван ходил вокруг возов, поправлял мешки, оглаживал лошадей. Огромная луна выплыла из-за облака.

Петрович отправился расставлять посты у околиц. Брат Петя, я, Павлик Антошкин и сын дяди Ивана, Дмитрий, сопровождали подводы с хлебом.

Когда въехали в лес, нас охватила сырость и тьма. Впереди, постукивая топором по стволам деревьев, шел дядя Иван. Стук всуугивал птиц, они взлетали, тревожно хлопая крыльями. Старик вел обоз извилистой, заросшей дорогой, даже мне, бродяге, она была неизвестна. Я обогнала подводы и спросила у Ивана Петровича, куда он ведет нас. Старик усмехнулся:

— Молода еще, Татьяна... Спроси у отца, он-то Муравьиный тяг знает. А хлеб, к примеру сказать, никто не найдет в Муравьином тягу Там моя охотничья стоянка.

Лес густел. Редко-редко проникал сюда лунный луч. Деревья казались огромными. Дядя Иван сказал мне:

— Пусть Петька с Дмитрием ведут коней по тропе, а мы пойдем напрямик.

Продравшись сквозь кустарник, старик остановился, закурил, потом откашлялся и заговорил с решимостью:

— Не прими, Павел, во гнев того, что я тебе скажу: батька твой — не наш человек. Кулак был, кулаком и остался. Внутренность у него недовольна советской властью... А ты — его кровный сын... «Каков топор — таков и клин, какой батька — такой и сын...»

— Я, дядя Иван, за отца не ответчик, — с дрожью в голосе заговорил Павка. — Меня отец только на свет произвел, а воспитался я, как твой Дмитрий, в комсомоле, в школе. Не доверяете мне, Иван Петрович?

Дядя Иван бросил цыгарку, затоптал ее и сказал:

— Не доверяю.

— Больно слушать это. Я с двенадцати лет своим умом живу. Сейчас мне семнадцать. Да и отца давно в колхоз приняли.

— Ладно. За тебя комсомол ответчик.

Вернулись мы в деревню, когда уже рассвело. Дорогою я старалась ободрить Павла. Он был проверенным, активным товарищем, и дядя Иван обилел его зря. В конце конюхов Павка повеселела. У околицы стояла на посту в винтовке Феня.

— Ну, воjack, как дела? Происшествий не было? — спросила ее Павка.

Феня плянула на него сурово и ответила:

— Поймать не слозчилась, а на хрост наступила.

— Кому же это?

— Батьке твоему, вот кому!

Павка дернулась, сказала еле слышно:

— Так это он вчера на собрании...

Феня рассказала: на заре она задремала, стоя у стены. Вдруг слышит шорох. Прислушалась, побежала по огороду. Вперед мелькает тень. Феня кричит: стой! Тогда тень метнулась к картофельнику и сникла. Феня стала искать и чуть не наступила на Антошкина. «Ты чего бродишь? — спрашивает. — Приказано после одиннадцати не ходить». Он отвечает: «Ищу своего Павку». А зачем ему сынок ночью понадобился?

Уже всходило солнце. Необычный, беспоконный звон колокола звал колхозников выгонять коров.

Я вернулась домой. Мать рыла во дворе яму. За ночь она вырыла их три, опустила на дно кадки с книгами и вещами, засыпала землей, притоптала босыми ногами.

— Как могилы, — сказала она и беззвучно заплакала. Меня так опустошили бессонные ночи, что и слезы матери не действовали. Я вошла в дом. Семья... Вот смотрят на меня фотографии со стен нашего дома: дорогие, близкие люди, разбросанные по всему Союзу Веселое лицо сестры. Она, окончив институт имени Герцена, уехала работать на Дальний Восток. Рядом — карточка брата Василька. Этот —

артиллерист, окончил Академию имени Дзержинского, красавец. Где он сейчас? На каком из фронтов? Вот старая, выцветшая фотография Петровича: усмехается и глаза отвел в сторону. Дядя — командир Красной Армии. И портреты надо зарыть в землю, сохранить, — как знать, останется ли кто-нибудь из нашей большой семьи в живых?

Мне стало не по себе в разорённом доме, и я отправилась к Дмитрию, чтобы расспросить его, как идет эвакуация скота. Но дома оказалась только дядя Иван.

— Что ж, Таня, придется хлеб перепрыгивать? — встретил он меня вопросом.

— Почему же?

— А ты думаешь, Антошкин зря ночью бродил?

Я ничего не успела ответить, как вошел Павел. Он был бледен, нижняя губа его подрагивала. Остановился посреди избы: — Петька, когда ехал из лесу, человека видел...

— Ну и что же? — спросила я.

— Батьку моего...

У Павлика застыла в глазах боль. Он сел рядом со мной, зашептал:

— Имею я право его убить? Спрашиваю тебя.

— Нет, — сказал дядя Иван строго. — Поидабится — без тебя управимся. А хлеб перепрыгнем.

В хату вошел Петька, братишка мой.

— Вон ты где! — сказал он, — а я тебя ищущ: стреляют.

Мы вышли на улицу: где-то далеко глухо и часто били орудия. А в селе мычали коровы, блеяли овцы, ржали кони, плакали женщины. Я отправила Петушка к матери, — тяжело ей сейчас одной в дому. Самой же мне, как всегда в решающие минуты жизни, хотелось быть с отцом.

Он был в сельсовете один. Рвал бумаги и жег их. Небритые щеки ввалились, лицо потемнело.

— Ты болен?

— Нет, перед грозой всегда тяжело дышать, — сказал он и начал раскуривать потухшую трубку. — Опыт дается недешево: в девяносто пятом мы не успели в Лодзи уничтожить бумаги, нагрянули жандармы...

Рассекая утреннюю тишину, зарокотал самолет. И почти тотчас же раздался взрыв. Стены сельсовета вздрогнули, посыпался стекла. Мы выскочили на улицу. Еще два взрыва потрясли воздух, протрещали пулеметные очереди. Мимо нас, по большаку, промчалось несколько машин, замаскированных ветками, волоча за собой хвосты пыли. Пыль поднялась вверх, сгустилась и огромным черным облаком повисла на западе.

— Колхоз «Красный путь» горит, — глухо сказал Петрович, — бомбы на него сбросили.

К сельсовету подкатила машина. Из нее вышли четверо военных, изможденные, черные от пыли. Старший, худощавый и очень высокий, снял каску, вытер пот со лба, сказал мне хрипло:

— Девушка, воды! — и тут же обратился к Петровичу: — Председатель?

Петрович, вместо ответа, сам спросил сердито:

— Где немцы?

Командир пожал плечами.

— Видимо, в Сураже, а может быть в Велиже.

— Говорите ясней! Я должен знать, действовать. У меня сотни голов скота. Еще не все дети и старики эвакуированы. Где проходит наш фронт?

— Не кричи, — тихо, но внушительно сказал военный. — Я не могу разглашать дислокацию наших частей.

Вошла мать и поставила перед военными кувшин с молоком, вынула из газеты нарезанный хлеб — все, что несла нам с отцом на завтрак. Военные ели жадно, не садясь. Петрович барабанил пальцами по столу. Когда машина, приминая густую траву, рванулась с места и военные замахали нам на прощанье руками, Петрович пошел к телефону, вызывая райком партии. Но связь, повидимому, была прервана, и он кричал на телефонисток, бранился и, наконец, бросил трубку.

— А ты что за мной ходишь, как теледок-сосун за малкой? — накинулся он вдруг на меня. В это время дежурный Дмитрий Самуилов вбежал в сельсовет, крикнул, не переводя дыхания:

— Петрович, пришла баба с Зубков, говорит — немцы в Селезнях!

— Ну немцы. Ну и что?

Таким я его никогда еще не видела. Меня положительно вывела из себя стук его пальцев по столу.

— Надо же что-нибудь делать, отец!

— Не твое дело! Не стой у меня над душой!

Я тоже вскипела:

— Во-первых, я — секретарь комсомольской организации. Во-вторых, в дело защиты родины каждый вправе вмешиваться.

— Защитница! Ну-ка, марш из сельсовета! — Он даже побагровел. Пожалуй, впервые он сердился на меня по-настоящему.

Я вышла, подавленная не столько обидой, сколько состоянием Петровича. Навстречу мне выбежал Шарик, огромный наш пес помесь кавказской овчарки и дворняжки. Он посмотрел на меня большими умными глазами, потом вытянула шею и протяжно завыл. Откуда-то выбежала Васса Коршунова, разнорыженная, в рыжих косах заплетены яркие ленты. Чтобы не показывать ей своей растерянности я пересекла поляну и вошла в школу. Она была похожа на опустелый

улей, моя родная школа... Педагоги и комсомольский актив еще позапрошлой ночью вынесли и спрятали в своих домах учебники, библиотечные книги, наглядные пособия. А за окнами — бескрайнее поле льна. Он стоял в цвету, голубой, как небо. Никогда еще в наших краях не бывало таких льнов!

Вдруг возник и начал нарастать какой-то грохот. Я кинулась в сельсовет.

Петрович проверял списки эвакуированных, Петя и Дмитрий играли в домино. Грохот все приближался. Петрович взял винтовку, сунул мне в руку пистолет. Петушок и Дмитрий схватили свои винтовки.

Мы перебежали школьный участок и засели у моста. Петрович смаху лег в канаву, ребята — рядом. Я села подле отца на корточки. Вдали показались мотоциклисты, мы насчитали восемь машин.

— Без команды не стреляйте! — приказал Петрович и приладился поудобнее. — А ты, ворона, чего сидишь?

Я легла. Уже видны были каски, одноглавые орлы и фашистские знаки на груди у немцев.

Не дождавшись команды, я выстрелила. Вслед за мной выстрелили ребята. Впустую, понятно.. Петрович начал стрелять, когда немцы поровнялись с нами, и свалил двух. Еще выстрел — третий немец дернулся и полетел вместе с мотоциклом в канаву. Четвертый, развив бешеную скорость, промчался мимо нас, остальные повернули назад. Я вскочила, побежала за ними, выстрелила раз, и второй, и третий. Один мотоцикл сделал полукруг, немец слетел на дорогу.

— Убила! — крикнула я.

— Назад, — звал Петрович, — танки!

Вдали, действительно, показались два танка.

Кустарник начинался у самого большака и тянулся до леса. Он был густой, мы залегли в нем, но танков рассмотреть не успели: они, стреляя без цели, промчались мимо на предельной скорости.

Петрович приказал нам итти за ним. Шли молча, низко пригнувшись: по большаку мчались немецкие мотоциклисты, танки автомашины.

Петрович сел под старой березой, вытер кепкой пот, молчал. Нет, он не потерял присутствия духа!

— Я отправлюсь в райком, — сказал Петрович. — Петька со мной, Татьяну Дмитрий проводит домой.

— Не хочу домой, пойду с тобой.

Я уцепилась, как маленькая, за его рукав. И как маленькую, он погладил меня по голове.

— Не будь тебя, я бы спокойно смотрел в глаза смерти... Ладно, пойдем. Дмитрий зайдет к матери и расскажет, где мы.

СЛОБОДА

Дом нашего земляка, знаменитого путешественника Пржевальского стоял на отшибе, старые липы и березы окружали его со всех сторон. Сквозь листву их голубело озеро, лежавшее вблизи. Мы обогнули дом и вышли к райкому партии. У крыльца нас встретил Костя Жидков.

— Какие новости, Петрович? — спросил он.

— Немцы ко мне пришли..

Жидков рванулся к Петровичу, заметил меня, и уж больше ни о чем не расспрашивал. Петрович без стука вошел в кабинет секретаря райкома партии Шульца. Тот глянул на нас троих и, встревоженный, пошел навстречу:

— Я тебе целый день не могу дозвониться, Петрович!

Мы с Петушком вдвоем сели на первый попавшийся стул. Пока Петрович подробно рассказывал о пережитом нами, я рассматривала Шульца. Он очень осунулся за последние дни. Ему было лет 30, а сейчас он выглядел пожилым человеком. Звали его Михаилом Нестеровичем, и фамилия, вероятно, была такая же исконно-русская, да он не знал ее, оставшись малолетним сиротой в гражданскую войну. Товарищи-беспризорники прозвали его Шульцем.

— Значит, и здесь их надо ждть с минуты на минуту, — сказал Шулец.

— Безусловно. К нам они зашли по пути на Белый, через Витебск—Сураж—Велиж. На тебя ползут тоже через Витебск, но уже с Рудни—Демидова и тоже на Белый. Видимо, одна часть.

Шулец прикрыл глаза. По плотно сжатым губам было видно, как собирает свою волю этот человек. Раздался телефонный звонок. Шулец снял трубку.

— Слушаю... Откуда? Из Бакланова?. Танковый десант? Алло!.. Алло!..—Он бросил трубку: — Обороталась связь.

— Какой десант, — махнул Петрович рукой, — регулярные немецкие войска.

Шулец вышел из кабинета. В райком то и дело хлопали двери. Шулец входил, выходил, снова появлялся. Кому-то звонил, просил, приказывал. Начало темнеть. Мне хотелось спать. Петрович сказал:

— Озябла, дочка? Поди, голодны оба?

— Успеем... — буркнул Петушок.

— И зачем ты детей привел! — закрычал вошедший в этот момент Шулец.

Я вскочила с места:

— Мы — не дети! Мне, товарищ Шулец, как секретарю комсомольской организации..

— Как секретарь комсомольской организации ты уже имеешь исчерпывающие инструкции: речь Сталина. — Не в лед свосему сердитому тону, он положил руку мне на голову. — Эх ты, чижик! Связь бу-

дем держать через Петровича, — и он вышел стремительно. Петрович пошел за ним. И мы с Петушком вышли из кабинета.

У райкома стояла полоторатонка, работники НКВД — Аржаненков, Барабанов и Меркулов — поставили на нее два пулемета, сами они были вооружены винтовками. Председатель РИК'а Богачев и Костя Жидков тоже влезли в машину.

Машина тронулась, мчалась за Слободу. Пятнадцать—двадцать человек — Петрович и Шульц в их числе — вооруженные винтовками, поехали к большаку на Демидов.

— Отправь ребят домой! — сказал Шульц. — Они нам понадобятся впоследствии.

Петрович крикнул нам из толпы:
— Марш в Стабну, живо!

Петька вспыхнул, закусила губу и зашагал молча. Мне была понятна его обида. Впервые в жизни я подумала, что он мне дорог не меньше отца. До сих пор мне это не приходило в голову. Петушка, племянника своего, отец взял в восьмилетнем возрасте. А мне тогда было уже тринадцать. Росли мы вместе, учились в одной школе, я и думать забыла, что он не родной мне брат. Отцу он подражал во всем: в походке, в интонациях, старался говорить так же образно. Учился мальчишка отлично. В этом году собирался поступать в артиллерийскую академию.

Мы дошли до деревни Бахово. На огороде заметили копну сена и зарылись в нее. Днем меня обожгло солнцем, сейчас знобило, плечи и спина покрылись волдырями. Едва я уснула, как братишка начал трясти меня:

— Проснись, Таня, немцы!.

Солнце еще не взошло, но уже рассвело. Танки грохотали где-то близко и ветерок доносил немецкую речь. Я вскочила и пошла по направлению к Слободе.

— Ты куда? — старался остановить меня Петушок, — может быть, домой сходим...

— Нет у нас дома, Петя. Мать, вероятно, ушла в лес. Пойдем, поищем отца.

Жители ушли из Слободы, попрятались в кустарнике. Едва мы достигли роши, как взошло солнце, и сразу же разорвала тишину пулеметная очередь. Не успев сказать Петьке ни слова, я побежала в сторону боя.

— Ложись! — закричали мне от дома, где помещался райсоюз.

Я присела в картофельник. Стараясь перевести дыхание, озираясь по сторонам, я вдруг увидела Петровича. Он погрозил мне пальцем и, тут же, видимо, забыв обо мне, стал снова подавать Барабанову патроны. Их пулемет стоял у самой стены райсоюза. Барабанов посылал короткие

очереди в сторону большака. У школы шел бой, но разобрать где наши, где немцы было трудно.

Откуда-то появился танк, он мчался мимо нас. Из-за аптеки выскочил Костя Жидков, швырнул бутылку в танк, раздался треск, пламя огня лизнуло дорожный песок и потухло. Жидков побежал вдоль дороги, точно хотел догнать танк, потом свернул на огород — позади него, выплывшая короткие очереди, мчался второй танк.

— Ложись! Ложись! — кричал Петрович Жидкову, но тот всё продолжал бежать. Вдруг он как-то нелепо взмахнул руками и упал. Я бросилась было к Жидкову, но, едва поднялась с земли, пули засвистели вокруг меня, одна царапнула левую ногу. У дома колхозника разорвался снаряд. Меня отбросило к стене, запорошило песком. Я прогнала глаза, огляделась: бой стих. Петровича у дома райсоюза я уже не застала. На его месте, рядом с убитым Барабановым, лежал Иван Семенович из колхоза «Красный Путь». Пуля прошла у него под подбородком, золотистая борода окрасилась кровью. Огонь уже лизал стены райсоюза. Собрав все силы, я оттащила в сторону убитых. Слобода пылала от края до края. Я побежала, задыхаясь в дыму, к озеру и берегом вышла из поселка. Где Петрович, где Петушок?

К концу дня я подошла к Стабне. Гул немецких машин стоял в воздухе. Поля, крыши домов, листья деревьев — все побурело, стало аспидно-серым. Пыль висела над родной Стабной. Голубого поля льна у школы будто и не было — вытоптано, засыпано пылью, серой, как зола. Школу и сельпо разворотило снарядами.

— Таня! — окликнули меня.

Это была Петушок. А я и не обрадовалась ему: сердце заколочено.

— А отец? — спросила он, заглядывая с тревогой мне в глаза.

— Не знаю...

Петушок рассказал: мать дома не живет, хоть соседи и уверяли, что никто нас не выдаст. Немцы приходят всё новые и новые. Рожь будут жать, делить по едокам и, конечно, прятать. Немцы ворвались в наш дом, всё забрали, расстреляли фотографии на стенах, сожгли книги, зажгли и дом, но соседи потушили. как только немцы ушли.

Товарищи раздобыли какое-то платишко, отвели меня в сарай, натащили подушек, одеял. Проснулась я на вторые сутки. Сон принес бодрость, вернулась вера в себя. Надо было жить. Бороться.

Я созвала комсомольцев в лесу, за деревней. Петя по моей просьбе принес комсомольские «дела». Мы сложили их в ящик и зарыли в землю под дубом. Посидели, поговорили. Павел сказал:

— Говори, Татьяна, что делать? Четыре винтовки я уже припрятал.

— Главная задача — не дать врагу урожай. Как смолочим, сразу делить хлеб и прятать. Где возможно, будем рвать наземную связь, вовсе не трудно. Мосты есть деревянные, эти нам под силу.

Назавтра мы с матерью пошли разыскивать Петровича. В Слободе немцев не было. По пожарницу бродили дети и женщины.

У пешеходца почты мы нашли два трупа. Головы обуглились, не узнать — кто. «Не Петрович ли?» — прошептала мать. Нет, местные ребятишки рассказали, что это муж и жена Захаренковы, работники почты, оба комсомольцы.

Петровича мы так и не разыскали ни живым, ни убитым. Шли в стороне от дороги полями и лесом. Молчали. Наши плащя, волосы пропахли горьким дымом. Тяжко было на душе. Вдруг нас кто-то окликнул: в кустах стоял незнакомый человек в зимнем старом армячке, манил меня рукой. Я подошла.

— Неужто, Таня, отца не узнала? — сказал он и, обессилив, сел наземь. Это был Петрович... раненый, тяжело больной. Страшное, опухшее лицо, отеки руки и ноги. И говорить ему было трудно: душила опухоль.

— Как твои ребята? — прохрипел он.

Я рассказала, что все принялись за дело. Он одобрительно кивнул головой.

Ночью мы привезли Петровича в Стабну и устроили в маленькой хатке против столетнего дуба, над ручьем. Никто в деревне, кроме матери, меня и Петушка, не знал, где спрятан отец. Но моим друзьям было известно, что я поддерживаю с ним связь и через него получаю задания от Шульца.

НОВЫЙ ПОРЯДОК В ДЕРЕВНЕ

Немцы поставили гарнизон, патрули окружили деревню, никого не выпускали и не впускали. Мы организовали непрерывную слежку за немецким штабом. И вот не прошло двух дней, как ко мне прибежал Павка:

— Таня, моего батьку позвали в штаб! — парень не на шутку волновался.

— Может, нам послушать, что он будет там говорить, твой батька?

— А как?

— Ночь темная, душная — окна везде настежь.

Штаб стоял у Вассы Коршуновой. Ее огород тянулся до оврага, засеян был ячменем. По ячменю мы и подползли к самому окну. Часовой стоял у двери, по другую сторону двора. Темень несусветная, небо обложилось тучами, с запада шла гроза. В хате горел свет. Действительно окон немцы не закрыли.

Антошкин, согнувшись, стоял у стола, мял в руках шапку, блики света лежали на его лбом, желтом черепе. Он молчал. Немецкий офицер протянул Антошкину сигару и проговорила что-то длинное. Немецкий язык я знала плохо, не поняла.

— Господин офицер спрашивает, за что вы сидели в тюрьме при советской власти? — это произнес по-русски какой-то человек, стоявший у стены.

— За вредительство в колхозе, — ответил Антошкин, складывая тонкие губы в угодовую улыбку.

— Подробно! — сказал офицер.

— Портит, значит, спины лошадям. Копыта... Семена дали мне протравливать, я их совсем затравил.

— Как, как? — переспросил офицер, — уничтожал лошадей? Уничтожал семена? — он отвалился на спинку стула, долго хохотал, потом милостиво показал Антошкину на свободный стул. Тот сел, попытался закурить сигару сначала с одного конца, потом с другого. Потешаясь над ним, офицер принялся рассматривать его в упор. Наконец, протянул папиросу, сказал:

— Будешь старшиной. Служи верой и правдой. Твои заслуги будут отмечены.

Антошкин сорвался с места. Низко кланяясь, быстро заговорил. Я сумела уловить в его речи одно только постоянно повторявшееся слово «значит». Произнес он его как «зныч». Павлик впился ногтями в мою руку.

— Коммунисты в деревне есть? — спросил у Антошкина переводчик.

— Есть! Да все ушли. Та-акой один бобер, зныч, был... Да я его разыщу, даст бог...

— И комсомольцы ушли?

Антошкин замаялся — что ему было отвечать? Выдать своего единственного сына?

— Ушли и комсомольцы, да они вернутся.

— Ты себе подыщи помощника, — посоветовал офицер, — вдвоем легче будет вылаивать.

— Есть помощник, — сказал с готовностью Антошкин, — только, зныч, девка... Толковая. Отца ее в тридцатом году раскулачили. Да вы ее знаете: Васса Коршунова, хозяйка этой избы.

Домой Антошкин возвращался веселый. Мы с Павкой обогнали его и, как только он вошел в хату, пристроились у неплотно прикрытой двери.

— Ну, Артамоновна, наступило наше царство! — выкрикнул Антошкин и пошел хватать перед женой: офицер и гладил-то его по плечу, и садил-то с собой рядышком, и чайком поил!

Артамоновна, маленькая, усохшая женщина с длинной шеей, своих мыслей не имела, всегда и во всем соглашалась с

мужем. Но сегодня она не разделала его радости:

— А как же, милоч, Паша? Он будет веселее с тобой.

— Оторву Павку от этой шпаны, от комсомольцев. Подадим их, как мышей, теперь я хозяйин в деревне. Хочу, зныч, повешу, кочу, помилую. Поняла?

— Стало бытъ, рукоделие у тебя нехорошее, — сказала Артамовна и, сжавшись в комочек, вышла из дому. Мы с Павлом затаились в сениах. Я не позволила ему итти домой ночевать: споряча он мог натворить бед. Пусть преодолает возмущение и следит за отцом.

Через несколько дней я столкнулась на улице с Вассой. Она прогуливалась с двумя немцами.

— Вот и у меня кавалеры завелись, — сказала она хвастливо.

Я прошла мимо, ничего не ответив.

— Смотри, Татьяна! Донесу немцам, кто ты есть!

23 июля Антошкина вызвали в штаб, и в тот же день деревня узнала, что за новый порядок учредили фашисты. Они ходили по домам, рылись в сундуках, в ларях, резали свиней, лазили по куриным гнездам, опустошали гряды. А вечером в избышке, где я жила, появилась Феня Бойкова. Я так и ахнула, завидя ее: ведь ей было поручено сопровождать эвакуированное колхозное стадо... Но немцы перерезали дорогу, Феня оказалась в тылу врага, долго прятала стадо в лесных чащобах, ночами гнала назад, в деревню.

— Что теперь станем делать, — волновалась Феня, — неужто достанутся коровы вражьей силе?

Комсомольцы распределили колхозный скот по домам прежде, чем Антошкин узнал о его прибытии.

Тем же вечером в окно к Дмитрию Самуилову постучала его двоюродная сестра Мария Тимофеева. Дмитрия не было дома, к ней вышла его мать Софья Пахомовна:

— Пришли, тетя, ко мне Дмитрия ночевать... Страшно мне.. и Лида моя хнычет, боится..

— Я уж лучше сама приду, у Дмитрия делов много, скот от немца спасает.

Софья Пахомовна прибралась в избе, подоила корову и пошла к племяннице. Еще издали услышала сдавленные крики Маруси. Бегом бросилась в избу, но опоздала: два фашиста измывались над ней, у печи лежала с разбитой головой маленькая Лида. Софья Пахомовна сомлела на пороге, да так и пролежала беспмятная, пока не пришел за ней почуявший беду дядя Иван.

Было за полночь, когда Дмитрий и Павлик прибежали ко мне с вестью о гибели Маруси. Мать молчала, только брови ее, поседевшие за последние дни, были го-

рестно вскинуты. Мы пробрались с ней по огородам к Петровичу.

— Началось, — сказал он, выслушав наш рассказ, — напиши листовку, дочка. Разъясни, что нам принесли немцы. Сегодня же ночью расклей на заборах. Чтобы люди узнали о замученной Марии с дочкой.

Мы с Петушком трудились до рассвета. Когда было переписано двадцать листовок, я разбудила мать:

— Мама, послушай! «Колхозники и



Т. А. Логунова

колхозницы! Поняли ли вы, зачем пришли к нам немцы? Что принесли нам фашисты? Они принесли нам разорение, муки и смерть! За что погибли Мария Тимофеева с дочкой? Взгляните на них, замученных, истерзанных немцами! Завтра придет новая немецкая часть, и очередь пойдет до вас! Знайте, мы можем освободиться только борьбой. Бейте немцев, чем можете. Не убьете вы их, они вас убьют! Замучат, как Марию.. Мстите врагу! Смерть за смерть, кровь за кровь! (Комитет ВКП(б)).

— Какой комитет? — спросила мать в недоумении.

— ВКП(б) — это партия, мама, — сказал Петушок, — а мы.. мы фактически — часть ее.

Мать и Петя расклеили листовки, и на завтра деревня только и говорила, что о замученных Марусе и Лидочке и о листовках на стенах: откуда они взялись, кто их наклеил?

В тот же день немцы снялись и ушли

из деревни, а к вечеру пришли из лесу двенадцать красноармейцев. Они бежали из немецкого плена и пробирались к фронту, к своим. Им собрали хлэба, молока, каши, ребята вывели их на лесные потайные тропы. Не успели они проститься, как в деревню пришли еще четверо красноармейцев — раненные, одетые во что попало. Их переквятила Васса:

— Служивые, вику. Ходите ко мне. Ходите в хату все четверо, переночуете, накормлю вас.

Феня Бойкова, слышавшая, как привезчала Васса красноармейцев, места себе не находила: выдест их немцам!

— Да нет же немцев сейчас, — успокаивал Феню Петушок.

Но немцы появились. Пятеро верхами, они гнали, как стадо животных, сто двадцать раздетых и разутых русских. Впереди пленный шел раздетый донага человек, руки связаны. Посреди деревни пленных оставили.

— Напсите раз за двое суток, варвары! — крикнула комсомолкам нагой человек.

Немец подъехал к нему, размахнулся плеткой, но не попал: лошадь дернула в сторону.

Феня Бойковой золотое ее сердце подсказало, как всегда, что делать: она сбежала в избу, вывела кувшин молока, протянула его немцу:

— пей, пан! Только позволь, пан, пленных водой напсить!

Немец кивнул головой, сошел с лошади. А Петушок уже загостил ведро. Немец пальцем указал на стоявшее у колодца огромное корыто: пусть русские пьют из него, как пьет скот. Тогда пленный — тот, что шел впереди — рванулся, сорвал веревки с рук и схватил за горло фашиста. Оба свалились на землю, катались в пыли. Русский слабел, руки затекли от веревок, но он не сдавался и впился в горло немца зубами. Пока на помощь подоспели четверо других, немец уже издыхал. Русского убили двумя выстрелами в спину, но и мертвый он не разжал зубов.

Все это продолжалось минуты две, однако и этих минут было достаточку, чтобы толпа пленных разбежалась. Темнело. Немцы боялись наших лесов и не стали разбегивать пленных, уехали из деревни.

Как только звяздалась свалка у колодца, Петька и Дмитрий побежали за деревню, на ходу крикнув что-то Павлу. Тот, персмакнув через заборы, побежал к оврагу. Что они решили сделать? И вот, едва за деревней затих топот немецких лошадей, тишину рассек выстрел. Потом — два залпа, еще один и еще. Утомившаяся была улица опять стала людной, каждый ждал новой беды. Услышав стрельбу, трое красноармейцев, ночлежников Вассы Коршуновой, ушли из избы. Четвертый не

мог двигаться, нога у него распухла, как колода.

— Слушай, Таня, — сказала мне Феня, — этого четвертого нужно спасти, пока его не выдала Васса. Придумай что-нибудь. — Она кивнула мне головой и пошла провожать троих красноармейцев в лес. Когда нужно помочь своим, она не злима устала, эта маленькая, крушкая дсушка с сердцем закаленного бойца. Я думала о ней, вернувшись в свою избушку.

Тонкая полоса заката догорала за деревней, а здесь уже лежали густые сумерки, было безветренно, тихо. Вдруг снова раздался кожный топот. Мимо меня промчалась немецкая лошадь, следом за нею, хрипя и раздувая ноздри, приблизилась вторая. Она волочила за собою убитого немца. Кто их придержал? Вскоре пришел Петушок. Сразу начал мыть руки, лицо. Вешая на гвоздь полотенце, сказал нарочито спокойно.

— Что же сделаем с немцами?

— С какими?

— С убитыми. Ухлопали мы их. Павел сбегал в овраг, достал винтовки. Он только сегодня утром смазал их. Мы засели в кустарнике, ну... и прикончили немцев. Павка побегал домой узнать, что его льсыи чорт делает. Нельзя допустить, чтобы Антошкин увидел этих четырехдохлых немцев. Уехали они из деревни и уехали, и концы в воду...

Ну и ночка выдалась! Вернувшуюся из лесу Феню мы послали выслушивать немецких лошадей. Феню хорошо понимали животные, они шли на ее зов, не пугались, и немецких коней она выловила бесшумно и быстро.

Было решено, что я, Феня и Павел бросим в болото троих убитых у оврага немцев. С четвертым и с лошадьми управятся Петя и Дмитрий. Но Павка вдруг запротестовал:

— Не пойду с девками!

— Это почему?

Павел молчал, разгребая пальцами бо-сой ноги пыль.

— Боюсь... мертвяков...

Я пржкрикнула на него, и он уныло поплелся за нами.

С тремя мертвыми фашистами мы справились легко, но там была еще убитая лошадь. Огромная, она лежала поперек дороги, и сдвинуть ее нам было не под силу. Пришлось бежать домой за топорами. До рассвета мы разрубали лошадь на куски и, выбиваясь из сил, сбрасывали по частям в бездонное болото, уже засосавшее немецкие трупы. Только к утру разошлись по домам. Но отдохнуть не удалось.

— Смолоченный хлеб будут сегодня делить, — сообщила мать, — я не пойду, а тебе Петрович наказал присутствовать.

На собрании, созванном в том же овине, где молотили рожь, Антошкин провозгласил:

— Значит, хлеб ссыпшем в колхозный амбар. А кому, значит, понадобится, дадим впоследствии.

И буря же поднялась! Женщины закричали:

— Делить хлеб, делить! Не будем ссыпать!

Каждая взвалила на спину по мешку и, вслух браня Антошкина, все отправились домой.

А через час Антошкин снова созвал собрание. Немец, мол, тоже человек: нужно скоронить того, что лежит у колодца, а заодно — и русского: пусть собрание выделит молодых парней рыть могилы. Парни отказались наотрез. Хоронить немца не захотел никто. Наконец, вышел дядя Иван, поднял руку над Антошкиным:

— Слушай, тебе буду говорить. — и замолчал, подбирая слова. Антошкин, маленький, жалкий, вдавил голову в плечи, будто ждал, что на его темя опустится справедливая рука дяди Ивана.

— Немец на нашей земле — не человек, — сказал Иван. — Немец для нас — собака. И нехорошо, когда дохлая собака лежит у колодца, где честный скот пьет воду. Потому я закопаю дохлого немца. А русскому мы с сыном Дмитрием уже сколотили гроб.

Женщины одели убитого русского героя, всей деревней мы провожали его на кладбище.

На утро в деревню прибыла на автомашинах новая немецкая часть. Штаб разместили в нашем доме, и тотчас же туда вызвали Вассу.

Мы с матерью и Петушком ушли, в лес. Возвращаться в деревню нельзя было. Каждый из нас думал только о Петровиче: он остался один, больной, распухшие ноги не позволяли ему сдвинуться с места. Правда, никто в деревне не знал, что он там. Ночь была тихая, лунная, но холодная. Петя наломал веток, на них мы и прилегли. Петя спал беспокойно, во сне вскакивал, бормотал что-то непонятное. Утром к нам пришел Павел и рассказал, что, едва взошло солнце, немцы взяли раненого в избе Вассы, и дядю Ивана. От Ивана требовали, чтобы он указал, где спрятан колхозный хлеб и где скрывается Петрович.

— Что сказал Иван? — перебил Павла Петушок.

— Не знаю. И сейчас допрашивают в нашем доме.

Мы снова послали Павла в деревню. Часы ожидания были нам мукой. Мать за день не съела ни куска хлеба, не проглотила глотка воды. Вечером, затемно, пришли Феня, Павел и Дмитрий.

В деревне Павел сразу заметил, что до-

ма пусты. Как будто вымерли. Он бежал, пока не увидел посреди улицы толпу.

— Что здесь? — спросил Павел. Ему не ответили. Он протискался вперед и через голоса толпы увидел: на одной из наших старых лоп висит тот самый раненый, которого Васса звала к себе подлечиться. Никто не знал, откуда он, как его зовут. Деревня плакала по нем, как по сыну. У виселицы стоял немец, зевал, почесывался.

Хоронить повешенного запретили.

Павел кинулся разыскивать отца, он уже не владел собою, от хотел его убить. Но ни дома, ни у соседей Антошкина не было. Павел нашел его у Вассы. Был там и офицер. Васса расчесывала у зеркала волосы, а посреди избы сидел избитый, окровавленный дядя Иван.

Павел остановился у порога. Антошкин, увидев сына, взволновался, пробормотал:

— Сын мой. Молод еще и глуп..

— Комсомолец! — взвизгнула вдруг Васса, — он — комсомолец!

— Молодой, глупый, — сказал офицер и положила на плечо Павла руку. — Мы забудем, что он был комсомольцем. Мы дадим много денег. Будет нам помогать.

Дядя Иван поднял на Павла глаза. И этот взгляд вернул Павла к сознанию, он выскочил на улицу.

Ивана снова отвели в штаб, пытали, доискиваясь, куда он спрятал колхозный хлеб, и, ничего не добившись, пристрелили. Потом на шею ему накиннули веревку, поволокли мертвого на улицу и привязали к легковой машине. Шофер дал два сигнала и покатила вдоль деревни. Когда машина вернулась — уже не было дяди Ивана, а был пыльный, грязный куль, не похожий на человеческое тело..

Дмитрий сидел молчаливый, с камешко-спокойным лицом, точно не об его отце говорила Феня.

— Очнись, Митя, — сказала моя мать строго, — плачь об отце, иначе сердце горем захлебнется.

Павел вдруг зарыдал надрывно, безутешно.

Не знаю, за кого из этих двух ребят у меня болело сердце больше: за Дмитрия или за Павла. Оба были мне дороги.

— Не реви! — сказала я Павлу. — Выбрось отца из головы. Сейчас ты пойдешь выполнять боевое задание.

Павел глянул на меня и одернул выбившуюся из-под пояса рубаху. Я послала его и Феню к Петровичу, чтобы они сообщили ему о гибели дяди Ивана и получили инструкции. Мне самой и Петушку появляться теперь в деревне было опасно. Феня же, по заданию организации, была на дружеской ноге с Вассой Коршунновой, ее немцам Васса выдавать не станет. Я приказала Павлу узнать у Петровича, одобрит ли он мой план: комсомольцы выкрадут ночью тело дяди Ивана, что-

бы колхозники знали — есть люди, которые борются против оккупантов. Павел сразу приободрился, повеселел, крикнул:

— Вернемся в два счета! — и голубая рубаха его замелькала меж деревьев.

— Теперь, Дмитрий, очередь за тобой, — сказала я. — У нас есть три гранаты, те, что Павка нашел у убитых немцев. Есть винтовки. Сегодня ночью мы пойдем на нашу первую операцию. Ты отомстишь за отца.

Я решила ни на минуту не терять из виду Дмитрия. Мы не позволим ему пасть духом.

КРОВЬ ЗА КРОВЬ

Феня побывала у Вассы и выяснила, что в ее избе сегодня ночью будет пьянка. «При восьми офицерах, — хвастала Васса, — и при заграничном патефоне». Тело дяди Ивана лежало против дома Вассы. Там, — рассуждали мы с ребятами, — будет поставлен часовой: немецкие офицеры всегда окружают себя охраной. Следовательно, прежде чем выкрасть тело дяди Ивана, мы снимем часового. Удушим его. — Ты что же, хочешь ребят погубить? — накинулась на меня мать. — Думаешь, пока вы будете подбираться к часовому, он станет спокойно смотреть на вас? А если они поставят двух, трех часовых? Надо сначала разведку послать. А я больше всех гождусь в разведчики.

Мы посоветались и согласились отпустить мать с Павлом вперед. Если у дома Вассы все спокойно, они подадут знак: прокричат петухом.

— Пусть меня поймают, — болтал возбужденно Павел, — тогда мой батька полюбуется, как вешают его сына. Впредь остережется доносить на других.

Было поздно, когда мы вышли из леса. Какие-то пичуги сонно перекликались в травах, будто жаловались на туман, поднимавшийся из низин. Пока мы дошли до деревни, туман сгустился. У огородов мать и Павел поползли: один влево, другая вправо. Следом за ними ползла Феня.

Сквозь редкие шторы вассиных окон пробивались на улицу пучки света. В доме пели песни, захлебывался патефон. Мать затаилась у изгороди, напряженно осматривалась. Снопик света бежал от окна через двор и, теряя силу, слабо освещал посреди улицы какой-то бугорок, «Тело Ивана», — подумала мать. Как рассказывала она нам позже, словно силы в ней прибавилось.

На изгороди висело белье. Прячась за него, мать подобралась совсем близко к часовому Тот дремал. Без шума следовали за матерью Павел и Феня. Мать сдерживала с изгороди еще мокрый наматрасник:

— Часового сюда, в матрац! Ты, Павел, схватишь его за горло, я и Феня — за ноги, — мать сорвала с головы платок. — Заткнем немцу рот.

Поползли к крыльцу. Павел налетел на часового сзади. Спросонья немец упал, не воскликнув. Павел сжимал его горло, мать закидывала в рот платок. Феня нащупала на земле камень и ударила часового по голове раз, другой... Петом оттащила его на дорогу, к телу дяди Ивана.

Наконец среди ночи раздался петушиный крик. Мы бросились к дому Вассы.

Мать брезгливо вытирала руки о подол. И только тут я заметила рядом с телом дяди Ивана полосатый матрац и догадалась, что лежит в нем.

— Дмитрий возьмет тело отца. Феня! Петушок! Помогите ему! — командовала мать. — А мы трое оттащим немца в овраг.

В овраге был старый заросший колодезь, в него упала однажды лошадь, и с тех пор он считался поганым. Туда же угодил и мертвый часовой.

Тело дяди Ивана мы отнесли в поле, закрыли его ветками. Туман к этому времени развеяло ветром, и над дядей Иваново сияло глубокое небо в ярких звездах. Стояла пора звездопада, мы с Петушком, по детской привычке, закинули к небу головы, ждали падучей звезды.

— А что, если дом Вассы... — сказал раздумчиво Петушок.

Павел и Дмитрий насторожились.

— Это была бы месья за моего батьку, — проговорил Дмитрий. — Гранату в окно...

Но на Дмитрия прежде других упало бы подозрение. Решили, что он, Павел и Феня отправятся по домам. А мы с Петушком — к Вассе. Следовало торопиться: могла притти смена часовому. Мать долгим взглядом посмотрела на нас и медленно, точно разыскивая тропинку, пошла к лесу. Мы с Петей отправились к вассиной избе.

Подожли. Притаились у стены. Граната у меня в руке, граната в руке у Пети. Прислушиваемся. Скригнула дверь. Кто-то вышел на крыльцо. Петя в ту же секунду рванулся к окнам. Зазвенели стекла, раздался оглушительный взрыв. В избе бушевало вламя.

...Очнулись мы далеко на деревней. Глянули друг на друга — на обоих лица не было.

Впервые я ощутила сладость отщипения. «Васса, выдавшая дядю Ивана, понесла заслуженную кару», — думала я, не зная еще, что Васса-то и уцелела. Но прежде не о ней, а об Антошкине.

Староста, услышав взрыв, слетел с кровати, кинулся в комнату сына, Павел притворился спящим.

— Слава тебе, создателю, дома мой шалопад, — облегченно вздохнула Антошкин и, накиннув поверх исподнего пальтишко.

отправился на пожар. Но туда не допустили немцы: санитары вытаскивали из огня сгоревших и обгоревших господ офицеров.

Кто бы ни взорвал избу Вассы, отвечать старосте!.. Антошкин обжал всех комсомольцев: Феня спала, Дмитрий спал. Где искать преступников? Антошкин, придя домой, сорвал зло на жене: ударил ее что было силы.

Павел вкочил с постели, отвёл руку отца:

— До матери пальцем отныне не касайся!

Антошкин прошипел:

— Мели, Емеля... а завтра налетят каратели и повесят тебя со всеми твоими комсомольцами.

— Дурак! — сказал Павел, — разве мы в силах совладать с немцами? Не мы их уничтожаем, а весь народ. Один ты идешь против народа. Ты да Васса Коршунова.

— Капут, капут! — завизжал Антошкин путовски, — капут Красной Армии! Немцы подходят к Москве!

Напряженность последних бессонных ночей дала себя знать: Павел накиннулся на отца с кулаками. Мог бы и удавить его, но в эту минуту за Антошкиным пришли из штаба.

Немцы, стоявшие гарнизоном в соседней деревне, были по телефону извещены о взрыве. Не прошло и часа, как три офицера прибыли на мотоциклах. Антошкин стоял перед ними без шапки, с согнутыми коленями.

Деревню согнали на допрос. Для начала дали несколько очередей из пулеметов поверх толпы. Мы из лесу слушали эту стрельбу.

В деревне были Дмитрий, Павел, Феня. Павел не спускал глаз с отца. Антошкин втягивал от выстрелов шею в плечи. Переводчик отрывисто выкрикивал:

— Если не будут выданы коммунисты и комсомольцы, расстреляем каждого пятого.

Трехлетний мальчик Толя Леонов, вылез вперед, его привлекли череп и кости на руке офицера.

— Где твой папа? — спросил тот, изобразив на лице улыбку.

— Папа бьет немцев.

— Где matka мальчишки?! — крикнул офицер.

— Я мать ребенка, — женщина, опрятно одетая, вышла вперед, поправила связанные на затылке волосы.

Немец, не торопясь, вынул пистолет, выстрелил. Женщина упала без крика. Так рассказала мне о ее смерти Феня. Ребенок кинулся к матери, но офицер перехватил его, приподнял ребенка за волосы и выстрелил ему в грудь.

Стон прошел в толпе, кто-то закричал длинно и страшно. Тогда, тяжело опира-

ясь на палку, вышел вперед старик Мартыныч и сказал фашисту:

— Я живу на сведе девяносто первый год. Сам воевал и не раз. Видел врагов маленьких, видел и больших. Злющих видел, но чтобы офицер воевал с детишками — такого не приводилось видеть! — старик выпрямил мощную когда-то спину, поднял палку, на которую опирался, и ударил немца по голове. — Получай, бандит!

Офицер оцепенел, выпустил из рук пистолет. Мартыныч повернулся и медленно пошел к народу. И только через минуту раздался вслед ему два выстрела. Он упал невдалеке от матери и ребенка, убитых тем же немцем.

— Стреляй в каждого третьего! — раздалась команда офицера. Но высоко над деревней застрекотали пропеллеры. Два «У-2» разворачивались над крышами. Немцы боялись этих маленьких машин, которые не только ходили в разведку, но могли сбросить одну-две бомбы, обстрелять из пулемета. Антошкину приказали разогнать толпу, пока детчики не заметили ее. Немцы, переждав, когда скроются самолеты, уехали.

Под вечер мы пришли из лесу, чтобы организовать похороны новых жертв гитлеровских палачей. На том же месте, откуда ночью мы унесли тело дяди Ивана, теперь лежал дедушка Мартыныч. Белые, как ковыль, легкие волосы его шевелил ветерок. Я вспомнила: мне было три года, дедушка Мартыныч шел с яремки, остановил меня, сказал: «А у меня в бороде петушок вывелся» и вытасил из-под подбородка прятничного петуха. А сейчас в бороде его запутался муравей, не может никак выбраться, а маленькую соломинку все же тащит за собой, не бросает.

Надо было спешить. В тот же день на закате мы похоронили Мартыныча, дядю Ивана, Феклу Матвеевну Леонову и Толика в одной могиле. Феня звала меня к себе отдохнуть, поесть горячих щей. Но я решила пробраться огородами к Петровичу, и счастье мое, что не пошла к Фене: едва она вернулась домой, как в сенях раздался голос... Вассы Коршуновой:

— Ты дома, соседка?

— Уцелела? — вскрикнула Феня, но тотчас же, взяв себя в руки, проговорила, — а я-то горевала: сгорела Васса от гранаты!

— И сгорела бы, милая, да бог спас. Перепилась я, Фенюшка начало меня мутить, а на двор сама выйти не могу: на ногах не стою. Мать подхватила меня и вывела на крыльцо. А тут как ударит! Как грохнет! Как заерзает под ногами земля! Так с меня хмель и вышел. Я хodu, мать за мной. Немного пробежала, меня и хват немец. Не разобрался, дурень, начал морду бить. Пока до штаба довел, изуродовал всю, ей-бо. Ты глянь... — Васса выгнула

голову к лампе. Феня глянула на девуку и не могла сдержаться смеха: нос на сторону, губы как подушки, под глазами синяки.

— Тебе смешно, — заныла Васса, — а я целый день з погребу просидела, стеснялась ковых немцев, что приезжали поджигателей расстреливать.

Она взяла Феню за руку, чтобы видеть ее глаза, подвела к лампе и сказала:

— Я знаю, кто бросил гранату: Татьяна.

Феня покачала головой:

— Говорю тебе, как другу: Татьяна только сегодня вернулась. Ходила с братом и с матерью за пятьдесят верст. Там труп лежит, похож на Петровича... да вроде и не он.

— Коли так, счастье ее. Уж ей бы я не спустила: все спорело, все сундуки. Осталась в чем стою.

С этого дня в деревне стало тихо. Немцы проезжали большаком, но к нам не сворачивали. Мы с матерью работали на поле. Вот где был комсомольцам простор: мы вели беседы с колхозниками, разъясняли им, чего стоят информации немцев о победах над Красной Армией. Однажды и нам выпало счастье: с самолета сбросили газеты и печатные листовки. Правда далекой родной Москвы дошла и до нас! Деревня повеселела, люди уверовали, что дождутся своих.

У ДОВАТОРА

Как-то на рассвете я услышала сквозь сон ровный гул самолета. Слышу — наш! Вскочила, стала на крылечко. Сердце колотится. Самолет покружился над лесом минуту — полторы, повернул и лег на восток. Ушел... Но вот я заметила в небе узелок. Еще узелок, и еще. Они увеличивались в воздухе, спускались все ниже, их было одиннадцать, и они распустились парашютами. «Десант! Наши сбросили десант», — догадалась я и тотчас побежала к Петровичу.

— Отправляйся в лес, — сказал он после минутного раздумья, — поброди в том месте: может быть, десантникам нужна наша помощь.

Ходила я долго, пустое лукошко болталось в руке. Устала, надежду потеряла, когда вижу: попадаетея заломанная трава; дальше — обобранный куст малины. Был здесь человек, и недавно! Вот и роса обита. Я запела вполголоса, а сама прислушиваюсь, не хрустит ли ветка в лесу?..

— Далеко, гражданочка, за ягодами ходите, — раздался позади меня голос. И я увидела человека в пилотке и комбинезоне.

— Не пугайтесь, — сказал он.

Он сообщил, что какая-то большая воинская часть должна находиться в этих лесах, для связи с нею сброшен десант. Однако воинской части здесь не было, это я

знала точно. Я взялась проводить десантников по лесам к линии фронта.

Предупредив Петровича и мать, я через час снова была в лесу.

... Шли мы днем и ночью. Их было одиннадцать парашютистов, командовал ими Анатолий — тот, кого я первым встретила в лесу. Фамилии его я не спрашивала, как не спросила и о воинской части, на связь с которой они были сброшены и которой не нашли, — и это обстоятельство Анатолия заметно тревожило. Рассказы его о нашей армии, о положении на фронте ободрили меня. Я верила, что близкие дни нашего освобождения. Анатолий все что-то записывал, отмечал на карте, потом диктовал радисту. Обогнули деревню Волянушки, где было много немцев, и вышли к реке Мёже, у монастыря Ардынок. Лес там подходил к самой реке, а по ту сторону — выши.

В этом месте Мёжа вбирала в себя два притока, устья их увеличивали ширину и глубину река. Решили связать два бревна, кому плыть? С нашей стороны могут принять за врага и обстрелять.

— В женщину стрелять не будут, — сказала я.

На середине реки бревно подхватило быстрым течением. Меня несло вниз. У изгиба реки бревно закрутило, вода пенилась у ног. Я начала грести шестом, долго боролась с течением, и в конце концов приблизилась к берегу. Только сейчас раздался с немецкого берега выстрел, потом пулеметная очередь. Я была так измучена, так вымокла, что даже не легла на землю: скорее бы добраться до своих! Но вот меня окликнули. Я и шага не успела сделать, как красноармеец преградил мне путьком путем: откуда? что здесь надобно? Я объяснила, что иду с заданием и мне нужен самый старший начальник. Он посмотрел на мой мокрый подол и понимающе кивнул головой: «с того берега». Меня повели от поста к посту, вплоть до начальника особого отдела. Но и ему я отказалась отвечать. И, наконец, под утро меня ввели в ярко освещенную штабпалатку: стол посреди, на нем карта, над ней с циркулем в руке согнулся пожилой человек в очках.

— Тебе что же нужно, красавица? — спросил он несласково.

— Я не красавица, я русская девушка, — возмущилась я.

Человек поправил очки, смущенно отянулся на угол палатки. Оттуда поднялся военный: рост средний, а кажется высоким, так строен и подтянут.

— Так, девушка, — улыбнулся он одними глазами, не то черными, не то темносиними, цвета не уловить. — Так. Садитесь. Рассказывайте. — Я села на деревянный чурбан. Голова кружилась, будто я все еще продолжала качаться на воде. Коротко я рассказала об одиннадцати па-

рашютистах, о том, как мы шли лесами, как я переплыла Мёжу.

Он интересовался методами нашей борьбы с врагом. Я спросила, с кем разговариваю.

— Я — Доватор, командир казачьей группы. Моя задача попасть туда, откуда вы пришли, — он побарабанил пальцами по бумагам, попросил рассказать подробней обо всем, что делается в тылу врага. Видя, что я совсем обессилена, приказал вестовому подать крепкого чаю. Вот он подсел ко мне всем корпусом и пытался посмотреть в глаза — А если бы я попросила вас найти часть, которую не разыскали парашютисты? Это очень важно.. Дислокация будет дана точная

Я кивнула головой и отдыхать отказалась. На том берегу меня ждали парашютисты, усталые и голодные. Прежде чем отпустить меня, Доватор долго звонил по телефону, что-то приказывал.

Доватор послал со мной на берег пятнадцать бойцов. Светало. Следом за мною взошел на плот какой-то командир, маленький, веснушчатый, веселый и подвижной. Два вооруженных автоматами бойца сопровождали нас, остальные залегли на берегу. Командир приказал гресть как можно тише. А вода была свицовой, тяжелая, кружилась злыми воронками. Пасмурно, туманно. Это нам было на руку, добрались до того берега благополучно. Анатолий, как близкому другу, пожал мне руку, но разговаривать было некогда, до восхода солнца необходимо перебраться всем на русский берег. Плотики пришлось дважды гонять назад-вперед. Снова меня привели к Доватору. Теперь мы встретились, как давнишние знакомые. Какая у него улыбка! Светлая, подкупающая. Посмотришь и подумаешь: вот человек, который умеет любить жизнь и которого жизнь любит.

Утром я попросила переправить меня через Мёжу.

— А, может, у нас останешься? — спросил меня Доватор — нам боевые девушки нужны.

Нет, остаться у Доватора я не могла: меня ждала подпольная работа, мать, Петрович, незащитные русские люди, попавшие под немецкую власть. В последнюю минуту начальник штаба казачьей группы Доватора вручил мне пакет, который я должна была доставить окруженной в коревском лесу советской части.

Доватора не было, когда я уходила из штаба. Уже на плоту запыхавшийся вестовой передал мне от него записочку:

— Полковник прислал. Просил извинить, что не может вас проводить лично.

Записочку я сунула в карман, Анатолий поехал со мной. На берегу мы попрощались, я ушла одна навстречу темной ночи, навстречу врагу.

Всю ночь я шла. Как мне хотелось спать! Но я боялась змей, которыми был полон болотистый лес. Потом вспомнила про пакет, про записку Доватора и влезла на дерево, боясь сидеть на земле. В записочке было всего семь слов: «Татьяна, до свидания, жива будешь — встретимся. Доватор». А в пакете — он был не заклеен — только столбцы цифр да точки, да на конверте напечатано: «Тов. Ивлёву».

Где-то близко началась артиллерийская канонада. Нужно торопиться, нужно выполнить задание: доставить товарищу Ивлёву пакет. Я слезла с дерева и пошла.

ЯШИНСКИЙ ДВОРЕЦ

О доворотцах я рассказала Петровичу, матери. Отдыхать было некогда. Отец за ночь выработал для меня маршрут, нанес его на карту, долго наставлял, как разыскивать окруженную часть Ивлёва.

— А попадешь к немцам, умеи вывернуться! Пакет спрячь так, чтобы.. — он вздохнул и прибавил нарочито буднично, — чтобы и после твоей смерти не нашли.

Петя не отставал от меня ни на шаг. Повторял:

— Возьми меня с собой.. я тебе пригожусь, факт, — и т. д. и т. п.

— Ладно! — сказала я, потеряв терпение.

Но без документов мы уйти не могли. И тут Петушок проявил свои организационные таланты. Сначала сбегал к Павлу. Потом, в назначенный Павлом час, мы явились к Антошкину.

— Захар Антоныч, мы по делу, — забасил Петушок, — Помогите нашему горю! Не можем без вас обойтись..

— Говори, — разрешил Антошкин.

— Уезжая из Смоленска, когда война началась, сестра оставила у одного учителя в Духовщинском районе чемодан. Все вещи в том чемодане, — вдохновенно врал Петушок. — Дайте нам бумажки: идем туда-то и по такому-то делу. Чтобы нас не задержали.

Вмешался Павел. Он лучше нас знал своего отца.

— Зачем вам, ребята, разрешение из нашей деревни? Пойдите в соседнюю, там старшина человек самостоятельный. Расскажите ему, что хотели получить документ посеребряной, потому мол и не обратились к Антошкину

— Не вмешивайся! — прикрикнул Антошкин на сына, полез за божницу, достал бланки, печать, чернильницу и написал нужные нам бумажки.

Мы вышли на рассвете. Всё было в порядке, нехватало адреса.. В Александровской никто не слышал об окруженной немцами нашей части. В районе коревских лесов мы тоже ничего не узнали. Я начала

не на шутку тревожиться. Усталые, мы заючевали в деревне Скоморощье. Когда я уже засыпала, пришла к хозяйке соседка. С порога заговорила звонким шопотом:

— У тебя никого нет?

— Есть, да они не в счет: девка с мальцом идут в Ефремово.

— Слушай-ка, — уже вполголоса продолжала гостья, — сегодня красноармейцы хлеб собирали, много их тут, пробираются к своим. Так вот, говорили, будто безотлагательно немцев прогонят. Скоро—до снегу.

Под конец беседы женщины несколько раз упомянули о каком-то Яшинском дворце. Уснуть после всего услышанного я уже не могла: и лавка была узка, и кушали блохи, и мухи донимали. Слышны были отголоски боя, подрагивали оконные стекла от взрывов, где-то далеко шли машины и танки. На рассвете я разбудила Петю. Дорогой рассказала ему о ночном разговоре. Он зашел в крайний двор. Я думала — воды попить, а он вышел оттуда радостный:

— Узнал о Яшинском дворце! Старушка на ухо рассказала: «Не ходите туды, запрящай. Там много наших, бой будут начинать. Пойдете, в худой час убить могут...»

И верно, не в добрый час мы с Петушком попали в Яшинский дворец. Много позже я узнала от окрестных жителей, почему эти развалины на опушке бора носят такое пышное название:

...В огромных лесах, вдали от людей, жил когда-то богатый Яша. Жил бесчелные годы, никто не помнил начала его жизни. Но вот на Россию напали французы: убивали людей, смеялись над верой православной. И добрались французы до тех лесов, где жил Яша. Вскипело сердце богатерской! Срубил Яша в лесу дубину и начал войну с французами. И согнал Яша французов с земли Смоленской, кончилась война, убежал враг с русской земли. А Яша-богатырь снова ушел в лес. За силу народ прозвал его — Соколом. С той поры и лес зовут Соколиной дачей, и каменные яшины хоромы—Яшинским дворцом.

Вокруг каменных развалин на опушке леса сохранились несколько курганов. К этим курганам военная судьба загнала часть полковника Ивлева. За ним по пятам гналась 58 мехпехотная немецкая дивизия, численность ее в десятки раз превышала численность бойцов Ивлева. Будучи окруженным, полковник заманил противника в лесные массивы. Подойдя вплотную к Соколиной даче, генерал-майор Фербрехен, командир 58 мехпехотной дивизии, открыл ураганный огонь по лесу. Но генерал опоздал: за час до этого мы с Петушком добрались до Ивлева. Прочтя пакет, который мы ему доставили,

Ивлев разбил личный состав на небольшие группы и приказал им пробираться сквозь лесную глушь к нашему фронту. Сам же с горсткой бойцов остался на прикрытии.

Добрались мы до Ивлева так. Ребята из ближайшей деревни показали нам едва заметную тропку, ведущую к Яшинскому дворцу. Чем дальше шли мы по ней, тем лес становился мрачнее. Тропа разветвлялась вправо и влево. Куда идти? Вдруг чья-то рука опустилась на мое плечо. Позади меня стояли двое военных.

— Мы ищем Ивлева, — сказала я.

— Ивлева? — удивился военный и снял с моего плеча руку, — а кто он такой, Ивлев?

«Хитришь, товарищ», — подумала я, рассматривая своего собеседника. И по поводу, и лицом он был, скорее всего, татарин.

— Кто бы он ни был, а ведите нас к нему! Нам время дорого, — сердито сказал Петушок.

— Дорого время! — усмехнулся военный и вдруг спросил, — а немцев вы по пути видели?

— Видели, подходят к лесу. Мы обошли их дощиной.

Нас отвели в глубь леса. На вывороченном старядом дереве сидел небольшой, коренастый человек лет сорока. Теперь он начал расспросы: откуда, кто, как пробирались, почему не попали в руки к немцам, зачем, наконец, нам нужен Ивлев? Я потеряла терпение:

— У нас пакет, адресованный лично Ивлеву.

— Ивлев — это я. Давайте пакет.

Мы вползали петушкову кепку, вытащили из нее пакет. Сразу все изменилось к нам. Люди, сами голодные, предлагали хлеба, малины, сваренные в манерке грибы. За непроходимыми колючими зарослями расположился штаб. Стучала машинка. Жгли документы. Группы бойцов одна за другой уходили в глубь леса.

Ивлев сказал нам:

— Прежде чем проститься, я хочу дать поручение. Далеко ли от вашей деревни Платоновская дача?

— Платониха? Километров десять! — Петя стоял навывтяжку.

— Карту читать умеешь?

— Умею, товарищ полковник!

Ивлев достал потрепанную десятиверстку, и они оба склонились над нею.

— Здесь мы зарыли главные части от танков и артиллерии, а всю материальную часть спрятали в лесу Снаряды тоже зарыли. — Ивлев старался говорить доступным Пету языком, избегая военных терминов, рассказывал о пометках на деревьях, о тропках, ручейках. Петя ловил каждое слово.

— Все запомню! — сказал он.

Полковник потрепал его по плечу:

— Верно! Теперь слушай: сегодня мы

отсюда уйдем, но с тем, чтобы вернуться! — Он растопнул ворот гимнастерки и сказал тихо. — Но война есть война. Может статься, что никто из нас не уцелеет. Тогда ты укажешь нашим эти места, — он похлопал ладонью по десятиверетке, — но никому из местного населения ни слова! Теперь, друзья, можете идти. Рустам проводит вас.

— Есть проводить товарищей! — весело отчеканил татарин

Но едва мы прошли шагов пятьдесят, как завлыли снаряды. Эхо загрохотало по лесу.

— Рустам, вернуться всем троим! — крикнул Ивлев. Не торопясь, он раскурлил трубку. — Началось, теперь вам уходить нельзя. Держитесь все время вблизи меня.

Он приказал Рустаму рассыпать бойцов по лесу.

— Товарищ полковник, бойцов всего двадцать два!

— Знаю. Очень хорошо, что остальные уже ушли..

Судя по гулу, противник вводил в действие новые и новые батареи. Где-то близко затрещали пулеметы.

— Не отставать от меня! — крикнул нам Ивлев, схватил ручной пулемет и бросился в сторону боя.

Сколько часов шел бой, ни я, ни Петушок сказать не могли. Да и вообще, что понимали мы, необстрелянные? Мы были в середине цепи. Куда-то шли, сворачивали направо, налево, видели, как бойцы близко подпускали немцев и из-за кустов стреляли в упор. Расстреливали одних, возникали другие. Казалось, им не было конца. Я давно потеряла направление и не заметила, как мы очутились на опушке.

Немцы окружали нас. Кольцо сжималось всё туже. Меня охватило какое-то злое веселье. Не знаю, может быть, оно родилось, как защита от загнанного в самую глубину души страха. Лес позади нас стонал и гудел. Я поднялась и полезла на курган. Он весь порос деревьями и кустарниками. Там, на поляне, увидела я груды бесформенных развалин. Каменные серые стены, провалившаяся во внутрь крыша. Хорош дворец!

Положение Ивлёва и горстки его бойцов было безвыходное. Вместе с ними и мы стояли на краю гибели. На смуглом лице Петушка блуждала растерянная улыбка. Да и я — нечего греха таить — уже не ощущала веселья. Пули свистели у нас над головами, цокали по стволам деревьев. Немецкая речь и пьяные крики доносились совершенно явственно. В это время полковник Ивлёв свистнул. К нему подбежали трое, среди них — Рустам, без пилотки, со всклокоченными волосами. Мы лежали с Петей у корневища огромного вывернутого дерева, а по ту сторону ствола залег Ивлёв. И мы слышали воен-

ный совет с Рустамом и двумя другими командирами: окружение полное, уйти нет возможности. Пробытаться с боем? Патронов мало, гранат того меньше... Выбираться ползком, пользуясь естественной маскировкой?

— Разрешите мне, товарищ полковник! — заговорил Рустам. — Предлагаю отвлечь внимание врага.

— Предлагай покороче! — прервал его полковник.

— Я с кем-либо перебегу в развалины и открою огонь. Он бросит туда силу.. Место ровное, можно уложить их сотню. А в это самое время вы с бойцами выйдете..

— Отставить! — рассердился полковник. — Я никогда не приносив людей в жертву.

— Мы выберемся из развалин, товарищ полковник. Единственный раз прошу, никогда не просил..

Я не слышала, о чем говорили дальше. Немцы наседали. Признаться, и страха я уже не чувствовала — какое-то тупое равнодушие. Но вот Петя схватил меня за руку — смотри!

Взвалив на спину пулемет, Рустам прополз мимо нас на опушку. За ним ползли, волоча за собой станковый пулемет, еще двое. Опушка поросла высокой, уже поосеннему бурой травой, она чуть заметно шевелилась там, где полз с товарищами Рустам.

Над нами, закрывая свет, мелькнула тень. Я обернулась — полковник! Он влез на сваленное дерево, стоял неподвижно, выпрямившись во весь рост. Лицо его было искажено. Наконец, обессиленный, он припал головой к стволу дерева. Так отец провожает любимого сына на смерть. Я поняла в ту минуту, как дорог советскому командиру боец.

Видя, что наш огонь прекратился, немцы вышли на опушку. И тогда-то из развалин застрочил пулемет.

Всё шло, как и предполагал Рустам: немцы решили, что наши основные силы засели в развалинах, и пошли в атаку. Ивлёв наблюдал за их наступлением с верхушки кургана. Мы с Петушком взобрались туда же. Решительный момент наступил. Из развалин полоснула длинная пулеметная очередь. Враг откатился, оставляя убитых и раненых. Но из лесу появлялись новые волны атакующих, катились к развалинам, и каждый раз, оставив в ржавой траве десятки убитых, откатывались назад.

Для нас путь был свободен, но полковник Ивлёв не мог уйти, он приказал людям занять боевой порядок на опушке. В это время немцы снова — в который раз — пошли в атаку. Навстречу им протрещала короткая пулеметная очередь и... всё затихло. Немцы полезли на стены. Тогда на краю обрушившейся крыши появился Ру-

стам. Он швырял в немцев камнями. С тыла их снимали одного за другим пули Ивлева и горстки его бойцов Наши стреляли скупо — патроны были на счету. Но вот Рустам покачнулся, опустил руки и упал. У меня потемнело в глазах, я свалилась с дерева. Очнувшись оттого, что Петушок тормошил меня.

— Будем уходить, Таня! Полковник уже отходит.

Я с трудом поднялась. Голос Пети доносился будто издали:

— Наши отошли в лес! Все скрылись в лесу! Все!

Вечерело. Тени деревьев легли на опушку, тянулись к середине её. Немцы отходили, голоса их едва доносились до нас. Полковник Ивлев со своими людьми, видимо, благополучно вышел из окружения. Мы с Петушком остались одни. Какой сладкой после боя показалась тишина! Но мы знали, что она недолговечна: немцы вот-вот вернуться за своими убитыми. Петя насчитал двести трупов и бросил считать.

В развалины не было входа, всё обрушилось, обвалилось. Наконец, мы заметили пробоину и влезли через нее. При слабом вечернем свете, едва пробивавшемся сквозь обрушившуюся крышу, мы бродили по камням: никого! Неужели герои уцелели? Ушли? Но вот Петушок вскрикнул: у стены, лицом к земле, лежал красноармеец. Мы еле оторвали его застывшие руки от пулемета. Пуля попала ему в лоб чуть выше брови. Через пробоину в стене, откуда он стрелял по немцам, была видна часть опушки, усеянная трупами. Вскоре я наткнулась на второго убитого пулеметчика. Но Рустама не было. Мы осторожно вынесли убитых к кургану. Красная, будто напившаяся крови луна медленно выползла из-за леса и повисла в темном небе. Итти к развалинам было страшнее, чем в первый раз. Но не могли же мы оставить Рустама! И мы нашли его. Он лежал на той стене, с которой камнями убивал немцев. Руки были раскинуты, на левом виске затеклась кровь. Мы плакали навзрыд, когда несли его на курган.

Земля на кургане мягкая, только верхний слой переплели корни деревьев. Петя захватил кусок железа в развалинах, этим железом мы рыли землю. Горькое счастье — мне ли не знать его? — прижаться грудью к родной могиле. Если у покойного Рустама остались на земле мать, сестра, невеста, если мои записки попадут им на глаза, прошу написать мне на адрес журнала «Новый мир». Каждого, кому дорог был Рустам, я провожу на его могилу. Знаю о нём, что был танкистом, своим не писал с начала войны, потому что был в окружении.

ОТЕЦ

Петрович понемногу поправлялся и уже мог повседневно руководить нашей работой. Лена Курасова разбрасывала листовки, срывала немецкие воззвания, на их место наклеивала написанные Петровичем. Павел и Дмитрий подожгли мост на реке Ельша, порвали в двух местах наземную связь, спилили несколько столбов, а кабель смотали и унесли. Мать дважды ходила к линии фронта, провожала лесами бежавших военнопленных и окруженцев. Все это делалось тихо, никто в деревне и не подозревал о нашей работе. Собака дежурила у избы Петровича — чужой и близко не мог бы подойти.

16 августа Петрович созвал нас. Сходились поодиночке. Совещание происходило на чердаке.

Петрович говорил:

— Я завтра уйду. Вы продолжайте работать как работали. — Помолчав, он поднял глаза вверх. Под крышей у гнезд сидели ласточки, в густой паутине паука душила муха. Все обыденно, как десятки лет до нас. Точно и не дожились огромное горе на русскую землю. Петрович сидел на полосатом матрасе, на подушке в розовой наволочке лежала книга и тетрадь. Мы тристроились возле него, кто на корточках, кто на матраце. Только непогода Фёня Бойкова все вскакивала, все не находила себе места. Ее милостивое лицо осунулось, серые глаза — живые и острые — стали серьезней. Да и все ребята за месяц повзрослели.

— Татьяна подчиняйтесь, — продолжал Петрович, — если же она дрогнет, заботитесь, то... в нашей семье трусов не любят... дайте знать мне. Война идет не на жизнь, а на смерть. Не каждый доживет до победы... — Эти слова он с трудом выдал из себя: говорить о моей гибели, о гибели молодежи ему было тяжело. — Но я верю, — продолжал он, — никто из нас не испугается смерти честной, смерти в борьбе. — Он поднялся и обнял всех по очереди. Мне кивнул, чтобы я задержалась. Ребята шли подавленные.

Петрович сказал:

— Ну, дочка, вечером я уйду в лес, в отряд. Тебя взять не могу: ты здесь необходима. Ребята береги. Борьба только начинается, — он сказал, словно сердясь. — Ну, что же ты? Иди! Делай свое дело!

Тяжко писать о человеке, который любил меня больше себя самого... Когда я прощалась с ним, у меня вырвалось единственное слово, которое я всегда носила в своей душе с которым шла в бой и выслеживала врага, с которым и сейчас встану с постели и ложусь спать: «Отец!»

Под вечер в деревню нагрянули немцы и окружили хибарку Петровича. Кто дошёл — до сих пор не выяснено. Немец, открывший дверь, на пороге был застрелен

Петровичем из пистолета. Немцы подняли стрельбу, но войти в дом уже не пытались, отказались и от поджога: хотели взять его живым.

Услышав стрельбу, я кинулась к соседнему дому, залезла в хлев. Сквозь щели было видно: немцы плотным кольцом окружили хибарку.

Вдруг распахнулась дверь. Я увидела отца на пороге. Он выстрелил в упор и побежал под градом пуль. Сердце мое зашло. Вот уже близко ручей, а там немного пробежать — и овраг... Но Петрович споткнулся, упал и встать не мог, был ранен. К нему подбежали два немца, один из них — офицер: высокая фуражка с орлом. Петрович лежал, как мертвый. Но, едва офицер приблизился, выстрелил в него в упор. Я знала, что пистолет у него шестизарядный, оставался ещё один патрон. Последнюю пулю отец сберег не для себя, убил ещё одного немца. Шестого.

Я выскочила из хлева. Зеленые мундиры навалились на Петровича. Дальше ничего не видела... упала в высокую лебеду, до крови изгрызла себе руку.

Его вели по улице. Никто не вышел из домов, точно не осталось во всей деревне ни души. Он хромал, но шел прямо, руки связаны, лицо в крови. Десять немцев с автоматами наготове конвоировали его. Каждая секунда мне запомнилась, как невыносимое страдание — мальчик лет четырех, перебежавший дорогу, и тот запомнился.

Немцы увезли Петровича. Через день мы узнали, что он повешен. Четыре коммуниста висели рядом с ним на улице города Велижа.

Дни потянулись тяжелые, свинцовые. Мы жили с матерью только для того, чтобы мстить. Спали, чтобы накопить силу для мести. Ели, чтобы жить для мести. Из окружения выходили исхудавшие русские люди, просили хлеба, просили достать гражданскую одежду. И для них мы жили.

Первого сентября появилась жандармская часть, окружила деревню. Мы не успели уйти. Днем немецкие жандармы грабили дворы, а к вечеру приказали молодежи собираться на вечеринку. Я притворилась больной, когда за мною пришел Антошкин.

— Моя дочка топором ногу себе порубила, — встретила его причитаниями мать, — что делать? Посоветуй.

— Доктора можно позвать! — милостиво отозвался Антошкин. — Немецкие доктора не нашим чета.

Едва за ним закрылась дверь, мать сказала:

— Вставай! Пойдем!

У нас всё было приготовлено заранее: шнур, котелок, бутылка с бензином. Ночь выдалась темная, собирался дождь...

На колхозном дворе был устроен немцами склад боеприпасов. В кромешной тьме мы разыскали канаву, вырытую для ската воды из хлева. В котелок вылили бензин, намочили шнур, свитый матерью из льноволокна. Я поползла по канаве. Просунула руку под стену — грязь, глина. Наконец, пальцы уткнулись во что-то твердое — это были ящики! Сколочены не плотно, в щели свободно влезла палец, — я воткнула в щель шнур, выплеснула на стену остаток бензина и поползла назад.



К. П. Логунова (мать).

— Беги! — сказала я матери. — Я догоню тебя.

Мать скрылась в темноте. Я распласталась над канавой, распахнула полы куртки и под нею чиркнула спичкой. Огонек лизнул конец шнура и побежал по дну канавы. Я бросилась огородами к дому. Была уже у ворот, когда взрыв потряс землю. Потом второй, третий — начали рваться снаряды. Тучи, нависавшие с вечера, пролились в это время ливнем.

На вечеринке — девушка. Взрывы были так сильны, что потасали лампы. В темноте все бросились к двери, кто-то упал, на кого второй... Петр, Дмитрий и Павка выскочили через окно. У моста ими были спрятаны винтовки, и, как только немцы начали метаться по деревне, ребята обстреляли их. Двух убили, одного ранили. Снаряды рвались до полуночи, огненные столбы вздымались к небу. Ночью я приказала комсомольцем итти в лес. Мать, разумеется, ушла с нами.

Утром немцы начали расправу.
— Советские служащие есть? — крикнул переводчик. — Выходи!

Никто не сказал ни слова. Утро было пасмурное, мокрые листья падали на землю. Вперед вышла Васса Коршунова, поправила платок на голове, крикнула:

— Депутатка здесь есть! Что же ты не признаешься, Бойкова?

Феню повесили в тот же день. Гибли дорогие люди, редели наши ряды.

После смерти Фени, как-то вечером пришла к нам Рима Самуилова, сказала:

— Я родилась в этой деревне, здесь моя родная земля. Я буду такой, как Феня Бойкова.

И правда, Рима в работе заменила Феню. Жандармы уехали. Старый офицер Карл Бургарт увез с собою Вассу, решив использовать ее как шпионку и сыщика — не нашел никого умнее или сам был глуп? О Вассе Коршуновой мы вынесли решение еще в день гибели Фени. Но организация наша слитком медалла с выполнением, Коршунова успела нанести нам еще один тяжелый удар.

МОЙ БРАТ ПЕТЯ

В сентябре в лесах вблизи Слободы действовала казачья группа Доватора. Она творила чудеса, уже вошедшие в историю Отечественной войны. Я разыскала Доватора. Он помнил меня и дал несколько серьезных заданий. В результате наших разведок Доватор уничтожил танковый полк врага в деревне Жыбодове.

Затем Шульц поручил нам собирать среди гражданского населения продукты для дователей. Это была сложная работа. Главным образом ее выполняли комсомолы Желуховской организации. Руководил ею Федя Новиков. Для связи со мною Федя выделил Надю Степанову. Бесстрашная кареглазая девушка собрала для дователей более тонны ржи, смолота ее и выпекла хлеб. Впоследствии она была разведчицей и погибла на виселице в городе Орше. Но об этом позже.

Брат мой Петя тоже работал теперь по заданию оперативного отдела Доватора. Однажды, возвращаясь с задания, он и Федя Новиков узнали, что через деревню Заходы должен проехать с минуты на минуту какой-то немецкий генерал. Сообщать об этом Доватору было поздно, Петушок и Федя на ходу приняли решение. Они раздобыли в Заходах две бутылки горючего и засели в кустах близ дороги. Кустарник тянулся далеко, был густой. Очевидно, они рассчитывали в нем скрыться. Как только легковая машина поровнялась с ними, они бросили в нее бутылки. Машина загорелась. Но в ней оказался не генерал, а его офицеры-штабисты: они

сгорели все. Вслед за первой машиной шла генеральская. Уничтожить ее Петру и Феде было уже нечем. Федя выстрелил в упор в адъютанта генерала, выскочившего из машины, убил его, но и сам был схвачен. Петю тоже поймали, привели в деревню Заходы. Надя видела его мучения и гибель.

Допрашивал его жандарм Карл Бургарт, тот, что возил с собою Вассу Коршунову. Она опознала Петушка. Она решила его судьбу: Петушка допрашивали и пытали, загоняя под ногти иголки.

Он молчал.

Его положили вниз лицом Руки гвоздями прибили к полу. На спине вырезали: ВАКСМ. Он терял сознание. Его обливали водой и снова допрашивали: Карл Бургарт, переводчик и Васса.

Затем Бургарт застрелил Петю. О последних минутах Петушка рассказывала по деревне сама Васса. В ту же ночь Надя Степанова со своим братишкой Витькой унесла выставленный на показ труп Пети и, положив его в телегу, перевезла к нам Много истерзанных, замученных немцами русских людей видела я, но никто из них не был так изуродован, как Петушок: глаза выколоты, пальцы обрублены, изрезана вся спина, ноги вывихнуты в коленях. Я не могла смотреть на него. Я не пошла на похороны. Сердце не выдержало. Да что говорить о себе — о Вассе Коршуновой я думала в те дни.

Не будь там Вассы — Петю отпустили бы. Он был пойман без оружия, далеко от дороги, около озера: мало ли ребята ловят рыбу? Его погубила Васса. Очередь дошла до нее.

Надя проводила меня в Заходы, рассказала, где находится штаб Карла Бургарта. Мы условились встретиться на рассвете в лесу. Я вошла в дом, соседний со штабом, спросила дорогу на Демидов, попросилась переночевать.

— Ночуй, детонька. А ты откель бредешь? — спросила меня старушка.

— Издалека, бабушка. Иду домой, на станцию Рудня. да вот немцев боюсь.

— У-у, детонька, не бойся: они крепких не трогают.

— Тебе хорошо, бабушка, у тебя крестик на шее, а у меня нету.

— Да я тебе раздобуду! Делает у нас один с тех пор, как немцы пришли.

— А раньше не носила, бабушка, крестика?

— И-и, детонька, не-е! Сынок у меня служащий был, а теперь он старшина! — Старуха зашептала. — Да сам он и крестик делает. Из пустых консервных банок.

Я поняла, в чей дом попала, и умолкла. Села, как бы притомившись у окна. Ждала.

Вечерело. Солнце заходило быстро: наступала осень, в голубом, еще светлом не-

бе стояла бледная луна. Вдруг сердце у меня сжалось: Васса Коршунцова! Она вышла из калитки соседнего двора, перешла улицу и огородом пошла к озеру. Ведра на ее плечах покачивались в такт шагам. Рука моя сама собой опустилась в карман. Там пистолет, который мы с Петей взяли на память у погибшего Рустама. Уже ни о чем не думая, я пошла напрямик, не тропкой, а грядками. Ноги влезли в ботве, было трудно дышать, словно Васса вобрала в себя весь воздух и на мою долю ничего не оставила. Цепляясь руками за кусты, я спускалась с крутого берега к озеру, — вот она, широкая спина Вассы! Пальто на ней не с ее плеч, вероятно грабленое. На голове новый цветной платок. А, может, купила на заработок от немцев? Я вдруг почувствовала, что совершенно спокойна — спокойна и сильна.

Васса зачерпнула немного воды, сполоснула ведра. По темной глади озера побегали круги. Васса, не торопясь, набрала воду, повернулась, чтобы вылить ведра на коромысло, увидела меня и вскрикнула.

— Что, страшно? — спросила я.

— А ты меня испугала, ей-бо! Откуда ты взялась?

— С тех ворот, откуда весь народ! — Я брезгливо смотрела на ее рыжие брови, на мясистые щеки, на вздернутую губу. — Как же ты, важная дама, с офицером живешь, а воду сама носишь?

— А я — из интересу! Люблю вечером на озеро поглядеть, ей-бо. Глянть-ка, и в воде звезды, будто и там небо. Ей-бо! — она взглянула на меня, почувствовала недоброе, стала заискивать. — Да что мы здесь стоим, ей-бо! Пойдем ко мне. Карл в гостях, вернется поздно, пьяный-распьянный.

Я, не слушая ее, спросила:

— Звезды, говоришь, в озере отражаются.. Значит, любишь землю? Жить хочешь?

— А как же! Захватила бы всю жизнь руками, да так и держала б.. — она вдруг осеклась, всматриваясь снизу в мое лицо. Мы стояли друг против друга, она спиной к воде. Ей, видимо, стало страшно, она отступила на шаг. Вода коснулась ее ног, а она как будто и не почувствовала. Я вынула из кармана пистолет.

— А дядя Иван не любил жизни? А Феня Бойкова, а Петушок, а тот красноармеец, которого ты предала, не любил?

— Ай! — заорала она.

— Не кричи, никто не придет: русским ты враг, немцам — чужая. Наймитка.

— Татьяна!

— Я — не Татьяна, я — смерть твоя! Снимай пальто и платок!

Она торопливо раздевалась. Стояла растерянная. Грудь ее подымалась и опускалась под светлой кофтой.

— Я.. я же виноватая! — бормотала, обезголовев.

В первом и во втором классах мы учились с Вассой вместе. Она была толстая ленивая девчонка. На уроках дремала или жевала мятные пряники. И так же оправдывалась перед учительницей:

— Я.. я же виноватая!

У меня стучали зубы, холодели пальцы, державшие пистолет. Я подняла его, закрыла глаза и спустила курок. Выстрела не слышала, только эхо — далеко, по ту сторону озера, в основном лесу.

Выстрел не привлек внимания немцев: они сами то и дело стреляли по курам или пороссятам. У дома, где помещался штаб, я переменяла плечо под коромыслом, чтобы выпирать время и сообразить, куда идти — в калитку или к парадному крыльцу. Вошла в калитку. Во дворе шагнул взвод и вперед часовой. Я надвинула вассин платок на самые брови, запахла полы ее пальто, чтобы из-под них не видно было моего, и вошла в дом. В коридоре встретила немца. Приняв меня за Вассу, он уступил мне дорогу.

Дом делился на две половины. В первой пахло жареной с луком курицей, на столе порядок: груда тарелок, хрусткие рюмочки. На второй половине стоял стол, был он завален бумагами, картами, планами. На табуретах тоже лежали папки, бумаги. Золотые часы и маленький револьвер поблескивали посреди стола. За перегородкой красовалась богатая кровать, покрытая русской шелковой шалью. На полу (чтобы ночью ноги не простыли) было разостлано одеяло; их ткнут из шерстяной разноцветной пряжи на моей родной Смоленщине. Еще было кресло с раскинутым по спинке полотенцем, вышивка на нем наша, русская, изящная, простая и узорчатая одновременно. Стоял запах вина, табака и еще чего-то неприятного, чем всегда пахнут немцы.

Я села в кресло, помнила, что Васса сказала: Карл вернется поздно, пьяный-распьянный.

Хорошо, я буду ждать его, как бы поздно он ни вернулся.. Стало совсем темно. И вот послышались шаги.. сначала в коридоре.. потом на первой половине.. шаги палача, умучившего моего Петю. Я боялась, что не совладаю с собой и сразу, на виду у часовых брошусь на него. Офицер вошел в комнату. Зацепился за половику, повалился на пол, залился дробным смехом:

— Карл есть пьяный, Васса-Васхен! Помогай пьяный Карл!

Дальше началось невнятное бормотание и ругань вперемешку с ласкательными словами.

Я достала спички из кармана, зажгла лампу. Голова денщика просунулась в дверь, я махнула руками. Голова исчезла.

А Бургардт всё барахтался на полу, призывал стянуть с него сапоги. С силой, какой я не знала в себе, я подхватила его с пола и бросила на кровать.

— Ты — сильная лошадь! — хриплый хохот его перешел в храп, немец уснул с разинутым ртом.

— Ты лошадь, сильная лошадь, — повторяла я механически, мечась по комнате. Надо было что-то делать. Часы на столе показывают четверть двенадцатого. На крышке их выгравировано: Карлу Бургардту Так. Он смотрел на эти часы, заскакал время, когда мучил Петю... А Петровича ловили другие жандармы или тоже Карл Бургардт? Я бросила часы на стол, взяла браунинг, подошла к кровати, Бургардт спал. Нет, стрелять нельзя, сбегутся часовые... Я положила браунинг на место, сжала и разжала пальцы. Подошла к кровати и впиалась пальцами в горло Бургардта. Он захрапел, выпучил глаза. Я увидела в них ужас, потом они закатились. Но он был еще жив. А мои силы иссякали. Ноги подкашивались. Охватывала непреодолимая тошнота.левой рукой я нащупала в кармане пистолет, вытащила его и ударила Бургардта рукояткой по виску. Еще раз и еще. Он затих. Я перевела дух. Прислушалась: нет, он не дышал, сердце перестало биться. Я положила на его лицо подушку, вынула из его кармана документы, взяла со стола палку с текущими делами и браунинг. Золотые часы? Пусть часы тикают подле своего мертвого хозяина...

Я вышла на крыльцо. Холодный воздух вернул меня к действительности. Я нагнула на глаза вассин платок. Проходя мимо часового, кивнула ему. Он посторонился.

Не помню, как шла по деревне, по берегу озера, на дне которого лежала Васса. Страх, от которого хотелось кричать, охватывал меня. Я побежала. Бежала долго, до самого леса, где мы условились с Надей Степановой встретиться. Добежала до первого дерева на опушке, обхватила его руками и зарыдала. Теперь, через три с половиной года после той ночи, я могу сказать себе, о чем я плакала; о Петровиче, о Петушке, о Фене, о своей юности, которую немцы запятали кровью и убийствами. Но в ту ночь я стыдилась своих слез, как проявления малодушия. Чтобы Надя не заметила, я вытерла глаза рукавом. И только здесь вспомнила, что пальто на мне вассино и платок ее! Сняла их с себя и отбросила подальше в кусты.

Надя спала, сидя у дерева. Я села подле нее. Она проснулась, глянула на меня и встревожилась:

— Что еще случилось? Ты на себя не похожа — черная, глаза ввалились...

— Я убила их обоих.

Надя обняла мои плечи, положила мою голову к себе на колени:

— Бедная, бедная. Молчи, ничего не рассказывай.

Она заплакала, а у меня и плакать не было сил. Я уснула, уткнувшись в ее колени.

«ОДИННАДЦАТЬ»

В разведке, при выполнении заданий, я чувствовала подъем душевных сил. Но вот я вернулась домой. Не было здесь ни Петровича, ни Петушка, ни друга моего Фени — никого не стало. Мать, и та ушла, не сказав никому куда и надолго ли. Осень пришла ранняя, суровая; клен, береза не успели покрасоваться золотом своей листвы. Ударили заморозки. В потопленной печи начинал вить ветер, горе поднималось со дна души. Тяжко было... Наконец, вернулась мать.

— Что с тобой случилось, мама? Где ты пропадала?

Она глянула на меня светло: в мое отсутствие ей повезло — нашла в лесу одиннадцать раненых. Долго ухаживала за ними, отпаивала молоком и десертных вернула к жизни. Вот только одиннадцатый был попржежнему плох. Мать и в деревню пришла, чтобы раздобыть йоду, чистого тряпья для перевязок, жаропонижающего лекарства. Собрала всё это и к вечеру снова ушла, рассказав мне, где искать ее лесной госпиталь.

Утро выдалось ясное. Я еще издали увидела мать. Она сидела на пне, скатывала бинты из изорванной на полосы старой рубахи Петушка. В шалаше стоял человек:

— Мать, дайте воды...

— Нельзя, Миша! Ты только что пил, — ласково уговаривала мать, просунув голову в шалаш.

Завидя меня, раненый отвернулся и замолчал.

— Мы раздобили для вас, товарищ, стрептоцид, — сказала я. — Вы знаете, как он помогает при нагноениях?

Он кивнул головой, посмотрел на меня благодарно. Ему было лет двадцать восемь, лицо мужественное, синие глаза, темные мягкие волосы.

Я стала приходить сюда часто — носила пищу, брала дсмой стирать белье. Остальных десять человек знала пока мало. Они появлялись у шалаша по ночам, уставшие, измученные. Шептались с раненым. Вооружены были немецким оружием. В этом районе участились нападения на немцев, на их обозы и машины. Появились листовки, сообщения информбюро, отпечатанные на машинке. Кто действовал здесь, ни я ни Шульц, с которым у меня не прерывалась связь не знали. Однако немцы уже остергались передвигаться мелкими группами.

Слово за слово — раненый разговорился. Он рассказал, что его часть попала в

сдружение в Усвятском районе. Они отчаянно дрались, из всей части остались в живых только десять раненых, да он, одиннадцатый. Он укрывал товарищей, лечил их, доставал на всех еду, но борьбы с немцами не прекращал: нападал на мотоциклистов, подрывал мосты, связь. Однажды, узнав, что близ деревни Козлово немцы устроили аэродром, он взял в помощь себе выдворивающегося красноармейца и проник на этот аэродром. Замысел удался: Михаил сжег два бомбардировщика, уже готовых к полету, но сам на этот раз был тяжело ранен, красноармеец вынес его без сознания. Немцы устроили обстрел. Тогда раненые, пройдя Усвятский и Велижский районы, укрылись в лесной чаще, где случайно и встретила их мать. Она знала их имена, но звала всех сыночками. Ее последнего пациента звали Михаилом Шерстобитовым, он был командиром части. Перед войной Михаил окончил Академию им. Дзержинского в Москве.

Среди этих храбрецов какой только национальности не было! Шерстобитов — русский, Хайрединов Ахмет — татарин, Габит — казак, Панькин — мордвин, Кулагин — белорус, украинец по прозвищу Эрик, Амшилов Вася — осетин, Коля Татаринков — якут, Украинский Романов и Александров — русские. Мы с матерью работали для них как разведчицы.

2 октября я пришла из разведки тяжелые вести: немцы прорвали нашу оборону на Ярцевском, Бельском направлениях, в районе реки Мёжи они двинулись на Москву.

В этот вечер все одиннадцать человек и я с матерью принесли присягу на верность партизанскому отряду, названному «Одиннадцать». Командиром его был избран Шерстобитов Михаил Федотович. И уже 3 октября он с пятью бойцами пошел на операцию, нам же приказал рыть землянку: шалаши укрывали нас от дождей, но не спасали от холода. Первый день отряда прошел под знаком удачи. — Шерстобитов на большаке Велиж — Красный Лут разбил три автомашины и уничтожил больше десятка немцев. Мы к его возвращению успели вырыть глубокую и просторную квадратную яму для землянки.

Своим комсомольцам я, разумеется, о партизанском отряде пока не сообщала. В деревне стало тихо. Фронт ушел далеко, и немцы, боясь партизан, не показывались у нас. Партизаны среди бела дня разъезжали по деревням, проводили беседы, собрания. Отряд «Одиннадцать» связался с отрядом районного актива Шульца, на Смоленщине создавалась мощное партизанское движение. И сеть моей агентурной разведки увеличивалась изо дня в день. Уже не только в нашем, но и в Велижском и Ильинском районах были про-

веренные разведчицы. Однажды вечером приближалась Лена Курасова:

— В Красном Луге немцы устроили автомастерские! В школе! И производят маленький раскат танков! Десятки самых разных и мастеров! А потом — штаб! В нем два офицера! — Лена, докладывая, всегда торопилась, точно боялась, что забудет самое важное.

В тот же вечер я доложила об автомастерских Шерстобитову.

— А точки охраняны? — спросил он.

— Не знаю.

— Не знаете? Чудно! Что стоит донести о расположении врага, когда неизвестно, где у него глаза и уши? Хочу знать, сколько часовых у автомастерских и где они расставлены.

Это был хороший урок мне. Прежде чем обучать разведке Лену и других девушек, нужно научиться самой смотреть, видеть, соображать и запоминать. Я отправилась в Красный Лут и явилась оттуда к Шерстобитову, казалась мне, во всеоружии. Но он так подробно выспрашивал меня, где какая тропинка, кустик, как стоят дома, куда выходят двери, что я не выдержала расспросов и вскипела:

— Не знаю! Можете сами пойти и посмотреть!

— Зачем же? Ведь вы ходили, смотрели — я вам доверяю, — спокойно ответил он. И тихо, вежливо, медленно продолжал расспросы. — Может быть, вам нетрудно вспомнить, кто несет караульную службу у дверей офицерской квартиры?

Я была обескуражена. Он видел меня насквозь и учил быть достойной званием командира, офицера, которое и пришлось мне в дальнейшем носить.

Шерстобитов, ладно сдержанный и прочно сидящий, подвигной, шагал из угла в угол. Вдруг он круто повернулся:

— Сегодня делаем клетку на мастерские. Вы поедете? — Глаза присматривают меня: это что же, думает, струну? Я только кивнула головой. В это время в землянку вошла мать, мрачная, сердитая. Прямо с порога накинулась на Шерстобитова:

— Есть, наконец, для меня работа, сыночек? Или отставка старушке?

Он обнял ее одной рукой, второй похлопал по узлу с выстиранным бельем:

— Вашей работы, матушка, насадо хватит. И чистые мы благодаря вам, и хлеб вы печете.

— Это, милый мой, баловство, а не работа. Ты мне дай настоящее дело.

Шерстобитову мы еще не рассказали о нашем семейном горе, о гибели Петра Пестича, Пети — свежи еще были раны, кровоточили. Я сказала, глядя Шерстобитову в глаза:

— Маме нужно быть в серьезном деле. Нужно. Очень прошу вас поручить ей разыскать Ильинский отряд и наладить связь.

— Если вы просите... — сказал он. — Независимо от просьбы, нам связь с ильинцами необходима: у них есть фракия.

Получив задание, мать ушла. Лес стоял сумрачный. Мокрые толстые ветви чернели на фоне бесцветного неба. Было совсем темно, когда отряд отправился на операцию. Я шла впереди, партизаны тянулись за мной цепочкой по узкой извилистой тропинке. Продвигались медленно. Наконец, вышли в поле. Я показала командиру, где мастерская, где живут немцы, где точки охраны.

Шерстобитов долго взглядывался в темноту, молчал (никто из нас не шелохнулся), потом он приказал:

— Хайрединов, ты с Эриком снимаешь часового у мастерских. Амитилову с Кулагиным снять часовых у штаба! Действовать начинаем по свиному крику. Раненых не бросать. Сбор тоже по свиному крику. Габит, Романов и Татьяна идут со мной сначала к общежитию снимать часовых, потом в гараж.

Не успела я оглянуться, как все уже разошлось по приказу. Я шла за Шерстобитовым. У двора, вижу, стоит кто-то.

— Часовой, товарищ командир!

— Нет, — шевеля шагая, ответил Шерстобитов, — тряпка на изгороди. — Потом он взмахнул рукой — стоп! Мы остановились, он же, согнувшись так, что касался земли руками, шел дальше. И я поползла за ним, напрягая слух и зрение. Но вот — звон стекла, сильный взрыв, Габит падает на землю, расплывается, ползет. Я — за ним. Темно и холодно, и жарко. Вдруг наткнулся на что-то мягкое: убитый человек. Мне кажется — раздается второй взрыв. «Шерстобитов, Михаил!» — зову я. Человек молчит. Ощупывало его оцепенело. Немец! Дом, где жили шоферы и слесари, вспыхнул со всех сторон, огонь слепил глаза. И тотчас загворил пулемет. Еще два взрыва — пулемет замолк. Из окон горящих домов стали выползать немцы. Габит и я пристреливали их. Сквозь стрельбу, взрывы, стоны до меня донесся голос Романова: Татьяна, сюда! Я побежала на зов, но, едва подскочила к амбару, стоящему недалеко от горящего дома, над ухом моим провистела пуля и тут же за моей спиной раздался ответный выстрел. Уже потом я поняла: в меня, освещенную огнем пожара, выстрелил фриц. Но промахнулся и сам был убит ответным выстрелом Шерстобитова.

— Гараж! — крикнула вслед за этим командир. Снова треск, шипение — гараж загорелся. Мы побежали из полосы света. Шерстобитов налетел на немца, в обнимку с ним покотился по земле. Немец подымал командира, вытаскивал из-за пояса клинжал, но Шерстобитов вырвал его. Что было дальше — я не видела, потому

что рядом раздался выстрел, я упала, ощущая ожог от ухом. Это дало долю секунды. Я осталась одна. Очень неприятное чувство — одиночество в бою! Я побежала в темноту. Наугад, туда, откуда мы пришли. За канавой споткнулась о трупы немцев. Рядом с ними — ручной пулемет. Я подняла его, божать с ним было не легко. И в каком направлении бежать? И тут я услышала спасительный свиный крик.

Все были в сборе.

— Кто взял пулемет? — спросил Шерстобитов.

Он подошел ко мне, пожал руку:

— Молодец, Татьяна! Вынесу вам благодарность.

В лесной чаще командир приказал сделать привал. Я сняла с головы платок. Кровь текла у меня по шее, а самой было жарко.

— Стоп-стоп! — сказал Шерстобитов, — эту рану перевяжу я. Я опытный!

При ярком свете костра командир осмотрел мою рану. Товарищи окружили его, как студенты профессора-хирурга. Странно было видеть на его энергичном и суровом лице тревогу и некоторую растерянность.

— Пустьяковая царапина, Таня — сказал он, облегченно вздохнув, — только не засорите ее.

Мы затоптали костер и подвели итоги сегодняшнему чалету. Уничтожены: весь личный состав мастерских, охрана, офицерский и инженерно-технический состав, два танка, девять автомашин.

— Лихо! — засмеялся Шерстобитов, — выношу благодарность отряду, в награду разрешаю спать двадцать четыре часа подряд!

Спать! Только сейчас я почувствовала, до какой степени утомлена. Но до нашей землянки оставались ещё километры и километры пути. Мы доплезлись дальше. Светало. По телу шел озноб, зноба сводила челюсти, болели ноги. А почва топкая. Тонно пахло болотом, перегнившими листьями. Наконец, лес посветлел, начали попадаться клеи, ясени, береза: болота остались позади.

Уже всходило солнце. Оно расцветило бурую листву, а под нею кое-где зеленела тронутая морозом молодая трава. Оживут ее побеги весной, или погибнут под коркою льда?

ХОЖДЕНИЕ ПО УЖАСАМ

Моя старушка-мать, бродя по новым местам, нашла партизанский Ильинский отряд под командованием Павлова. У ильинцев была фракия, они имели постоянную связь с Большой землей. Мать и в снег, и в дождь, держа связь с ильинцами, проходила десятки километров по лесной глуши. Известия, которые она приносила, мы

передавали в отряд Шульца, оттуда они шли в отряд «Баянист», а баянистовцы распроставляли их по мелким отрядам, их не считая на Смоленщине! Шерстобитовцы несли эти известия в колхозную тучу: проводили беседы и в избах, и под чистым небом. Немцы расклеили по городу Демидову и по деревням объявление:

«...Шульц распят на стене в селе Слободе. Кто выдаст Шерстобитова, получит 20 000 марок, табаку и водки...»

В ответ на это воззвание Павка и Дмитрий приклеили рядом с немецким объявлением свое:

«...Все указанные партизаны действуют и продолжают бить немцев... Что касается табаку и водки, которые немцы обещают за Шерстобитова, то русские не продают, пьют же только за упокой фашизма».

Я втянулась в боевую жизнь. Однажды мать принесла мне от Шульца задание: отправиться в Витебск, разыскать отряд Бати и связаться с ним.

Дорога дальняя. Снег уже лежал в лесах. Гуляли метели. Шерстобитов проводил меня до опушки.

— Будь осторожна, Татьяна. Помни: ты обязана принести Шульцу ответ. — Я почувствовала. — ему божно провозжать меня в такую тяжелую операцию. Мне же стало радостно.

— Живы будем, Михаил, встретимся! — я пожала ему руку и пошла.

Это было хождение по человеческим мукам: в разбитом Велиже я видела, как закапывали в землю живьем еврейских детей; в Витебске полумертвые от голода русские воины гибли тысячами за колючей проволокой, под открытым небом. Это называлось концлагерем военнопленных. И видела я «кладбище» этих мучеников: на берегу Западной Двины горы скелетов, обтянутых кожей, и черные тучи ворон над ними.

Думалось — глаза мои откажутся смотреть на свет божий и ноги не донесут меня до лагеря Бати. Но в этот день немецкое радио кричало на улицах Витебска о том, что «непобедимая германская армия, выравнивая фронт, отступила от Москвы». Наши погналы немцев!

Я разыскала Бато, выполнила задание и двинулась к себе, в лагерь.

Я была раздавлена ужасами, какие видела, но в душе пела радости: немцы потерпели поражение под Москвой! Я еле волочила ноги, а итти хотелось скорее — передать пакет от Бати и принести отряду весть о поражении врага. Шерстобитов встретил меня недоброй новостью: немцы взяли мать.

Два лучших агентурщика — Нестеренков Семен Константинович и Саша Савельев тоже были взяты. Павел и Дмитрий уже не жили дома — прятались. Я сбила в кровь ноги, сделав за три дня сто двадцать километров. На совещании отряда

решено было отправить меня за Дмитрием и Павлом завтра, когда я отойду немного.

В этот вечер партизаны отдыхали. Я легла на нарах. При скупом свете лампышки Вася Ампилогов читал вслух «Бориса Годунова».

«...Минувшее проходит предо мною. Давно ль оно неслось, событий полно, Волнуясь, как море-океан...»

Кто заменит мне мать? Пока мы были с нею вместе, казалось мне, и Петрович, и Петушок живы: глянцем друг дружке в глаза, слова не скажем, а прошлое оживает в памяти...

«Не много лиц мне память сохранила, Не много слов доходит до меня.

А прочее погубило безвозвратно»

читает Вася.

Было счастье, была жизнь, была большая, дружная семья — никого не осталось!

— Татьяна! — окликнула меня Шерстобитов. В его голосе прозвучало столько ласки, участия, что сердце во мне зашлось.

— Мне было пять лет, — тихо начал Михаил, — когда колючковцы растерзали моего отца. Мать умерла от тифа. Я остался один. Стал злой, ершистый. Ночи под забором... голод... Детские дома, приемники. Кто выходил, кто перевоспитал мальчишку-волочка? Родина! Скажи, Татьяна, кто в твоём краю не назовет меня сыном или братом? Разве твоя мать не стала мне матерью? Как и ты, я горюю о ней. Твой отец — мой отец. И ты с сегодняшнего дня сестра мне.

Он положил на мой лоб свою широкую ладонь.

— Мне трудно называть тебя только сестрой. Но так нужно. Кончится война, разобьем врага, тогда...

С этого дня всё стало по-иному: медленный, пушистый падал снег — радовал, потому что на этой земле, под этим зимним небом жил Михаил. Выли ветры, ударили морозы, от которых дух захватывало, деревенели руки и ноги — морозы были не страшны, потому что рядом шел Михаил. Немцы сожгли мой дом, умертвили Петровича, Петушка, мать, уничтожили школу, колхоз. Но придет день, когда радио объявит всему миру о победе русских над фашизмом. И эту весть мы услышим вместе с Михаилом.

Может быть, я и была для него, одинокого, сестрой. Но он мне стал больше, чем брат, чем отец, чем мать. Больше, чем жизнь.

ДВЕ МАТЕРИ

На другой день после того, как стало известно, что немцы взяли мать, я отправилась в Стабну. Выпал пушистый снег. Я шла медленно, волока растертые в кровь ноги. У деревни я встретила Риму.

— Вчера опять были каратели, — сказала она, не поздоровавшись, — взяли еще

трех, отвезли в Велиж. Хорошо, что ты пришла — Антошкин не даст широкому Павлу, требует писаться в полицаи.

Мы собрались в бане над оврагом. Заседали в последний раз. Банька темная (окоп в ней не было), натопили ее дровчата на совесть. Подпольная комсомольская организация стаблянского сельсовета вынесла решение отправить лучших ребят в партизанский отряд. Руководство организацией мы передавали Риме. Она должна была скоро рожать, Антошкину и в голову не могло прийти, что женщина на сносях пишет листовки и расклеивает их по стенам, в том числе и на стене дома самого Антошкина. Помогать Риме будет Лена Курасова. Дмитрий передал девушкам ножницы резать связь. Хлопцы пожали нам руки и ушли.

Задолго до рассвета я зашла в избу Дмитрия. Софья Пахомовна (она после гибели старика стала совсем седая) молча поклонилась мне. Молча, без слез, уложила в мешок теплые носки, смену белья, полотенце и пошла проводить сына. Павел нас дождал за деревней. На плечах он нес ручной пулемет.

Софья Пахомовна взяла сына за плечи, посмотрела в его глаза, нагнулась и поцеловала. Потом легонько толкнула сына: — Иди! Помни, отец трусом не был.

Дмитрий на короткую секунду прильнул к плечу матери, и резко взмахнув головой, повернулся и пошел, не оборачиваясь.

В отряде у нас Павел и Дмитрий стали подрывниками. Они были неразлучны.

Вскоре в лагерь прибежала Рима. По ее лицу я поняла, что не радостные вести она принесла. 23 декабря в деревню нагрянули немцы. Пошли по двору грабить. К Софье Пахомовне зашел длинный, большоголовый. Шасть к кровати. А у изголовья Софья Пахомовна повесила дмитриеву гармонь: скрипнет гармонь, когда старушка ложится — на душе легче, вроде бы сын лады перебирает. Бандит схватил гармонь и повесил к себе на плечо. Софья Пахомовна метнулась к нему, сорвала ремень с плеча. Немец вынул глаза, двинулся на старуху. Она пятится, а гармонь прижимает к груди. Босой ногой чувствует — ступила на что-то: топор! Выронила гармонь. Упала гармонь и скрипнула, будто взрыднула. Немец нагнулся, чтобы поднять. Старуха схватила топор и раскроила бандиту голову. Потом оделась и пошла к Риме, сказала:

— Рима, мне теперь не жить. Передай Дмитрию гармонь, скажи: мать завещала честно жить и честно помереть, коли придется.

В тот же день Софье Пахомовне накинули на шею петлю и повели по деревне. Били, толкали прикладами в спину. Она только хрипела, когда, дергая веревку,

затягивали на ее шею петлю. Жена Антошкина, одна из всей деревни, бежала за страдальцей и, плача, причитала:

— Дура баба, дура! Нешто веревкой обух перешибешь? Наше дело бабское, — в печку глядеть, не дальше.

И Софью Пахомовну повесили между нашими старыми колхозными липами. Рима рассказывала: на седую голову падал снег, и она стала совсем белой. Подол обмерзшей юбки хлопал по голым ногам.

Дмитрий и Павел заминировали в эту ночь большак между деревнями Полоской и Гатино Ильинского района. Лежа в сугробах, ждали немецкие автомашины. Во второй половине декабря немцы непрерывно двигались с востока на запад. Партизаны били их на всех дорогах. За последние четыре дня только наш небольшой отряд разбил восемь автомашин с грузом и двадцать подвод, уничтожил с полсотни немцев. Настроение бодрое: уже слышались бои, фронт приближался. Немцы отступали. Радио сообщало об освобождении Калинина, Асташкова.

МИХАИЛ

Теперь мы стали богатыми! Миновали дни, когда колхозники отрывали от своих детей кусок хлеба для нас. Мы разбили несколько обозов с продовольствием. А боеприпасов давно было вдоволь, Шерстобитов и Украинский замыслили налет на немецкий гарнизон в деревне Абрамовщина. Часами они просиживали над двухверсткой, вычерченной Михаилом. Пока они обсуждали налет, мы разговаривали шопотком. Такие часы были нестерпимы для Васи Ампилогова, человека, которого давно никто из нас не называл ни по фамилии, ни по имени: за ним укрепились кличка — Веселый. Но я думала о нем иначе — не веселым он был, а просто всё время находился в повышенно-нервном состоянии. На одной из операций он и Шерстобитов оторвались от отряда. Идут. Вдруг навстречу — обоз, двадцать подвод с боеприпасами. Двух немцев на первой подводе застрелил Шерстобитов. На вторую налетел Вася. Лошадь поднялась на дыбы, немец, правящий ею, успел выстрелить по Васе, но промахнулся. Вася прыгнул в сани, схватил немца за горло и, потеряв самообладание, стал его душить. Задние подводы налезали на передние, лошади вязли в снегу, ломали оглобли. Немцы в панике разбежались. Обоз был отбит, Шерстобитов и Вася переселись в немецкую одежду и среди бела дня провели подводу в лагерь через две деревни, занятые немцами.

Смотрим — с Михаилом стало твориться нечто непонятное: он начал заикаться, картавить. Походка, и та изменилась: будто аршин проглотил. Немецкий офицер,

да и только! И точно — к вечеру он напялил на себя брюки, мундир, даже фуражку гитлеровца-офицера. Начистил мелом ногти, расчесал волосы на пробор.

— Хорошо? — спросил у Васи.

— Откровенно ответить?

— Откровенно.

— Нехорошо!

Шерстобитов рассмеялся так искренне и заразительно, как он один умел смеяться.

— Ну, раз ты так, то в наказание приказываю и тебе немедленно переодеться.

Мы все поняли, что у командира не шутка на уме. Когда Веселый напялил на себя немецкий мундир, Шерстобитов осматривал его с ног до головы, приказал подать бинт, вату и завязал Васе горло:

— Помни: у тебя горло болит, рта не смей открывать! В карманы положи парочку браунингов, а главное — острый кинжал.

На лошадях, отбитых накануне у врага, они отправились в деревню, на которую Шерстобитов готовил налет: ему нужно было разведать численность гарнизона.

Часовой у штаба, увидя офицеров, вытянулся. Начальник штаба сидел за бумагами, диктовал манифесту. Оба встали при появлении Шерстобитова. Вася остался у двери. Начштаба и Михаил обменялись приветствиями. Михаил владел немецким языком, но из предосторожности, чтобы не выдать себя произношением, заикался и шепелявил. Начштаба терпеливо выслушивал заикку. Наконец, утомившись беседой, предложил доложить командиру.

— Нет, — сказал Шерстобитов, — Я с моим адъютантом заночую у вас и уже завтра повываюсь с господином обером.

Начштаба не мог предложить гостю приличный ночлег — гарнизон большой, все хаты заняты... Он вызвал штабного адъютанта. Обсуждая с ним вопрос о свободной квартире, разложил на столе план деревни, водил пальцем: эта хата занята командиром, здесь команда пулеметчиков и т. д. и т. п.

— Очень печально, — заикался Шерстобитов и, как бы подтягивая голенище, запустил руку в валенок. Вася тоже полез в карман брюк, где лежал кинжал. Левою рукой, не оборачиваясь, зацепил крючок и тихонько накинуд его на петлю. Машинист — близорукий, в очках: с толстыми стеклами — щелкал на машинке. Начштаба решил угостить гостя сигаретой. Шерстобитов взял левою рукой, сигарету: в правой был кинжал. Немец нажал большим пальцем на колесико зажигалки, поднес огонек гостю — Вася придвинулся к адъютанту. Шерстобитов ударил начштаба кинжалом в висок — Вася сзади напал на адъютанта. Оба штабиста даже не вскрикнули. Близорукого машиниста

тоже прикончили. Шерстобитов вытер кинжалом о мундир начштаба, собрал со стола бумагу и папки, перевязал их шпагатом, сунул Васе, и они медленно прошли мимо часового. Лошади стояли во дворе. Шерстобитов уже совсем на русский манер встал в санях на колени, подобрал вожжи и — эх, милые! — помчал по дороге. Только снежная пыль засеребрилась следом.

Той же ночью отряд совершил налет на эту деревню.

Как я уже говорила, Вася Ампилогов всегда был почему-то болезненно возбужден. Но иногда он впадал в задумчивость, грустил. Я дружила с ним больше, чем с остальными товарищами. Однажды вечером с ним случился такой припадок грусти. Я лежала на нарах, дремала.

— Грустишь, Вася, — услышала я приглушенный голос Михаила.

— Грущу, — сознался Веселый.

— Не грустишь, а нагоняешь на себя грусть. Никакой женщины ты, друг, настоящему не любишь. В какую деревню ни приедем, всюду норовишь примоститься к девушке. В Горках: попросил напиток, кружку ко рту поднес, а сам на девушку глаза пялишь. Любовь, друг Вася, как червонец, пока он у тебя целной монетой в кармане — ты богат. А разменял его на копейки — стал нищим.

Веселый рассмеялся:

— Жаль, Татьяна уснула, не слышала назидательной проповеди. Хорошо тебе теории разводить, когда ты никого, никогда не любил и не любишь. А я, может быть, в каждой девушке свою единственную вижу.

— Почему ты знаешь, Василий, что я никого не люблю? — тихо спросил Михаил.

Мне был неприятен этот разговор. Я встала, хотела уйти в другой угол землянки.

— Мы тебя разбудили, Таня? — спросил Михаил огорченно.

— Я не спала... Я слышала...

— И что же, Таня, разве я не прав? Она — единственная, и я для нее — один. Она и мертвого будет меня любить.

— Да, — ответила я.

Эти записки прочтут тысячи моих товарищей. Прочтут и скажут: бедная Таня, сколько тяжкого горя выпало на ее долю! Нет. Неверно, товарищи. В тот вечер родилось мое счастье. Оно было так велико, что память о нем и сегодня согревает меня. Михаил сказал: «Любовь, как червонец», — я говорю: «Любовь, как солнце. Носите ее непронутый в душе — она осветит всю жизнь».

ГИБЕЛЬ ОТРЯДА

Не зря немцы распускали слухи, что Шульц убит, повешен, распят на стене. Он действовал смело, случалось, проводил

собрания на одном конце деревни, когда немцы были на другом. Его вылазки и налеты всегда кончались разгромом врага. Председатель нашего РИК'а товарищ Богачев ведал у него разведкой и сам был отличным разведчиком.

Как до войны Шульц был хозяином района, так сейчас стал руководителем и вдохновителем борьбы советских людей с захватчиками. Все партизанские отряды согласовывали свои действия с ним. Он взял под свой контроль все дела отряда «Одиннадцать» и постоянно ставил в пример другим отрядам кипучую энергию, дерзость и стратегическую талантливость Михаила Шерстобитова.

Был какун нового, 1942 года. Встречали мы его в отряде празднично: Большая земля была уже близко. Мы вышли в полночь из землянки — до нас донеслась артиллерийская канонада.

— Красная Армия поздравляет нас с Новым годом! — сказал Вася Ампилогов.

Мне казалось — вот он наступает, самый счастливый год моей жизни...

Немцы неудержимо откатывались за запад. Партизаны северных районов Смоленской области усиливали свои удары.

3 января 1942 года я вышла в отряд Павлова, чтобы получить последние известия с Большой земли. Уходя, я знала, что на 5 января Шерстобитов готовит налет на Гончаровскую волость.

— Возьми меня с собой, — попросила я. Он усмехнулся:

— Давно в бою не была, рука зудит? Да эта операция неинтересная. Поедут только шесть человек, я седьмой.

Он глянул на меня, сказал тихо:

— Скорей возвращайся, скушать буду. Не по тебе, по вестям с Большой земли. — Мы рассмеялись оба, и я ушла на лыжах по лесной тропе. Если бы я знала, что больше никогда не увижу его...

Возвращаясь из отряда Павлова, я попала в руки полицеев. Это случилось у реки Ельш, в районе Королевщины. Меня поволокли в немецкий штаб в деревню Крутой Ручей. Я притворилась глухонемой. Немцы привели своего врача, и тот поставил диагноз: арестованная — глухонемая и вдобавок идиотка. Меня выпустили. Я пошла по деревне, приплясывая и припевая. А тело ныло от побоев. Миновав деревню, я побежала в лес, где вчера оставила лыжи.

Темнело. Я вышла на магистраль Старая Русса — Смоленск. Поднялась жесткая метель. Меня всю засыпало снегом.

В лесу, между Новым Дубом и Юдином, я встретила Риму.

— Ты куда? — схватила она меня испуганно за рукав. — В Юдино засада! Немцев тьма-тьмуца, Не выходят из домов и людей не выпускают из деревни.

Засада в Юдине! А Шерстобитов, ничего не зная о ней, собрался в Юдино промывать

полицию! Семеро партизан нападут на мощный отряд карателей... Дрожь пробежала у меня по телу. Напрямик через лес двинулась я к лагерю. Надо было отмахать километров двадцать пять. Я бежала так быстро, что ветер свистел в ухах, но силы во мне убывали заметно. Метель выла, бросала меня в сугробы. Нет, не успею предупредить Михаила о засаде! А что, если пойти навстречу отряду, на Нызы, путём, по которому Шерстобитов должен отправиться на операцию? Не раздумывая, я повернула прямо на Юдинское поле, к бывшим хуторам.

Позже, когда уже не стало Михаила, когда ничего нельзя было вернуть или изменить, я узнала, что в этот же вечер, в эти же часы и с этой же целью спешил к нашему лагерю еще один человек — связной Михаила Нестеровича Шульца, товарищ Еремеев. Он страдал удушьем. Задышавшись, на лыжах он ворвался в землянку.

— Шерстобитов дома?

— Все ушли на операцию, — ответил Кулагин, — я не пошел потому, что ранен в ногу.

— Кто дома, — кричал Еремеев, — медленно одеваться! Догнать, вернуть Шерстобитова!

Дома был ещё Габит: лежал десятые сутки без сознания, с воспалением легких. И был дома Коля Татаринов — два часа назад вернулся с двухсуточной разведки. Молча, очумелый от недосыпания, он начал одеваться. Да это было уже ни к чему...

Много дней спустя Миша Хайрединев рассказал мне, что произошло в ту ночь. Шерстобитов решил дойти до Низов, где у нас были свои люди, взять у них пару лошадей и поехать в Юдино. Там разгромить волостное управление, после чего ехать в рабочий поселок, где жил начальник полиции Слесарев Григорий.

С Низов выехали, когда уже совсем смерклось. Шерстобитов, как всегда, сам правил лошадей, Хайрединев и Вася Ампилогов сидели в санях. На второй подводе ехали Украинский, Эрик, Романов и Александров. Под деревней Маяжурами Украинский догнал Шерстобитова, попросил остановить лошадей.

— Я настаиваю, Михаил, — сказал он, подходя к саням Шерстобитова, — чтобы сначала убрать полицеев, особенно Слесарева, а потом уже бить по волости. Как комиссар отряда категорически настаиваю на этом варианте.

— Но он нецелесообразен! Наделаем много шума, полиция разбежится, а предатель Емельянов успеет спрятаться.

— Я настаиваю. Ты всегда черезчур рисуешь собой.

— Хорошо, пусть будет по-твоему. — Шерстобитов пемрачнел, он не любил менять свои решения.

Поехали. В Гончарове, когда поднимались под гору, у Шерстобитова распряглась лошадь. Украинский приказал Эрику обогнать командира и ехать шажком. Вася Ампилогов, как всегда взвинченный, соскочил со своей подводой, перебежал к Украинскому, сел рядом с Эриком и гикнул так, что лошадь рванулась и понесла. За метелью и след занесло, пока Шерстобитов с Хайрединовым перепрыгали свою лошадь.

Дом Емельянова стоял на краю деревни. Когда Шерстобитов проезжал мимо, раскрылась дверь на секунду, мелькнул свет, точно кто чиркнул спичкой. Значит, в доме не спят, при первом же выстреле Емельянов наденет тулуп и скроется.

— Стоп! — сказал Михаил, — пусть комиссар не дурит: бить врага, так без промаха!

Он соскочил с саней, приказал:

— Миша, к окну! С гранатами! Я к двери. Сигнал выстрелом.

Хайрединов выкатился из саней. Заходя от клева, полез по снегу к избе. Михаил спокойным шагом пошел к двери... В этот самый момент я вышла из леса против Юдино. Мне нужно было пересечь речку, что лежала у самого дома Емельянова. Здесь сквозь метель донесся до меня одиночный выстрел. Я остановилась. Тотчас прострелката длинная пулеметная очередь. Лыжи скользнули вниз, к речке, я выронила палку. Сердце мое зашло. Куда же бежать на лыжах без палок? Я полезла на крутой берег, тонула в снегу, ложилась, чтобы унять сердцебиение. Бой в это время разгорелся по всей деревне. Наконец, мне удалось сорвать с ног лыжи, я полезла на берег, увязая в снегу по грудь.

Позже Емельянов охотно рассказывал встречному и поперечному о том, как ему удалось погубить Шерстобитова. Немцы-каратели с тремя пулеметами прятались в доме Емельянова. На ночь выставляли часового в маскхалате. Завидя на дороге подводу, часовой постучал в дверь условным стуком. Немцы сообразили, кто едет на подводе, струсили, заматались по дому. Первая подвода беспрепятственно пронеслась по большаку мимо окон Емельянова и направилась в рабочий поселок. Емельянов понял, что с такими защитниками ему не сносить головы. Он начал кричать, требовать, чтобы немцы встретили огнем остальных партизан. Когда подъехал Шерстобитов с Хайрединовым, немцы были уже в боевой готовности. Михаила, видимо, заметил на снегу свежие следы и дал сигнал — выстрелил из пистолета. Хайрединов не успел добежать до окна.

— Миша! Хайрединов! Засада! Бросай гранаты! — кричал Шерстобитов. Я тоже услышала этот крик, вскарабкалась на берег. Через открытую дверь емельяновского дома строчили из пулеметов. Ветер

рвал и относил звук, тахтенье пулеметов доносилось приглушенно.

Я рванулась на крик Михаила, побежала. Ветер сбил меня с ног, я упала в снег и уже не могла встать, не имела сил. Сказались ли побои немцев и полицейев, или нечеловеческий бег на лыжах, или ужас сковал меня — не знаю. Стреляли по всей деревне, беспорядочно. Лошадь, стоявшая в стороне, шаркнулась, встала на дыбы и, жалобно заржав, упала на передние ноги.

И снова раздался голос Шерстобитова:

— Нет, живьем меня не возьмете!

Я оперлась ладонями о землю, села. На упавшего Шерстобитова бежали немцы. «Ранен, — подумала я, — возьмут, будут мучить». Но в этот же миг вспыхнул свет, раздался взрыв — Михаил бросил гранату. Силы вернулись ко мне, я поползла вперед. Думала одно: «вынесу, вынесу его, раненого...» От шерстобитовской гранаты уцелели только двое немцев. «Вынесу Михаила!» Застучали выстрелы. Пригибаясь, я ползла. Но вот пуля ударила меня в левый висок. Снег стал уходить из-под меня, я потеряла сознание.

Что было дальше, не знаю. Возник образ отца. Казалось мне, что Петрович неотступно стоит надо мной. Феня Бойкова чудилась в бреду, Петушок.

Я мучилась долго и тяжело. Наконец, вернулось сознание. Я очнулась с мыслью, что нужно ползти, спасти Михаила. С трудом я подняла веки.

Вокруг меня зашептали:

— Пришла.. пришла в себя!.

Несколько дней от меня скрывали всё, что произошло. Когда я немного окрепла и могла уже сама держать ложку, пришел Михаил Хайрединов и рассказал мне о той ночи.

Отряд наш разгромлен, Михаил Шерстобитов убит, Хайрединов, оставшись один, побежал в сторону реки, откуда ползла я. Стреляли по нем, а ранили меня. Пуля попала мне в висок, прошла через челюсть в горло. Хайрединов случайно наткнулся на меня, отнес к реке и только там увидел, кого он спас. Беспамятную, он отнес меня к своей знакомой колхознице. Чужая женщина выходила меня, вернула мне жизнь.

«Жизнь... зачем она мне? — думала я. — Только затем, чтобы отомстить за товарищей!» Погибли все: и Украинский и четыре партизана, бывшие с ним. Вася Ампилогов стрелял до последнего патрона, пока немцы не прикололи его кинжалом.

Убитых партизан подобрали и положили вблизи рабочего поселка, у березы. Утром, когда метель утихла, каратели приказали полицейам вырыть могилу и закопать погибших. Труп командира, Михаила Шерстобитова, оставили во дворе Емельянова — на показ жителям Гонча-

рова. Но никто не пришел радоваться гибели партизана.

«Нет, если я полюблю, то такую, которая и мертвого меня одного будет любить...»

Тело Михаила, в конце концов, бросили в снег у березы, рядом с могилой партизана. Зимние вьюги замели его. Много дней спустя Рима и Лена пришли ночью, вырыли могилу рядом с братской могилой Украинского, Васи Ампилогова и трех других партизан и похоронили тело их командира.

Через два месяца после ранения, в марте, я окрепла настолько, что уже могла ходить. Но идти сразу на могилу побоялась. Пошла в родную деревню.

Школу, где я училась сама, а потом учила, немцы превратили в гараж, клуб — в мастерскую по ремонту автомашин, мой родной дом — в штаб, в место пыток.

В условленном месте я встретила с Мишей Хайрединовым. Остатки нашего отряда перешли к Михаилу Нестеровичу Шульцу. Но Хайрединов был всегда со мною, старался отвлечь меня от тяжелых мыслей. Мы пошли на могилы друзей. И Рима была с нами. Таял снег. Солнце припревало. Почка на березе уже набухла и побурела. И я забыла все: что идет война, что близки дни победы. Видела только два холма: большой, общий, и другой, узкий. Желтая земля обвалилась, на ней блестя на солнце лужицы. Я прижалась грудью к земле.

Ты звал меня сестрой, Михаил. Ты любил меня. Пока я жива, жив и ты. Всегда, везде ты будешь со мною. Не было, нет и не будет для меня человека дороже, чем ты. Всё, что дано мне совершить, всё будет сделано во имя твое.

(Окончание следует.)

ЛИРИКА

ВЕРНИКА ТУШНОВА

★

Зову, упрекаю, надеюсь и спорю,
Молю, обвиняю, прощаю, клянусь...
И горе мое — настоящее горе,
Во всю ширину и во всю глубину.
Я в радость не верю. — Так памятью
снежной
Не верят в сирень, в стрекотанье, в
дожди...
А все-таки будет..

Придет..
Неизбежно.
Не хочешь — не верь.
Не умеешь — не жди.
А все-таки будет.
И с тою же страстью
Я счастье свое изумленно вдохну.
И будет оно — настоящее счастье —
Во всю ширину — и во всю глубину.

★

Далеких предков темное наследье —
Весенняя бродячая тоска..
Томит закат тысячелетней медью.
Мне душен дом. И улица — узка.

Мгновенье — день. А день летит
мгновенье.
И нет покоя от несвязных дум.
Мне снится ветра смутное кипенье
И лунных рек тяжеловесный шум.

Стоцветен мир, раздробленный, как в
призме:
Во сне я рву багряную траву,
И город мой — совсем не тот, что в
жизни,
И ты совсем другой, чем наяву.
Ты, наяву, в чужом, беззвучном доме;
Спокойно спишь. В окне стоит луна.
И знаю я — лежит в твоих ладонях
Моя потерянная тишина.

★

Я иду своей дорогой,
Не зови меня, не тронь...
Мне осинник тонконогий
Сыплет под ноги огонь.
Голос птичий звякнет робко,
Прощуршит в кусты змея...
Вьется тропка, вьется тропка
Немудреная. Моя.

То опушкой, то долиной,
То полого, то крута..
...Ты пришел к своей любимой,
А любимая — не та.
Взгляд у ней широк и ярок,
Как у птицы молодой...
Подарили ей подарок —
Землю с небом и водой!

МЕСЯЦ В КРЫМУ

БОРИС ФИЛИППОВ

★

НА ПОБЕРЕЖЬЕ

Здесь все есть, чтобы человек
От изумления заахал.
Здесь на горах хранится снег,
Как на зеленых полках сахар.

В резной чинаровой тени
О нас заботится прохлада,
И только руку протяни
За свежей кистью винограда...

А под Гурзуфом, где гора
Медведицей лежит на пляже,
Весь день июльская жара
Царит тропическим миражем.

И дремлет берег.
А на нем
Лежат, уткнувшись в зелень склонов,
Дома, убитые огнем
С проклятых кораблей тевтонов.

Но плещет море.
Здесь оно
Волной широкой смыло нечисть
И, как тысячулетье в вечность,
Опять в себя погружено.

★

ВОЛНА И КИПАРИСЫ

Я исходил весь Крымский берег,
Я слиток золота искал
Там, где чеканит груды денег
Волна, дробя обломки скал.

Волна их превращает в бисер —
Миллионы каменных монет.

Но не прощает кипарисам
Могильной строгости их черт.

Пирамидальные надгробья,
Нет южной страсти в их соку,
Они струят здесь исподлобья
Вечно-зеленую тоску.

★

ВСТРЕЧА

Размаху крымского величия
Я удивляться перестал,
Я загорел и стал коричневым,
Я путешественником стал.

Однажды в этом лучшем виде
Я встретил девушку в горах,

Песчинки золота увидел
И пламя свеч в ее глазах.

Я с этих пор на побережье
Других сокровищ не искал,
Лишь только море, как и прежде,
Просило милости у скал.

★

БОЛЕЗНЬ

Я на болезни не был падох,
Всегда из края в край влеком,
И ярость древних лихорадок
Меня касалась лишь мельком.

А вот когда по Крыму странствовала,
Пришла, покой мой истребя,

Смертельная боязнь пространства,
В котором не было б тебя.

И ты поверь мне без сомненья,
С тех пор, как я в таком бреду,
Позорного выздоровленья
Я не желаю и не жду.

СТРОКИ ЛЮБВИ

(Из нового цикла)

СТЕПАН ШИПАЧЕВ

★

Есть книга вечная любви.
Одни едва
В ней несколько страниц перелистаи,
Другие, всё забыв, ее читали,
Слезами полили слова.

Ее писали много тысяч лет.
В ней, может быть, и мы оставим след.

Влача любви счастливые вериги,
Познав блаженство, муку и тоску,
Я счастлив буду, если в этой книге
Прибавляю хоть одну строку.

★

Пусть в любви не долго счастлив буду,
Не хочу прожить на свете я
Ни на час, ни на минуту
Дольше, чем любовь твоя.

★

Мне с каждым годом всё ясней,
Какая в жизни у меня зарука,
Любовь и песня, вам в груди моей
Я знаю трудно было б друг без друга.

За все ошибки и грехи
Не доведись поэту в наказанье,
Как многим, пережить свои стихи,
В любви изведать разочарованье.

АНГЕЛЫ МИРА

Роман

АННА АНТОНОВСКАЯ И БОРИС ЧЕРНЫЙ

★

ГЛАВА I

Пфальц! Пфальц! Я спешу в Пфальц! — Багровый толстяк, размахивая цветным платком, рванулся к автомату.

— Я тоже спешу, но... это не основание для безумства, герр фермер! — огрызнулся человек в пробковом шлеме.

Лавируя между снующими тележками, он протиснулся к концу платформы. Здесь солдаты ругались с унтером:

— ...Тридцать вагонов в чортову мясорубку!

— ...Обещали украинский хлеб, а выдали голод!

— Замолчи, кривоногий! Ты еще не совсем негодяй! У тебя просто не выдержали нервы!

Кто-то угрожающе гаркнул, кто-то стукнул костылем. Топот кованых сапог, звонки, резкие выкрики наполняли вокзал.

— «Берлинер-берзен-цейтунг!» Экстренный вечерний выпуск!»

— «Берлинер-цейтунг-аммиттаг!»

На перрон ворвались мальчишки-газетчики с табличками на спинах.

Схватив газету, солдат угрюмо прислонился к решетке. Толкаясь и протискиваясь вперед, его жадно слушали.

«... Немцы! Границы рынка стали тесны для молодого германского организма. Отодвинем их к морю и за море! Германский народ, избранник божий! Уничтожь варваров, преграждающих путь к твоим идеалам. Война продолжается четвертый год. Но крикни всему миру: ты победишь, хотя бы тебе пришлось сражаться еще двадцать пять лет...».

— Хох! Хох! Еще двадцать пять! Пора кончать игру!

Солдат яростно кинул костылем в рекламу «Берлинер Киндель». Огромная фанерная сосиска, скрипнув, треснула.

Субъект в заплятанном пальто хрипло рассмеялся:

— Нужно иметь юмор. Вот меня объявили сумасшедшим. Если бы все притворилось, как я, сумасшедшими, войны бы не было.

— Хо-хо-хо! — загоготал носильщик.

— Берлинер Киндель! Ха! Пиво! О, да! Сегодня во сне я ел жареного зайца с компотом.

За блок-постом грохотали товарные вагоны, перемигивались ночные стрелки.

— Чорт поberi эту войну! Где? Где поезд? Я спешу в Пфальц! — метался толстяк. — У меня судебный процесс!

Человек в пробковом шлеме посмотрел вслед толстяку и прошел дальше, колючими глазами вглядываясь в солдат, слоняющихся по перрону. «Многие из этих бестий, наверно, за деньги пролили себе сроки отпускных документов. — негодоваз он, — тыловые крысы, фабрикуя фальшивые литеры, обжираются салом. Моральный упадок! Германские вокзалы превратились в свинарник. Какую птицу высмаривают в небе эти жандармы?

— ...Английская пятая армия разбита! — надрывался газетчик. — Войска кронпринца начали обстрел Парижа из дальноточных орудий! Париж охвачен паникой!..

Толпа рванулась, хватая чемоданы, ранцы. Три желтых пылающих глаза вынырнули из дрогнувшей мглы. Швейцарский экспресс полошел к перрону.

Манана Грузинская! прильнула к стеклу. Ее уже не волновала суета вокзалов. Всюду серая солдатская масса. А на стенах назойливо кричат одни и те же плакаты:

«Всякий должен знать: вступление Америки в войну равно нулю!»

«Сам рейхсканцлер вам говорит: молодость и красота — главное богатство! Отдайте ваше золото войне!»

«Еще один удар Гинденбурга, и с Англией будет покончено! Экономьте смазку! Победа требует жертв!»

— Жертв?! Боже, как это надосло! Глафира, где моя пудреница?

¹ Грузинские — фамилия светлейших князей, потомков грузинского царя Вахтанга Багратиони.

— Полно, княжна, не стоит портить нервы из-за Гинденбурга...

— ... Прорыв англо-французского фронта между Аррасом и Ла-Фером!..

Внезапно свистнул локомотив. Человек в пробковом шлеме вскопчил на подножку. Экспресс рванулся и вылетел из-под крыши вокзала.

Манана Грузинская облегченно вздохнула. Кажется, тяжелый чад войны остался позади.

Экспресс пролетел по виадуксу, осыпая искрами белесый туман. Оборвался пронзительный гудок. В тишине на серой каменной равнине выступили очертания темных сосен. Ударил в стекла летучий песок. Точно из-под колес вынырнул телеграфный столб и отскочил за насыпь.

Как тоскливо тянулся день! До поздних сумерек мелькали холодные станции, ровные однообразные поля, деревенские кирпичи.

Манана набросила на ноги плед, порывисто перевернула страницу «Иллюстрасьон». Из овальной рамки улыбались глаза. Сверкал старинный грузинский наряд и княжеская корона под белой вуалью. Медленно, с упоеанием она перечитывала: «Фрейлина двора русской императрицы — светлейшая княжна Манана Грузинская».

Она не устала любоваться своим портретом. О, это крупная ставка в крупной игре! Так утверждал мингрельский князь, посланный ей в Швейцарию самой судьбой... Боже, как она устала от ужаса последних лет. Точно не было счастливо-го прошлого. А ведь еще так недавно...

... Белые колонны Смольного... Сама императрица Александра Федоровна прикалывает к ее груди фрейлинский вензель. Первый бал во дворце. Прогулки у царскосельских прудов, где по зеркальной глади скользили черные лебеди! А нежное море! Мазурка на палубе военного корабля. И вдруг почему-то Керенский. Омертвевшая английская набережная. Смерч подсолнечной шелухи, цыгарок и пыли. Рев толпы... Мучительное утро на Финляндском вокзале. Встревоженные лица знакомых придворных. Ударил колокол, поднялась невыразимая сумятица. Камеристка Глафира втянула ее в темное переполненное купе.

Манана вздрогнула и, как тогда на границе, колючий холодок пополз к сердцу. Прислушалась.

За дверью Глафира бранчиво твердила:

— Сказано, княжна изволил отдыхать.

— Я должен видеть ее светлость. У меня государственное дело! У меня выгодное предложение!

Предложение? Манана насмешливо скривила губы. Наверно банкир. Все зависит от финансовых тузов. Так уверял ее мингрельский князь. Это он посовето-

вал ей сфотографироваться в наряде предков для «Иллюстрасьон». На такой крючок «золотая рыбка должна клонуться». И действительно, тотчас же посыпались приглашения в конвертах с коронами и гербами.

Князь написал кому-то в Берлин. И вот в Женеву приехал знаменитый ростовщик с Фридрихштрасе. Княжна с помощью князя за огромную сумму заложила фрейлинский вензель. Князь вернулся к любимым винам, а она к голубому озеру.

Наконец, в один из полней князь торжественно передал ей узкий конверт: приглашение австрийского двора. И вот сейчас она мчится в веселую Вену, в Гофбург, в королевскую резиденцию.

Манана лениво приподнялась и слегка приоткрыла шторку.

Серые облака клубятся над равниной. Множатся рельсовые пути. Локомотивы тянут на запад новые и новые эшелоны. Под брезентами сутулятся пушки.

Навстречу ползут и ползут санитарные поезда, полные раненых.

Экспресс плавно пролетает мимо ночных вокзалов. Скоро Берлин. Последняя вынужденная остановка в невыносимо скучной Германии. Разве можно появиться в Гофбурге без фрейлинского вензеля? Странно, но и князь подержал упрямого ростовщика, который решительно заявил: вензель будет вручен светлейшей Манане только на вокзале в Берлине.

Поезд мчался по предметности столицы мимо высоких стен и закопченных фабричных труб.

В коридоре торопливо готовились к выходу. Экспресс подкатил к перрону. Сверкал огнями вокзал Фридрихштрасе. Звеня шпорами, к спальному вагону подошли три немецких офицера. Грузный майор вглядывался в пассажира, выходящих из вагона.

В окно высунулась Глафира, беспокойно оглядела платформу и опустила раму.

Человек в пробковом шлеме прыгнул с подножки, вынул из кармана футлярчик и протянул полковнику:

— Купе номер пять.

— Отлично, Курц, — полковник, поправив белые кисти парадного пояса, вошел в вагон, сопровождаемый штабными офицерами. Кондуктор в униформе вытянулся и отдал честь.

Посередине купе в нерешительности стояла Манана. Камеристка укладывала саквояж, дверь шумно раздвинулась, и вылощенный офицер приложил руку к каске:

— Честь имею представить: полковник императорской армии барон Фридрих фон Унгерн. — И повернулся в сторону офицера: — Майор Пауль фон Гефтен и обер-лейтенант Герман Вурцбахер!

Слегка наклонив голову, Манана недоуменно смотрела на офицеров.

— Ваша светлость, — не ожидая ответа, продолжал фон Унгерн, — честь имело передать вам высокое приглашение его величества кайзера и ее величества императрицы.

— Я осласливлена милостью их величеств, но я спешу в Вену... — растерянно проговорила Манана.

Фон Унгерн непроницаемо смотрел на княжну:

— Вашу светлость в Берлине ждут более заманчивые перспективы.

Манана в нерешительности теребила перчатку.

— Сейчас экспресс отойдет на четвертый дебаркадер. Господ, пассажиров, едущих в Вену, прошу на курьерский «два!» — пробасил в коридоре кондуктор.

— Я смущена... но мой багаж... — волновалась Манана.

— Уже перевезен в особняк министерства. Там ждет вас модель из королевского ателея.

Глухо щелкнула пружина. Фон Унгерн протянул ошеломленной Манане футлярчик с вензелем:

— Как видите, фрейлен, мингрельский князь и нам оказывает ценные услуги.

— Князь? — больше Манана не раздумывала. — Благодарю!

Майор фон Гефтен поспешно накинул ей на плечи пелерину. Манана Грузинская поправила вуалетку, взяла под руку полковника и решительно вышла из вагона. Камеристка подхватила саквояж.

Обер-лейтенант Вурцбахер бросил довольный взгляд на свое отражение в зеркале и захлопнул купе.

ГЛАВА 2

Луч прожектора скользнул по белочерным будкам, коническим колпакам броневых башен, по чугунным ангелам, прижавшимся к каменным крестам, по мельничным крыльям.

Загадочный лагерь военнопленных тянулся от кладбища до заброшенной мельницы. За тройной колючей оградой желтела равнина, казавшаяся мертвой. Но в чахлам игольчатом кустарнике прошуршал ветер, взметнулись летучие пески, осыпая барак. И снова бледносиний луч тупо усталился на меловые номера — карцер № 1, карцер № 2, карцер № 3, вырвал из мглы штыки часовых и, перескочив рогатки, зарылся в песок.

Хмурый мартовский рассвет просачивался в узкие окошки бараков. На подоконнике блеснула оловянная кружка. Глухо зашипел механизм, распахнулись резные двери, выскочила кукушка: куку! Скрипнула койка. С узкой пронумерованной подушки поднялась взлохмаченная голова.

Унтер-офицер Карл Фрост, «рыжий унтер», как прозвали его военнопленные, кулаком вытер толстые губы и пристроганно посмотрел на деревянный домик кукушки. Эти часы, подарок отца, почтенного бюргера, в священный день венчания Карла с Эмилией, он всюду возил с собой. И тогда, в первое утро, ровно в пять кукушка разбудила молодых. Они так смеялись! Эмилиа! Ее счастливые глаза блестели, как голубой эмалированный кофейник, в котором она сварила их первое кофе. В розовой кофточке и белом, пахнущем крахмалом переднике она, словно пасхальный шредель, возвышалась над столом. Она обладала и практической сметкой. Пухлыми руками она выжимала из батрачек настоящую работу. Откормленные куры неслись ежедневно, тяжелые гуси едва передвигались по двору, а лица трех сыновей и дочери Гертруды лоснились, как нежный смальц. А какой огород она вырастила? Мой бог! Вооруженный круглыми ножницами, каждое утро он делал смотр. Шеренги грядок лука сверкали на солнце зелеными штыками. А капуста...

Рыжий унтер поднялся. Положенные на семейные воспоминания девять минут, истекали. Натягивая сапог, он с озлоблением додумывал: не будь он Карл Фрост, если Ангганта не ответит за его свиней, взятых интендантством. Что касается вобунтоввавшей России, то здесь будет разговор посерьезнее, так обещает обер-лейтенант Вурцбахер. Рыжий унтер, прервав размышления, прислушался.

Прислушивались и в бараках. Сирена... Ее истерический вопль всегда приводил лагерь в нерешное и вместе с тем автоматическое движение... Гасли обрывочные сны. С деревянных трехъярусных нар спрыгивали пленные. Пять минут на завтрак — кружка мутной жижи и семьдесят грамм землястого сахара. Смерд проникал в бараки. Одурманенные пленные вырывались на плац, выстраивались в серые квадраты. И маршировали, вскинув на плечи лопаты, кирки, молотки. Непосильная работа: рыли канавы, разбивали камни. Свиистели резиновые дубинки. Убыстрялись взмахи кирок, лопат. А поздним вечером возвращались в лагерь, словно проваливались в опромяную могилу. Не раз, бывало, какой-нибудь смельчак, отшвырнув лом или кирку, бросался к заграждениям. Тогда вновь бесновалась сирена. Электрическая искра пробежала по колючей проволоке. Изуродованное тело вышвыривали в ров. Но чаще беглеца ловили, приволакивали к сосне и вздергивали, связав наискось левую ногу с правой рукой. Немало русских солдат погибло и на железном крюке.

В бессильной ярости пленные сжимали кулаки. В этом проклятом богом и чортом аде солдат объединяла не только тоска по

родине, но и страдание. Они дышали единой ненавистью, единой жадной мести, надеялись, ждали чуда, освобождения.

В тоскливые вечера солдаты жались к железной дымящейся печке. Надрывно плакала гармоника и стонали струны чонгури.

Только Ладо Абуладзе ничем не возмущался, ничему не удивлялся и никому не высказывал своих мыслей. Он молча подолгу сидел в стороне. И лишь иногда вздрагивали лежащие на коленях длинные пальцы.

О чем думал Ладо? Может быть о своем отце, старом Нику, мастере железнодорожных мастерских в Тифлисе? Ладо видится смеющееся лицо сестренки Наталлы. Вот она проворно взбирается на верхушку развесистого дерева и на качающейся ветке лакомится сочной тутой. Или, может быть, сквозь клубы паровозного пара чудятся ему внизу узенькие улочки и тупички с нагроможденными друг на друга домиками и двориками, полутемными от нависших галлереек. Мимо этих близких его детству улочек он ведет свой паровоз на перегоне Навлауг — Тифлис, и на призыв его веселого гудка бегут к Красной горке мальчишки, отчаянно что-то выкрикивают и задорно подбрасывают картузы...

В Заганский лагерь Ладо Абуладзе попал не сразу...

Бронепоезд «Святогор», вращая башни, ворвался на вокзал. Кочегар, откинув задвижку, прильнул к щелчке и вдруг изумленно загоготал:

— Смотри, Абуладзе, вот город!

Австрийцы, разбивая винные погреба, напились до бесчувствия и тут же сваливались. В канаве у большого склада на Рынецкой улице собаки лакали шампанское. Сбросив ранцы, кутали австрийские унтер-офицеры.

Машинист и кочегар прыгнули на землю. Обняв фонарь, пьяный австриец-стрелочник по душам беседовал с императором Францем-Иосифом.

Отступающие были настолько пьяны, что не обращали внимания на ливень гуль, который захлестывал город. Когда казачий разъезд приблизился к кутящим, австрийцы громко приветствовали донцов, приглашая присоединиться к попойке. Озорной белокрытый Павел ногой вышиб дверь. С посвистом казаки ворвались в увеселительное заведение. Сконфуженные венгерские гусары просили не выводить их на улицу в том виде, в каком их застали казаки. Павел разрешил надеть гусарам мундиры и шапки, а брюки приказал нести в руках.

Австрийцы поспешно очищали Броды. И, насаждая на плечи противника, шли русские...

Бой развернулся по всей линии. «Святогор» прорывался к Луцку.

— Поднажми, Абуладзе! — кричал в телефонную трубку командир. — Гони на базу! Стрелять больше нечем!

Ладо яростно дернул рычаг. Загрохотали буфера. Бронепоезд пронесся под мостом, преследуемый разрывами снарядов. Навстречу неслась станция, занятая немцами. Промелькнули жерла орудий. Дым черной завесой взметнулся над рельсами. Час, два — Ладо не помнит. Одна мысль — прорваться, спасти бронепоезд. Мимо пролетел огненной лентой вокзал.

Радостное «ура». Ладо затормозил поезд. Сожженный полустанок. База! С бронеплощадки прыгнул командир и поцеловал героя-машиниста в запекшиеся губы. Солдаты облепили бронепаровоз, восторженно понесли Ладо на руках.

Но и на базе снарядов не оказалось.

Замолкший «Святогор» помчался дальше, маневрируя под огнем. Вдруг кочегар взревел: Стоп! Рельсы разворочены! «Святогор» вздрогнул и замер, изрешеченный бронебойными пулями...

Русские пленные солдаты убрали церковь, превращенную немецким командованием в казино. Выметали осколки разбитых бутылок, валяющихся под столиками, сбрасывали в ведра объедки с тарелок и вытряхивали из пепельниц в корзину окурки сигар и сигарет.

Старый священник, простирая руки, шептал проклятия осквернителям храма. Седая борода гневно тряслась.

Белокрытый Павел, весь в ссадинах и синяках, вытирал пыль с картинок, повешенных на иконы: полуголая женщина в объятиях вахмистра, лейтенант, преследующий девицу, кадет, соблазненный перзрелой дамой. И тут же намалеванный плакат: немецкий цыцк в разрядах молний — «Дранг-нах-Остен!»

Иконостас с царскими вратами перенесен в темный угол. Там, где был алтарь, стояли пюпитры музыкантов. Отсюда по вечерам гремит оркестр, здесь отплясывают канкан кафешантаннные певички.

Военнопленный Ладо Абуладзе угovarивает священника оставить оскверненный храм, незачем предаваться бесполезному возмущению. Лучше возмущать свою паству против осквернителей.

Солдат Киприян Сивый дотронулся до плеча Ладо:

— Сегодня убегу. Опостылело.

Ладо оглядел церковь. Ковры постланы. На столиках свежие скатерти, чисто вымытые пепельницы. В вазочках полевые цветочки. Господа офицеры скоро пожалуют завтракать.

— Не советую, Киприян. Отсюда невозможно убежать.

— Поразведал уж я многое. — Киприян нагнулся, шепчет: — Один обрусевший немец передал мне важный план укрепления Луцка. Пробеерусь к своим и донесу секрет.

Ладо беспокойно посмотрел на Киприяна:

— Сейчас же верни липовый план этому негодью. Скажи, что пошутил, что хотел испытать его, что у тебя и мыслей нет о победе.

Киприян вынул из лампады окурок, швырнул под стол и вышел.

Ночью Киприяна схватили. Плана не нашли, но провокатор сказал: «Тот самый!» Короткий суд — и подвели Киприяна к свежеврытой могиле. Для наказания пригнали всех военнопленных. Внезапно серо-зеленые ряды солдат властно раздвинул священник. Обер-лейтенант разрешил ему сказать напутственное слово Киприяну. Но не того ждали от священника немцы. Тряся седой бородой, он говорил о подвиге, на который всегда готов русский человек, говорил о бессмертии храбрых, о тех, кто смертью смерть попрая. И осенил Киприяна широким крестом.

Выпрямил плечи Киприян, оглядел просторное голубое небо, прислушался к щебету ласточек, встретился глазами с Ладо и с усмешкой оглянулся на немцев:

— Я тоже, батюшка, скажу перед смертью два слова... Была Россия и будет Россия во веки!

На утро немцы увидели на могиле Киприяна крест, а на нем вырезанные ножом буквы. Снова согнали пленных.

— Прочешь! — приказал полковник, указывая на крест.

Пленные молчали. Ладо Абуладзе выступил вперед и внятно произнес:

— «Была Россия и будет Россия во веки!..»

Белобрый Павел расталкивал Ладо:

— Ты что, браток, окаменел? Тебя уже дважды кликал рыжий унтер. Сегодня воскресенье, вахт-парад! Все солдатушки вшей бьют на плацу, а ты в книгу уперся. Ладо тяжело провел по глазам ладонью. Словно горный туман, медленно расплывались обрывки видений...

— Павел, ты помнишь Киприяна Сивого?

— Оставь, брат, было и ветром унесло! И зря ты стал неулыбчив...

Однажды в такое же праздничное утро рыжий унтер, совершая обход лагеря, заметил раскрытую книгу на коленях Абуладзе, который медленно читал по-немецки:

«Если с энергией сочетается мудрая умеренность в намечаемых целях, тогда возникает игра блестящих ударов и осторожной сдержанности, чем столь восхищаемся в войнах Фридриха Великого».

Рыжий унтер мало что понял из рассуждений Клаузевица, но немецкая книга! Но Фридрих Великий! Унтер немедленно доложил об этом Вурцбахеру.

Обер-лейтенант приказал взять под особое наблюдение умного пленного, снаб-

жать его литературой патриотически-военного содержания.

С тех пор рыжий унтер не раз с уважением наблюдал, как Ладо красным карандашом делал пометки на полях стратегических тетрадей Шлиффена и Мольтке.

В день рождения кронпринца рыжий унтер хотел даже пригласить Ладо в канцелярию и угостить кружкой пива, но не решился. Что-то было в глазах Ладо, что удерживало унтера от фамильярности.

В свободные часы Ладо обычно сидел в углу, накинув на плечи шинель, и задумчиво смотрел на товарищей.

Стали пристально приглядываться к нему и солдаты. Особенно раздражался молодой артиллерист Шахро Кахиани. Как-то не выдержал он, сердито щелкнул по книге:

— Ты что, башку потерял? Глупости всякие читаешь?

— И тебе советую, — улыбнулся Ладо, — полезное занятие.

Солдат вспыхнул:

— Чтобы Шахро Кахиани пачкал мозги этим пометом?!

Но грузины кое-что знали от белобрысого Павла: неспроста молчит Ладо, и поручили Чикаберидзе, Канчавели и лихоному драгуну Дзаганиа серьезно переговорить с мрачным земляком.

В один из табельных дней пленные, запертые в барак, слонялись из угла в угол. Их оштрафовали за какие-то проступки и выдали сухарей на двадцать граммов меньше. Лениво взлетали и снова садились на стекла мухи. Было нестерпимо душно. Скука. Лица солдат казались неживыми.

И вдруг барак огласился дружным смехом. «Что?! Смех?! Кому удалось рассмеить людей в этой могиле?!» Ладо поднялся. За одеялом, протянутым между нарами, пронзительно визжал Петрушка. Его заглушал сварливый женский голос.

Скрытый одеялом Дзаганиа выкрикивал грубые остроты. Его правый кулак, завернутый в портянку с намалеванными глазами и усищами, изображал рыжего унтера, левый — в цветном капоре — унтершу. Раскланиваясь, Петрушка рванулся к своей фрау, но любовный порыв закончился потасовкой.

Солдаты катались от хохота.

— Валяй! Так его!

Но Петрушка, спасаясь, клялся: не будь он Кара Фрост, если в следующий праздник не оштрафует пленных на тридцать граммов сухарей. Фрау обмякла, чмокнула унтера и скатилась с ним вниз. Послышалось громкое хрюканье и треск разгрызенных сухарей.

Веселье разгоралось. Кто-то ударил по струнам чоңгури. Выскочил Шахро Кахиани, завертелся в лезгинке. Изображая девушку, Канчавели изогнула руки и, стыдливо опустив глаза, поплыла впереди наседающего Шахро.

Дружно забили в такт хлопки. Шакро, подпрыгивая, как будто жонглировал кинжалами.

— Вот чешет! — восхищались пленные.

Заметив пристальный взгляд Ладо, Дзаганя вплотную подошел к нему:

— Скажи, ты нам чужой или брат?!

— Когда видишь, что Кура не следует за тобой, то последуй за Курой.

С этих пор Ладо стал осторожно беседовать с неразлучными Канчавели, Чикаберидзе и Дзаганя. Когда подходил кто-нибудь из непосвященных, один из друзей неизменно вздыхал:

— Вот, все деревню вспоминаем — виноград... инжир... орехи... все растет прямо у дома...

Солдаты сочувствовали, оживлялись: и у них тоже хорошо в деревне — золотится овес... подсолнухи, а в мороз над избой дым, как лисий хвост...

Студент Лоладзе в лагере появился неожиданно. На его потертой гимнастерке выделялись узкие погоны с черно-белым кантом. Спрыгнув с машины, он направился прямо к начальнику. Вытянувшись и отдав честь, он четко произнес по-немецки:

— Герр обер-лейтенант, я вольноопределяющийся Кавказской туземной конной дивизии Владимир Лоладзе. Студент одесского университета. Провинностей иметь не буду. Но если кто вздумает дотронуться до меня, найду способ размотать тому голову! — и, повернувшись на испоптанных каблуках, направился в назначенный ему барак.

Изумленно посмотрел вслед студенту Вурдбахер и занес его в черный список.

Барак тут же выбрал смельчака своим старостой. «Наш студент» — с признательностью говорили пленные.

Отхожее место, примыкавшее к стене барака, студент велел окуривать зажженными ветвями кустарника, а потом мыть и тщательно проветривать. Стало легче дышать.

Никто не удивился дружбе, возникшей между студентом и Ладо. Иной раз всю ночь напролет они говорили, очевидно, о чем-то важном. Как-то студент заявил рыжему унтеру, что считает полезным разлучить Чикаберидзе, Канчавели и Дзаганя, их дружба вредно отражается на лагерной дисциплине.

Унтеру давно не нравилась эта теплая тройка, и он не замедлил разбросать земляков по разным баракам.

Студент и Ладо были довольны — засылка тайных пропагандистов в глубь лагеря удалась.

А недели тянулись унылые, длинные, казалось, не будет им конца. И вдруг в воздухе лагеря повеяло чем-то волнующим, тревожным, чего рыжий унтер никак не мог уловить. Пленные повеселели. Унтер не подозревал, что всему причиной газе-

ты, которые он изредка давал на цыгарки Ладо.

Солдаты робко слушали осторожные речи Ладо и студента о революции, о Брестском мире. Тоска по родине стала томить еще больше. Все чаще вспоминались: разлив на далекой Волге, закат в березняке Белоруссии, розовая пальма под раскаленным солнцем Абхазии.

Но безрадостно продолжали тянуться дни.

Ровно в пять истерический вой сирены привел лагерь в движение. Но сегодня...

Пять пятнадцать, а сирена молчит.

— Да завоет ли, наконец, окающая?

Студент тревожно переглянулся с Ладо. Неужели провал? Неужели оплошал Чикаберидзе? Или Дзаганя, Канчавели?

— Истерзает солдат! — неожиданно вслух подумал Ладо.

— За что?!

— Пытать, братцы, пытать нас бу...у... дут!..

— Подождем все... Собачьей смертью погибнем!..

Шакро с остервенением запустил табуретом в дверь. Кричали уже все, колотили в стены, ругались, плакали, стонали.

— Тише! Вы же солдаты! — Ладо спокойно улеся на нары, но нарастающий шум толкнул его к окошку. «Что предпринять?»

— Эй, вы, палачи! Чего медлите? Чего народ изводите? Начинайте! С меня первого, как полагается! — Павел, сорвав с себя рубашку, нещадно ругаясь, заколотил в дверь.

Звякнул замок. Солдаты облегченно вздохнули. Стуча каблуками, вошел рыжий унтер.

Он строго оглядел настороженно молчавших солдат и с непривычной мягкостью начал:

— Чортовы господа! Вам везет, как откормленной свинье. Сегодня вы не работаете. Ваши рожи пожелаа посмотреть достопрочтенный гость. Смир-р-рно! Всем под холодный душ! Браться по порядку номеров! Надеть неприкосновенные куртки! Избитые рыла заелпить пластырем!

Унтер вышел, хлопнув дверью.

Солдаты минуту ошеломленно молчали. И вдруг барак загудел. Взлетели к потолку пояса, обтрепанные фуражки...

Внезапно рассыпалась дробь каблуков. Солдат, похожий на цыгана, лихо ударила себя по коленям:

Ай-да, соколики, ай-да!

Россия! Россия!

Родная сторона!..

В полдень к решетчатым воротам подкатил «мерседес». Из автомобиля легко выпрыгнул князь Илларион Амилахвари, конно-артиллерийский офицер с веселыми глазами и приятной улыбкой. На его

прямых плечах горело золото русских полковничьих погон. За ним медленно вышли обер-лейтенант Вурцбахер и Курц в пробковом шлеме. Замыкал шествие наглухо застегнутый на медные пуговицы прусский королевский чиновник с лакированным портфелем и черным зонтиком.

Они вышли на плац, где были выстроены военнопленные.

— Здорово, ребята! — молодцевато крикнул князь.

Растроганные русской речью, пленные дружно гаркнули:

— Здравия желаем ваше-ство!

Встреча получилась задушевная.

— Ну что, землячки?! Конец войне: слышали про Брест-Литовск? Скоро по домам! — непринужденно и бодро заговорил Иларион Амилахвари, но глаза его озлобленно и пытливо скользили по лицам пленным.

— Дозвольте спросить, ваше высокоблагородие, как поживает революция? — выкрикнул Павел. — И еще дозвольте: почему спит комиссия по обмену пленным?

Из задних рядов выдвинулся приземистый солдат с упрямыми скулами:

— Здоров ли товарищ Ленин и взаправду ли разговор ведут, будто он землю раздаст крестьянам?

Одобрительный гул, словно ветер, прошелестел по рядам.

— И еще дозвольте подбросить вопросик, — снова выкрикнул Павел, — нам здесь во! — он потыкал пальцем по заклепленной пластмассе скуле, — невоготу. Шут с ней — с аннексией, и контрибуцией, нам бы скорее домой...

Рыжий унтер таращил глаза, он ничего не понял из того, что говорилось, но вольность разговора пленным приводила его в бешенство.

Шакро порывался броситься к князю, но Дзаганиа, поглядывая на унтера, одернул не в меру обрадованного артиллериста. Удерживал его и Ладо.

Шакро, волнуясь, рассказал, как служил он у князя всю войну ординарцем. И еще — как в далекой родной деревне в канун праздников дед Гиви выезжал на полустанок. С грохотом возвращался в усадьбу фазтон. Со всех улочек бежали мальчишки, и Шакро среди них, полюбившись ярко-красными погонями на белоснежной рубашке молодого князя.

Шакро вновь бросился было к полковнику. Ладо решительно схватил друга за руку: надо раньше узнать, зачем пожаловал его сиятельство, да еще с такой компанией, а потом уже напоминать о себе.

Князь Амилахвари все больше хмурился. Он уже жалел, что поддался искушению продемонстрировать перед немецким командованием свое умение разговаривать с солдатами.

Развязность пленных не нравилась и Вурцбахеру. Он, выросший в Катринфельде, немецкой колонии в Грузии, не совсем

еще забыл русский язык. Еще лучше разбирался Курц в этих горячих выкриках, переводя их смысл чиновнику. Вурцбахер предложил князю зайти в дежурное бюро и отдохнуть за чашкой кофе.

Вместо Вурцбахера выступил Курц. Он вытер клетчатым платком лоснящийся нос, поправил галстук и, заложив руку за борт, крикнул:

— Солдаты-грузины! К вам наша любовь и внимание! По приказу его высокопревосходительства фельдмаршала Людендорфа генеральный штаб императорской армии поручил мне важную государственную миссию.

Грузины изумленно слушали Курца. «Уж не приснилось ли им? Что это за чудело в пробковом шлеме? Почему он говорит по-грузински? Где научился?» — тихо спрашивали они друг друга.

А Курц, пересылая речь грузинскими прибаутками и пословицами, загадочно пообещал снарядить аргонавтов в Коалхиду за золотым руном. Закончил он свою речь командой:

— Все грузины двадцать шагов вперед! Ряды пленным заколебались. Сто, двести, четыреста, семьсот, тысяча... Тысяча пятьсот грузин растянулись шпалерами вдоль барakov.

Курц близко подошел к Карлу Фросту:

— Герр унтер, накормить их свинойной с бобами, собрать в карантинный барак, — и многозначительно добавил, — только без кулаков!

Плац всколыхнулся, забурился. Пленные сходились группами, спорили, убеждали, ругались и, наскучив друг другу, отходили, чтобы снова убеждать и спорить. Канчавели и Чикаберидзе перешептывались с солдатами. Но, не дослушав, солдаты спешили к студенту, обступали Павла, обращались к Ладо.

—... Хотя использовать нашу тоску по родине, — едва слышно говорил Ладо, — студент прав, не поддавайтесь на провокацию, друзья. Этого почтенного немца я сразу узнал.

— Кто он? Почему носит пробку? Зачем говорит по-грузински? — допытывался Шакро.

— Он? — усмехнулся Ладо. — Он был учителем немецкого языка в кутаисской гимназии. Но, кроме того, он в течение пятнадцати лет гонялся за бабочками и жучками по всей Грузии.

— Что, он другого дела не нашел?

— Почему? Нашел! — продолжал Ладо, — он еще вылавливал медузу в Батумском порту, а кстатi фотографировал укрепления. С кодаком путешествовал то к Сурамскому туннелю, то к мосту на Карской ветке. Маленький заряд динамита — и сообщение с границей Турции могло быть прервано надолго!

— Если ты знал, почему молчал?

— О шпионах молчат только шпионы. А я отправился в тифлисское жандарм-

ское управление. Похлопал меня жандарм по плечу: продолжайте, говорит, машинист, верой и правдой служите его величеству, в награду на курьерский паровоз переведем. И вынул из ящика папку с набором фотографий. Смотрю и радуюсь: вот он в пробковом шляпе! Как живой на Шагалинский мост уставился. А через плечо фотографический аппарат.

Лицо у Шадро выгнулось, он беспомощно заморгал глазами.

— Если там в ящике держали, зачем здесь на воле гуляет?

— Здесь ему, чертяке, раздолье! В своем болоте!

— Может, маймун! Вильгельму нас хочет представить?

— Нет, кавказцы, тут дело сложнее. Тут нас прощупывают!

— Не рассечь ли сразу собачью башку?! Почему только прузия вызвал?..

Ладо незаметно отошел, тихо разговаривая с Чикаберидзе. Солдаты окружили студента.

— На провокацию не поддаваться! Да, товарищи, на родину надо вернуться с совестью чистой, как горный родник.

У кладовой сгружались ящики и корзины. Где-то совсем близко сдвигались столы, случали оловянные тарелки. Из окон кухни струился запах свиного жира, пареной капусты.

Угрою рассаживались грузины. Перед ними дымилась свинина, розовели бобы, но ничто их не радовало. Тяжело было на душе. Русские и сегодня вынуждены есть вонючую похлебку. Для товарищей украдкой прятали лучшие куски.

А тем временем в карантинном бараке шли приготовления...

Как только стало известно о предполагаемом посещении лагерей военнопленных императрицей и принцем Рупрехтом, Вурцбахер заволновался: «Теперь или никогда! Вот прекрасный случай выдвигаться».

Разве плохо прозвучит: барон фон Вурцбахер?! Владелец прусского майората! Вот достойное положение для правнука пастора Фридриха, в 1818 году переселившегося из Вюртемберга на Транс-Кавказ!

Благословив шесть немецких колоний, пастор Фридрих обосновался в седьмой, самой плодородной. Так в Катринфельде, отстоящем в десяти милях от Тифлиса, возникла династия Вурцбахеров.

Катринфельд теперь стал настоящим немецким городом. Там размножилась добротная порода. Все катринфельдцы достигают возраста рождественских дедушек, но почему-то мои обожаемые родители вздумали вывалиться из фургона и угодить под сорокапудовую бочку с виноградом. Тогда Макс сказал мне: «Знаешь что, мой брат? Мне восемнадцать лет, тебе только десять. Зачем нам возиться с

бочками и проклятым виноградом, когда мы можем все продать и отправиться в Берлин. Ты будешь коптель над учебником, я вложу наш капитал в мебельное дело дяди Лахмана, а богатеть мы будем вместе». Герман Вурцбахер недаром коптель над учебниками. Он не последовал примеру строевых офицеров и ни разу не летал, как мяч, с Западного фронта на Восточный и обратно. Ловко лавируя, он вполне благополучно добрался до высокого поста начальника Заганского лагеря. И отсюда он должен выйти майором и непременно с Железным крестом.

Обезумев от ударов резиновых дубинок, пленные, наконец, достроили «проклятый карантин».

Мыли пол жесткими щетками, натерли стены скипидаром. Зажигали душистую бумагу. Развесили флажки, гирлянды разноцветных лампочек, а над аркой пригвоздили щит с прусским орлом.

На возвышении поставили длинный стол. Вурцбахер сам привез желтую бархатную скатерть. Рыжий унтер отыскал ее в реквизите оперного театра. Но Вурцбахера не покидает тревога: чего нехватает на желтой скатерти? Может, спросить фон Унгерна? О, этот аристократ не преминет выставить его в смешном виде. И он резко оборнулся.

— Не смеги!!

— Обер-лейтенант не доволен? — испуганно спросил Карл Фрост.

— Что это за стол, герр унтер? Я вас спрашиваю, герр унтер, за такой стол можно посадить императрицу и его высочество? — И презрительно смотря на ослеплого унтера, Вурцбахер отчеканил:

— Я вас спрашиваю, герр унтер, что должно стоять на столе?

— В Шнейдемольском лагере, у лейтенанта Трауберга, в счастливый день посещения ее величества стояли цветы, может, и нам...

— Кому это нам? Я вас спрашиваю, герр унтер, почему нет цветов?

— Я ждал приказа господина обер-лейтенанта!

— Унтер, у вас короткая память! В прошлую пятницу я сказал отчетливо: поставить на стол цветы!

Унтер потер лоб и украдкой посмотрел на повеселевшего Вурцбахера:

— Господин обер-лейтенант, я вспомнил: вы действительно приказали поставить по краям два горшка герани, как у майора Брюннера в Цоссенском лагере в день счастливого...

Унтер достал горшки с геранью, — но черт поberi, ни императрица, ни принц не показываются. Все же Вурцбахер упорно ждал.

Еще когда Вурцбахеру посчастливилось получить Заганский лагерь, он решил отличиться. Но кого удивит экономия? Или жестокость? Вот у Трауберга пленные по-

¹ Маймун — обезьяна.

жожи на гнилые лимоны. А у Брюннера не успевают готовить гробы. Однажды обер-лейтенанта озарило. К утру была составлена докладная записка:

«В разведывательный отдел генерального штаба.

Я, обер-лейтенант Вурцбахер, ревностно служба Германской империи, считаю своим долгом предложить в целях лучшего использования индивидуальных свойств нации сконцентрировать всех прузийско-военнопленных в Заганском лагере...»

Расписав на нескольких страницах целесообразность своего предложения, Вурцбахер подчеркнул, что ему, обер-лейтенанту, хорошо известна эта порода азиат. Его прадед пастор Фридрих Вурцбахер недаром посвятил свою жизнь интересам германской колониальной политики.

Конечно, обер-лейтенант и не подозревал о тех тайных силах, которые действовали в кабинетах генерального штаба. Мысль, предложенная им, заурядным офицером, неожиданно совпала с государственными идеями фельдмаршала Людендорфа...

ГЛАВА 3

Глубокой ночью по затихающим проспектам Берлина пронесся закрытый автомобиль. Надвинув остроконечную каску с орлом и застегнув черный воротник генеральской шинели, Людендорф откинулся на кожаную подушку. Тени скользили по его гладко выбритым отвислым щекам. Невеселые мысли одолевали генерала. Военная дружина, к счастью, пока неощутимо для посторонних, начинает слабеть. Еще сотни тысяч немецких солдат штурмуют твердыни Франции, еще дымят гигантские трубы военных заводов, а в глазах немцев он уже замечает отчаяние — предвестника военной непогоды. Министерства плохо поддерживают в народе патриотический дух, веру в победу. Партия разрушителей безнаказанно сеет смуту. Долг Людендорфа отстоять и защитить империю. В эту ночь он открывает новую эпоху борьбы немецкой стратегии, тактики и организации с враждебным Германией миром. Недаром его ум лихорадочно искал выхода из тупика. Выход найден, разработан в его кабинете.

И если даже горы человеческих костей взгромоздятся до самого неба, жертвы будут оправданы. Выход найден. В этом глубокий смысл весны восемнадцатого года, резкий поворот войны к победе.

Гениальный и глубоко продуманный замысел принесет ему, фельдмаршалу Людендорфу, бессмертную славу, которую разделит с ним немецкая армия.

Автомобиль проскользнул на набережную. В темной Шпрее качались желтые огни фонарей. Фельдмаршал опустил окно, вдохнул весеннюю свежесть воды и

распускающихся деревьев Люстгартена. Машина приблизилась к зданию генерального штаба.

У подъезда выросли силуэты часовых. Людендорф легко поднялся по лестнице. Фельдмаршала ждали представители верховного командования.

— Подводная война, — докладывал генерал Грениер, — не дала ожидаемого эффекта. Потери тоннажа Антанты постепенно уменьшаются вследствие конвоирования транспортов англо-французскими военными кораблями. Потери наших субмарин все увеличиваются. В странах Антанты, особенно в Англии, кораблестроение развертывается в самой опасной для Германии прогрессии: тоннаж новых судов перекрыл тоннаж потопленных. Принудить Соединенные Штаты Америки, Францию и Великобританию к миру можно лишь генеральным наступлением и прорывом обороны противника на такой ширине фронта, которая способна вывести комбинированные германские корпуса одновременно и к проливу Па-де-Кале, и к просторам Атлантики, и к берегам Средиземного моря. Для ведения войны в новых формах, выдвинутых создавшейся обстановкой, необходима предельная мобилизация средств империи, подчинение военным целям всей экономики государства.

За штабным столом воцарилось угрюмое молчание. Наконец, один из генералов заговорил о ненормальном питании действующей армии боеприпасами, провиантом и фуражом. Для проведения генерального прорыва, подчеркнул он, необходим полноценный военный организм, сочетающий незабываемость духа немецкого солдата с непрерывным потоком снарядов, мин, патронов и военных припасов. Эгоизм гражданского населения больше нетерпим: и в Берлине, и в Гамбурге, и в Мюнхене подрываются усилия фронта. Штык и железная перчатка должны оживить вялую поступь тыла.

После тяжелой паузы заговорил фон Кнобельсдорф, представитель западного фронта. Железный крест поблескивал на его груди.

— Если преимущество союзников в количестве солдат и в артиллерии не дает им общего фронтового преимущества, то... — фон Кнобельсдорф развернул лежащую перед ним таблицу, — то в воздухе враг значительно превосходит нас, располагая действующими аэропланами в количестве трех тысяч восьмисот семидесяти машин против двух тысяч восьмисот девятиста у нас, немцев. В развитии генерального прорыва на западном фронте это вражеское преимущество разбилось бы все-таки о стойкость имперских армий. Но опаснейшая затяжка операции на четвертом году войны, растущее сопротивление покоренных народов осложняются тем, что враг бросил на фронт новую технику, нового властелина на поле боя. Вы поняли,

господа генералы, я говорю о танке. Десять немецких танков с двадцать первым марта против восьмисот девяноста трех англо-американских. Соотношение, грозящее катастрофой! — Генерал выразительно посмотрел на Людендорфа. — Мы верим, наши пушечные короли и владельцы сталелитейных синдикатов могут напряжением всех сил поднять производство гусеничных крепостей. Возможно, нам удастся уравнять силы. Но тем острее станет проблема горючего. Где достать нефть? Фронт уже задыхается без бензина. Недостаток нефтяных ресурсов неумолимо заведет машинную немецкую армию в тупик... Господа генералы, где выход?

Людендорф спокойно, не выдавая раздражения, выслушал своих генералов.

— Вы, кажется, спросили, где выход? — фельдмаршал круто повернулся к фон Кнобельсдорфу. — Выход? На Востоке!

Генералы напряженно смотрели на Людендорфа. На зеленом сукне зашуршали листки бланкетов.

— ...Англичан можно сразить на полях Фландрии, между Ипром и Ля-Бассе. Фронт, протяженным в пятьдесят километров, откроет нам побережье Булони, подступы к Кале и Дюнкирхену. С этой целью сегодня мною отдан приказ армиям о втором наступлении. Но можем ли мы выиграть войну, рассчитывая только на западные операции? Нет! Тысячи причин диктуют необходимость иного стратегического курса...

Фельдмаршал зорко всматривался в лица своих слушателей, желая узнать, как они приняли его заявление.

— Да, господа генералы, новые тучи, новые ливни! Захватив украинский хлеб, мы сумеем скочить на западе силы англичан и сразим их неожиданным ударом в северной Персии, в джунглях Индии. Путь к этим точкам проходит через русский Кавказ! Кавказ! — Взвывая шпурок, прикрепленный на карте к кружку «Берлин», Людендорф перекинул его через густую синюю краску Черного моря на темнокоричневые горизонталы гор. Черная петля обвилась вокруг Грузии.

— Железнодорожная линия, — продолжал Людендорф, — от Батума через Тифлис на Тавриз будет способствовать поражению англичан. Обстоятельства благоприятствуют Германии. Раздробленные революцией пространства России представляют собой выгодный плацдарм для действий немецкой армии. По последним донесениям графа Шуленбурга из Тифлиса, сейчас в Батум прибыли представители Грузинского национального совета. Они обратились с петицией к генералу фон Лоссову. По военным соображениям, я могу только приветствовать просьбу Грузии о германском покровительстве. Фон Лоссову мною дана директива в соответствующий момент удовлетворить

стремление Грузинского национального совета. Должен отметить, еще в тысяча девятьсот шестнадцатом году мы установили некоторую связь с несколькими влиятельными грузинами. Теперь они помогли фон Лоссову в Батумском порту и во главе с сановником Церетели и князем Илларионом Амилахвари прибыли в Германию для координации действий с генералом фон Гроссом.

Фон Гросс внимательно слушал фельдмаршала, делал в блокноте пометки. Он прибыл накануне с палестинского фронта в чине полковника и сейчас был произведен в генерал-майоры. Он был на особом счету у верховного командования. Он прошел длинный путь колониальной службы и прекрасно усвоил практику укрощения строптивых народов на оккупированных территориях. Еще в начале войны он на западном фронте пришелся по душе кронпринцу. Ненависть фон Гросса к французам удивляла даже его высочество. Этот истинно немецкий генерал санкционировал расстрел волонтеров и поджигал французские селения. В Эльзасе он устроил назидательный костер из древних фолиантов.

Восток требовал большей политической гибкости. Но и тут фон Гросс будет в своей сфере. В его арсенале найдутся нужные дипломатические средства. Он может быть и обаятельно светским и устрашающе грубым. Все зависит от политического барометра.

Вот почему фельдмаршал отметил фон Гросса, а имперский канцлер, разделяя мнение фельдмаршала, поручил фон Гроссу Кавказ.

Людендорф разъяснял роль закавказской трассы в задуманном им стратегическом повороте:

— Где выход, спрашивали вы, фон Кнобельсдорф. Повторяю — на Востоке! Добыча нефти в Румынии увеличена сверх пределов, покрыть одной румынской нефтью нашу потребность невозможно. Восток имеет Баку, а Баку может потопить в черном золоте весь земной шар. И хотя счеты с Советским правительством России в данном случае мешают нам, надеюсь, генерал фон Гросс будет действовать быстро и энергично. Верховное командование уже приступило к подготовке атаки на Баку. На Востоке, я надеюсь, нам удастся усилиться не только в хозяйственном отношении, но и укрепить наши моральные силы.

— В Грузии надо действовать весьма энергично! — сказал фон Гросс. — Стратегический курс фельдмаршала продиктован реальной обстановкой. Нефть из Баку мы получим, если будем рассчитывать только на свои силы. В этом отношении опасно полагаться на союзников: даже Турция присвоила в Батуме все найденные там продукты. Эти французы Востока

слишком далеко зашли. Энвер-паша¹ ведет двойственную игру. Господа генералы, я хорошо изучил привычки туземцев, их нравы, обычаи и стремления. Чтобы покорить Грузию и заставить грузин возместить нам расходы, нужна политическая эластичность. В Грузии мы используем местных политиканов и туземных головорезов. Я считаю нужным указать еще на одно весьма положительное явление. В войне раскрылись неопценимые качества нашей нации. Молодые офицеры показывают себя как способные тактики. Я говорю об обер-лейтенанте Вурцбахере, начальнике Заганского лагеря. Разведывательный отдел передал мне его рапорт, насыщенный динамитом...

ГЛАВА 4

Это была самая замечательная пора в жизни Вурцбахера. Специальным приказом срочно предписывалось направлять в Заганский лагерь военнопленных грузин. Вурцбахер не доверял спискам. Он лично ездил в концентрационные пункты, шарил по баракам, проверял списки, допрашивал, предостерегал, сулил выгодный обмен: за одного грузина четырех румын, трех итальянцев. И вот в Загане оказалось тысяча пятьсот грузин. Их сфотографировали, перенумеровали. Ни одно заседание по вопросам тайной оккупации Грузии не проходило без Вурцбахера. И даже по специальному назначению он встречал фрейлину Грузинскую. И, наконец, сам генерал фон Гросс намекнул ему о возможном совместном путешествии в страну изобилия.

Вурцбахер оглядел барак: тысяча пятьсот головорезов, хунхузов Кавказа! Он заканчивал речь о безграничных заботах германского командования. Это надо заслужить, это не бобы жрать. И он, Вурцбахер, немало поработал для блага лагеря. Исключительно ему чумазые обязаны тем, что они живут вместе и не видят русских свиной.

Покашливание Курца прервало неуместные излияния Вурцбахера. Курц бесцеремонно взла из его рук колокольчик и легко заговорил по-грузински:

— Мои земляки! Да, земляки. Грузия — мое второе отечество. Я не ощущаю границы между Грузией и Германией. Я счастлив объявить вам о скором возвращении на родину. Но как мы вернемся? Русскими солдатами, брошенными на гибель в сырых завшивленных окопах? Оборванными пленными? Или все мы надеinem новые сапоги, хорошо пригнанные шинели, положим в карман кошельки с

¹ Энвер-паша — генерал. В годы первой мировой войны военный министр и начальник турецкого генерального штаба. Агент германского империализма.

девятью пятью марками? Не надо быть очень умным, чтобы выбрать последнее. Вы все знаете, какая каша заварились сейчас в русском нелуженом котле.

— Э, пусть в нелуженом, зато каша! — выкрикнул Дзагания с последней скамьи. Дружный смех раздался в бараке. Курц повысил голос:

— Что творится в Грузии? Она призывает своих верных сынов защитить ее от посягательства демагогов. Нет, не будет Грузия задыхаться в объятиях белого медведя! Нет, не пойдет Грузия, опоясанная шашкой из дамасской стали, за каменным топором.

— Фальшиво поет пробковая птица, — сказал студент Лодадзе, склоняясь к Лодо.

Совершив прогулку по «Картлис Цховреба»¹, Курц перешел к разбору действий грузинского царевича Александра, в начале девятнадцатого века поднявшего голубое знамя борьбы с владычеством русских в Грузии...

— И вот снова надо бороться за очищение Коалхиды от грязного сапога!.. Вам, солдаты, выпала честь встать в ряды защитников отчизны! С мольбой и упованием смотрит на вас народ грузинский! К вам простраются изможденные руки жены и невесты... Конечно, одним вам не справиться с наваждением большевизма... Но, хвала творцу, его величество император Вильгельм внял мольбе Грузии и согласился помочь стране, возрождающейся из пепла.

Гул прокатился по рядам солдат. Вурцбахер незаметно растегнул кобуру. Курц отпил из стакана карлсбадской воды, позвонил в колокольчик и невзмучимо продолжал:

— Итак, я предлагаю: расписывайтесь на особом листе и отправляйтесь на Кавказ, где вы образуете грузинский «Легион святого Георгия». Под командованием немецких офицеров вы, легионеры, грозно отстоите Грузию от вторжения большевиков.

Ладо оглядел барак и столкнулся взглядом с Дзагания. Горячий драгун не выдержал:

— Я два года воевал плечом к плечу с русскими! А теперь вы предлагаете измену?!

— Хотите нас подкупить свиной с бами?

— Кто смеет думать, что Шакро Кахияни нарушит присягу?!

— Долго вы грузин немецкому учили, только сами у грузин ничему не научились! — запальчиво крикнул Чикаберидзе.

Студент вскочил на скамью:

— Грузины, вас хотят завербовать на немецкую службу! Не поддавайтесь на провокацию! Нас все равно должны обме-

¹ «Картлис Цховреба» — «Жизнь Грузии», летопись.

нять! Война кончилась! Мы больше не хотим воевать! Домой!

Мощный крик вырвался из тысячи грудей:

— Домой! Домой!

Ладо незаметно стащил студента со скамьи. Казалось, вот-вот разразится гроза. Толстый нос рыжего унтера pokrылся испариной. Но Вурцбахер не подавал знака. Курц шептался с князем Илларионом.

Солдаты выжидательно поглядывали на Ладо. Но он сидел молча.

Поднялся князь Илларион. Он улыбнулся и, откинув рукава синей черкески, поднял руку. Барак примолк.

— Узнаю моих земляков! Не в нашем характере хладнокровие. Кровь вином вспенена, солнцем согрета! Мы спаяны одной мыслью, одним желанием счастья Иверской земле. У нас нет чванства, нет великих и ничтожных. Грузия — одна патриархальная семья, где есть старшие и младшие братья... Война отшумела! И теперь хвала победителям, а здоровым алаверды! Алаверды!

— Шени чиримé¹ — не выдержал Шахро.

Многие заулыбались. Илларион пристально оглядел барак.

— Но что слышу я? Кто-то враждебный вторгается в дружную семью! Вносит раздор и смуту в наш дом! Нет! Мы закроем двери отчизны! Пусть враги разобьют головы о крепкие засовы... Мои младшие братья, сообщая вам радостную весть: верные рыцари Национального совета скоро объявят Грузию независимым государством.

— Ура! Вашá! Вашá! — закричал Шахро.

— Вашá! Вашá! — нерешительно поддерживал его несколько голосов.

Ладо, изменяя почерк, набросал записку, незаметно передал студенту. Записка пошла по бараку.

— Мы никого не принуждаем, — продолжал князь. — Пусть каждый поступит, как подскажет ему совесть. Если здесь некоторые думают, что молодая Грузия обойдется без них, они не ошибаются... Но я — грузин и не могу равнодушно пройти мимо моих братьев. Давайте вместе с открытым сердцем обсудим, что для вас лучше. Вот вы вернулись домой, но что вы найдете там, у родного очага? Русские чиновники обоюбили страну. Война съела все запасы. Крестьянство обнищало, нет скота, нет вина. Что вы, полные сил и здоровья, будете делать в своем доме? Что?

— Среди нас есть горожане, рабочие и...

— Знаю!.. — оборвал князь, вглядываясь в Ладзе. — Что будут делать рабочие без работы? Надо раньше укрепить госу-

дарство. Вопрос ясен: предлагаю вам вступить в «Легион святого Георгия»...

— И повернуть оружие против русских? Князь Илларион, вздохнув, сказал:

— Ну что ж! Допустим, вы не хотите принять участие в устройстве государства. Мир подписан, идет обмен военнопленных... думаю, ваша очередь наступит не позже, чем через полгода...

Из гущи солдат кто-то выкрикнул:

— Я и полмесяца не выдержу! Клянусь богом, повешусь!

Князь снова вздохнул. Он, конечно, понимает: если вожж не тронет козла, он дойдет до Тифлиса. Но... обмен производят русские, а они в первую очередь обменивают большевиков.

— Друзья, есть выход! Вы можете вернуться на родину хоть завтра! — Князь выждав, пока уляжется волнение. — По соглашению с генеральным штабом германской армии комиссия по обмену пленных отправляет всех большевиков немедленно в Москву. Итак, встать! Большевики, прошу налево... — и небрежно взял карандаш, — фамилии?

Никто не поднялся, лишь украдкой поглядывали на Ладо, повернувшись в сторону Ладо. Но он продолжал невозмутимо что-то записывать в тетрадь.

Князь Илларион прошелся по эстраде и остановился у рампы:

— Все ли поняли меня? Нам чужаков не надо! Кто не с нами, пусть уходит. Задерживать не будем, завтра же отправим в Совдепию.

— Вас поняли все, ваше высокоблагородие, — с ударением произнес студент, — среди нас дураков нет.

— Как должен я понять эти слова? — спросил князь.

— Просто, ваше сиятельство. Большевики водятся на советской почве, а не в лагере военнопленных.

— Так... — негромко протянул Курц, — и я понял: здесь есть большевики.

Напряжение нарастало. Князь тихо совещался с Курцем. Вурцбахер утражало поглядывал на солдат.

Ладо придвинулся к рыжему унтеру.

— Герр унтер, ваша карьера висит на волоске, — сказал Ладо. — Разве вы не слышали, что выдумал герр Курц? Он нагао утверждает, что в Заганском лагере водятся большевики...

Рыжий унтер рванулся к эстраде, расталкивая солдат. Внезапно Курц выкатил из-под стола пулемет и направил его на пленных:

— Только тот выйдет живым, кто выдаст большевиков! — Он вынул массивные часы. — Включаю секундомер, даю две минуты на размышление!

— Господин обер-лейтенант, — рыжий унтер задыхался, — репутация лагеря висит на волоске! Эти франты придумали способ отличиться.

¹ Шени чиримé — ласковое восклицание: твои невзгоды на меня.

² Вашá (груз.) — боевой клич.

Лицо Вурцбахера покрылось пятнами, крахмальным воротничок стал влажным. Все понятно! Пройдохи хотят испортить карьеру не только унтеру, но и обер-лейтенанту... Как будут издеваться Гефтен и Унгерн: оказывается, знаменитый правнук знаменитого прадеда коллекционировал в своем лагере большевиков!..

— Итак, две минуты истекли, — медленно пропел Курц и взялся за пулеметную ручку.

Солдаты точно застыли. Только некоторые шарахнулись назад. Вурцбахер вскочил и в приливе бешенства стукнул кулаком по столу. Из стакана выплеснулась вода; он машинально стал пальцем растирать капли:

— Герр унтер, очистить карантин!

— Обер-лейтенант, — прошипел Курц, — я имею полномочия...

— Вербовать на германскую службу грузин, а не инсценировать большевистский парад! Герр унтер, очистить барак!

— Один момент, обер-лейтенант, — взвизнул Курц, — герр унтер, отнимите у того высокого солдата тетрадь, дайте сюда!

Солдаты, уже повалявшие было из барака, остановились.

Курц еще на плацу заметил Ладо и разгадал в нем «главаря». И теперь в бараке наблюдая за Ладо, он подметил беспокойные взгляды солдат и умышленное спокойствие «шельмы». Все эти уловки хорошо были знакомы сыщичку. Он готов поклясться, что где-то видел эти пронизывающие глаза.

Ладо спокойно подошел к рампе и произнес довольно правильно по-немецки:

— Господин пулеметчик, на что вам моя тетрадь? Я ее имею с разрешения герр унтера!

— Тем более, вам нечего опасаться!

Но Ладо, словно не замечая протянутой руки Курца, положил тетрадь перед обер-лейтенантом.

Илларион и сыщик быстро склонились над тетрадью. Вурцбахер захохотал. Он с удовольствием рассматривал рисунок. Через плечо обер-лейтенанта на почтительном отдалении заглядывал торжествующий рыжий унтер.

Чернильным карандашом были начерчены рельсы. Поезд, извергающий клубы дыма, несся вниз. Наверху в кружке стояло по-немецки «Тифлис». В нижнем кружке на нефтяной вышке — «Баку». И под этим подписис: «Любимый маршрут — машинист Ладо Абуладзе» Машинист?! Но это то, что ему нужно! Вурцбахер от удовольствия захохотал, перевернул страничку и прочел вслух: «Военная организация Фридриха Великого была наилучшей для своего времени». Перевернул еще одну страничку и, ежедневно поглядывая на Курца, прочел: «Их бин, ду бист, эр ист»... И вдруг взревел, тыча себя пальцем в грудь:

— Их бин — обер-лейтенант Вурцбахер! Умеющий отличать золото от грязи. Ду бист, — ткнул он пальцем в грудь Курца, — слепой крот! Предпочитающий грязь золоту.

Обер-лейтенанта охватило нервное веселье. Он хохотал, двигая по бархату горшок с геранью. Ему казалось, что он летел в пропасть и вдруг уцепился за куст. Фон Гросс сказал: возможна совместная поездка в Грузию. Тогда... тогда обер-лейтенант использует счастливый случай и угодит генералу, предложив взять с собою опытного машиниста, любящего ту магистраль, которая особенно необходима сейчас Германии.

Оставив освещенный барак, грузины словно провалились в сырую мглу. Моросил мелкий дождь, путаясь в желтых лучах прожектора. Пленные шли растерянные, опустошенные. «Что же дальше? Чего добиваются немцы? Почему именно они хотят дать независимость Грузии?»

Шакро всплыл:

— В чем дело? Сам князь Илларион предлагает скорую дорогу на родину. Он дальше нас видит! А вам что здесь понравилось?

— Эх, башка! Артиллерист, а не заметил, что твой князь рядом со шпионом сидит!

— Князю все можно! Еще деды говорили: если богатый проглотит змею, скажут лекарство принял, а если бедный — скажут: от голода съел.

Солдаты невесело рассмеялись.

— Э, Шакро слишком горячий. Лучше Ладо послушаем.

— Правда. Его тетрадь крепче трубочного табака, шпион задохнулся.

Они спешили к русским солдатам рассказать о бурном дне. Но бараки вымерли: русских вывезли из Загана в другие лагери.

— Понятно, — сказал студент, — нас изолировали. — Он опустил на нары возле Ладо.

Утомленные солдаты бросались на нары и сразу засыпали. Только кое-где слышался приглушенный разговор, гневное восклицание.

Шакро лежал неподвижно, словно боясь вспугнуть воспоминания:

Богатая помещица усадьба. Кукурузные поля тянутся от кургана до реки. Над крутым обрывом разрушенная зубчатая стена, заросшая диким кизилом. А в низине у реки плоскокрыший дом Кахиани. У подслеповатого окошка вздыхает мать. На косогоре покосившаяся изгородь... Любил верхом на ней сидеть братишка, Валико уже шестнадцать лет, наверно матери помогает. Отец не во-время умер. В лесу заболел... Поехал дрова на зиму рубить. Валико просит: «Отец, уже полная арба, некуда класть, пора домой». — «Подожди, сынок, вот срублю дерево, тогда поедем, мать холода боится,

пусть в доме будет тепло». А через десять дней курить попросил, пока трубку принесли, умер. Доктор сказал — от легких... Бедная мать много плакала и все в черный платок куталась. Ему, Шахро, было тогда восемнадцать лет. Маленькая Тинико как козленок бегала, заберется, бывало, на плечо и пищит: «Шакро-джан, я буду княгиней, а ты фазтоном, вези меня...» — Шахро тихо засмеялся и погладил плечо, точно там сидела сестренка. Потом война, призыв... Страшно было уходить... долго стоял на пороге... Вдруг ветер ворвался, распахнул дверь и грубо погасил лампу...

Потянулись темные, тоскливые дни. Полази эшелоны, медленные, как арба. Потом окопы, чужие лица, первое сражение, огонь, кровь... И вот он в конной батарее, которой командует капитан Илларион Амилахвари. Князь сразу дал Шахро хорошего коня. И поскакал артиллерист Шахро ординарцем по дорогам, перелескам... Позади оставались дни, ночи, перекрещенные лучами прожекторов, вздыбленные взрывами, захлестнутые стоном, грохотом, воем... Из печи сатаны вынес он, Шахро, раненого князя на своих плечах... А потом... Нет, дальше не стоит вспоминать... Шахро прислушался.

Тихо, почти шопотом, беседовали Ладо и студент.

— Порицаю твою неосторожность, так можно провалить все дело.

Лададе махнул рукой:

— Знаю... Не вытерпел... Эти оловянные рожи надеются купить нас. Земляки рвутся домой. А мы разве не мечтаем о родине?

Его большие мягкие глаза затуманились.

— Моя мать... Знаешь, ее черные волосы за год побелели... Я у нее один...

Он на минуту замолчал, а затем сказал убежденно:

— Ничего... потерпим... Еще месяц, два, и мы вырвемся из их лап...

Ладо задумчиво смотрел на студента.

— Все оказалось сложнее, чем думалось. Я должен немедленно пробраться в Грузию.

— Ты что, бежать задумал?

— Мне еще рано висеть на железном крюке.

— Тогда не понимаю...

— Жаль. А начерченная в моей тетради магистраль Тифлис — Баку. тебе ничего не говорит? Сейчас в Грузии много мутной воды. Там, наверно, удят рыбу все, кому не лень. Можно не сомневаться, меньшевики подадут немцам на стол богатый улов.

— Сильная у тебя воля, Ладо, а я вот так не смог бы. Ты взвешиваешь каждый шаг, продумываешь ходы. А я готов первому унтеру вцепиться в горло.

— Может ты думаешь, мне приятно заучивать цитаты из Фридриха Великого?..

Мы прошли через кровавое болото и должны предвидеть завтрашний день. Над нашей родиной распростер крылья прусский орел. Только рабочий класс в состоянии дать ему отпор. Я должен предупредить товарищей о смертельной опасности. Врага легче взрывать изнутри.

— Я думаю, открытая борьба скорей всколыхнет массы, увлечет их за собой... Но оставим этот спор до лучших дней... Пока нам нужно уберечь тысячу пятисот жизней от немецкой западни. Нелегкое дело. У немцев хорошая приманка — возвращение на родину. Многие молут и не выдержать.

— У меня другое мнение. Грузин связывает общая честь. И даже если кто в душе и хотел бы польститься на немецкие посулы, вслух не выскажется и против своих не пойдет...

Ладо не ошибся. В последующие дни Курц и князь Илларион вновь убеждали грузин. Но ни заманчивые обещания, ни угрозы не заставили их подписать немецкую бумагу.

После совещания с Курцем князь Илларион выехал в Берлин. Следом поспешили и Вурцбахер, вызванный секретным пакетом. А Курц продолжал вызывать пленных поодиночке, сличал с фотоснимками, допрашивал о родственных связях, знакомых, профессии и убеждениях.

ГЛАВА 5

Бурлил Тифлис. Стихийно возникали митинги. На дворе железнодорожных мастерских напрасно силился водворить тишину Нико Абуладзе, беспрестанно ударяя трубочкой по буферу паровоза.

— Нельзя молчать! Разве не видите, меньшевики отдают грузинский народ под власть султана!

— Уже к Озуретам тянутся курды!!

— Крадутся к Ахалцыху!!¹

— Скоро Энвер-паша повернет аскеров к Александрополю, Караклису!

— Не повернет! Чхенкели¹ не допустит!!

Презрительным хохотом ответила толпа на этот возглас. И вдруг всколыхнулась.

На трибуне появился Степан Шаумян. Он привычно откинул прядь волос, улыбнулся Нико, стоящему на паровозной площадке, и передал тифлисским рабочим привет от Ленина и Сталина.

Под вновь вспыхнувшие аплодисменты Нико спросил, как поживают вожди революции.

— К нашему счастью, хорошо! — улыбнулся Шаумян. — В Смольном печалятся они и о судьбах Закавказья. А в широкие

¹ Чхенкели, Акакий Ив. — депутат IV Гос. Думы. В 1917 г. комиссар Временного правительства в Закавказье. Один из лидеров грузинск. меньшевиков.

окна врывается и прибор Тихого океана, и гул Волги, и шум Куры.

Эмиссар Коста в сатиновой кофеварке, пробираясь к Шаумяну, кричал:

— Вы забыли уроки французской революции и щедро распорядились нашими священными землями!

Во дворе поднялся невообразимый шум. Рабочие — большевики и меньшевики угрожающе надвигались друг на друга.

Степан Шаумян властно поднял руку. Толпа замолкла.

— Пустые фразы всегда катятся с грохотом. Видно, я вам пришлось по душе, господин эмиссар. Вы за мной по пятам ходите. Вот уже на третьем митинге я имею удовольствие вас лицезреть. Кстати, господин эмиссар, вы случайно не заметили, что мы спасли Тифлис, Эривань и Баку. А вы что спасли, кроме своей социал-предательской каши?

Эмиссар Коста тяжело задышал, его светлые, точно полинялые глаза налились кровью:

— Вы кто, Шаумян?! Каким образом вы очутились чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа?!

— Насчет фокусов это вы мастера! — засмеялся Шаумян. — Вспомните, как вы выдумали Закавказский сейм.

Смех Шаумяна, подхваченный железнодорожниками, окончательно вывел эмиссара из равновесия. Он взвизгнул:

— Ваш мандат! Кем он подписан?

— Дай ему, товарищ Шаумян, по псе! Тоже контролер нахался! — крикнул из толпы слесарь Ивань.

— Молчи, щенок! — рявкнул скуластый мастер в щегольском картузе.

Шаумян спокойно поправил под крахмальным отложным воротником галстук.

— Мой мандат подписан председателем Совета Народных Комиссаров Владимиром Ульяновым-Лениным и Народным Комиссаром Иосифом Сталиным. Но я его предъявляю после образования краевой советской власти на Кавказе.

— А мой мандат вот! — и выхватив клетчатый платок, Коста взмахнул им в воздухе.

Зацокали копыта. Мелькнули золотые кисти башлыков. На полном карьере ворвался во двор эскадрон Особого отряда. Его встретили свистом, улюлюканьем и восторженными возгласами. И, заглушая толпу, в жестяной рупор кричал Нико:

— Долой Закавказский комиссариат! Долой бутафорский сейм!

— А может долой большевиков?! — выкрикнула токарь в темных очках.

— А тебе, слепому, что видно?! Лучше кричи: Вся власть советам! — прогудел кузнец Миха, размахивая кулаком, похожим на пудовую гиру.

Эмиссар вытирал платком потный затылок. Выждав, пока особотрядчики оцепили двор, он надменным взглядом смерил Шаумяна:

— Вы нарушаете революционный порядок! Предлагаю в двадцать четыре часа покинуть Закавказье, в противном случае подвергну вас аресту...

Шаумян небрежно отмахнулся и сошел с трибуны. Он пожал руку Нико.

— Как дочь? Красавицей растет? А от сына есть вести?

— Жду его, — и проводив презрительным взглядом гарцующего командира особотрядчиков, тихо добавил, — как видно, нам придется уйти в подполье. Пожалуйте в депю, там пока хозяева мы, железнодорожники.

Грузный Миха, сдвинув мохнатые брови и вытащив из кармана кожаного фартука кузнечные клещи, верным телохранителем следовал за Шаумяном.

Из полумглы выступали силуэты паровозов. Сквозь высокое окошко падал свет на стол, покрытый красным кумачом. Нико обернулся:

— Симонэ, расставь посты и никого не пропускай.

— А кто посмеет? — Смуглый слесарь заодно хлопнул по кобуре и лихо подкрутил черные усики.

В депо становилось все теснее. Стекались мастера и рабочие вагонного цеха, сборного, арматурного. У входа синела кофеварка Симонэ, поблескивали картузы постовых. Внезапно появился командир эскадрона и, опустив руку на деревянную кобурку, потребовал, чтобы его пропустили.

— Что у вас там?!

— Машинное масло, мазут. Не стоит пачкать черкеску. — И Симонэ решительно загорючил чуть приоткрытую дверь.

На лбу особотрядчика вздулась синяя жила. «Стоит ли с разбойниками возиться?!» — подумал, он и, щелкнув каблуками, отдал честь.

— Слушаюсь, собачий сын! Ты у меня еще выпьешь мазута, целый бурдюк!

Без стремян вскочил на коня, выхватил маузер, выстрелил в воздух и поскакал.

Нико усмехнулся и важно провел по усам:

— Жандармерия меньшевиков запугивает нас, закаленных. Но славное прошлое не ржавеет. Его и огнем не выжжешь. Вспомните, кто выступал здесь на собраниях забастовщиков? Кто не допускал штрейкбрехеров? Кто писал прокламации и распространял их?

— Известно кто, товарищ Коба! — пробашил Миха.

— Наш Сталин!

Нико кашлянул:

— Так повторим старый опыт, оставленный нам Сталиным... И тогда царский офицер грозил: «Разойдитесь! А то прикажу стрелять!» Вышел из рядов забастовщиков Сталин, и зазвенело его слово, как добрый удар шапки: — Мы не маленькие дети. Вот наши требования — пусть их выполняют, и тогда мы выйдем на работу.

А так нас не запугать! — Нико гордо оглядел депо. — И сейчас мы заверим нашего дорогого гостя, Степана: нас не запугать!

И он внятно прочел:

«Выслушав доклад товарища Шаумяна «О контрреволюции и революции в Закавказье», собрание находит, что политика местной закавказской власти... есть политика буржуазно-помещичьего соглашения, уже сметенная в России Октябрьской революцией и продолжающая свое существование только в Закавказье.

Единственная власть, способная свалить и уничтожить буржуазно-помещичью контрреволюцию и найти выход из того смертельного тупика, куда привело коалиционное правительство Закавказья, является власть советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов...»

Вновь загудело депо. Посыпались предложения, добавления. Наконец, Нико первый подписал листок и наклонился к Шаумяну:

— Эта резолюция подавляющего большинства железнодорожной гвардии будет напечатана в «Кавказском рабочем» и доставлена вам в Баку.

Шаумян любовно смотрел на старого мастера:

— Будем, товарищ Нико, держать тесную связь. Посылайте ко мне верных людей. Я как председатель Бакинского совета, постараюсь быть вам полезным. И директивы центра обещаю пересылать аккуратно.

Незаметно сгустилась мгла. Серdito пытели паровозы, выходя на линию, слепящим светом фонарей на миг захлестывая будки, заборы и изгибы рельс.

Ночью, сопровождаемый Нико Абуладзе и кузнецом Миха, Шаумян в солдатской шинели тайно покинул Тифлис.

Когда эмиссар Коста приехал во дворец, его изумило ликование, царившее там. Он пытался поразить министров своей победой в железнодорожных мастерских, но его никто не слушал.

Акакий Чхенкели торжественно стучал карандашом по бумаге, украшенной изображением зеленого полумесяца. Миха Церетели возбужденно метался по кабинету, заставляя звенеть на дворцовых канделябрах хрустальные подвески. Председатель Национального совета удовлетворенно теребил бородку.

Подсаживаясь то к одному министру, то к другому, Коста выяснил причину радостного волнения.

Наконец-то Оттоманское императорское правительство одобрило отказ триумвирата — грузинских меньшевиков, армянских дашнаков и азербайджанских мусаватов — признать Брест-Литовский договор и предложило созвать конференцию для выработки приемлемых условий мира между Турцией и Закавказьем. Подчеркивая ува-

жение к председателю Национального совета, Энвер-паша согласился на встречу мирных делегаций не в Стамбуле, а в Трапезунде.

Этому обстоятельству придавали особое значение. Трапезунд был пока неизвестно чей, хозяйничал же в нем все еще генерал Колосовский, командовавший частями 37 и 42 дивизий русской Кавказской армии. А раз Трапезунд ничей... то, кто знает, какой оборот примут переговоры? Грузины времен царицы Тамары однажды уже владели Трапезундом...

Хлопотливые дни миновали. Сейм наметил состав делегации. Гегечкори¹ отправил в Трапезунд радиотелеграмму. Генерал Колосовский не замедлил распорядиться о пропуске в трапезундскую бухту турецкого миноносца.

Семнадцатого февраля в царских комнатах вокзала были подняты бокалы с шампанским в честь отъезжающих. Говорились страстные речи о рыцарском мече и благородном праве умереть за идеалы.

С ответными заверительными спичами выступали господа Хатисов² и Гаджинский³.

Распорядитель проводов эмиссар Коста в модном пальто и парижском котелке влетел с пышным букетом красных роз. Победоносно выкрикнув: «Пора!», он широко распахнул дверь на платформу.

Под звуки духового оркестра почетного караула, делегаты, приподняв котелки и шляпы, вошли в салон-вагон. Три раза ударил колокол, и Коста торжественно вручил Чхенкели букет.

Поезд отходил на Батум...

Утреннее солнце мягко освещало белые террасы Трапезунда. За морской далью едва вырисовывалась голубая линия Кавказа. Легкий ветер шевелил верхушки кипарисов. В бухту тихо входил крейсер «Король Карл».

Все одиннадцать делегатов вышли на палубу. Шныряли большие высоконосые лодки и тяжело напруженные барки причаливали к торговым пароходам. Но турецкого миноносца на рейде не было.

На берег в моторной лодке съехали только Чхенкели, Хатисов и Гаджинский.

¹ Гегечкори, Е. П. — один из лидеров грузинск. меньшевиков. Депутат III Гос. Думы от Кутаисской губ. После Октябрьской революции председатель Закавказского комиссариата, позднее министр иностранных дел.

² Хатисов, Александр Ив. — тифлисский городской головы в годы Первой мировой войны. Лидер армянской националистическо-буржуазной партии Дашнакцутюн. Министр-председатель буржуазно-демократической республики Армении в 1918—1920 гг.

³ Гаджинский, М. Г. — один из видных руководителей азербайджанской националистическо-помещичьей партии Мусават.

В порту местный вали приветствовал их как гостей, похвалил крейсер, но отклонил разговор о миноносце.

С веранды виллы делегаты любовались фиговыми деревьями и развалинами крепостных башен, обвитыми плющом. Но за три дня анатолийский пейзаж им окончательно наскучил. И к Гегечкори полетела телеграмма:

«Местные власти заявили: турецкая делегация выехала вчера из Константинополя, будет в Трапезунде завтра, 26, ждем третий день. Как полагаете, можно ждать или выехать обратно, если делегация не прибудет и завтра.

25 февраля. 22 часа 09.

Председатель делегации А. Чхенкели».

На следующее утро, наблюдая, как из опаловой дымки вырисовывается темная скала Митрос, Чхенкели составил шифрованный текст новой телеграммы. Он сообщал, что по достоверным сведениям турки усиливают свои войсковые части в трапезундском направлении и перебрасывают подкрепления даже с европейского театра военных действий.

Наконец, в бухту проскользнул турецкий миноносец.

Поспешив с визитом к Рауф-бею, председателю Оттоманской делегации, Чхенкели обменялся с ним взаимными заверениями. Оказалось, что султан «желает заключить братский и продолжительный мир с Закавказьем», что «после стольких ран должно наступить излечение» и что «турецкая делегация приехала в Трапезунд с полномочиями и желанием заключить мир и вечную дружбу». А «закавказская делегация с чувством большого удовлетворения отмечает искреннее намерение Оттоманского правительства установить добрососедские отношения Турции с Закавказьем и выражает полную надежду на желательный исход конференции».

За крепким турецким кофе Рауф-бей познакомил Чхенкели с двадцатилетней историей Трапезунда, самого древнего города Анатолии.

Возвращаясь, Чхенкели не замечал ни восхитительной местности, поросшей митами, лаврами, виноградными кустами, ни оливковых, апельсинных и лимонных аллей, над которыми высились минареты, ни фиштакшковых деревьев, ни финиковых пальм и даже отвернулся от белеющих на юге гор Колат-Дага.

Он был не на шутку разгневан. Какая наглость! Рауф-бей предложил разоружить прибывший на крейсере конвой и мирно переехать в город. Взбешав по трагичности напавшую на Чхенкели без злорачества повторил обступившим его делегатам ответ Рауф-бею: Трапезунд пока является нейтральным пунктом, юридически не принадлежащим ни России, ни Турции, но

до сего часа, как следствие побед русского оружия в Малой Азии, находится над трапезундским укрепленным районом генерал Колосовский. Поэтому закавказская делегация не может быть стеснена какими-либо условиями ограничительного характера. Пропуском же миноносца в Трапезунд благородный Рауф-бей обязан ему, Чхенкели.

После обмена мнений начались полуофициальные беседы, потом пленарные заседания, потом письменные заявления, потом взаимные протесты.

И пока летели курьеры, шифрованные депешки и пакеты с министерскими печатками, Вехиб Махмед-паша¹ ультимативно потребовал от закавказских правителей беспрепятственного пропуска турецких войск по железнодорожной магистрали в сторону Джугулы, якобы для активных действий против англичан в Персии. Но в действительности турецкий генеральный штаб стремился опередить действия германского генерального штаба и до прихода немецких войск самому оккупировать Закавказье.

Тут господин Хатисов, делегат Армении, забыл правила дипломатии и потерял терпение: «А что выпрыгивают дашнаки, полумесяц на небе?»

Александр Иванович Хатисов слыл дипломатом и краснобаем. Будучи много лет городским головой Тифлиса, он, ловко лавируя между противоречиями армянских буржуа и грузинской аристократии, всегда выходил сухим из бурлящих вод.

А сейчас? Угораздило же Николая II выпустить из своей десницы Кавказ! Но так и надо слишком щедрому на слово Александру Ивановичу! Какую речь он произнес в декабре четырнадцатого года на тифлисском вокзале, встречая милостивого монарха? Он тогда звонко сказал: «Осчастивьте нас, государь, вступлением в стены древнего города и узрите, как бьются сердца разноплеменного населения одним пламенным желанием всемерно слиться со своим царем...»

Но если он в четырнадцатом унижался перед последним Романовым в Тифлисе, это не значит, что в Трапезунде в восемнадцатом он позволит саатпаку султана наступить на шлейф дашнакцутюнской Армении! В самой изысканной форме на французском языке изложил он Рауф-бею свою точку зрения на непрерывное продвижение турецких войск в глубь Закавказья, что не соответствует интересам партии дашнакцутюн.

Чхенкели и Гаджинский хмуро переглянулись. Отвечал Рауф-бей также на фран-

¹ Ферик Вехиб Махмед-паша — генерал-лейтенант, главнокомандующий турецкими армиями Кавказского фронта, военный делегат на Батумской мирной конференции.

¹ Вали — губернатор в Турции.

цузском языке исчерпывающе, но не вразумительно. Так, по крайней мере, думал Хатисов. Указав, что Брест-Литовский договор благоприятствует созданию красивой советской власти в Закавказье и, следовательно, неприемлем для Грузии, Азербайджана и Армении, Рауф-бей подчеркнул, что турецкая армия временно занимает Закавказье, в целях защиты политики трех партий от посягательства Советов.

Чхенкели, опомнившись, ужаснулся и поспешил признать Брест-Литовский договор, по которому Османское правительство лишено было права оккупировать Закавказье.

Но Рауф-бей недаром прошел дипломатическую школу на стыке Стамбул—Берлин, он внезапно предложил Закавказью, для скрепления «договора дружбы», официально отвергнуть Брест-Литовский договор и декларировать независимость от Советской России.

Все стало ясным, как переливы трапезной зари. Генерал Колосовский пригласил к себе на виллу господ Чхенкели и Хатисова. Посоветовав остерегаться Гаджинского, сочувствующего, как и все мусависты, туркам, генерал секретно сообщил, что, пока мирные закавказцы изошрялись в прениях, османское командование возобновило наступательные действия. Заняв Батум, Зеленый мыс и Чакову, Вехиб Маммед-паша бросился в глубь Грузии. Части аскеров, курдов, арабов и негров захватили Кобулеты и вторглись в Гурию...

Делегация, срочно отозванная сеймом, возвращалась в Тифлис через Батум, над которым уже реяло зеленое турецкое знамя.

ГЛАВА 6

Начальник императорских поваров, отступив от стола, критически оглядел торт сложной архитектуры. Он еще раз сравнил его с собственноручным рисунком императора Вильгельма и, подумав, воткнул в остроконечную сахарную башенку шоколадный флюгер.

Торт «Торжество Германии» готовился сорок восемь часов. В помощь шеф-повару прибывали повара из других королевских дворцов и кондитеры с улицы Унгерден-Линден. Торт был пяти метров длины. В центре на высоком шоколадном холме возвышался многобашенный замок Гогенцоллернов. За крепостной стеной с бастиянами из марципанов неприступной твердыней господствовал над всем миром замок. Мир был расположен у его подножия. Далее возвышались французский парламент из конфетной канители, бискупный букингемский дворец и вашингтонский Белый Дом из взбитых сливок. Храм Василия Блаженного из разнотон-

ного бизе граничил с цукатным мадридским дворцом и стамбульскими минаретами, покрытыми аденцовою мозаикой.

Старший повар посмотрел на часовую стрелку, вытер руки и присосанился.

Слышно было, как распахивались бесчисленные двери. Вильгельм II в сопровождении гофмейстера приближался к дворцовой кухне.

Кухня — источник здоровья нации! Кайзер лично утверждал бюджет каждой персоны за императорским столом.

Сегодня кайзер торопился. Он наспех проинспектировал отделение жарких, осмотрел нежную телятину, деловито полила соусом пирамиду из гусей и военным шагом проследовал дальше. Он не остановился ни в рыбном отделении, ни в закуском, ни даже в десертном.

Политический торт «Торжество Германии» занимал все его мысли. Поставив еще две шоколадные пушки на бастионы замка, кайзер подумал: «Я был прав, став своим собственным канцлером. Воля императора — высший закон. Торжество Германии приближается. Французы бегут, бегут и англичане! Недалек час — дрогнут и янки!»

Инспектирование кондитеров не мешало Вильгельму продумывать вероломное поведение союзной Австро-Венгрии. Император Карл стремится выскользнуть из войны. Он даже непрочь за моей спиной начать мирные переговоры с Антантой, угрожая, в случае противодействия, увести свои «победоносные» войска с фронта. Лучше бы этот недожаренный заяц не распускал своих нервов».

Какие неприятные часы провел сегодня кайзер, вождь германской нации. Вызванный с передовой линии генерал Гальвиц даже не постарался скрасить неприглядное состояние дел: «Громадное число трусов в тыловых учреждениях, появление красного флага в уланском полку, вернувшегося в действующую из отпуска, волнение в стране, жажда мира — расшатывают боевой дух армии».

Но он, железный Вильгельм, не поддавался нитью уставшего генерала. На знамени Гогенцоллернов начертано: «На суше и на море непобедимы». У него есть Людендорф, Гинденбург, фон Гросс, непоколебимая когорта истинных немцев.

Четырехугольные колонны уходили ввысь, пересекая мраморный ярус, где гремел оркестр. У трона застыли кирасиры с орлами на касках. Принцы германских династий сгруппировались вокруг тронного возвышения.

После Брест-Литовского договора их с новой силой охватила вековая страсть к территориальным захватам. Фантастический план мирового господства кружил им головы. Вюртембергский герцог фон Урах, стоя у позолоченного кресла, слушал уверения Матиаса Эрцбергера, депу-

тата рейхстага, в непреклонном решении партии центра возвести герцога на литовский престол. Несколько ближе к трону принц Фридрих-Карл Гессен-киш, шурина Вильгельма, с неудовольствием посматривал на статс-секретаря иностранных дел фон Кюльмана, который медлил передать ему подарок кайзера — финляндскую корону. «Когда вопрос касается самого Вильгельма, — думал принц, — то мысли в тяжелой голове статс-секретаря ворочаются быстрее мельничных жерновов. Стоило кайзеру узнать, что в курляндских лесах попрежнему пасутся зубры, как он тотчас получил согласие фон Кюльмана на захват лично для себя нового охотничьего угодья и уже рисует герб Курляндского герцогства».

Принц Баварский Рупрехт, опершись на палаш, деловито обсуждал с принцем Адальбергом Прусским раздѣл между ними Эльзас-Лотарингии. Саксонский принц, выйдя из тени баладахи, подошел к Рупрехту и твердо дал понять, что управление Верхним Эльзасом будет производиться из Дрездена.

Кронпринцесса и принцесса Виктория-Луиза, продолжая бледно улыбаться генералам с горящими звездами на муаровых лентах и турецкому послу с бриллиантовым полумесяцем на груди, скучающе поглядывали на плотно закрытые двери.

Принц Рупрехт ненавидел парадные выходы своего августейшего дяди. Фон Гросс тщательно старался обратить внимание хмурающегося принца на княжну Грузинскую. Вон она среди принцессы Шаумбургской, Гессенской и эрцгерцогини Австрийской.

— Звезды Востока, мой генерал, мерцают слишком туманно, я предпочитаю ясное немецкое небо над замком принцессы Баденской.

Скрывая неудовольствие, фон Гросс почтительно склонил голову. Фельдмаршал Людендорф возложил на него слишком тяжелую миссию — повернуть внимание прямого принца от Европы к Азии.

Взвод гвардейских grenadiers в прусской форме времен Фридриха Второго застыл на карауле. Переполненный тронный зал тихо шептался, ожидая высочайшего выхода.

Манана волновалась. Сегодня она будет представлена императору. Вот уже месяц, как она живет в особняке на Вильгельмштрассе. Камерные приемы у августейших особ, милостивая улыбка Августы-Виктории, чековая книжка из рейхсбанка. Правда, радость омрачалась скучным визитом представителя Круппа, разговором о грузинском марганце и неинтересной прогулкой с фон Гроссом к памятнику великого курфюрста. А потом веселая неделя в Потсдаме, и Манане уже мерещился вензель фрейлины германского двора.

В распахнутые двери вошли Вильгельм и Августа-Виктория. За ними следовала свита. Начался церемониал поздравлений по случаю «светлого христового воскресенья». Но этот дворцовый ритуал не был только данью религии. Вильгельм считал себя великим дипломатом и хотел лично проверить, какое впечатление производили последние победы его армии на дипломатический корпус.

Кайзер не поднялся по трем ступенькам к тронному креслу. Он встал по правую сторону возвышения, императрица по левую. Этим кайзер подчеркивал свое отношение к конституции.

За Вильгельмом и Августой-Викторией разместились члены императорской фамилии и по рангам свитские генералы, статс-дамы, фрейлины, пажи...

Послы и посланники, великие герцоги немецких княжеств, придворные чины останавливались на два шага от Вильгельма и, принеся поздравления кайзеру, с поклоном подходили к его супруге.

Среди этого золотом шумящего моря выделялись черные фраки королей индустрии. Подлинные властелины Германии, они с подчеркнутой почитательностью приветствовали «обожаемого монарха».

И не случайно рядом с ними находился фельдмаршал Людендорф, окруженный генералитетом... Чуть подалеже выстроились гвардейские офицеры и офицеры генерального штаба. С неммым восторгом смотрели они на кайзера. Среди прусских мундиров выделялась белая черкеска князя Иллариона.

Сопровождаемый Людендорфом и фон Гроссом кайзер прошел в садик дворцового павильона «Зеленая шляпа». Сюда глухо доносился гимн Германии. Фельдмаршал и генерал почтительно слушали кайзера. Он был в великолепном настроении и милостиво напутствовал фон Гросса:

— Ваша задача, генерал, сохраняя облик ангела мира, внушить кавказским политикам, что устойчивость их власти зависит от германского оружия. С чувством удовлетворения я буду следить за вашими успехами. Не сомневайтесь, что вы сумеете выколотить из их спин демократическую пыль. Где появляется немецкая гвардия, там не место демократии.

Людендорф, заметив движение кайзера, поспешил подать ему папиросы. Генералы благоговейно молчали. Кайзер курил, внимательно изучая лицо фон Гросса.

— Превосходно! Грузинские демократы, боящиеся большевистской революции, добиваются нашего покровительства. Соглашение с демократами должно состоять в том, что мы возьмем у них богатства недр, сырые материалы. Мы не останемся неблагодарными, наша высокая обязанность способствовать развитию Грузии. Чтобы поднять моральный и религиозный уровень грузинского народа, мы вернем ему

священный исторический строй. В глубине сердца я надеюсь, что мне удастся с помощью преданных рыцарей армии поднять в народах Кавказа религиозное чувство, развить в них понимание нравственной, христианской жизни. Грузинское царство, азербайджанский султанат и армянское герцогство должны стать нераздельными частями великой германской империи.

Кайзер энергично подкрутил усы. Фон Гросс решил, что ему пора вступить в разговор:

— Ваше величество, по данным разведывательного отдела генерального штаба, демократы в Грузии весьма небогаты...

Вильгельм одобрительно засмеялся:

— Превосходно! Как-то раз Бисмарк сказал мне: «Пока люди на востоке носят рубашку поверх брюк, они — приличные парни; но когда они засунут рубашку в брюки, да еще повесят орден на грудь, то становятся свиньями».

Генералы в меру разделяли хорошее настроение кайзера. Из глубокой рамы на них строго смотрел старый Фридрих.

Кайзер прислушался. Музыка доносилась громче.

— Слышите, фельдмаршал? Это боевые песни валькирий. В моем сердце они входят самый радостный отклик.

Фельдмаршал почтительно наклонил голову, его усы торчали, как наконечники стрел древних германцев:

— Ваше величество, мне слышатся слова старшего Мольтке «о нашем немецком Босфоре с его полками германских рабочих и солдат». Банки, фабрики, северные Ллойды превратят на этих берегах фантазию в немецкую реальность. Мы еще раз докажем Англии, что ей никогда не связать железные крылья империи черного орла.

— Дранг-нах-Остен! Эта музыка летит по нашему операционному направлению. На территории Кавказа она прогремит валлами из двенадцатидюймовых пушек.

Людendorф с удовольствием слушал фон Гросса. Этот генерал нравился ему все больше. Ему захотелось еще раз обратить внимание кайзера на удачный выбор.

— Ваше величество, как барон фон Гросс должен относиться к светлейшей княжне, будущей царице Грузии?

Вильгельм небрежно стряхнул пепел с папиросы:

— Для меня женщина-повелитель — смешное существо. Умные женщины вообще опасны — на них надо надевать намордники раньше, чем они начнут кусаться. К счастью, в данном случае мы можем обойтись без намордника.

Генералы улыбнулись.

— Я с искренним удовольствием дам княжне отеческое напутствие... — И кайзер, милостиво отпустив фон Гросса, ве-

село посмотрел на Людendorфа. — Императрица охотно пообедает у вас. Позаботьтесь о том, чтобы ваш знаменитый повар проявил все свое искусство...

В тронный зал фон Гросс возвращался прусским шагом. Но ему казалось, что его несут ангелы. Он чувствовал себя столпом трона Гогенцоллернов — рыцарем без страха и упрека.

Навстречу плыл вальс Штрауса «На голубом Дунае». Фон Гросс остановился у белой колонны.

Перед ее величеством склонился китайский посол. Длинные обвисшие усы скрывали загадочную улыбку дипломата.

Фон Гросс вспомнил Бремениафен, день 27 июня 1900 года. Он, лейтенант, стоял на правом фланге в первом ряду выстроенных войск, отправляемых в Восточную Азию. Кайзер Вильгельм твердо приказал с помоста, воздвигнутого в гавани: «Пощады не давать, пленных не брать! Подобно тому, как тысячу лет назад при короле Этцеле гунны оставили память о своей мощи, до сих пор сохранившуюся в преданиях и сказках, точно так же благодаря вашим деяниям имя немцев в Китае должно запомниться на тысячу лет, так, чтобы никогда китайцы не посмели даже косо взглянуть на немца».

Во время речи кайзера лицо рейхсканцлера Бернгарда Бюлова все больше вытеснялось, и он тут же, через директора бременского Ллойда, благоразумного господина Виганда, обязал всех присутствовавших журналистов печатать эту речь, избегая рискованных выражений. Совсем близко от правого фланга князь Гогенлоэ прошептал Бюлову: «За эту речь я никак не могу взять в рейхстаге ответственность на себя, это уж должны попытаться сделать вы...»

И теперь, наблюдая за китайским послом, фон Гросс возмущался дипломатами, по сей день мешающими кайзеру открытой силой защищать престиж и честь Германии. А с какой пророческостью кайзер взывал в своей пророческой картине «Народы Европы, охраняйте ваши священные права!»

И сейчас перед фон Гроссом с необычайной яркостью возникла эта картина: на высоком утесе архангел Михаил, распластав тяжелые крылья и сжимая меч из молний, указывает воинственным женщинам — европейским державам — на Будду, приближающегося на драконах в тучах дыма и огня. Желтая гроза вот-вот разразится над европейскими городами. Встреленные птицы взвились над пограничной рекой. Но сверкает светоизлучающий крест, и Германия в образе Кримгильды готовится нанести удар обнаженным мечом... И удар будет нанесен. Сам кайзер только что вложил в руку ему, генералу фон Гроссу, меч Зигфрида. Прорыв на Кавказ, завоевание Индии! Фон Гросс не допустит ни желтой, ни красной грозы...

Манана опустилась в кресло. Огромные овальные зеркала, отражаясь одно в другом, создавали иллюзию бесконечной амфилады комнат. Сюда ее привел фон Унгерн и, точно Мефистофель, исчез в зеркальном простенке. Манана почувствовала странную робость. Приближался кайзер.

Разговор начался с воспоминаний. Кайзер интересовался, давно ли княжна видела графиню Клейнмихель.

— Больше всего я ценю графиню за ясный ум, и вас, моя княжна, я избрал за ваши разум и добродетели. Про меня распространяют много небылиц. Говорят, что я хочу ограничить деятельность женщин кухней, церковь, детьми и платьями. Как мог я, сын своей матери, столько сделавшей для эмансипации женщин в Германии, сказать такие слова?

— Ваше величество, я взволнована высочайшим вниманием. — Манана приподнялась для реверанса. Но Вильгельм удержал ее.

— По моему приказу, — продолжал кайзер, — мой генеральный штаб разыскивал потомка последней династии грузинских царей. Жребий пал на вас. По воле providения я призван восстановить монархический строй в Грузии. Этим историческим актом я навсегда отторгну Грузию от России и соединю неразрывными узами с моей империей царство знаменитой царицы Тамары.

Княжна молчала, с восхищением глядя на императора.

— Вы призваны спасти под моим руководством грузинский народ от хаоса революции и посягательства соседей. Мы ждем от вас непреклонного проведения в вашем царстве германских идей. Вы еще услышите много назидательного от моих генералов. Когда вы окажетесь в водовороте политики, я хочу, чтобы вы всегда помнили, что вам покровительствует великая Германия. В духовном отношении, княжна, сегодняшний день для вас имеет такое же значение, как для офицера или солдата день присяги на верность знамени.

— Ваше величество, я никогда не была в Грузии...

Кайзер вместо ответа вручил побледневшей Манане золотой браслет со своим портретом на эмали, обрамленным бриллиантами.

Придворный ужин близился к концу. Под звуки «Вахт ам Рейн» камер-лакеи внесли на огромной серебряной подставке торт «Торжество Германии».

С затаенным удовольствием Вильгельм наблюдал, какой эффект произвел торт. Вот на зубах испанского посла хрустнула французский парламент, развалился на дрезденском фарфоре вашингтонский Белый Дом, и баварский король стряхнул с усов леденцовую мозаику минарета. Уже проворные зубы принцессы Баденской

догрызали крышу бужингэмской резиденции. И только замок Рогенцоллернов неизбежно возвышался среди разрушенного мира. И когда турецкий посл с многозначительной улыбкой пожелал отведать одну из башенок замка, его серебряный нож ударился о гранит, облицованный шоколадом...

Принц Рупрехт только что кончил вальсировать с принцессой Баденской. Неожиданно рука кайзера опустилась на его плечо:

— Рупрехт, светлейшая княжна Манана Грузинская ждет тебя на следующий тур вальса.

И снова под высоким дворцовым сводом плыл вальс. Дирижерская палочка выполняла приказание кайзера. Плавно скользила Манана по залу в объятиях немецкого принца. Князь Илларион мысленно перекрестился:

— Сегодня воистину Христос воскрес! А вместе с ним грузинская монархия!

ГЛАВА 7

Манана, улыбаясь, нащупала на столике чековую книжку Германского национального банка. Прекрасный дар, преподнесенный синдикатом Рейн-мегала в счет какого-то марганца в ее будущем царстве.

Размышления Мананы прервал вошедший фон Гросс. Генерал отказался от кофе. Он торопился, а разговор предстоит длинный и значительный.

— Княжна, имею удовольствие вас поздравить. Только вчера рейхскандлер получил многообещающую телеграмму. Сейм провозгласил независимость южного Кавказа, этим актом он отделил от красной России Грузию и приблизил ее к Германии.

— Барон, что такое этот сейм?

— Вы хотите знать, княжна, как он образовался? О, история начинается с большевиков. Вы, конечно, не питаете к ним симпатии. Но есть еще меньшевики. Эти бойкие говоруны после роспуска Учредительного собрания подхватили чемоданы и уехали в Тифлис.

— Но, барон, я думала, в Тифлисе живут преимущественно князья. А меньшевики, очевидно, даже не дворяне? Это — просто люди в фетровых шляпах, так говорил мне мингрельский князь.

— Допустим, но они оказали нам дворянскую услугу.

И фон Гросс посвятил Манану в историю мирных переговоров в Брест-Литовске и вторжения германской армии в Советскую Россию на всем фронте от Балтийского до Черного моря.

— Наши военные успехи помогли меньшевикам укрепить свою власть, — заключил генерал. — И теперь предстоит...

Тут фон Гросс оборвал свою лекцию и вынул часы.

— Через двадцать три минуты вы при будете в здание «все вижу, все знаю»... Это необходимо, ваша светлость!

Погасли канделябры. В глубине зала вспыхнул экран, бледно-голубой луч пронизал темноту. С экрана надвигались тяжелые массивы снежных гор. Манана оживилась:

— Монблан! Швейцария!
— Нет, ваша светлость, это — Казбек, Грузия, — заметил фон Гросс.

На экране мелькали яркие картины Грузии. Хевсурские вершины, виноградная Алазани; карталинские солнечные долины и теснины Кодора; тквибульские и чиагурские рудники, откуда на вагонетках вывозят уголь и марганец; шелковичные рощи Имеретии; винодельни с глиняными кувшинами невероятной величины; утопающие в садах города и деревни... И железная дорога, рядом с которой тянется нефтепровод.

Честолюбие кружило голову. Как заманчиво открыть глаза и увидеть у своих ног склоненное царство. Царица Грузии Манана! Так хочет кайзер!

Она не видела уже ни озер, ни ледников и не слышала генерала.

— Ваша светлость, обратите особое внимание на этот прелестный майорат.

Она не поняла, но утвердительно склонила голову.

— Это Боржом! — продолжал фон Гросс. — Ваш родовой дворец Лекани. Германская империя возвращает вам собственность. Как видите, переменить маршрут не всегда плохо.

Страх охватил княжну. Не лучше ли собрать багаж и ускользнуть в веселую Вену? А царство? А золото?

— Реставрация монархии в Грузии сразу невозможна, — продолжал генерал. — Вначале мы будем поддерживать меньшевиков. Но вокруг вас объединятся монархисты. И раньше прочь — князья и дворяне. Я, генерал фон Гросс, назначен начальником императорской германской делегации на Кавказе. В ближайшее время мы предпримем путешествие. Касательно вашего ридижюла рейхсбанку даны соответствующие указания. Все ли вам понятно, фрейлейн?

Манана покорно склонила голову.

— И еще один подарок: вы помолвлены с его высочеством принцем Рупрехтом. Счастлив принести поздравления. Родственные узы навсегда свяжут Грузию с Германией. И вам будет гораздо легче управлять страной под высочайшим руководством кайзера и при благосклонных советах принца.

Манане сразу стало холодно. Она порывисто поднялась, готовая бежать. Но перед нею выросли фон Гефтен и фон Унгерн.

А этажом ниже в кабинете с матовыми стеклами плотный майор, исполосованный эскадронными рубцами, пальцем пододвинул папку:

— Ознакомьтесь! — и продолжал разбирать почту разведывательного отдела генерального штаба.

Вурцбахер насторожился. Что сулит ему пространная инструкция? И он стал жадно читать.

Жизнь открывала перед ним обширные горизонты. Служба «S»! Вот служба! Превосходнейший способ наносить неисчислимый ущерб не только вражеским странам, но и тем, которые нейтралитетом противятся возвышенным целям Германии.

Вурцбахер вживался глазами в бумагу: «Служба «S» означает саботаж-диверсию. Начальник службы «S» организует в тылу противника:

«E» — Explosion — взрывы. Диверсии на военных объектах и железных дорогах. Восстания в армиях. Провоцирование анархистских и большевистских покушений;

«B» — Brand — пожары.

Директивы службы «S»:

1. Отравление ядовитыми жидкостями элеваторов, продуктовых баз интенданств, водохранилищ.

2. «Обработка» лошадей, мулов и скота микробами чумы, сапа и мальтийской лихорадки.

Операции против бунтующего населения и против неспособных к деятельности, полезной для Германии:

а, распространение тифозных, холерных и малярийных бактерий,
б, массовое уничтожение засылкой зараженных консервов...»

Вурцбахер читал и перечитывал.

Майор прервал мечты Вурцбахера:

— Обер-лейтенант, служба «S» требует полного самоотречения. Вы в генеральном штабе на хорошем счету как энергичный офицер, проявивший инициативу. На Кавказ вы едете в качестве штаб-офицера. Никаких открытых встреч с генералом по службе «S» вы не должны иметь. В проведении операций действуйте по личной инициативе. Генерал будет вами тайно руководить, но не вмешиваться в вашу зону. Основная ваша задача — подрыв большевистской власти в Баку с целью подготовки штурма его немецкими войсками. Запомните, обер-лейтенант: нечеткость может привести вас к катастрофе. В случае провала вы должны все взять на себя. Надо помнить, что Германия связана с Россией Брест-Литовским договором. Поэтому разоблаченного офицера фон Гросс выдаст, как запутавшегося агента, скажем, Антанты или Вашингтона. На допросе вы в этом признаетесь, а если у вас нехватит мужества, вас пристрелит какой-нибудь х, у или z.

Вурцбахер поблелел.

Майор усмехнулся.

— Обер-лейтенант, это ваш последний страх. Перешагнув порог отдела службы «S», вы должны отказаться от личных чувств. Священная цель третьего отдела — способствовать победе Германии над всем миром. Но те, кто думает, что победа решается только на поле боя — наивные феодалы! Клаузевиц говорил: «Война есть продолжение политики»; мы осмеливаемся добавить: служба «S» есть политика победы. Итак, перехожу к последней графе инструкции. Служба «S» распространяется на Старый и Новый свет. Во всем мире нами учреждены центры с начальниками и агентурной сетью. Кредиты вы будете получать через «Дейче-банк». Вы отправляетесь на Кавказ, но помните — в отношении Грузии кайзер предпочитает мирное завоевание. Излишнее рвение может повлечь за собой вашу отставку и даже... Воля кайзера священна!

— Но в случае сопротивления? — не совсем твердо спросил оробевший Вурцбахер. Майор поднялся:

— В вашем распоряжении буквы «S», «E» и «B». Желаю удачи!

ГЛАВА 8

На Вильгельмштрассе Манана вернулась несколько подавленная. Соблазнило царство, но пугал принц, ужасал фон Гросс, озадачивал барон Унгерн. А маргарит? А меньшвики? Она в изнеможении опустилась в кресло.

— Разрешите, светлейшая.

В комнату вошел князь Амилахвари.

Манана с неприязнью встретила полковника. Ей все казалось, что она в западне. Утонченная лесть еще более усиливала это ощущение. Впрочем бриллиантовая бабочка — дар грузинской знати — вернула ей хорошее настроение.

Князь Илларион клятвенно заверял, что титулованные монархисты будут счастливы видеть светлейшую Манану на троне царя Ираклия. Необходимость вынуждает помнить и о плебейх. Ей предстоит маленький, но многообещающий визит.

— Визит к плебейм?

Манана страдальчески прикрыла веки. Илларион слегка опешил:

— Княжна, тысяча пятьсот обстрелянных в бою солдат станут гвардейцами царицы Мананы. Войсками монархии буду командовать я. Надо знать солдатское сердце — ласковый взгляд, пустиачковый подарок, и суровый воин превращается в младенца...

Манана нетерпеливо прервала полковника. Она тоже знает солдатское сердце! Ей вспомнился госпиталь императрицы, в котором фрейлины из патристических чувств посещали раненых. Она нахмурилась, точно вновь перечитывала письмо с фронта невежи-солдата: «Ваше сиятельство, не присылайте иконок — молиться

негде. Сидим в окопах, по горло в грязи и паразитах. Вам бы из христианского милосердия подкинуть лучше к рождеству христову порошок от вшей и горсточку табаку. Господа бога райского полка рядовой Павел...» Вздохнув, княжна отклонила просьбу посетить добрых солдатиков:

— Нет! Нет, не упрашивайте, князь! — и попросила отвезти ее гвардейцам немецкие сигареты и русские порошки от паразитов...

Князь Иллариону некогда было раздумывать о причудах фрейлины. Он спешил на раут грузинской делегации.

К отелю «Эспланада» непрерывно подкатывали автомобили. В монументальные двери солидно входили промышленные тузы, депутаты рейхстага, сановники, звенели палашами генералы, чопорно сходя с подножек, приподымали манто нарядные женщины.

Здороваясь с фон Гроссом, Илларион подумал: «Как кстати прибыли в Берлин меньшевистские марионетки!»

Илларион с восторгом окинул взглядом представителей немецкой власти. За этим столом он вместе с Миха Церетели торжественно представлял демократическую Грузию.

Церетели, сверкая ослепительными манжетами, ораторствовал о сотрудничестве грузин и немцев на свободной грузинской земле:

— Историческая судьба наша, ставшая традицией нашего бытия, заключалась в том, что мы, не считаясь с нашим местопребыванием в Азии и несмотря на большое влияние восточной культуры на весь уклад нашей жизни, не хотели быть азиатами с того времени, как, приняв религию Христа, мы создали на ее основах нашу национальную культуру. В борьбе с востоком за эту религию и за христианско-национальную культуру мы одряхлели и утомились. Обессиленные борьбой с далеко превосходящим нас численностью врагом мы открыли русским ворота Дарьяла и просили их притти к нам на помощь. Но даже в этот решающий момент мы отнюдь не хотели заключать союза с русскими.

Фон Гросс многозначительно переглянулся с директором синдиката «Рейн-металл». Церетели еще выше поднял бокал:

— Теперь волею судеб мы снова избавились от русских и, наконец, прибыли сюда, в давно желанное место, чтобы здесь добиться конечной нашей цели — заключения прочного союза с Западом.

Оратора наградили одобрительными восклицаниями. Оркестр грянул «Захт ам Рейн». Женщины заиграли всерами. Илларион, откинув рукав черкески, поднял бокал:

— Господин Церетели нарисовал яркую картину наших надежд и стремлений. Мне остается сказать немного. Еще при царе Ираклии в Пруссию и Австрию направи-

ались послы Грузии за желаемой поддержкой. К сожалению, в тот сомнительный век путешествовали не в экспрессах, и послы погибли в пути. Увы, наши прадеды вынуждены были подписать с варварами известные договоры. Но волею судеб теперь мы избавились от русских.

Княгиня Лори Витгенштейн, поощрительно улыбаясь Иллариону, склонилась к фон Гроссу:

— Как видно, барон, в горной стране вам не трудно будет проложить немецкую тропу. Вот пример гармонии двух цивилизаций в одной душе.

— Мы желаем Грузии, не знающей покоя со времен ассирийцев, — голос Иллариона дрогнула, глаза подернулись легкой дымкой, — забыть, наконец, о вражеских вторжениях и под покровительством Германии возродить древнюю культуру на благо себе и в интересах нового мощного союзника.

Лакей поспешил наполнить бокал Иллариона. Оркестр играл королевский марш. Поднялся Бернштейн, представитель немецкого Национального совета в Тифлисе, и в пространной речи обрисовал современное экономическое состояние Кавказа и Грузии и указал на их значение для центральных держав...

Представители союзных держав заволновались. Поспешил принести свои поздравления возникшему союзу венгерский дипломат граф Тисса, принц Борис указал на черноморский бассейн, связывающий Болгарию с Грузией, граф Чернин отметил сходство между веселой Веной и Тифлисом, Назим-паша выразил удовольствие, что отныне крепость Карс близко примыкает к границе дружественной Грузии...

В конце раута Церетели твердо знал, что его миссия возложить на Германию защиту меньшевистской Грузии от большевистской России блестяще завершена.

В конце раута фон Гросс, в свою очередь, тоже уверился, что Церетели и Амилахвари, эти парни с засунутыми в брюки рубашками, за горсть немецких орденков сами помогут выкачать из недр Грузии ее богатства.

Не дремал и Курц в Заганском лагере. Вот уже десять дней, как военнопленных грузин не посылают на работы. Их и кормить стали лучше. В темной бурде теперь можно выловить листок капусты или кусок картофелины. Курц сосредоточенно составлял длинные списки. Ему усердно помогал рыжий унтер, давая характеристики пленным.

Вурцбахер после возвращения из Берлина был несколько рассеян, показывался редко. И вдобавок тревожилось, почему высочайшие особы медлят с посещением? Нельзя же столько времени даром кормить бесний.

Облегчение лагерного режима не пере-

ставало волновать солдат. Почему бездельствует комиссия? Почему их не обменивают? Почему Ладо стал чуждаться товарищей?

Не легко было Ладо Абуладзе в такой момент сторониться солдат. Но решение было принято: немцы идут в Грузию, надо всеми доступными средствами вырваться из Загана.

Встреча Шахро с князем Амилахвари произошла неожиданно. Шахро по наряду выносил из кухни ведро. Тень смущения промелькнула на лице князя. Вдруг он радостно хлопнул Шахро по плечу.

— Ба, Шахро! А говорят, гора с горой не сходятся.

И он тут же попросил Вурцбахера освободить его ординарца от нарядов. Князь раскрыл портсигар и угостил солдата сигаретой. Затем велел умыться и зайти в канцелярию.

Шахро радовался. Он не ошибся: Амилахвари самый благородный князь.

Повернувшись в замке ключ, князь уселся в кожаное кресло, указал Шахро на стул напротив и стал расспрашивать о лагере. Узнав о жестокостях немцев, он ругал их и, понизив голос, сообщил:

— Мы заманим немцев в Грузию, а что они понимают в апельсинах? Там они будут мягче шелка. Кстати, кто этот Ладо? Наверно, отчаянный большевик?

Шахро обиделся: напрасно князь так плохо думает о лучшем грузине. Умного Ладо уважает даже рыжий унтер.

— Уважает? — переспросил князь, — за что уважает?

Шахро растерялся. Он посмотрел на князя и смущенно проговорил:

— За... за немецкие книги, — и поспешно добавил, — они всё по-немецки разговаривают. Да вот еще студент хорошо изучил собачий язык, смеется: «будем заранее знать, какую новую мерзость готовят нам».

Теперь князь Илларион не сомневался: Ладо — шпион, завербованный немцами, а студент — большевик.

Вурцбахер терял терпение: пора прекратить возню с этими азиатами! Надо им показать, что такое военнопленный в Германии. Но князь Амилахвари придерживался другого мнения. Грузия не Заганский лагерь. Надо здесь получить от солдат обязательство, и тогда они будут у него в руках.

После долгих обсуждений князь прибежал, как ему казалось, к сильно действующему средству.

Опять собрали военнопленных в карантинном бараке. Приятно удивленные, они смотрели на расставленные оловянные кружки. Солдаты помолоче, под шуточные окрики Шахро, тащили ящики, бурдюки с вином — остатки подарков, приве-

зенных меньшевистской делегацией германским прэмьшленникам. За этим добром князь Илларион не поленился съездить в Берлин.

В полумгле, у пустующего карцера, сошались Ладо, Чикаберидзе, Канчавели и лихой драгун Дзаганяи. Здесь им никто не мешал.

Из карантинного барака едва доносились веселые возгласы. Очевидно, там был и студент, ибо Чикаберидзе нигде не мог его разыскать. На плацу не было видно часовых, но все же говорили тихо по-грузински: дальше медлить неразумно, Ладо должен покинуть Заган.

Ладо в сомнении покачал головой:

— Задача нелегка вырваться из плена, не опозорив себя перед солдатами, и, не оставив в руках немцев грязных обязательств, внедриться к ним в доверие. Косчто в этом плане я придумал, если удастся... — и Ладо еще более приглушил голос.

Они последними пробрались в радостно гудящий барак. Из разных углов Канчавели и Чикаберидзе нарочито громко перобрасывались шутками.

Солдаты чистосердечно благодарили князя Иллариона за привезенный для них дастархан¹ из родной Грузии.

Весело закатав рукава черкески, князь первым подставил кружку. Шакро сдернул с ланки бурдюка тесьму.

Когда все кружки наполнились, князь Илларион произнес тост в честь Грузии: «Да пошлет бог расцвет и долголетие многострадальной матери-отчизне», осушил кружку, потряс ею над головой, надломил чурчхел² и закусил.

Родной обычай растрогал солдат. Да и вино, давно не питео, ударило в голову. Зачерствелый чурек напомнил им родной очаг. Не так просто испечь грузинский хлеб, надо нырнуть в обложенную кирпичом яму, прилепить к ее раскаленным бокам куски теста. Вспоминали, поедая сушеные фрукты, как грузинки нанизывают кружочки груш и яблок на крепкие нитки, распевая песни о любви. И пленные радостно затягивались табаком, выросшим на склонах Абхазии.

Сияющий Шакро проворно разливал вино. Он предложил выпить за отважного земляка, принесшего в проклятый лагерь избавление. Барак наполнился пожеланиями благополучия княжескому дому Амилахвари.

Из дальнего угла Ладо оглядывал барак. Всех знал в лицо Ладо, все были здесь, нет только студента.

— Что это Лоладзе гнушается нашим весельем? — шутя спросил он пробежавшего Шакро.

— Нагрубил рыжему унтеру! Сидит в карцере.

Ладо облегченно вздохнул и, желая умиловить унтера, преподнес ему шелковый платок, последнюю ценность, присланную полгода назад сестрой.

— Герр унтер, тысяча пятьсот солдат будут благословлять сегодняшний вечер.

— Нет, герр машинист, только тысяча четыреста девяносто девять! — Унтер пригнулся к побледневшему Ладо и зашепта. — Я сам его пристрелил. Три пули истратил, пока сдох проклятый большевик. Зарыли сразу у колючей рогатки номер четыре, Попробуй, маузер еще теплый. — И вынул из кобуры револьвер, стал вытирать его платком, полученным от Ладо.

— А кто узнал, что студент Лоладзе большевик? — Ладо силился казаться равнодушным.

— Грузинский полковник. О, этот князь большой охотник! Обер-лейтенант — тебе это можно сказать: ты свой — в рапорте написал: «Застрелен при попытке к бегству».

Ладо коротко засмеялся. А дрожащие руки, словно чужие, царапали ножку стола.

Веселье в бараке нарастало. Вино затуманивало мысли. Уже многим казалось, что они на празднике святого Георгия пируют у монастырской стены. И не немецкие холодные лампочки светят над их головами, а в теплом орешнике мерцают грузинские звезды. И проклятый их плен — только тяжелый сон. Провести рукой по глазам; и в цветущий сад войдут женщины. Ударят в дайры¹, и в легком лекури² понесутся жены и невесты.

А рыжий унтер, не замечая мертвенной бледности Ладо и его нервно вздрагивающей руки, продолжал шептать:

— Герр машинист, сегодня в последний раз или грязные скоты подпишут бумагу, или просидят в Загане еще хороших полгода. Но портить себе сердце будет уже другой унтер, меня обер-лейтенант забирает с собою на Кавказ. Мой бог, а ты почему не подписываешь свое освобождение? Разве удовольствие гнить здесь?

— Что я враг себе, герр унтер? Или не потому изучал язык Фридриха Великого, чтобы перейти на службу Германии? Но какой толк в моей подписи, если эти темные азиаты ночью придумают меня?

— Понимаю. В твоих словах есть смысл, и я не буду Карлом Фростом, если не помогу тебе. Тем более обер-лейтенант ищет опытных машинистов и не забыл, что твой любимый маршрут: Тифлис — Баку.

Рыжий унтер еще ниже склонился к Ладо, они тайнословно зашептались. Унтер подмигнул Ладо и, смеясь, отошел.

¹ Дастархан — поднос со всевозможными сладостями.

² Чурчхел — грузинское лакомство.

¹ Дайра — бубен.

² Лекури — старинный грузинский танец.

В бараке шумели, чокались кружками, кто-то высоким голосом запел «Мравал жамьер»¹, прадедовскую застольную. И вдруг все смолкло. Сон кончился.

Вошли Курц и Вурцбахер, а за ними рыжий унтер. Они поднялись на возвышение. Обер-лейтенант, вынув из кобуры браунинг, положил его возле себя и к негодованию князя Иллариона и Курца разразился откровенной речью:

— В последний раз я вас спрашиваю: кто хочет подписать эту бумагу, получить немецкую экипировку, принять подобие человека и под командой германских офицеров отправиться в Грузию? Там полковник Амиллахавери распределит всех по воинским частям!

Вурцбахер повертел револьвер и снова положил возле себя.

Солдаты мгновенно отрезвели:

— Где комиссия?!

— Почему нас не обменивают?!

— Не скрепим подписью предательство! Не опозорим Грузию!

Ладо перегалянулся с Чикаберидзе и направился к обер-лейтенанту. Барак оцепенел. Солдаты, тяжело дыша, напряженно следили за Ладо. Он спокойно обмакнул в чернила ручку и швырнул ее Курцу в лицо.

Вурцбахер взглянул на фиолетовый нос Курца и прикусил губу, а князь Илларион так и застыл с чурчелом в руке.

Сразу задвигались скамьи, загрохотали тяжелые сапоги, оловянная кружка полетела в окно. Воспользовавшись суматохой, Ладо бросился к выходу.

Вурцбахер загремел:

— Не смей! Посадить мерзавцев на голодный режим! Бунтовщика забрать! Герр унтер!..

А Ладо уже стоял у колючей рогатки № 4. Молодая луна покрывала свинцовым саваном свежий бугорок. Промелькнул день, взметнется ветер и навсегда исчезнет воспоминание о горячем сердце. Тяжелая слеза скользнула по щеке Ладо.

Приблизкались свистки, топот ног, треск мотора. Возбужденные пленные видели, как жандармы окружили Ладо и потащили к машине, закрытой брезентом.

Под окрик эфрейторов пленные хмуро расходились по баракам. Гнетущее безмолвие сковало плац.

Большим ослепительным клинком взлетел луч прожектора и наотмашь хлестнула по меловой стене: — карцер № 1, карцер № 2, карцер № 3.

ГЛАВА 9

Около облупленного забора остановился сутулый человек в лоснящемся котелке и в грязном парусиновом плаще. Здесь все ему было знакомо. Не смущало ни сердитое урчание собак, ни окрик спорбленного

старика, развешивающего для просушки бараньи шкуры.

На этот примыкающий к мясной лавке двор Грегор Тиглер приходил между десятью и одиннадцатью утра. Натянув засаленные продырявленные перчатки, он осторожно копался в мусорном ящике, выуживая сучковатой палкой овечьи кишки. Собрав в мешок добычу, он медленно шел через запутанный пестрый тифлисский майдан.

Сегодня его особенно раздражали белые акации, ветви которых свисали над тротуарами, звонки трамваев, бешеная Кура, блеснувшие желтые спицы колес пролетевшего на перекрестке фаятона и надменные верблюды, несущие на горбах яркие цирковые плакаты: «Реванш!». «Черная маска» и чемпион мира Ципс».

По Барятинскому подъему, через Александровский сад, с нагорных улиц и улочек стремилась к Головинскому проспекту разношерстная публика. Час прогулки! Час встреч! Знакомые, друзья, враги, приятельски улыбаясь, зорядно перешептываясь, беспечно смеясь, пестрой волной движутся по проспекту до Эриванской площади и обратно до Казенного театра. Оболтусы и ветрогоны, кокетливые женщины с боковой шнуровкой на высоких цветных ботинках, эмигранты и проходимцы, биржевики и политические авантюристы кружатся, словно на ярмарочной карусели.

Затянутые в рюмочку горы, бывшие нижегородские драгуны, тенгинцы, гренадеры-эриванцы, земгусары, народогвардейцы, обообоотрядчики, легионеры Пилсудского в конфедератках, денкиницы с сине-бело-красными треуголками на рукавах, дашнакские офицеры в оранжевых фуражках, меньшевистские — в малиновых, гайдамаки в серых папахах со свисающими голубыми верхами. Все это разноцветное воинство, увешанное кавказскими пашками, кривыми саблями, револьверами в нарядных кобурах, серебрячканьими кинжалами, придает толпе еще больше пестроты и движения.

Мчатся автомобили. Мелькают цилиндры, панамы. Пронсятся фаятоны. Развалившись на ковровых подушках, спекулянты, дельцы, фаты с жемчужными булавками в галстуках, с огромными перстнями на указательных пальцах и драгоценными набалдашниками на модных тростях воображают, что они в Париже, на катанье в Булонском лесу.

Горланят продавцы цветов. В воздухе качаются разноцветные шары. Вдоль улиц тянутся зазывающие вывески: «Фантастический кабачок», «Ладья Аргонавтов», «Павлиний хвост», «Разного рода бренди». На киосках обрывки афиш: «Птишво», «Песенки Вергинского».

В кафе захлебываются скрипки: «Где даже небо страстью дышит...» Франт в лакированных туфлях выжидательно остано-

¹ «Мравал жамьер» — «Многие лета».

вился, завернул в кафе, развернул газету. Подошел другой, сверкнул глазами, приставил револьвер к газете, выстрелил. Франт упал. Неистовые милицейские свистки...

Еще кафе. Слышится: «куплю! продам!» «Тутти-фруtti!» Фунты, десятки, лиры, кокаин, ковры, орехи...

Тиглер шагает сквозь этот людской водоворот, держа мешок с овечьими кишками. В его зеленых глазах презрение: «Клоуны! Заведенные марионетки! Скоро все вы покатытесь с этого чьортва колеса!»

У кадетского корпуса он свернул в переулок. Здесь в тишине мысли его приняли спокойный характер. Он деловито потряс мешок, одобрительно буркнул: «Не плохой улов! Не меньше чем на двадцать фунтов буйволиной колбасы».

На Саперной улице он обогнул большой дом с пилястрами и серебряными балконами, вошел в низкую калитку и по темной лестнице спустился в полуподвал. Пройдя каменный коридорчик, особым ключом открыл обветшалую снаружи дверь, проскользнул в длинное сумрачное с тремя узкими окнами помещение и захлопнула за собой дверь, окованную железом. Наглухо заколоченные ставни не пропускали света. Самодельная печка из перевернутого ведра с прорезанной дверцей прижалась к простенку. Нестерпимый запах мышей, сырых опилок и кишок не беспокоил Тиглера. Он стянул перчатки, засунул их в боковой карман и повесил плащ на ржавый гвоздь. Снял стекло с лампы, чиркнул спичкой. Лампа озарила комнату, из мрака выступила высокая кипа ковров, сложенных у стены. В углу сверкала гряда старинной посуды — серебряные самовары, позолоченные кофейники, чайники, сухарницы. Под окнами на лавках громоздились ящики, наполненные мелкими изделиями из серебра, бронзы, черного дерева и кости, самого различного назначения и ценности.

Тиглер неторопливо открыл в простенке потайной шкаф, обитый желтой медью. И хотя сюда не мог проникнуть даже паук, он привычно пересчитал тщательно запаянные консервные банки. Одна из них была открыта.

Небрежно вытащив из грязного кармана перстень, Тиглер пинцетом вырвал из него бриллиант, бросил в жестянку, поправил на верхней полке фотографические аппараты и закрыл шкаф. Лязгнула пружина. Тиглер стряхнул с ковров мышьиные следы и принялся за промывку кишок марганцевым раствором.

Развесив их на шнурах для просушки, достал из шкафчика сухое печенье из отрубей, кусок хлеба и подогрел на железной вечке погнутый кофейник. Опустившись в кресло, принялся за трапезу. Затем открыл бюро и вооружился вечным пером:

«Представителю императорского германского правительства королевско-баварскому генерал-майору фон Лоссову.

Господин генерал! Я уже неоднократно писал вам по вопросу мировой и колониальной политики. В донесении № 47—Русландт унд вйр — я подробно излагал программу расширения России. Настоятельно повторю: Россия — огромная опасность для немецкой цивилизации.

Господин генерал! Советую осмыслить, что существует русский большевизм. Это — взбесившийся медведь! Безумие оставить в его славянских лапах Финляндию, прибалтийские губернии, Польшу, Кавказ и Туркестан.

Славяне размножаются бесстыдно, подобно микробам. Настаиваю — заключить, пока не поздно, мир с англо-французской коалицией. И железным каблуком Германии раздавить славян и большевиков. Гуманизм — это беспринципность! Считаю Брест-Литовский мир иррациональным! Он только помог турецким пашам и закавказским демократам. Мирная конференция в Багуме — ширма для Энвер-паши. Орды аскеров брошены в глубь Кавказа. Кавказ — путь в Индию! Кавказ — марганец, нефть! Кавказ должен стать колонией немецкой высшей расы!

Предлагаю профилактику: дать блистательному союзнику по рукам.

Требую ответа!

Доктор философии Грегор Тиглер.»

Закончив послание и вложив его в конверт, Тиглер пощупал, не высохли ли кишки, надел котелок и отправился к жильцам четвертого этажа, с коими поддерживал добрососедские отношения.

Тиглер появился в доме в 1906 году. Жильцы приняли перемену домовладельца с беспокойством. Они привыкли к добродушному хозяину, кахетинскому мелкому помещику. Он стеснялся напоминать о квартирной плате и терпеливо ждал.

Внимательно осмотрев дом, Тиглер починил крышу, уже три года протекающую, кое-кому выбелил кухню, некоторым оклеил квартиру дешевыми обоями. Приказал дворнику начисто вымести засоренный двор, поливать его каждое утро, по субботам вывозить мусор из ящика. Мальчикам пригрозил надрать уши за драки. Разослав по этажам циркуляр: квартирную плату вносить каждое первое число.

Каждое первое число он брал узкую алфавитную книжку с фамилиями квартирантов и начинал обход с верхнего этажа. Здесь жили мелкие чиновники, учительница гимназии, вдова с доходами и тром-

бонист из оперного оркестра. С этими жильцами у Тиглера установились вполне приличные отношения. Деньги вносились аккуратно, а учительница гимназии за восемь рублей в месяц учила доктора русскому языку. Не прошло и двух лет, как Тиглер научился свободно говорить по-русски, читал «Мертвые души» и писал о делах немецких колоний на Транскавказе. Ради практики беседовал с коллежским регистратором канцелярии наместника о прошлом Российской империи. Жильцам-грузинам он на все лады в течение многих лет повторял: «Наш император очень любит грузин, жалеет и хочет навсегда освободить их от русского владычества. Но для этого надо прежде всего прогнать русских с Кавказа, построить много дорог, немецкие фабрики, завести хорошее хозяйство, расширить немецкие колонии. Русские ничему вас не научат — они сами ничего не знают, а их казаки хуже, чем турецкие башибузуки».

Сам Тиглер занял две комнаты с отдельными выходами на улицу и во двор. Он отделил галерею кирпичной стеной от соседей, замазал стекла мелом, чуть подмешав синьки, и окна на улицу заделал выгнутой железной решеткой.

В первом этаже жили служащие казенного театра. Это были спокойные обитатели, редко бывавшие дома и безропотно принимавшие надбавку квартирной платы. Жил здесь и дантист, но доктор предложил ему очистить квартиру: евреев он в своем доме не потерпит.

Справа от подъезда в бельэтаже занимал шесть комнат тучный генерал от кавалерии Петр Александрович Аратов с бесчисленным потомством: кадетами, поручиками, институтками. Суматоху в квартире увеличивал беспрестанный лай выхоленных болонок. Любимцем всей генеральской семьи был младший сын Сергей, кадет с волосами цвета каштана и мягкой улыбки.

Когда на квартиру к генералу вошел новый домовладелец господин Тиглер, его дальше передней не пустили. Деньги за квартиру генерал выслал с денщиком, который негромко сказал: «Не извольте беспокоиться. Рублики буду приносить я, аккуратно каждое первое».

Тиглер внимательно посмотрел на усатого драгуна и вышел. На площадке он остановился перед дверью противоположной квартиры: выгравированная на медной дощечке поблескивала корона. Князь Илларион Амилахвари с женой Саломэ занимали пять просторных комнат. За дверью раздавался несмолкающий рев граммофона.

Тиглер позвонил. Еще прежний хозяин клялся, что только из-за них он и продает дом — годами не платят! Не успеешь войти, чтобы припроткнуть приставом, как выходит княгиня, молчаливая, веселая, уседит

за стол, угостит вином с ореховым тортом, расскажет новость, похочет, и смущенно уходишь, не заикнувшись о плате.

И правда, не успел Тиглер переступить порог, как в комнату впрорхнула княгиня Саломэ.

— Новый владелец? Очень приятно! Лиза, подай вино! Лучшее из нашей деревни! Тиглер внимательно посмотрел на княгиню.

- Не трудитесь! Я вина не люблю.
- Не любите?
- Не люблю!
- А что вы любите?
- Кровь.
- Пьете?
- Пью.

Княгиня вскрикнула и выбежала. Тиглер продолжал стоять, рассматривая на стене большие туры рога в серебряной оправе. Вошла Лиза и сказала, что у княгини внезапно началась зубная боль. Тиглер бесстрастно ответил, что он будет стоять два дня, но плату за квартиру получит. Обещания уплатить на следующий день не помогли. Наконец, горничная вынесла шестьдесят рублей, из них сорок гривенниками. Тиглер сел за стол, терпеливо пересчитал, предупредил, что первого числа следующего месяца он придет ровно в одиннадцать, и сухо добавил:

— Гривенники снесите в мелочную лавку, с удовольствием примут в счет вашего долга.

Князь Илларион пробовал выяснить личность Тиглера, но ни в жандармском управлении, ни у полицейстера ничего не добился. В паспорте значилось: Грегор Тиглер, германский подданный, родился в Берлине в 1878 году.

В начале войны жильцы насторожились, встретили немца холодно. Но Тиглер, хлопая по газете, саркастически приговаривал:

— Этот кайзер и Людендорф — настоящие паяцы! Им великий Бисмарк говорил: воййте хоть с чертом, только не с Россией! Они погибнут! Вспомните мои слова!

Жильцы озабоченно вздохнули. И жизнь потекла по-старому.

В конце четырнадцатого года Энвер-паша попытался отрезать главные силы кавказской армии, втянувшейся в Насинскую долину. Обходным движением он бросил два турецких корпуса на Сарыкамыш. И пока русский штаб в Караургане спокойно разрабатывал мощный контрудар, Тифлис все больше охватывала паника. Тысячи шкатулок, коробок, футляров и ларцов были сданы на хранение в городской ломбард, который гарантировал отправку их во Владикавказ. Тиглер сошелся с ломбардными заправилами. Когда два турецких корпуса были наголову разгромлены под Сарыкамышем и беглецы стали возвращаться в Тифлис, в «Кавказском слове» между двумя похоронными объяв-

лениями появилось мелким шрифтом напечатанное извещение ломбарда, предлагающее закладчикам в трехдневный срок выкупить заложенное. Не многие прочли коварное извещение, и Тиглер за бесценок приобрел половину закладов ломбарда.

В середине июня пятнадцатого года обозначалось наступление громадных турецких сил с муш-битлисского направления на Керей. На первых порах туркам удалось прорваться у Копя и у Милязгерта. Они уже ворвались в обширную Алашкертскую долину. И пока Юденич в полном секрете готовил контрудар, Тифлис вновь охватила паника. Тиглер, словно гончая, принюхался и купил за бесценок два больших доходных дома на Головинском проспекте. И когда девять турецких дивизий едва выскользнули из русских клещей, Тиглер в одном из своих домов открыл ортопедический магазин и услужливо стал снабжать героев Алашкерта деревянными протезами, а в другом доме оборудовал первоклассное колбасное заведение, выхисав из немецкой колонии Катринфельд опытного мастера, который также помогал ему скупать за бесценок скот в прифронтных районах.

В Тифлис прибыл великий князь Николай Николаевич, привезя с собой свиту из блестящих генералов и статс-дам Анастасий Черногорской, своей супруги. К этому времени Тиглер был уже крупным капиталистом и насмешливо смотрел на пышный въезд нового наместника Кавказа — Тифлис наполнился брицаньем палашей, весельем благотворительных базаров и «чашек чая».

Зимой пятнадцатого года кавказская армия пробилась к Кепри-Кею, и Энвер-паша поспешно оттянул свои силы. Русские полки оказались перед Эрзерумом, твердыней восточной Турции. С высокой гряды смотрели на них занесенные снегом форты. «Взойти на Карпабазар!» — приказал командующий, и русские солдаты поползли по глубокому снегам на вершины, недоступные даже летом. Эрзерум пал. Тиглер поднялся высоко. Он основал акционерное общество «Разработка золотых россыпей в восточной Турции». А когда кавказская армия штурмом взяла Трапезунд, отбросила войско генерала Вехипаши на запад от Байбурта и Эрзинджана, Тиглер за баснословную цену продал все свои акции и купил американские доллары.

В начале семнадцатого года, вслед за убийством Распутина и отказом Николая II утвердить ответственное министерство, Тиглер неожиданно продал свои дома на Головинском, ортопедический магазин и колбасное заведение.

Обменяв николаевские ассигнации на фунты стерлингов, Тиглер выехал в Тавриз, положил в индо-европейский банк

полмиллиона долларов и фунтов и вернулся обратно в том же поношенном костюме.

Позвав горничную Лизу, Тиглер передал ей сумочку и подюжины чулок для княгини Саломе, присовокупив: пусть княгиня не торопится с уплатой, он может ждать хотя бы год.

Потом Тиглер выехал в Катринфельд и вернулся оттуда с тремя немцами-мастерами. Они зацементировали стены его подвала, настлали пол из дубовых досок, сделали на окнах решетки и ставни, оклеили толстым железом изнутри входную дверь. Через неделю были готовы потайные шкафы с замысловатыми замками. В середине февраля мастера уехали, а Тиглер, положив ключи от подвала в карман, сообщил жильцам, что после войны, — а она вот-вот кончится, он займется в своем подвале мебельным делом...

В заснеженном Петрограде прогремели первые выстрелы Февральской революции. Она ширилась, волнами накатывалась на российские просторы, на скалы Кавказа.

Сквозь щели закрытых ставней Тиглер смотрел на перевязанные алыми ленточками букетики фиалок в руках девушек, на красные банты гимназистов, на восторженную толпу, шумящую марсельезой и, знаменами.

Глядя в щель, Тиглер усмехался.

О нет, он совсем не случайно очутился здесь, на Кавказе. Долгие годы он, Мориц Шульц, вынашивал могучую идею. Долго накапывал душевные силы для большой игры...

В Берлине он ничего не замечал вокруг себя, пристально вглядываясь в будущее. Но разве мелкий служащий королевской нотариальной конторы имеет какой-нибудь вес? Разве он может заставить заносчивый Берлин осмыслить грядущий век?

Что такое Мориц Шульц? Какая нелепость родиться в семье полицейского чиновника, да еще с такой фамилией! Шульц! Ха! Ему, отмеченному божьим перстом, прозябать за конторкой? Нет, Германия должна в нем, как в зеркале, увидеть самой себя...

Внимательное изучение бумаг клиентов все больше раздражало его. А время шло, и затягивался проклятый круг безвыходности. Но неожиданно... Нет сомнения, это сам рок доставил почту в его дежурство...

Объемистый пакет с тремя черными сургучными печатями, присланный на имя нотариуса, был вскрыт тонким ножом. В пакете оказался паспорт Грегора Тиглера, доктора философии, документы и свидетельство о смерти ученого в Бразилии. В заведении Грегора Тиглера поручал нотариусу переслать хранившиеся в его конторе бумаги и шкатулку с драгоценностями на двести тысяч марок последнему представителю фамилии в немецкую колонию вблизи Одессы.

Все стало ясным, как небо в солнечный

день. Надо только торопиться... Паспорт глубоко засунут во внутренний карман пиджака. Следующее дежурство Шульца было последним в нотариальной конторе.

Он заявил нотариусу, что уезжает в Австралию искать счастья. Конечно, вместе со всеми документами в папке, изъятими из негоряемого шкафа, он захватил и шкатулку с драгоценностями.

На русской границе Шулец предъявил паспорт Грегора Тиглера. Направился он не в Одессу...

В одном из документов значилось, что в 1818 году предок Грегора, возглавив «Вейсакскую Гармонию», отбыл с немцами на четырех кораблях из Варны в Грузию. И вот он, бывший Шулец, решил последовать по стопам предприимчивого Адама Тиглера.

В Грузии немецкие колонии обрадовались появлению правнука отважного Адама. И сразу возникли дружественные отношения...

Тиглер еще плотнее прильнул к щели. Улица кричала: «Да здравствует свобода!» Слепые русские кроют! У них под носом Германия отрастила железные крылья. Их ничто не сломит!

Вскоре в доме Тиглера произошли перемены. Лысому депутату учредительного собрания, которого все почему-то называли просто Коста, примчавшемуся из Пистрограда в Тифлис, понравился этот дом.

Депутат скоро сделался эмиссаром и, влихнув тучного Аратова с генеральшей и болонками в одну комнату, сам разместился в пяти. Отдыхавшись, Коста спешно выписал из городов и деревень своих родственников, потом друзей, потом соседей, потом соседских друзей и стал бойко расселять их по этажам.

Особенно бушевала Марго, сестра бывшей жены эмиссара. До революции она скромно жила в Лагодехи, вязала шаали и сбывала их на базар. Но Коста — эмиссар! Кто мог ожидать? Сын торговца тархуном и яйцами! Марго собрала корзинку, сунула туда связку чурчхел и курицу.

В Тифлис она попала вовремя. Коста подыскивал себе секретаршу, приятную во всех отношениях.

Марго не была ни красивой, ни приятной. Но она лихо курила и, поблескивая змеиными глазками, с апломбом разрешала сложные вопросы, ставя втупишк даже наглецов. В часы досуга она, развлекая Коста, успевала выписывать для него цитаты из книг великих французов.

В ожесточенной дискуссии эмиссар доказывал доктору философии, что революции являются регулятором быта и вносят некоторое организующее начало в неорганизованное по своей природе домовое хозяйство.

Тиглер не замедлил опровергнуть лженаучные доводы своего постояльца. Он

лично голосует за феодальный регулятор. Лучше один владетель в замке с тысячей комнат, чем тысяча владельцев в доме, похожем на муравейник. Он предпочитает удалиться в подвал, но не терпеться спиной об общую стенку.

Когда этажи угомонились, Тиглер, под покровом ночи перетасил в подвал свои сокровища. Мебель и ковры были тайно перенесены заблаговременно. Марго перетасила в освободившиеся комнаты Тиглера свою корзинку.

Уплотненные эмиссаром жильцы возмущались. Но ему было не до них, он головой окунулся в политику. А Тиглер прикинулся бедняком, натянул на плечи парусиновый плащ и с мешком вышел за ворота. Он разорен и должен думать о пропитании, сокрушенно говорил он встречающимся жильцам.

Так стал он собирателем кишок на дворках мясных лавок майдана. А колбасный мастер из Катринфельда, примостившись в улочке у Воронцовского моста, принялся начинать буйволиным фаршем кишки. Покупатели нашлись, их было даже слишком много.

ГЛАВА 10

Генерал фон Лоссов поручил политическому советнику подготовить на завтра данные о потийском районе, коммерческому советнику в шесть вечера представить доклад о флоре и фауне Колхиды, принял рапорт капитана германского парохода «Минна Хорн» и приступил к разбору почты, аккуратно разложенной перед ним адъютантом. Отстранив папку «Берлин», он открыл папку «Тифлис». Послание Тиглера лежало в самом конце, но генерал с неизменным любопытством вскрыл очередной пакет сумасшедшего доктора. Было что-то гармоничное в его бреднях и кровавом облаке, замутившем германский горизонт. Подсознательно генерал чувствовал неумолимо надвигающуюся бурю.

Предотвратить ее? Но чем? Все сильнее проявляется несогласие между верховным командованием и большинством рейхстага. В войсках неблагоприятно: дрогнула боевой дух немецкого солдата. Если пропаганда большевистских агитаторов и не коснулась армии, все же толкает немцев на опасные мысли. Каждому хочется занять в жизни лучшее место. Даже у офицера исчезает рыцарское стремление возвеличить Германию. Преобладает жажда личной наживы: «Я — выше империи!»

Фон Лоссов прислушался. За окном мерно шагал по плитам тротуара немецкий часовой.

«...Он только помог турецким намшам и закавказским демократам...», — деречитал генерал слова Тиглера, подчеркнул их зеленым карандашом и стал отступать им юнкерский марш Потсдамской

школы. В самом деле, не является ли Брест-Литовский мир тяжелой ошибкой? Не трудно было вырвать у большевиков уступки — они рассматривают этот договор как временную меру. Мир им необходим для проведения мировой революции. А что он дал Германии? Преждевременное раскрытие имперских планов о мировом господстве. Недаром на всех перекрестках французские и английские писакки вопят об алчности немцев. По их мнению, для Германии недоступной зоной остается лишь владение римского папы.

Правильно мыслит только генерал Гофман. Он решительно восстает против вывода войск из оккупированных областей. И, наоборот, настаивает на пребывании в Литве и Курляндии на время мира по крайней мере шести армейских корпусов. Взгляд фон Лоссова снова упал на послание Тиглера, и он вдруг рассердился. Подобаает ли кайзеровскому генералу прислушиваться к бредням одержимого? Он взмахнул карандашом и написал: «Переслать опус философа Гарун-аль-Рашиду для продолжения «Тысячи и одной ночи». Мысленно смеясь, представил себе растерянность адъютанта, который побоится переспросить генерала и ткетно будет искать адрес халифа, наконец, сунет реляцию в дальний ящик и с невинным видом доложит ему: «исполнено».

Фон Лоссов взял разрезальный нож и вскрыл секретный пакет.

Граф Шуленбург подробно описывал торжественное заседание Закавказского сейма. Представление двадцать второго апреля разыграно по нотам рейхсканцлера. Энвер-паша, конечно, клоннул на червячка, насаженного на германский крючок. Так удалось турецкими усилиями побудить сейм провозгласить независимость федеративной республики. В результате в распоряжении кайзера — дашнакская Армения, мусаватистский Азербайджан и меньшевистская Грузия.

Остроумно обрисовав церемонию в Белом зале дворца, граф официально закончил: «Мирная делегация выезжает в Батум для возобновления трапезундских переговоров. Проинструктируйте Халил-пашу¹ и твердо придерживайтесь полученных из Берлина указаний».

Безбрежное синее небо отражалось в море. Ярко зеленели горы Гурии и Кобулет, искрились снегами Лазистанский хребет, отбрасывали серые тени вершины Самурзакани. К Батуму тянулись фелюги с провиантом и фуражом для турецкой армии. На рейде, лениво дымя, серебрился крейсер «Король Карл», за-

хваченный турками по возвращении из Трапезунда. Над южными фортами крепости колыхался флаг с полумесяцем.

На батумском вокзале почетный караул встречал мирную делегацию. Оркестр аскеров играл любимый марш султана. Голубоглазый офицер Селим-бей вскинул палаш на уровень подбородка и отрапортовал Чхенкели о благополучном состоянии порта Батума.

Поспешив с визитом к Халил-паше, председателю Оттоманской делегации, Чхенкели обменялся с ним взаимными заверениями. Оказалось, что султан «желает заключить братский и продолжительный мир с Закавказьем» и что «после стольких ран должно наступить излечение...»

Чхенкели едва дослушал. «Излечение ран? Это я уже слышал в Трапезунде, — шепнул он Хатисову и помчался к генералу фон Лоссову. Тут его ожидал неприятный сюрприз. Поскольку его делегация представляла уже республику, отделенную от России, с нею намеревались договариваться, кроме Оттоманской империи, Германия, Австро-Венгрия и Болгария, входящие в четверной союз.

Генерал, заметив приподнятую бровь Чхенкели, любезно пояснил: «Отсутствие в Батуме представителя Австро-Венгрии и Болгарии не помешает заключению договора. Если потребуется, две державы примкнут к нему впоследствии».

Озадаченный Чхенкели беспрекословно внес добавление фон Лоссова в первый меморандум Закавказской делегации.

И началось... Мирная делегация пыталась ухватить конец канители, которой Халил-паша вышивал затейливые узоры на плаще федеративной республики.

В конце пятого заседания Александр Иванович Хатисов вспомнил басню Крылова. Рак — бесспорно, Гаджинский. Он слишком заметно пятится назад к Белым и Черным Баранам¹. Недаром хитрый мусаватист неопределенно смотрит на Чхенкели, настороженно на него, Хатисова, и, разглаживая свою козлиную бородку, одобрительно улыбается Халил-паше. Не трудно решить, кто лебедь. Меншевики понастроили воздушных замков, и сейчас Чхенкели рвется в облака пропеть свою лебединую песню. А шука? Увы! Карс плакал! Александрополь трещит! Кара-клис стонет! Ардаган... Не лучше ли Хатисову шукой ускользнуть в Севанское озеро?

Александр Иванович стал обдумывать план захвата турецкого Курдистана и избавления Армении от лишнего балласта своих федеративных союзников.

А Халил-паша, получив радиотелеграм-

¹ Халил-паша — лидер партии младотурков «Единение и прогресс», министр юстиции, убежденный сторонник германо-турецкого союза.

¹ Некогда враждовавшие между собой прикавказские тюркские племена.

му о направленном к нему с секретной почтой Сафар-бее, всячески затягивал мирные переговоры и тайно поощрял генерала Вехиб Махмеда к захвату Эривани и Джульфы, граничащей с Персией.

Наконец и Чхенкели понял, в какую западню завлекли его мечты о великой меньшевистской державе. Он решил поставить вопрос ребром, не давая больше увлекать себя никакими заверениями.

При десятой встрече Чхенкели уверял Халил-пашу, «сына корана и сабли», в дружеских чувствах, в доказательство прочитал присланную из Тифлиса копию письма правительства Советской России, предлагавшего помощь Закавказью. Чхенкели не замедлил придать лицу скорбное выражение. Большевики не способны на вежливость! Что за слова? «Германо-турецкий империализм!» Конечно, помощь отклонена.

Халил-паша благосклонно одобрил решение грузинского правительства. Мудрость подсказывает не впускать кошку в хранилище масла, хотя бы там хозяйничали мыши.

— Когда тонешь, то схватишься и за змею, — шумно вздохнул Чхенкели и стал категорически возражать против нарушения Халил-пашою Брест-Литовского договора.

Султанский дипломат, прищурясь, посмотрел на гладкий лоб Чхенкели и не без иронии заметил:

— Закавказская федеративная республика провозгласила свою независимость от России и этим разумным актом потеряла право ссылаться на Брест-Литовский договор. А турецкая армия, строго придерживаясь статей договора, действует не против русских войск, а против закавказских отрядов, мало дисциплинированных.

Чхенкели почувствовал себя плохо под немецким душем в турецкой бане. И поспешил к фон Лоссову.

Вестовые опустили белые шторы, поставили на стол два прибора, туго накрахмаленные салфетки с немецкими монограммами, устрицы в стеклянной вазе, лимоны и шампанское в ведерке со льдом.

Фон Лоссов, прислушиваясь к осторожному звону ножей, потрепал за ухо лежавую, поправил на ошейнике золотую медаль «За имперскую охоту». Пес выжидательно насторожился, обнюхал воздух, зевнул и обиженно растянулся в углу. Генерал снова углубился в донесения агентов разведки. Поведение турецких бестий совпадает с пророчествами Тиглера! Под видом противодействия операциям англичан в пределах Персии и создания благоприятной обстановки для действия 6-ой турецкой армии, слишком предприимчивый Вехиб Махмед-паша захватила железнодорожную линию Александрополь — Джульфа. Фон Лоссов помрачнел

и резко провел несколько линий на карте Грузии.

«Этот азиат вышел из рамок дозволенного, нарушая интересы Германии. Придется вмешаться... В последней инструкции фельдмаршал обращает особое внимание на воинственность Энвер-паши. Не дожидаясь решений всеобщей мирной конференции, он в Стамбуле настаивает на полной оккупации Закавказья. Разумеется, фельдмаршал предписал не допускать турок к захвату южного Кавказа...»

Фон Лоссов вызвал адъютанта и приказал послать Халил-паше ящик с сигаретами «Мурати», полученными накануне из Берлина... Да, момент для вмешательства подходящий. Но тут необходим хитроумный маневр — надо допустить храбрых союзников до Караклиса и этим насмерть напугать триумвират, пусть почувствует, что без немцев им не маршировать. А затем... зажать в тиски обнаглевших турок.

У подъезда виллы затормозил автомобиль. Фон Лоссов выглянул в окно, спрятал бумаги в диванный стол, повернул два раза ключ и пошел навстречу гостю.

Генерал с притворным удивлением слушал жалобы Чхенкели на лицемерие Стамбула.

— Батумские переговоры не подвигаются вперед, — сказал фон Лоссов, выжимая над устрицей лимон. — Однако в интересах сторон — достигнуть как можно скорее результата. Я имею честь предложить вам, господин министр, мои добрые услуги в качестве посредника. Не откажите сообщить мне официально согласие Закавказской делегации.

Вестовые подняли белые шторы. Прохладный ветерок донес шум моря и пряный запах мимоз.

Было двенадцать часов. Чхенкели взял трубку аппарата. По прямому проводу он обрисовал председателю Национального совета в самых мрачных красках ход переговоров «с этим обворожительным Халил-пашою».

В час ночи Фон Лоссов, безразлично скользнув взглядом по небу, усыпанному звездами, подошел к аппарату и связался по прямому проводу с Тифлисом. Он обрисовал графу Шуленбургу в самых редульных красках ход переговоров Халил-паши с «мирной делегацией».

«Политическая гонка, кажется, подходит к ленточке, но победит ли Ахиллес или черепаха, приз получит Германия!» — смеялся граф, кладя трубку.

Позолоченная ограда отделяла особняк от улицы. В кабинете, уставленном высокими книжными шкапами, вертел латунными крыльями вентилятор. Шуленбург, как опытный лоцман, в течение часа вводил председателя Национального совета в

курс двойственной политики Оттоманской империи..

— Итак, Энвер-паше, к сожалению, удалось переменить принцип религиозный на принцип национальный. Султан — ослабленная пружина, Энвер — ловкий комбинатор. Превратив турок из панисламистов в пантюркистов, он на эту приманку поймал муссаватистскую корпорацию. И мы накануне присоединения Азербайджана к Оттоманской империи.

— Но Энвер-паша — германофил, наш надежный союзник, — возразил председатель, — без согласия фельдмаршала он не осмелится на такой сугубо важный шаг. Мы имеем основания рассчитывать на вас..

— Я считаю своим долгом предупредить, господин председатель, что Энвер-паша обещал, в случае выхода муссаватистов из Закавказской федерации, усилить их за счет территории Грузии, присоединив к Азербайджану Ворчалинский и Ахалцыхский уезды. И, кроме того, большевики заявили в Москве графу Мирбаху, что они решительно не признают Закавказское правительство, а это значит... вы меня понимаете? Спасение Грузии только в немецком покровительстве.

Председатель прислушался к шуму вентилятора. Зловеще качатый графом демарш закончился предложением добрых услуг. Председатель выразил уверенность, что посланная в Берлин делегация, возглавляемая сановником Церетели и полковником князем Амилахвари, в полной мере сумела выразить чаяния грузинского народа.

Граф удовлетворенно наклонил голову. И тут же обрадовал председателя: просьба об отправке на родину грузин-военнопленных в организованном порядке исполнена. В Загане уже идет подготовка к отбытию «легиона святого Георгия». Приятно сознавать, что сохранный в лагере в знак дружбы к Грузии спаянная группа пленных будет весьма полезна будущему грузинскому президенту.

Председатель провел рукой по серебрястой бороде. После солидной паузы он попросил до прибытия легиона сформировать для борьбы с анархией вспомогательный корпус из германских военнопленных, находящихся в Грузии.

В тот же вечер два адъютанта полковника Амилахвари, сухопутный — Гоглик и морской — Датино, были отправлены в Батум. Они везли генералу фон Лоссову от Национального совета увесистый пакет с пятью печатями, в котором содержалась повторная просьба поддержать Чхенкели в международных и политико-государственных вопросах. Другой пакет от военного министра, адресованный Чхенкели, не был запечатан. Поэтому, удобно устроившись в куче, Гоглик, вынув из незапе-

чатанного пакета оперативную сводку, ознакомил друга с вольями командира грузинского корпуса:

«После захвата Александрополя и эриванской железной дороги, несмотря на состояние перемирия, турки форсируют военные действия и, в частности, на каракиском фронте продолжают наступление. Вытеснив сегодня из селения Авдибед нашу заставу, они направили значительные силы по тифлисскому шоссе...»

Поезд звякнул буферами. Датино бросился к открытому окну.

— Мцхет! Гоглик, о чем ты думаешь?! Чуть знаменитые пирожки не прозевали! Адъютанты метнулись к выходу. Гоглик на ходу сунул сводку в кожаную сумку. На платформе пестрая толпа. Офицеры во френчах цвета парного молока беззаботно прогуливались под руку с девицами, кокетливо вертящими зонтиками. Внизу в зарослях диких слив шумела Кура. Розовеющие облака выглядели из-за лесистых гор. Откуда-то выскочили мальчишки. Протягивая военным кавалерам на обстрелянных палочках первые нежножелтые черешни, они приплясывали:

Турки быстро наступали,
Взяли Каракис,
Три вагона динамита
Везут на Тифлис!..
Вай! Вай! Тыри там...

— Черешни! Кому черешни-и?!

На платформу вышел отряд пехотинцев и стал спешно грузиться в последний вагон. Их командира, щеголеватого капитана, окружила толпа.

— В чем дело?

— Что случилось?

— Где турки?!

— К Озургетам подходят, — небрежно бросил капитан и, увидя хорошенькую институтку в белой пелеринке, заиграл анненским темляком. — Разойдитесь, господа! Войско не видели?!

Сдвинув на затылок панаму, эмиссар Коста озабоченно оглянулся: может быть, вернуться? Все равно Закавказье распадается! Чорт с ними — с дашнаками и муссаватистами! А встреча генерала фон Гросса?..

— Датино, что сказал машинист?

— Клялся — никаких турок нет. Мирная делегация в Батуме договаривается.

— Ты обещал ему на чай, чтобы гнал паровоз?

— Не расстраивай меня, Гоглик! Что я — Манташев, чтобы за весь поезд расплачиваться?..

Шум батумской кофейни не мешал беседе. В тени пальм Коста излагал Акакию Чхенкели решение исполнительного

комитета Национального совета объявить независимость Грузии. Единого Закавказья в настоящий момент не существует. Армению турки прижали к Арарату, причем, к малому Арарату. А Азербайджан сам поддерживает турок. Муссаватисты спротиворечиво выступили против Грузии. Коста вынул из портфеля документ:

«...Ввиду невозможности мирной жизни мусульман в составе Закавказья и тем более в составе Грузии, постановили просить Турецкое правительство присоединить по мирному договору к его территории весь Ахалцехский уезд и часть Ахалкалакского...»

Чхенкели стал обдумывать, какую политическую выгоду можно получить у фон Лоссова при помощи мусульманской петиции. Он уже твердо решил отделаться от лидера дашнаков Хатисова. К чему иметь на своей шее двойное ярмо — эфемерную Армению и лицемерный Азербайджан. Немцам, конечно, не по вкусу придутся аппетиты Турции, но тем легче будет заставить их оградить Грузинскую демократическую республику от любых опасностей.

Внезапно Хатисов шумно извинился за опоздание и, потребовав к кофе засахаренного миндаля, торопливо рассказал о своей встрече с Халил-пашою, который опрометчиво играет не в такт в немецком квартете. Загадочная улыбка промелькнула на полных губах Чхенкели, и он разъярился Хатисову выгодность для Грузии и Армении дипломатической «ошибки», допущенной Халил-пашою. Запах вина, нефти и персиков толкнул пашу на заранее рассчитанную дерзость, он решительно отказался от посредничества фон Лоссова и при этом заявил, что если при обсуждении проекта мирного договора, актов и конвенций столкнутся интересы Османской империи и Германии, то султан и кайзер без участия Закавказской федеративной республики найдут путь для взаимного соглашения.

— Подобная дипломатическая ошибка была допущена императором французов Наполеоном III по отношению к королю пруссаков Вильгельму I. И что получила Франция от Бисмарка? Кровавопролитную войну! А неосторожный Наполеон получил Садан! — презрительно сказал эмиссар.

— А Халил-паша получит комбинацию из трех республик! — расхохотался Хатисов.

— Я думаю, — заметил Чхенкели, — что настал выгодный момент для Армении самостоятельно показать Халил-паше соответствующую комбинацию, — и, придвинув свой стул ближе, таинственно склонился к Хатисову...

Неподалеку от них Гоглик и Датико наслаждались кофе по-батумски. Адьютанты обсудили предложение эмиссара Коста сопровождать его на легком катере в ютийский порт. Туда должен прибыть пароход «Голубой Дунай», на котором с кайзеровской миссией следует их шеф, полковник Илларион Амиахвари.

—...Итак, Александр Иванович, — продолжал убеждать Чхенкели, — спасение Армении в независимости. Энвер-паша не посмеет посягнуть на суверенное государство, признанное Германией. А вы, став первым президентом, официально представите Армению, которой, безусловно, как и нам, окажет помощь немецкое командование.

Покончив с дашнакским балластом, Чхенкели поднялся. Теперь следовало приниматься за муссаватистов...

Автомобиль скользил по набережной. Чхенкели окинул добродушным взглядом турецкие фелюги, разгружающиеся у мола. «Суетитесь, суетитесь!» — усмехался министр, похлопывая по портфелю, в котором лежал ультиматум Халил-паши.

Не менее весело был настроен и фон Лоссов. Генерал обрадовал министра: им получены достоверные сведения, что вчера Закавказская федерация распалась.

— К сожалению, — добавил генерал, притворно вздохнув, — это обстоятельство вынуждает меня покинуть мирную конференцию и отбыть в Потти.

В свою очередь министр обрадовал генерала. Он достал из портфеля ультиматум Халил-паши. Особенную веселость собеседников вызвало сетование паши на критическое состояние Кавказа. Он указывал «на тяжелое положение мусульман в Баку и окрестностях, попавших под кровавое ярмо безжалостных революционеров». Подчеркивал «цекотливое положение султана, вынужденного быть пассивным свидетелем анархии, раздражающей Кавказ». Вот почему Стамбул требует передачи железных дорог и свободного пропуска войск через Кавказ на другой театр военных операций. Отношения между сторонами должны сохраниться дружественные, при непрременном условии не противодействовать операциям Стамбула на юге Кавказа. После стольких ран должно быть излечение...

Генерал откинулся в кресле. Так хохотал он только в канун объявления войны на оперетте «Король веселится».

— А сколько времени мудрый Халил-паша дал вам на размышление?

— Три дня.

— Отлично, используйте это время на изучение обязанностей министра иностранных дел в предстоящем грузинском государстве...

Хатисов, приподняв шляпу, кричал вслед отчаливающему катеру:

— Приглашаю вас на озеро Севан помочь мне выудить крупную форель!

— Обязательно, после улова в Потти! — ответил Чхенкели.

Катер, разрезая легкую волну, выходил из бухты. Датико, откозырнув матросу, поправил аксельбанты и кортик и презрительно сообщил Гоглику, что эмиссар Коста уже корчится. К морской стихии надо привыкнуть. Недаром адмирал Нельсон не

любил штатских. Он утверждал, что галстук....

— Что галстук? — спросил Гоглик и осекся.

Побледневший Датико свалился на скамью. Не помогли ни лимон, ни лимонад.

Через два часа Гоглик с трудом вытащил друга на потийский берег. Очухавшись, Датико стал проклинать море и вообще эскадры всех мировых держав.

(Продолжение следует.)

СТИХИ

А. А. КЮНДЕ

★

СТЕЛЕТСЯ ДЫМ

Вечер весенний прохладен..

Из-под размытого льда

Талая льется вода.

Сумрак долины отраден.

Вот и поля вдалеке..

Узкой тропой потихоньку

Еду, нагнувшись к луке,

Мыслям дремотным вдогонку.

Встали березы в кружок..

А за березами ерник, —

В ернике вьётся дымок,

Сумрака серый соперник.

Весело стелется дым..

Медленно к небу всплывает,

Вот и запахло родным,

Тем, что душа понимает.

Запах мальчишеских лет..

Запах огня и ночлега.

Родины теплый привет.

Бодрости вешняя нега.

Тлеет горящий кизяк..

Снова мне радость знакома.

В запахе этом, друзья,

Близость отцовского дома.

★

ЖИЗНЬ

Неровные вершины гор.

Собственных лиственниц убор.

Костлявых сучьев редина.

Повсюду — ночь и тишина.

Под одеялом из снегов

Не видно низеньких кустов.

Живого нет нигде следа.

Стоят большие холода.

Высоко где-то, сквозь туман

Луна вздымает ятаган.

Желтеет в тучах зябкий свет

И мертвым звездам счету нет.

А на земле мороз и мрак.

Деревья встали кое-как.

В тяжелом ином стволах

Едва маячат среди мглы.

Но жизнь и тут не замерла.

Пылинка вечного тепла.

На омертвелом берегу —

Пичужка прыгает в снегу.

Порхает. Вьётся меж ветвей.

Пестреют перышки на ней.

Зайндевелсе крыло

Оттенюк снега обрело.

Но нет! Она жива, жива!

И пусть заметная едва,

С бусинками на месте глаз

Смешной покажется для вас.

Как будто гвоздики, горчат

Сухие лапки, обе в ряд.

И вот запрыгала она,

И расколосась тишина.

Пищит, чирикает, поёт.

Должно быть тоже солнца ждет..

В полянных сумерках зимы

Кусочек жизни видим мы.

Перевод с якутского Анатолия Ольхона.

РУССКИЕ И ЯПОНИЯ

Забывтые страницы из истории русских путешествий

ЮРИЙ ЖУКОВ



На море спускалась темная южная ночь. Последние лучи солнца скользнули по парусам красивого легкокрылого шлюпа, и резная русская надпись «Диана» засверкала золотом на борту. Высокие горы на берегу неведомого залива окутались синеватой дымкой. За длинной песчаной косой смутно выдвигался какой-то поселок, раскинувшийся у самого берега.

— Обождем до утра, Петр Иванович. Нервен час перепугаем насмерть супостатов, а?..

Суровое лицо командира «Дианы», 35-летнего капитан-лейтенанта Василия Головинина¹, всег-

¹ Не одно место на географической карте мира названо именем этого отважного мореплавателя: в Беринговом проливе на американском берегу лежит залив Головинина. На Новой Земле высится могучая гора Головинина. Острова Райкоке и Матуа далекой Курильской гряды разделяет пролив Головинина. Наконец, близ мыса Лисбуерна — этой крайней оконечности бывлой Русской Америки имеется мыс Головинина.

Русские географы достойно оценили труды своего славного соотечественника — моряка, война и исследователя, навеки запечатлев его имя на географических картах. Они как бы выполнили его завет — воздавать должное подлинным открывателям новых земель, а не сановным вельможам.

В век подхалимства и утонченной придворной лести Головинин откровенно писал: «Если бы нынешнему мореплавателю удалось сделать такие открытия, какие сделали Беринг и Чириков, то не токмо все мысы, острова и заливы американские получили бы фамилии князей и графов, но даже и по гольмам камням рассадил бы он всех министров и всю знать; и комплименты свои обнародовал бы всему свету. Ванкувер тысяче островов, мысов и проч., кои он видел, роздал имена всех знатных в Англии и знакомых своих, напоследок, не зная, как остальные назвать, стал им давать имена иностранных посланников в Лондоне — тогда бывших.

Беринг же, напротив того, открыв прекраснейшую гавань, назвал ее по имени своих судов:

да озарялось дружеской улыбкой, когда он заговаривал со своим товарищем и помощником Петром Рикордом. Их дружба зарязалась и окрепла много лет назад, когда оба они, совсем молодые моряки, были посланы на выучку в британский флот к знаменитому Нельсону. С тех пор они не расставались, деля пополам радости и горести военных битв и далеких походов.

Рикорд кивнул головой и деловито отдал приказ:

— На якорь становиться, паруса долой!..

Приказ, как всегда, был исполнен молниеносно. Небольшая команда шлюпа приобрела прекрасную выучку за эти пять лет. С тех пор как «Диана» покинула Кронштадтский рейд, уходя в кругосветное плавание, она беспрестанно находилась в движении. Сейчас Головинин заканчивал выполнение последнего поручения — опись Курильских островов, и все моряки предвкушали радость близкой встречи с родными. От острова Кунашир «Диана» должна была отправиться прямо в Охотск.

— Небось, заждались Людмила, а?.. — спросил Головинин, хитро прищурившись.

Рикорд смутился и поспешил перевести разговор на другую тему.

— Ночь-то какова, Василий Михайлович!.. Давно нас бог такой не баловал... Никак не уразуметь мне странности сих мест! По шлюоте

«Петра» и «Павла»: группу довольно больших островов, кои ныне непременно получили бы имя какого-нибудь славного полководца или министра, назвал он Шумагина островами, потому что похоронил на них умершего у него матроса сего имени».

В этой откровенной и злой филиппике — весь Головинин, прямотолнейный и немного грубоватый, мужественный и умный.

Его недолюбливали в высшем свете, но с ним считались, его ценили и уважали. Отважный моряк, не раз пересекавший на утлых парусных шлюпках просторы Атлантики, Индийского и Тихого океанов, участвовавший во многих морских сражениях и, наконец, посвятивший себя глубоким научным исследованиям, — был одним из славнейших русских мореходов.

быть здесь климату италийскому, а туманы стоят поважнее Камчатских. Сказывают, однако же, что в южных японских землях природа много добрее...

Капитан и его помощник немного помолчали, любясь бархатным небом, на котором заглялись крупные звезды. Погода действительно не баловала «Диану». Семнадцать дней блуждали они в густом, плотном тумане, путаясь между островами Итурупом, Чикотаном и Кунаширом. До сих пор мореплаватели считали Кунашир полуостровом японской земли, которая называлась Иессо или Матсмай. Поэтому Хвостов и Давыдов во время своей экспедиции к острову Кунашир не подходили. Но вчера русские моряки заметили пролив и вошли в него.

Головнин был в очень хорошем настроении: судьба послала ему еще одно географическое открытие. К тому же он предполагал к утру пополнить запасы продовольствия закулками у японцев. Вчера растерянный кок доложил капитану, что проклятые крысы слопали более четырех пудов сухарей, около шести четвериков солода, а изгадили и того более.

Головнин уже заканчивал порученную ему опись Курильских островов, и все моряки предвкушали радость близкой встречи с родными. От острова Кунашир «Диана» должна была отправиться прямо в Охотск.

Плавание «Дианы» чрезмерно затянулось. Уже пять лет бороздил шлюп волны океанов. Сколько тягостных приключений пришлось пережить его морякам за эти годы.

В июле 1807 года, когда «Диана» покидала Кронштадт, никто не мог хотя бы приблизительно предугадать, как развернутся политические события. Ясно было одно: мир, подписанный Александром I и Наполеоном за месяц до этого в Тильзите, резко ухудшила взаимоотношения России и Англии. Вчерашние союзники могли завтра же стать врагами. А тогда одинокой «Диане», ушедшей в кругосветное плавание, пришлось бы очень круто при встрече с английской эскадрой.

Головнин решил как можно скорее уйти на запад. Остановившись в Портсмуте для пополнения запасов провизии и снаряжения, он на всякий случай выхлопотал у английского правительства особый паспорт, охраняющий неприкосновенность «Дианы», как судна, идущего в мирную научную экспедицию. Но Головнин слишком хорошо знал цену бумажкам, чтобы обольщаться их значением. И, выйдя в море, он сразу же взял курс на юго-запад, к берегам Бразилии, намереваясь обогнуть мыс Горн, выйти в Тихий океан и таким образом избежать встречи с англичанами.

На беду у мыса Горн «Диана» попала в жестокий ураган, и обогнуть его не удалось. Скрепя сердце, Головнин повел «Диану» на восток, чтобы обогнуть Африку и затем пересечь Индийский и Тихий океаны.

Запасы провизии истощались, шлюп нуждался в ремонте. Головнину пришлось волею-неволею зайти в английский порт Саймонс-Бай на мысе Доброй Надежды. Какой горькой иронией

прозвучало название мыса, когда адмирал английской эскадры, стоявшей в Саймонс-Байе взял «Диану» в плен, объявив, что война между Англией и Россией уже началась.

Возникла долгая и нудная переписка с Лондоном. Русские моряки жили на положении пленников. Паруса «Дианы» были отвязаны. Остатки запасов провизии с шлюпа сняли. Рядом с «Дианой» стал адмиральский корабль. Чуть поодаль дежурили несколько фрегатов, готовых по первому сигналу ринуться в погоню за шлюпом, если он попытается бежать...

Так прошел год и двадцать пять дней. Русским морякам опостылел этот чужой порт, это чужое небо без Полярной звезды и Большой Медведицы, эта чужая речь. И только в хижине старого огородника, каким-то чудом занесенного на чужбину из России, они отводили душу, вполголоса напевая песни своей родины.

Но капитан «Дианы» не тратил времени зря. Выезжая на шлюпке в море, будто для прогулки, он изучал направление и силу господствующих ветров и вел сложные расчеты.

Темной ночью, 16 мая 1809 года, когда подул свежий норд-вест, моряки «Дианы» быстро и бесшумно подвязали шторм-стаксели, обрубали канаты, и «Диана» легко скользнула по воде.

Для сильный дождь. Все небо было затянуто тучами. Все же на адмиральском корабле заметили, что «Диана» сдвинулась с места. Там послышались крики, поднялась суматоха...

Англичанам не удалось догнать беглецов, затерявшихся в бурном океане. Но до спасения было еще далеко. Опасности подстерегали Головнина и его спутников на каждом шагу: их могли перехватить патрульные суда англичан, их мог погубить ураган, наконец, им угрожала голодная смерть: на корабле был очень небольшой запас продуктов.

Головнин в первый же день урезал выдачу продовольствия и осуществил безумно смелый маневр: он повел «Диану» туда, где меньше всего могли искать ее англичане — во льды Антарктики. Шлюп шел вдоль кромки льда. Полуголодные, иззябшие моряки не роптали на своего командира — они верили ему.

Обогнув Австралию с юга, «Диана» нырнула в пролив, отделяющий Австралию от Новой Зеландии, обогнула с востока Ново-Гейбридский архипелаг и помчалась на всех парусах к берегам Камчатки.

Только одну коротенькую остановку сделал на этом долгом пути осторожный Головнин, — он бросил якорь у затерянного в океане островка Тану, где со времен Кука не бывал ни один европеец.

23 сентября «Диана» подошла к Камчатке. Здесь Головнина ждало приятное известие: он был награжден сразу двумя орденами: орденом Георгия «за осмысленные морские кампании» и орденом Владимира «за благополучное свершение многотрудного путешествия».

Головнину пришлось задержаться здесь — ему были поручены новые ответственные экспедиции. Первое впечатление от Камчатки было

безрадостным. С тоской в душе записывал Головин в своем дневнике:

«Камчатка представляла нам картину, какой мы еще никогда не видали: множество сопок и превысоких гор с соединяющими их хребтами были покрыты снегом, а под ними чернели вдали леса и равнины. Некоторые из вершин гор подходили на башни, а другие имели вид ужасной величины шатров, что подавало повод острокам из наших матросов сказать, что тут чорт лагерем расположился. Мысль эта была удачна. И в самом деле, я думаю, что Мильтон в своей поэме «Потерянный рай» не мог бы лучше уподобить военный стан сатаны, когда он вел войну против ангелов, как если б сравнил его с Камчатскими горами в осеннее время!..»

И вот уже второй год моряки проводят в этой стране. Хотя за это время первоначальное мрачное представление о Камчатке рассеялось, и Головин даже полюбил ее своеобразную и дикую красоту, но перед ним все чаще вставали картины иной природы. Как дорого он дал бы за то, чтобы взглянуть хоть на миг на родное село Гулянки, на мирные рязанские пейзажи!

Оставшись после смерти родителей круглым сиротой, он рано покинул свой дом. Родственники — родовитые, но обедневшие дворяне не могли направить его по традиционному пути в гвардию, где служили отец и дед Головина. Хорошо было и то, что сироту удалось определить в морской корпус. Кадеты чуждались и третировали бедняка.

Он рос молчаливым, замкнутым, немного озлобленным. Не потому ли его сердцу все милее становились полузабытые Гулянки...

— Василий Михайлович!..

Капитан-лейтенант вздрогнул, словно пробудившись от воспоминаний. Его помощник указывал на берег. Там в гавани на двух мысах неожиданно вспыхнули большие огни. Костры горели ярким пламенем, и розоватые отблески ложались на лица моряков.

— Что это — приветствие?

— Ниче думаю, Василий Михайлович, — прощел сквозь зубы осторожный помощник, — прикажите усилить караулы!

Однако ночь прошла спокойно. Утром «Диана» подняла паруса и тихо вошла в гавань. Головин увидел в подзорную трубу странные декорации: японская крепость, стоящая на берегу, кругом была обвешана полосатой материей так, что ни стен, ни палисада нельзя было увидеть. Местами между полосами материи были поставлены щиты с нарисованными на них круглыми эмблемами. Эти изображения были сделаны так грубо, что даже издали нельзя было принять их за настоящую батарею.

Внутри крепости были видны лишь некоторые строения, лежавшие на косогоре. Среди них выделялось затейливое здание, увенчанное множеством флагов и флажков. На других зданиях также развешались цветные флажки, но числом поменьше. Курьезец Алексей, служивший на «Диане» переводчиком, пояснил, что, по японским обычаям, город всегда так украшается, ес-

ли в порт прибывает чужое судно или приезжает важная особа.

— Гостеприимные люди, Петр Иванович! — улыбаясь, сказал Головин.

— Гляньте вправо, господин командир, — ответил Рикорд.

Правее, высоко на горе чернели пушки настоящей батареи. Возле них сустились люди. Мгновенно, и батарея окуталась густым черным дымом. Раздался грохот, и раскаленные ядра с шипением упали в воду, не долетев до «Дианы».

— Странная метода приветствовать гостей, — пробормотал Головин, в планы которого совсем не входила драка с японцами.

Но может быть эти выстрелы были даны ошибочно. Несколько часов спустя Головин приказал спустить шлюпку, оставил на «Диане» своим заместителем Рикорда и сам направился к берегу, захватив с собой штурманского помощника Среднего, четырех гребцов и курьезца Алексея, который служил переводчиком.

Гребцы молодцы налегали на весла, и через несколько минут шлюпка была в 50 саженях от берега. В это мгновение снова раздался грохот артиллерийских залпов, и ядра со свистом пронеслись над шлюпкой. Вода закипела вокруг от ударов.

— Измена! — воскликнул Головин, и шлюпка быстро повернула к «Диане». На помощь же спешили вооруженные гребные суда, заблаговременно спущенные на воду предусмотрительным Рикордом. Но, к счастью, японцы очень медленно заряжали свои пушки и плохо целились. Ни одно ядро в шлюпку так и не попало, хотя японцы стреляли в упор. Разозленные своей неудачей, японские артиллеристы продолжали вести огонь даже тогда, когда шлюпка вышла из зоны досягаемости их ядер.

Все же Головин решил еще раз попытаться войти в мирные переговоры с японцами. Но как это сделать?

Утром 6 июля 1811 года русские моряки отвезли на середину залива бочку, разделенную перегородкой пополам. В одну половину поместили стакан с пресной водой, несколько волов дров и горсть риса — в знак того, что корабль нуждается в этих вещах. В другую половину бочки положили кусок алого сукна, несколько хрустальных изделий, бисер и испанские пиастры — это означало готовность щедро расплатиться за все, что будет приобретено у японцев. Сверху положили картинку, искусно нарисованную молодым немцем мичманом Муром. На картинке изображались гавань и корабль, на котором весьма явственно обозначены пушки и японские батареи. С японских батарей градом сыпались ядра, летящие через шлюпку. Пушки русского корабля были изображены в бездействии. Рисунок служил упреком японцам в их вероломстве.

Лишь только бочку оставили на воде, на берег выбежали японцы. Они проворно усаелись в лодку, выехали на середину залива и забрали бочку. Потом все успокоилось. Завешенная полосатыми полотнищами крепость казалась со-

вершено безлюдной. Над заливом царил мертвая тишина.

Прошел еще день. Японцы не подавали никаких признаков жизни. Головинин заметил в стороне от крепости какой-то рыбацкий поселок и послал туда несколько вооруженных шлюпок под командой Рикорда. Он приказал своему помощнику взять в поселке нужное количество дров, воды и пшена и щедро расплатиться за все.

Рикорд нашел поселок обезлюдившим. Он отыскал дрова, пшено, сушеную рыбу, забрал их и оставил богатую плату, значительно превосходившую стоимость взятых вещей. К вечеру на берег съездил сам Головинин. Поселок был попрежнему пуст, однако, все вещи, оставленные Рикордом, исчезли.

— Дьявол с ними, нехристями! — мрачно сказал Головинин. — Нам до них нет никакого дела. Завтра наберем воды и уйдем отсюда.

Но события сложились иначе, чем предполагал капитан. 9 июля шлюпки «Дианы» подошли к берегу. Матросы начали брать пресную воду из речки, впадавшей в залив. Вдруг им представилось странное зрелище. Из крепости вышел заросший волосами курилец. Он нес в левой руке поднятый крест и непрерывно крестился, трясясь от страха.

Матросы покатались со смеху.

— Дядя, что ты дрожишь?..

Бледный курилец бормотал что-то бессвязное, мешая русские слова с курильскими. К сожалению, переводчика на берегу не было, и моряки с трудом поняли лишь несколько фраз. Курилец говорил, что его зовут Кузьмой, что сам он с острова Распуа, что японцы послали его как православною для переговоров, поскольку русские чтут крест. Кое-как моряки разобрали, что начальник города хочет встретиться с командиром русского судна в море на лодках. Головинин дал согласие и отпустил курильца, подарив ему нитку бисера.

Встреча с японским правительством состоялась утром 10 июля. После долгих переговоров с чиновниками, выехавшими на шлюпках встречать Головинина, русские моряки согласились выйти на берег, где их ждали начальники. Старший из них вышел навстречу Головинину, важно подбоченясь и широко расставляя ноги. Он церемонно заявил Головинину, что очень сожалает о происшедшем и что японцы не обстреляли бы шлюпок, если бы русские послали шлюпку навстречу лодке, якобы выехавшей из крепости.

— Вот гладко врет, павлин окаянный! — шепнул Головинину один из спутников. — И птицу бы заместили, не то что лодку. День-то был ясный...

Головинин утвердительно кивнул, с трудом скрывая усмешку, и в тон японскому начальнику дипломатично ответил:

— Прискорбно сие. Видимо, туман помешал нам заметить шлюпку вашу.

Японский начальник любезно благодарил русских за вещи, оставленные ими в обмен за пшено и рыбу, спрашивал, что еще потребуется «Диане» и обещал устроить как нельзя лучше. В

конце-концов, к удивлению Головинина, этот важный японец заявил, что он еще не самый главный начальник — главный же начальник находится в крепости и очень хочет поговорить с Головининым.

На этом переговоры закончились. Вечером японцы привезли на «Диану» в подарок русским сто больших рыб. Они опять рассыпались в любезностях и повторили приглашение явиться к начальнику. После некоторых колебаний Головинин решил явиться в крепость, чтобы договориться обо всем с самым главным начальником и поскорее закончить торг.

11 июля Головинин, в сопровождении мичмана Мура, штурмана Хлебникова, курильца-переводчика Алексея и четырех гребцов — Симонина, Макарова, Шкарева и Васильева — покинул «Диану» и высадился на берегу. Он не подождал в эту минуту, как надолго расстается с родным кораблем.

Оставшись на «Диане», Петр Рикорд пристально наблюдал в подзорную трубу за всем происходившим на берегу. Он видел, как японские чиновники церемонно приветствовали русского капитана, как повели они его в крепость, вежливо указывая путь. Вслед за Головининым шли его спутники. Потом на берегу все утихло. Полосатые декорации японцев скрыли от Рикорда происходившее в крепости.

Помощник капитана распорядился начать уборку на корабле, чтобы все было в образцовом порядке — на случай, если с Головининым придет в гости японцы. Вдруг около полудня с берега донесся грохот выстрелов. Послышались крики. Из ворот крепости к русской шлюпке помчалась огромная толпа. Расхватав матчи, паруса, весла, японцы разбежались так же быстро, как и появились. Рикорд видел, как японцы подыали на плечи гребца, находившегося при шлюпке, и бегом понесли его в крепость. Все это произошло буквально молниеносно и сразу же снова воцарилась мертвая тишина.

Не теряя ни минуты, Рикорд приказал снять с якоря и подойти как можно ближе к крепости, дабы устрашить японцев и заставить их вернуть Головинина и его спутников на корабль. Но вскоре глубина уменьшилась до двух с половиной сажней, и «Диана» вынуждена была остановиться. В этот момент японские пушки открыли огонь по кораблю. Рикорд командовал своим артиллеристам, которые стояли уже у орудий с зажженными фитилями:

— Огонь!

Борт корабля опоясался огненными языками и клубами дыма. Ядра со свистом и воем понеслись на врага. Около 170 выстрелов сделала «Диана». Японская батарея, первой открывшая огонь, была сравнена с землей. Японцы не успели нанести шлюпу ни одного повреждения. Но все это не могло утешить Рикорда. Его любимый друг и начальник вместе со своими спутниками оставался в руках у коварных и мстительных врагов. И кто знал, какая участь их ожидала!..

Матросы «Дианы» просили у Рикорда разрешение немедленно высадиться на берег и ата-

ковать японцев. Но Рикорд не мог этого разрешить при всем желании немедленно вырвать из плена своих друзей. Против большой укрепленной крепости он мог бы выставить всего 50 моряков. Пока они находились бы на берегу, коварные японцы легко могли предать огню оставшейся без защиты корабль. Тогда вся экспедиция обрекалась на гибель, и в России даже не узнали бы о ее судьбе.

Призвав своих подчиненных к благоразумию и хладнокровию, Рикорд отвел свой корабль на рейд. Он решил немедленно уйти в Охотск, чтобы донести правительству о неслыханном вероломстве японцев и затем принять энергичные меры для освобождения Головнина и его спутников. Другого выхода не было.

Вскоре «Диана» оставила залив Измены, по справедливости названный так офицерами корабля, и пошла напрямик в Охотск сквозь густые туманы, преграждавшие ей путь.

Что же произошло в крепости, столь тщательно укрытой полосатыми декорациями? Гостеприимно приглашенные японцами в крепость русские моряки изумились множеству встречающих их людей. Вокруг площади сидели сотни солдат с ружьями, стрелами и копьями. В глубине стояла полосатая палатка, окруженная огромной толпой вооруженных куряльцев. Головнин не предполагал, что в тесной крепости может помещаться так много войска. Видимо, пока шли переговоры, сюда стянули армию со всех окрестных мест.

Гостей ввели в палатку. Против входа на стуле сидел главный японский начальник с двумя саблями за поясом. Кроме того, оруженосцы держали его копье, ружье и шлем. Через плечо у начальника висел длинный шелковый шнур, прикрепленный в стальному железу, который он держал в руках. Его окружал целый сонм чиновников, также вооруженных до зубов и закованных в латы. Головнину стало немного не по себе. Но он изобразил на лице любезную улыбку и легко вел непринужденную беседу с начальником, который учтиво потчевал гостей чаем. Как бы мимоходом, японец полюбопытствовал о количестве русских моряков на корабле. Головнин на всякий случай удвоил цифру. Потом японец спросил, много ли у русских в здешних морях таких кораблей, как «Диана». Головнин небрежно сказал:

— Конечно, много. В Охотске, на Камчатке и в Америке — целые эскадры русских кораблей...

Японцы перелаянулись и снова заговорили о пустяках. Мичман Мур, нагнувшись к Головнину, тревожно шепнул:

— Солдатам на площади раздают обнаженные сабли...

В это время вошел японский чиновник и что-то доложил начальнику. Тот встал и хотел уйти. Русские тоже поднялись и начали прощаться. Видя, что уйти не удастся, японец опять уселся и вежливо пригласил русских пообедать с ним, хотя время было раннее.

Головнин понял, что его поймали в ловушку. Чтобы поскорее кончить комедию, Головнин встал и сказал, что у него нет времени дожидаться обеда и что ему пора возвращаться на корабль. Тогда японец ухватился за саблю и что-то закричал. Поблудневший переводчик сказал, что японский начальник требует оставить русских заложников до получения ответа из столицы на его донесение.

Головнин и его спутники бросились к выходу из крепости, расталкивая японцев. Не решаясь подступиться к русским, японские солдаты бросали им под ноги поленья, весла и стреляли в них из ружей. К счастью, им не удалось попасть ни в одного из русских моряков. Головнин и его товарищи уже были близки к берегу. Но в этот момент они с ужасом заметили, что начавшийся морской отлив оставил шлюпку на суше — саженах в пяти от воды. Японцы уже хозяйничали на ней. Набросившись на безоружных моряков с торжествующим криком, солдаты схватили их и поволокли обратно в крепость.

Здесь японцы начали проворно вязать пленников сначала веревками, а затем вдобавок тонким шпагатом. Через несколько минут русские моряки не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой. Их оплетали целые сети хитроумных узлов. Вокруг груди и около шеи каждого пленника были затянuty петли. Локти почти сходились за спиной, кисти рук были связаны вместе, и конвоир держался за веревку. При первой же попытке к бегству, петля вокруг шеи затянута была, а руки в локтях стали бы ломаться с ужасной болью. Но японцам и этого было мало. Они поспешили связать пленникам и ноги. Только после этого солдаты немного успокоились и начали обыскивать и грабить русских.

Отобрав у Головнина и его спутников все, что было у них в карманах, довольные японцы уселись на корточках и стали спокойно курить трубки. Часа через полтора они немного ослабили веревки на ногах пленников и погнали их под усиленным конвоем куда-то прочь от крепости. Поднявшись на высокую гору, пленники увидели «Диану», которая вела храбрый артиллерийский поединок с японской крепостью. Штурман Хлебников сказал командиру дрогнувшим голосом:

— Василий Михайлович, взгляните последний раз на «Диану»!..

Японцы торопили пленных, с опаской оглядываясь на русский корабль. Головнин был связан особенно туго. Пройдя шесть или семь верст, он стал задыхаться. Лицо его опухло и почернело. Он кричал и знаками просил ослабить веревку вокруг шеи. Но японцы, напуганные канонадой, зло кричали на капитана и гнали пленников вперед. Потеряв силы, капитан упал в обморок, и у него пошла изо рта кровь. Хлебников, плача, упрашивал японцев ослабить веревки, которыми был связан Головнин. Японцы, упрямо толкали капитана, пытались заставить его подняться. Но Головнин встать не мог. Только тогда японцы крайне неохотно ослабили петлю вокруг шеи капитана и, схватив его под руки, потащили вперед.

Грохот канонады утих. Пленники мучились неизвестностью, раздумывая об исходе битвы.

Японцы повеселели, получив какие-то записочки из крепости. Что случилось? Неужели «Диана» погибла? Головин видел, какие огромные военные силы японцы сосредоточили в крепости, и допускал такую возможность.

Вскоре пленников пригнали на берег пролива и заперли в каком-то сарае, призвав, как собачек, к железным скобам, вколоченным в стены. Не довольствуясь этим, японцы развали русских и жестоко скрутили им в нескольких местах ноги. Но даже и теперь они боялись, что русские убегут. Возле пленников был поставлен усиленный караул, и японцы каждые четверть часа проверяли, не ослаблены ли веревки, которыми были связаны русские.

Около полуночи японцы принесли деревянные носилки и поодиночке перетаскивали связанных по рукам и ногам пленников в большую лодку. Закрыв их рогожами, солдаты отчалили от берега. Они не обращали ни малейшего внимания на стоны измученных моряков, у которых на руках и на ногах открылись раны от жестких веревок. Один из конвоиров, сидевший на весле, беспрестанно пел песни и зло передразнивал жалостные крики пленных.

Наконец, на рассвете, лодки причалили к какой-то земле. Связанных пленников перетаскивали в другие лодки — размером немного поменьше. Эти лодки курильцы тянули бечевой вдоль берега. Двигались они безостановочно двое суток, сменяя в пути людей, тянувших бечеву. У Головина и его спутников давно уже онемели руки и ноги. Пленники не спали и не ели. Японцы с утонченным лицемерием представили к ним специальных работников, которые ветками отгоняли от них мух, но ни за что не соглашались хоть немного ослабить веревки. Когда у матроса Васильева фонтаном хлынула кровь из носа, японцы усердно затыкали ему нос хлопчатой бумагой, пока он весь не залит был кровью. Только тогда на шею Васильева слегка ослабили петлю.

13 июля лодки неожиданно вытащили на берег. Головин устало приподнял голову. Он увидел совсем другую землю, непохожую на Кунашир. Прекрасное синее небо открылось его взорам. Горизонт был чист от туманов. На горе виднелся небольшой лесок. У берега стояли шалаши курильцев.

Вдруг раздались какие-то крики. Японские солдаты выгоняли курильцев из их жилищ и заставляли их тащить огромные лодки куда-то на гору. Важно восседая на лодках, солдаты свирепо подгоняли выбивавшихся из сил рабов. Курильцы покорно тянули лодки, вырубая курстарик на пути. Замысел японцев Головин разгадал только тогда, когда увидел за перевалом серебристую речку. Курильцы сволокли лодки вниз и спустили их на воду.

Долго продолжалось это мучительное путешествие. Связанных пленников везли на лодках по реке, потом гнали пешком, ведя на бечевках, как скот. Когда русские падали от усталости, японцы привязывали их к доскам и заставляли курильцев нести пленников на руках. Головин и его спутники теряли остатки сил.

Раны, растертые веревками, гноились. Люди падали от истощения. В селениях, которые встречались на пути, пленников разглядывали огромные толпы зевак. Многие крестьяне смотрели на них с соболезнованием и даже пытались передать им пищу. Но конвоиры отгоняли добросердечных крестьян от пленников.

Наконец, 8 августа путники увидели вдали какой-то город. Конвойные начали прихорашиваться. Они надели новые латы, военные шапки. Головин часто улавливал в их речи слово «Хаккодате». Он вспомнил, что так называется крупный японский порт, расположенный на острове Матсмай, и догадался, куда привели их солдаты.

Из города высыпала огромная толпа людей. Многие разряженные горожане сидели верхом на лошадях. По обеим сторонам улиц толпились тысячи зевак. Конвойные с трудом освобождали дорогу. Торжественно проведя пленников по главной улице, конвойные свернули в какой-то переулок и вышли опять в поле.

— А вот и наше жилье, Василий Михайлович! — сказал капитану догадливый штурман Хлебников.

Головин поднял голову и побледнел. В стороне от города на возвышенном месте стоял мрачный сарай с длинной кровлей, похожей на крышку гроба. Сарай был обнесен высокой деревянной стеной с железными рогатками. Вокруг стены высился земляной вал, обвешанный такой же полосатой тканью, какую русские видели в Кунашире. У ворот стоял караульный дом. Вдоль дороги были расставлены, на расстоянии двух сажен друг от друга, часовые, вооруженные ружьями, стрелами и копьями.

— Попробуй выбраться отсюда...

Головин безнадежно покачал головой.

Какой-то чиновник принял пленных по списку и приказал вести их во двор. Головин увидел темный сарай, в котором стояли клетки, на подобие птичьих, сделанные из толстых брусьев. Японцы отперли клетки и загнали в каждую из них по одному пленнику. Вечером Головину сунули в клетку бумажное одеяло и грязный, замазанный нечистотами, халат.

Всю ночь вокруг тюрьмы ходили караулы. Стучали решеточки. Солдаты внутреннего караула регулярно заходили в сарай с огнем и смотрели, что делают пленники. Головин долго не мог заснуть, мучительно обдумывая, как бежать из этого ада.

К этому времени «Диана» уже пришла в Охотск, и неутомимый Петр Рикорд поскакал верхом на коне в Иркутск. Он был готов, если понадобится, скакать до самого Петербурга, чтобы добиться разрешения на военную кампанию у японских берегов.

Как, в сущности, неслучайно спутало все планы друзей это неожиданное происшествие в заливе Измены! Думал ли Рикорд о таком печальном и торопливом возвращении?

Предполагалось, что командиры «Дианы», закончив опись Кунальских островов, спокойно подведут итоги своих научных изысканий, вычертят новые карты Сахалинского моря, займут-

ся подготовкой к печати работ о беспримерных плаваниях «Дианы».

Ученый мир с интересом ждал их опубликования. Головин и Рикорд зарекомендовали себя как достойные, опытные навигаторы и прекрасные наблюдатели. И хотя они не получили специальной научной подготовки, им удалось собрать ценнейшие сведения, относящиеся не только к мореплаванию.

В дневниках капитана «Дианы» и его заместителя были собраны подробные записи о жизни и быте жителей Бразилии и Ново-Гейбридских островов, Камчатки, Северо-Западной Америки, Татарского берега¹ и Курильских островов.

Урывая редкие часы свободного времени, Головин уже написал большой труд «Двукратное зимование в Камчатке и плавание к северо-западным берегам Америки». Он читал отдельные главы этой книги своему помощнику, и Рикорд воздал должное наблюдательности и острому уму своего начальника. Но когда теперь удастся издать эту книгу? И сможет ли капитан «Дианы» вернуться к научной работе вообще?..

Незадолго до плена Головин развивал перед Рикордом большие планы. Он собирался по возвращении в Петербург написать еще две больших книги — о кругосветном плавании «Дианы» и о Курильских островах. За эти годы Головин стал патриотом заброшенной восточной окраины России. Посетив колонии Российско-Американской компании, он убедился, как велики возможности для созидательной работы на этом пустынном, но богатом американском материке. Правда, Российско-Американская компания была еще слаба, ее дела велись плохо и неумело. Но ведь все это дело поправимое. Головин собирался хлопотать в Петербурге о расширении и укреплении Российских колоний в Америке.

И вдруг — такой неожиданный крах всех планов и мечтаний... Рикорд не щадил себя, торопясь выручить друзей из плена. Несколько лет спустя он так описывал это труднейшее путешествие:

— Мне надлежало в одну зиму успеть совершить предполагаемую в Санкт-Петербург и обратно в Охотск поездку. И потому принужден я был, не теряя времени в ожидании зимнего пути в Якутске (куда я приехал в исходе сентября), ехать опять верхом до самого Иркутска, что мне удалось исполнить в 36 дней. Всего расстояния проехал я верхом 3.000 верст. Я должен признаться, что сия сухопутная кампания была для меня самая труднейшая из всех совершенных мною: вертикальная тряска верховой езды для моряка, привыкшего явиться по плавным морским волнам, — мучительнее всего на свете. Имея в виду поспешность, я иногда отваживался проезжать две большие в сутки станции по 45 верст каждая; но тогда уже не оставалось во мне ни одного сустава без величайшего расслабления; самые даже челюсти от-

казывались исполнять свою должность; сверх сего и осенний путь от Якутска до Иркутска, возможный только для верховой езды, есть самый опаснейший. Большой частью езда совершается по тропам на крутых косогорах, составляющих берега реки Лены. Во многих местах протекающие с их вершин источники замерзают выпуклым весьма скользким льдом, называемым ленскими жителями накипень, и как якутские лошади вообще не подковываются, то всегда почти, переезжая через лед, падают. Однажды я, недосмотрев такого опасного накипеня и ехавши довольно скоро, упал с лошади и покатился с нею по косогору и заплатил за неосмотрительность повреждением одной ноги. Разделавшись столь дешево, я благодарил providение, что не сломал себе шеи. Советую всем, кого нужда заставит ехать по сей ледовитой дороге верхом, не задумываться, ибо тамошние лошади имеют дурную привычку забираться вверх по косогору, и, наехав тогда при такой крутизне на накипень, нельзя ручаться, в случае падения вместе с лошадыо, за сохранение глубокими мыслями наполненной головы...¹

Иркутский губернатор встретил Петра Рикорда весьма прохладно. Он, конечно, был очень огорчен полученным известием, но не преминул заметить, что сейчас России волнуют иные, более многозначительные события.

Тучи сгустились на западе. Звезда неустрашимого полководца Наполеона стояла в самом зените. Он уже покорил почти всю Европу, и его полки стояли в Варшавском герцогстве. Пруссия и Австрия переметнулись в лагерь Наполеона и отдали ему свои армии. Россия лихорадочно укрепляла Ригу. Строилась новая крепость в Бобруйске Шли мобилизации. Русские армии вплотную сходились с армиями Наполеона у западной границы. Со дня на день можно было ждать объявления войны. Кто станет думать в такой момент в Петербурге о кучке русских, захваченных японцами в плен?

Получив донесение из Охотска о печальном происшествии с берегов Кунашира, губернатор сразу же отправил его по начальству с просьбой разрешить военную экспедицию в Японию для выручки Головина и прочих участников бедствия. Но он не надеялся на благоприятное решение вопроса и не советовал Рикорду ехать в Петербург.

Рикорд был удручен полученными известиями. Он понял, что в такой обстановке в Петербурге будет трудно добиться толку. Видимо, японцы были хорошо насыщены о европейских делах от своих друзей — голландских купцов, и именно поэтому решились не столь дерзкую акцию. Стало быть, нужно было изыскивать какие-то иные пути для спасения друзей...

Как и следовало ожидать, Петербург отклонил ходатайство иркутского губернатора. Рикорду было разрешено лишь продлить летом 1812 года незаконченную опись Курильских островов и под этим предлогом подойти к остро-

¹ Так в те времена именовали побережье Татарского пролива от устья Амура и далее к югу.

¹ «Записки флота капитана Рикорда о плавании к Японским островам», СПб, 1816 год.

ву Кунашир, чтобы провести об участии плененных соотечественников.

Получив это разрешение, Рикорд немного воспрянул духом. Он решил взять с собой группу японцев, потерпевших кораблекрушение у берегов Камчатки, и попытаться обменять русских пленников на этих японцев. По счастливой случайности количество тех и других совпадало.

Рикорд поспешил в Охотск. До Якутска он добрался на санях по льду Лены. Здесь ему пришлось пересечь верхом на оленей: на горах лежал глубокий снег, и на лошадях было ехать невозможно.

Прибыв в Охотск, Рикорд рассказал своим товарищам о результатах переговоров в Иркутске и с удвоенной энергией включился в подготовку похода.

Команда «Дианы» уже готовила корабль к выходу в море. Не взирая на огромные трудности суровой сибирской зимы, отважным морякам удалось привести «Диану» в отличное состояние. Начальник Охотского порта капитан Миницкий, друживший с Головинным и Рикордом еще со времен совместной службы в английском флоте, ревностно помогал во всем команде «Дианы». На свой риск и страх он даже отдал в распоряжение Рикорда небольшой бриг «Зотик», который должен был отправиться к берегам Кунашира вместе с «Дианой».

Головинн и его спутники были в полном неведении о судьбе «Дианы». Дни в заключении тянулись медленно и тягостно. Японцы часто водили пленников на допрос к местному начальству, стараясь выведать у них возможно больше сведений о Российском государстве. Головинн все больше убеждался в том, насколько внимательно и дотошно изучают японцы все, относящееся к России. Они интересовались даже самыми ничтожными мелочами. На одном из допросов Головинна, например, спросили:

— 19 лет назад к нам приезжал русский Лаксман. У него была длинная коса и большие волосы на голове, в которые он сыпал много муки. У вас волосы острижены. Не изменился ли закон в России?

Головинн рассмеялся и сказал, что русские законы не устанавливают моды причесок. Японцы с серьезным видом записали его ответ. Потом они спросили капитана, из каких городов происходят пленники и почему они служат на одном корабле, будучи родом из разных мест.

— Мы служим не своим городам, а своему отечеству, — заявил Головинн.

И этот ответ был так же тщательно записан. Головинн видел, что чиновники приносят с собой целые кипы каких-то бумаг. Ему удалось узнать, что это — различные записи о России. Часть из них была сделана японцами, которые потерпели кораблекрушение у Российских берегов, побывали в России и потом были возвращены великодушными русскими моряками на родину. Многие записи были составлены во время пребывания посольств Лаксмана и Резанова в Японии.

Командир «Дианы» мельком видел в руках у японцев точные рисунки, изображавшие рус-

ские корабли, которые посетили Японию, а также зарисовки, сделанные японцами в российских городах. Однажды ему показали медную дощечку, оставленную Хвостовым во время своей экспедиции на одном из островов. На дощечке была русская надпись:

«Здесь был российский фрегат «Юнона» и назвал адешнее селение «Селением сомнения».

Головинн прочел надпись, но переводчик так и не смог ее перевести к вящему огорчению японских чиновников. Японцы никак не могли понять, что такое сомнения, что значит «Селение сомнения», в чем состояло сомнение русских и почему они назвали так селение... В конце-концов чиновники решили, что Головинн хочет утаить от них истинный смысл надписи, который они считали очень важным, и озлобились на него.

Впоследствии русским удалось узнать, что японские власти добывают у голландцев — единственных европейцев, с которыми они ведут торговлю, — книги о России, выходящие в Европе. Головинн видел книги, переводами с которых пользовались японцы. Это были труды весьма сомнительного свойства: хвастливое писание беглого польского сыщика Бенювского о бунте, учиненном им в 1771 г. на Камчатке, повествование о нападении русских и английских войск на Голландию в 1799 г. и землеописание Российской империи, составленное на основании каких-то древнейших источников. Головинн опровергал почти каждую страницу этого устарелого землеописания, говоря, что написанное справедливо лишь в отношении праведов русских. Но японцы отказались верить, чтобы целый народ в короткое время мог так быстро перемениться.

Чиновники, допрашивавшие Головинна и его спутников, очень интересовались, как употреблены в России увезенные в 1807 г. японские орудия и ружья, спрашивали, где сейчас находятся «Никола Сандрееч» и «Гаврило Иваноч». Чувствовалось, что экспедиция, совершенная Хвостовым и Давыдовым, еще хорошо памятна японцам. Они приносили имена храбрых моряков с чувством мистического страха.

Головинну не хотелось сообщать японцам, что Хвостов и Давыдов два года тому назад трагически погибли в Санкт-Петербурге, и он делал вид, что не понимает, кто такие «Никола Сандрееч» и «Гаврило Иваноч». Японцы не верили. Тогда Головинн резко говорил им:

— Неужели вы можете воображать, чтобы такой малознающий клочок земли, какова Япония, которого и существование не всем европейцам известно, мог обращать на себя внимание просвещеннейших народов до такой степени, что каждый человек должен знать о всех подробностях, как на некоторые ваши селения нападают два незначительные судиска? ¹

Японцы не обижались на капитана и вежливо смеялись. Это бесило его еще больше. Коварные чиновники с удивительным терпением вели

¹ «Записки В. М. Головинна в плену у японцев в 1811—13 гг.», СПб, 1816 год.

допрос. Каждый из своих вопросов они повторяли по два-три раза. Иногда какая-нибудь мысль занимала их по часу или больше. Когда Головинин упорно уклонялся от ответа, они не показывали виду, что это их волнует, и переходили к мелким незначимым вопросам. Потом внезапно, как бы невзначай, японские следователи снова возвращались к интересующей их теме, пытаясь застигнуть капитана врасплох.

Допросы продолжались с утра до вечера с перерывом на обед. Пленники очень уставали. Обращались с ними попрежнему очень жестоко. Когда один из спутников Головинина заболел, японский лекарь любезно осведомился, чем кормят русских больных. Ему рассказали, что в России для больных приготавливают куриный бульон. Лекарь добросовестно расспросил, как готовят этот бульон, все записал и, в конце концов, объявил:

— Пусть ваш больной ест больше похлебки из редьки! Это ему поможет...

Горькая похлебка из редьки и без того опротивела пленникам. Японцы скупились на провиант для русских...

Время тянулось медленно. Энергичная натура Головинина не мирилась с бездействием. Он старался употребить и это время с пользой: заводил разговоры через переводчика с караульными, расспрашивал их о том, чем они питаются, каким богам молятся, на каких зверей охотятся, как ткут материи, как учат детей.

Чтобы лучше запомнить все подробности жизни в плену, капитан придумал любопытнейший способ вести дневник — на нитках. Выщипывая нитки из холста, он связывал их. Каждый узелок означал день. Если в этот день происходило какое-нибудь более или менее приятное событие, — он влетал в узелок белую нить, если горестное — черную. Если же случилось что-либо достойное замечания, но такое, что не могло ни огорчить, ни обрадовать моряков, — в узелок ввязывалась зеленая шелковинка.

Перебирая время от времени узелки, Головинин восстанавливал в памяти хронологию событий и вспоминал историю плена. Впоследствии этот «дневник» помог ему составить замечательную книгу, не утратившую интереса и в наши дни.

Так прошло 50 дней. Наконец, японцы объявили Головинину, что пленные, по приказу высшего начальства, переводятся в город Матсмай. Началось паломничество чиновников в тюрьму. Они учтиво прощались с русскими, лицемерно передавали через переводчика, что желают им здоровья, благополучного пути и счастливого окончания дела. Тут же солдаты связывали пленников и вытаскивали на веревках, как собак...

День был ясный и теплый. Пленников опять провели по всем улицам города, показывая их толпам зевак, и погнали куда-то в глубь материка.

Четыре дня спустя связанных моряков ввели с теми же «деремоньями» в Матсмай. Их долго гоняли по улицам и плацдармам, показывая жителям Матсмая, и, наконец, ввели в здание но-

вой, только что отстроенной тюрьмы. На полу еще валялись стружки.

Новая тюрьма выглядела точно так же, как и хакодатская, с той разницей, что здесь клетки были сделаны еще менее удобно. Одна из них имела в длину и ширину по 6 шагов, другая — при той же ширине, была на два шага длиннее. В первую влякнули Головинина, Мура и Хлебникова, во вторую — четырех матросов и курильщика-переводчика. Вход в клетки был сделан так неудобно, что пленники вынуждены были вползать в них. Над крохотными дверцами, запертыми толстым железным запором, была дыра, в которую японцы совали пищу. Смежные стены клеток были обшиты досками, чтобы матросы и офицеры не могли видеть друг друга.

Снова начались допросы. Теперь русских допрашивал сам губернатор. Для устрашения пленников в судебном зале были аккуратно разложены кандалы, веревки, разные орудия пыток. Допрос велся с прежней методичностью и тщательностью. В один из дней чиновник показал Головинину связку из 12 ключей, отобранных у него при аресте, и вежливо попросил:

— Расскажите нам подробно, что у вас в каждом сундуке и за каждым замком спрятано?

Головинин показал на рубашку. Чиновник тотчас же вежливо спросил:

— Сколько их там?

— Не знаю. Это знает мой слуга, — с сердцем отвечал капитан.

— Слуга? А сколько у вас слуг? Как их зовут? Сколько лет вашим слугам?

Потеряв всякое терпение, Головинин закричал:

— Зачем вы нас мучите? Ведь ни вещей, ни слуг моих нет здесь! Они в России. Зачем вам знать все?

Тогда вмешался губернатор и медовым голосом сказал:

— Не сердитесь на наше любопытство! Мы не принуждаем вас к ответам. Мы спрашиваем вас, как друзья.

Головинин плюнул в сторону и замолчал. Допрос продолжался. Японцы нарочно запутывали, утомляли русских, чтобы под конец добиться от них ответа на серьезные вопросы. Головинин заметил, что чиновники исподволь повторяют те же вопросы, какие задавали им в Хакодате. Очевидно, это делалось для того, чтобы сличить правильность ответов. Но моряки хорошо заучили ложные цифры о вооружениях России, которые они сообщали в Хакодате, и теперь они слово в слово повторяли те же небывшие о прозрых крепостях на берегу Охотского моря, о многочисленных эскадрах, которые, якобы, стоят в Охотске и Петропавловске, о прозрых силах пехоты в Приморье и прочем.

Близилась весна 1812 года. Некоторые из пленников, особенно мичман Мур, пали духом. А тут еще, некстати, курьезец Алексей, служивший переводчиком, разболтал русским одну из страшных историй о вероломстве японцев. Алексей говорил, что раньше остров Иессо или Матсмай принадлежал курильцам. Японцы много лет воевали с ними, но покорить не могли.

И вот они пошли на хитрость, предложив курильцам вечный мир и дружбу. Курильцы с большой радостью приняли это предложение. Тогда японцы построили большой дом, пригласили к нему сорок курильских старшин и храбрейших ратников, чтобы отпраздновать заключение мира, и напоили их вином. Потом японские офицеры, притворяясь пьяными, вышли из дому и заперли двери. Внезапно открылись дыры в потолке и стенах, и японцы перебили копиями пьяных гостей. Они отрубили мертвым курильцам головы, положили их в кадке и отправили в столицу, как трофеи.

Этот жуткий рассказ произвел сильное впечатление на Мура. Он и раньше держался в стороне от остальных пленников, а сейчас прямо заявил Головнину, что он ему не товарищ. Мур стал с необычайной почительностью относиться к японцам, перенимая их обычаи и обряды. Это еще больше осложнило положение пленников, которые замыслили побег из тюрьмы. Теперь им надо было опасаться не только японцев, но и своего человека...

В марте к пленникам явился какой-то развязный японец, представивший им через переводчика, как землемер и астроном по имени Мамия Ринсо. Сопровождавшие его чиновники сказали, что Мамия Ринсо привез русским, по поручению правительства, противоязвенные средства. Действительно он передал пленникам два штофа лимонного сока, несколько десятков альпесинов, немного какой-то сушеной травы, которую японцы рекомендовали класть в речечную похлебку. Но вскоре Головнин понял, что этот японец явился не просто. Гостины должны были задобрить русских мореходов и понудить их учить японцев навигационным наукам.

Мамия Ринсо не замедлил притащить в тюрьму медный секстан английской работы, астролябию с компасом, чертежные инструменты, ртуть для искусственного горизонта и тут же потребовал объяснить, как европейцы пользуются этими вещами.

Головнин наотрез отказался сделать это. Японец нисколько не смутился и начал болтать о пустяках. С тех пор он повадился ходить в тюрьму ежедневно и просиживал возле клетки Головнина с утра до вечера. Допросы временно прекратились. Мамия Ринсо целыми днями трещал, как сорока, хвастаясь своими путешествиями. Головнин насторожился. Этот бойкий японец, оказывается, не только успел объездить все курильские острова и побывать на Сахалине, но и путешествовал по реке Амур — от устья и далее вверх.

Избегая говорить о существовании географических открытий японцев, он беспрерывно твердил о своих подвигах и перенесенных им трудностях. Показывая русским свои дорожные сковородки, Мамия Ринсо тут же у клетки каждый раз что-нибудь жарил и ел. Приносил японец с собой и самодельный аппарат, на котором здесь же гнал водку из риса. Этот аппарат беспрестанно стоял на очаге, и японец время от времени цедел из него горячительный напиток, угощая моряков.

В один из дней Мамия Ринсо гордо заявил Головнину, что он известен в своей стране не только как ученый, но и как храбрый воин.

— В каких же баталиях вы брали участие? — иронически осведомился капитан, глядя на хвастуна из-за прутьев клетки.

Японец вскочил и запальчиво заговорил что-то, часто повторяя хорошо знакомое пленникам имя «Никола Сандрееч». Переводчик объяснил, что Мамия Ринсо воевал с самим Хвостовым. Впрочем, когда Мамия Ринсо рассказал об обстоятельствах, при которых он участвовал в бою на острове Итурура, моряки покатались со смеху.

В самом начале боя за овладение японской крепостью Мамия Ринсо, вместе с другими столь же храбрыми вояками, дал тягу в горы. Шальная русская пуля настигла его и поразила в мягкое место задней части. Однако Мамия Ринсо не упал и ушел благополучно. За это он награжден и получает пенсию.

Японец сердито глянул на смеющихся пленных и грозно сказал, что после набегов Хвостова японцы хотели послать в Охотск целых три корабля, чтобы разорить и сжечь его до основания. Но русские, сидя в клетках, засмеялись еще громче. И Головнин, задыхаясь от хохота, проговорил:

— Крайне сожалеем, что японцы не могут найти туда дороги. Иначе не худо было бы, если бы они послали не три, а тридцать или триста кораблей. Верно б ни одно из них не возвратилось домой...

Когда переводчик сказал Мамия Ринсо, что говорит ему русский капитан, он обомлел и начал ругаться. Но тут же он утих, начал опять любезно улыбаться и спросил:

— Ну, когда же мы начнем заниматься с вами?..

Мамия Ринсо настойчиво упрашивал русских, чтобы они обучили его искусству определять долготу по расстоянию луны и звезд от солнца, искусству составлять карты и другим наукам. Головнин снова повторил категорический отказ. Японец повысил тон и начал угрожать:

— Имейте в виду, что скоро из столицы будут сюда переводчики голландского языка и японские ученые. Они отберут у вас объяснения на предметы, до наук касающиеся. Тогда уж вы не посмеете отговариваться — хотите вы или нет!

Головнин пожал плечами, сохраняя на лице выражение каменного спокойствия. Но мичман Мур поблелел и затрясся. Намек на принуждение был слишком явным, поэтому мичман дрогнувшим голосом сказал:

— Хорошо... Я берусь вас учить...

Головнин холодным взглядом окинул труса. Мичман, не глядя в глаза начальнику, отошел в дальний угол клетки. К нему поспешно японец, благодарно кивая головой и изъясняя знаки дружбы.

В апреле японцы предоставили пленникам более пристойное жилище. Чиновники отвели их в дом, окруженный высоким забором и железны-

ми рогатками. Они произнесли длинные речи о том, что теперь русских друзей будут содержать лучше прежнего, и потому они должны жить с японцами, как со своими соотечественниками и братьями. Видимо, японцы решили, что пример Мура найдет подражателей, и потому пытались задобрить моряков. Но расчеты эти были ошибочны. С первого же дня Головинин и его друзья с удвоенной энергией начали готовиться к побегу. Они высматривали все подступы к выходу из новой тюрьмы и строили десятки планов.

Бежать было трудно, почти невозможно. Дом был разделен пополам деревянной решеткой, за которой днем и ночью бодрствовала стража. Пленники все время были у нее на глазах. Японцы вооружили часовых не только саблями и кинжалами, но и ружьями, и стрелами. Офицеры все время сидели у решетки и смотрели в комнату к пленникам. Ворота двора были все время заперты на замок. Вокруг высокого забора беспрерывно ходили часовые.

И все-таки Головинин твердо решился бежать. Все пленники, за исключением Мура, поддерживали его. Они экономили еду и тайком сушили рис. Один из матросов случайно нашел огниво и старательно его спрятал. Однажды у японских часовых стащили несколько кремней. Лоскут старой рубашки, будто случайно упавший в огонь и споровший, доставил трут. В траве было найдено долото. Решили при первом же удобном случае насадить его на палку и употребить, как копье. Ценнейшим приобретением явился заступ, найденный во дворе. Пленники поспешили втиснуть его под крыльцо.

Хлебников долго работал над изготовлением компаса. Это была адски трудная работа. Пленники выпросили у японцев две большие иголки, будто для починки платья. Потом сказали японцам, что иголки потеряны. Хлебникову удалось отыскать лоскутик листовой меди, которой японцы обычно обшивают пазы домов. Штурман старательно вычистил его, соединил иголки медью и сделал в середине медного листика ямку для накладывания его на шпильку. Упорно натирая иголки о камень, штурман сообщил им достаточную магнитную силу. Теперь они более или менее точно показывали страны света. Фугляр для компаса Хлебников сделал из нескольких листов бумаги.

Приготовления к побегу неизмеримо осложнялись тем, что их надо было тщательно скрывать от Мура, который окончательно перешел на сторону японцев. Мур с гордостью заявлял, что он не русский, а немец, происходящий из чистокровной германской семьи, что родственники его живут в Германии и что Германия враждует с Россией.

Головинин с отвращением слушал эти разговоры. Он не ожидал такого черного предательства от мальчишки, который на «Диане» вел себя покорно и смиренно. Курилец Алексей сказал капитану по секрету, что Мур склонял и его к измене. Оказывается, Мур хочет поступить на японскую службу переводчиком европейских языков и приглашает курильца к себе,

общая ему свое покровительство. Головинин после этого предупредил Хлебникова и матросов, чтобы они вели себя крайне осторожно по отношению к Муру, который явно шпионил за своими бывшими друзьями...

Наконец, все было готово к побегу. В полночь 23 апреля Головинин подал своим друзьям тайный знак. Момент был самый благоприятный. Японский офицер, которому надоело следить за пленными, уткнулся в какую-то книгу. Солдаты яростно сражались в карты, часть из них спали. Мур тоже дремал на своем ложе. Наружные караульщики только что прошли с обходом, гремя своими трещотками. Следующий обход лишь через полчаса.

Матросы Симонов и Шкаев бесшумно вылезли во двор и начали с бешеной энергией рыть подкол под стеной. Через несколько минут было готово узкое отверстие. Выждав условленное время, пленники тихо вышли во двор и один за другим прописнулись в дыру под забором.

Головинин уходил последним. Казалось, все уже кончилось благополучно. Но в самый последний момент капитан поскользнулся и ударился коленом о какой-то кол, торчавший в самом отверстии. Адская боль пронизала все тело капитана. Усилием воли он преодолел эту боль, вылез из отверстия и зашагал вслед за своими спутниками. Миновал тропу, по которой несколько минут тому назад прошли часовые, беглецы побежали между какими-то деревьями, направляясь к подошве высоких гор.

Они держали курс к северу, подальше от населенных мест, направляясь по звездам. Как только миновала самая острая и непосредственная опасность, Головинин снова почувствовал нестерпимую боль в колене. Нога его распухла, и он с трудом тащился вперед, опираясь на палку.

Капитан прежде рассчитывал, что ему удастся до рассвета достигнуть лесистых гор, которые были видны из окон тюрьмы. Тогда казалось, что эти горы близки. Но сейчас в темноте добираться до них было чрезвычайно трудно.

Моряки карабкались по голым скалам, взбираясь все выше и выше. Наконец, они достигли такой высоты, на которой лежал снег. Итти по снегу Головинин боялся. Японцы могли отыскать беглецов по следам. Поэтому приходилось обходить занесенные снегом места, бесконечно путаясь в незнакомях местности.

За час до рассвета матросы вышли на широкую дорогу, которая вела прямо в лес. Все устремились вперед. Лес уж был близко. Но вдруг матрос Васильев, случайно оглянувшись, сказал сдавленным голосом:

— Погоня...

В предрассветной мгле мелькали огни. Издалека донесся конский топот. Беглецы, не раздумывая, ринулись в сторону с дороги и покатились вниз в какую-то ложину, спасаясь от преследователей. Вокруг не было видно ни дерева, ни кустика. Становилось все светлее. Еще немного, и дневной свет выдст беглецов...

В эту критическую минуту Головинн заметил в одном каменном угесе какое-то отверстие. Подойдя поближе, моряки увидели небольшую пещеру. Возле нее с шумом лился с горы большой водопад, выбивший под самой пещерой глубокую яму в снегу. Цепляясь за камни и рискуя свалиться в яму с ледяной водой, беглецы кое-как втиснулись в тесную пещеру и забились в угол. Они сидели на острых камнях, боясь пошевельнуться. Покатое дно пещеры было покрыто сыпучим песчаником. Очень легко было скатиться вниз.

К счастью, японцы не разглядели отверстия в скале. Путники целый день просидели в своем тайнике, дрожа от холода. Грохот могучего водопада наводил на них тоску и уныние. Перед закатом солнца Головинн выглянул из пещеры и увидел на горах много людей. Видимо это были густо населенные места.

— Надо поскорее убраться отсюда, — сказал капитан своим спутникам, морщась от боли. Его нога распухла еще больше и теперь вся горела огнем.

— Надо поскорее убраться отсюда, а я вам не попутчик. Я могу стать причиной вашей гибели...

Моряки шумно запротестовали, но Головинн горячо заговорил опять:

— Видно, судьбе самой угодно, чтобы я погиб здесь! Ведь при самом начале нашего побега сделался я неспособным вам сопутствовать. Зачем же вам, людям в полном здоровье и силах, погибать со мной?

Но Хлебников и матросы категорически отказались слушать капитана.

— Пока вы живы, Василий Михайлович, мы не оставим вас, — заявил штурман. — Это наше последнее слово.

Матрос Макаров вызвался добровольно помогать командиру при подъеме на гору. Когда наступила темнота, голодные, усталые моряки продолжали свой путь. Макаров, рослый, широкоплечий гигант, тащил Головинна на своих плечах, остальные шли за ним следом.

Беглецы карабкались на крутые скалы, спускались в глубокие ущелья, прятались в кустарниках, брели вдоль быстрых горных речек. Они неоднократно пытались выйти к берегу, выкрасть какой-нибудь бот и уплыть на запад к берегам Гиляцкой земли. Но все попытки были тщетны. Найти подходящее судно Головинну не удавалось. Обессилевшие моряки снова и снова удалялись в глубь острова, боясь, что японцы найдут их по следам.

На третий день пути Головинн и его спутники, переправившись через какую-то речку вброд, начали подниматься на высокий горный хребет по крутому склону, заросшему лесом. Они упрямо цеплялись за деревья, кусты, камни, поднимаясь все выше и выше. Наконец, лес кончился, и взорам путников открылись высокие, угрюмые утесы. Возвращаться было тяжело. Люди истрагали все силы, чтобы достичь вершины хребта, за которым они ожидали найти плодородную долину, где можно было бы передохнуть.

— Возьмем их на абордаж, — хрипло сказал Головинн.

Бледный Хлебников через силу улынулся. Он часто и быстро дышал, ему не хватало воздуха. Матросы угрюмо молчали. Головинн решительно шагнул вперед, нелепо взмахнув руками — режущая боль мучительно отозвалась во всем теле. Макаров бережно подхватил командира под руку, и весь отряд двинулся на приступ скал.

Беглецы долго карабкались по камням, рискуя жизнью. Наконец, к поздней ночи они добрались до вершины горного хребта, покрытой толстым слоем снега и льда. Величественная панорама представилась их взорам. Они были на одной из самых высоких точек острова Матсмай. Повсюду виднелись крутые горы, вдалеке синело море. Здесь на снежной вершине русские находились в относительной безопасности — японцы вряд ли искали бы их здесь.

Насобирав с трудом немного горного тростника, матросы развели огонь и сварили в чайнике, унесенном с собой из тюрьмы, какую-то отвратительную похлебку из травы — утром, переходя речку вброд, они набрали черемши и конского щавеля. Моряки отведали этого варева и улеглись спать, тесно прижавшись друг к другу. Ведь до сих пор они еще ни разу не смыкали глаз!

Головинну, не взирая на огромную усталость, не спалось. Он грустно глядел на чужую землю. Небо было чисто. На нем зажигались звезды. Но внизу под ногами у Головинна ползли черные тучи, видимо там шел дождь.

— Высоко же мы забрались, штурман, а? — проговорил он вполголоса. Но штурман спал. Капитану не хотелось будить измученного, изхудалого товарища.

Головинну вдруг представился весь ужас положения кучки беглецов. Горсточка русских моряков находилась на обледенелой скале, окруженная врагами, без оружия, без продовольствия, без теплой одежды...

— А все-таки не в плену!.. — упрямо сказал капитан, тряхнув своей большой головой, заросшей длинными волосами.

Утром моряки, не теряя надежды на захват японского судна, сшили из своих рубашек два паруса и приготовили кое-какую снасть. Потом они спустились в долину. Несколько раз беглецы входили по ночам в японские селения, но захватить какое-либо судно им, безоружным, не удавалось. Только один раз моряки nabрели на подходящую лодку. Но она была вытащена на берег, и обессилевшие моряки не смогли ее спустить на воду.

Люди невыносимо страдали от голода. Запасы заплесневелого риса и пшена, накопленные в тюрьме, пришли к концу, а травы не утоляли голода. Матросы искали рыбу. Но, видимо, рыболовный сезон не начинался, и поиски оставались безрезультатными. Грабить японцев русские не хотели.

Прошло девять томительных дней. Утро 2 мая застало беглецов на какой-то голой горе, почти лишенной растительности. Спрятаться было не-

где. Как на беду, поблизости находилось японское селение. С утра потянулось много людей. Спрятавшись в небольшие кустиках, моряки решили выждать наступления темноты. Вдруг Хлебников увидел на противоположном холме какого-то человека, который поглядывал на кусты, поворачиваясь во все стороны и махал руками.

— Заметили! — раздраженно сказал он, и моряки бегом спустились в ложину, чтобы поскорее добраться до леса, синееющего вдаль.

Но было уже поздно. Послышались какие-то бешеные вопли и со всех сторон начали стекаться толпы людей. Прямо на беглецов мчался большой отряд солдат, вооруженных ружьями, стрелами, саблями и кинжалами. Сопровождались было беспорядочно. Однако Головнин упрямо поднял свою палку с привязанным к ней долотом. Макаров бросился на колени.

— Василий Михайлович, ради бога не защищайтесь, не ровен час, убьете какого-нибудь ба-сурмана, нас всех потом замучат...

Капитан в сердцах бросил самодельное копье на землю. Японцы уже вязали ослабевших от голода матросов, злорадно скаля зубы. Крестьяне, собравшиеся вокруг, с состраданием смотрели на бледных русских. Женщины плакали и совали пленникам еду. Солдаты грубо отпихивали их.

Накрепко связав русских, японцы погнали их вперед. Они очень спешили вернуть пленников в тюрьму, а поэтому даже ночью не останавливались.

Утром 3 мая оборванных, усталых русских ввели под конвоем в хорошо знакомый им судебный зал, уставленный орудиями пыток. Через несколько минут японцы привели сюда же розовощекого мичмана Мура, который с холодной усмешкой посмотрел на своих бывших друзей.

Наконец в комнату вошел губернатор. Он ласково приветствовал пленников, как своих близких знакомых, и с убийственным лицемерием спросил:

— Какие причины побудили вас уйти?

Головнин резко заговорил, обращаясь к переводчику:

— Скажи ему, что этому поступку виною один я. Я принудил остальных уйти против их воли, как их начальник. Пусть японцы расправляются со мною одним, остальным же вреда не делают...

Мичман Мур громко рассмеялся. Губернатор любезно склонил голову в знак внимания. Изменики низко поклонились ему и сказали, что Головнин говорит неправду. Потом он обратился к матросам и повелительно крикнул:

— Говорите правду, как перед богом! Я уже все рассказал японцам о том, как вы собирались бежать...

Головнин язвительно перебил мичмана:

— Мне кажется, что вы сами не слышком много помните о боге! Вы забыли к своим рассказам прибавить бездельцу — о том, что сами помышляли о бегстве до того, как продались японцам...

Губернатор с нескрываемым интересом при-

слушивался к этой перепалке, заставляя переводчика все переводить. Мур, видя, что русские решили его не щадить, бросился на колени перед японцем. Краснея и заикаясь от страха, он бормотал:

— Мое намерение было притворно. Я согласился бежать лишь для того, чтобы выведать их планы и всеподданнейше передать их вам.

Он деланно засмеялся.

— Зачем мне бежать от вас? Я во всем положился на милость японского государя. Если он порешит отпустить меня в Европу — я поеду. Если нет — буду почитать себя довольным и в Японии...

Болтливый немец надоел губернатору. Он велел ему замолчать и начал длинный вопрос пленников. Головнин упрямо отказывался выдать зачинщиков побега и всю вину принимал на себя.

Японцы были очень довольны тем, что им удалось поймать беглецов. Непосредственная опасность жизни русских не угрожала — японцы боялись мести России. Но они хорошо разбирались в европейских делах и знали, что в ближайшее время Петербургу не удастся взяться всерьез за освобождение пленников: война с Наполеоном была уже делом решенным. Поэтому японцы могли вдоволь поиздеваться над строптивым капитаном. И губернатор ежидно спрашивал Головнина:

— Зачем ходить умирать в лес или ездить в море для этого? Вы могли и здесь лишиться себя жизни...

Капитан мужественно отвечал:

— Тогда была бы верная смерть и при том от своих рук. Но, совершая побег и жертвуя жизнью, чтобы достигнуть своего отечества, мы могли еще успеть в своем предприятии...

— Ну что же, — усмехнулся губернатор, — по японским законам, до решения вашего дела матросы будут заключены в настоящую тюрьму, а вы в другое место, называемое у нас инверари.

Головнин ломал голову над загадкой этого слова. Но вскоре все разъяснилось. Городская тюрьма, в которую привели пленников, выглядела так же, как та, в которой содержались русские в самые первые дни плена. Матросам указали на самую большую и лучшую клетку. Хлебникову же и Головнину предоставили две, совсем крохотные и грязные одиночные клетки. Это и было «инверари». Головнин покачал головой:

— Неважно шутит губернатор!..

Тюремный пристав грубо раздел пленников донага и обыскал их. Потом он загнал их в клетки и запер на замок. Головнин свалился на пол и замер от боли, усталости и истощения.

Лето 1812 г. на Тихом океане было дождливое, туманное и бурное. С огромным трудом пробивались сквозь штормы русские корабли «Диана» и «Зотик», спешившие на выручку к капитану Головнину и его спутникам. Только 28 августа Рикорду удалось войти в залив Измены и бросить якорь против крепости, в кото-

рой год тому назад были вероломно пленены русские моряки.

На берегу были заметны перемены. На месте батареи, уничтоженной «Дианой», высился новый, хорошо укрепленный форт. В два яруса были установлены 14 тяжелых орудий. Крепость попрежнему была завешана покрывалами из полосатой материи. Видимо, японцы, опасаясь, что русские будут мстить, приготовились к обороне.

Рикорд был дальновидным человеком и понимал, что всякая горячность в его трудном положении может только повредить делу. С двумя кораблями он в лучшем случае мог разгромить одну-две крепости. Теперь японцы были вооружены сильнее, чем во времена экспедиции Хвостова и Давыдова. Участь же пленников могла бы только ухудшиться в результате необдуманных действий русских военных моряков. Поэтому Рикорд твердо решил действовать пока что только путем дипломатических переговоров.

Спустив с «Дианы» шлюпку, Рикорд послал в крепость одного из привезенных с собой японцев, вручив ему вежливое, но твердое и решительное письмо:

«Несмотря на неожиданный и неприязненный поступок ваш, мы возвращаем всех японцев, претерпевших кораблекрушение у берегов Камчатки, в их отечество. Мы уверены, что взятые на острове Кунашире в плен капитан-лейтенант Головин с прочими также будут возвращены, как люди совершенно невинные и никакого вреда не причинившие. Но ежели, сверх нашего ожидания, пленные наши теперь же возвращены не будут, то для требования оных людей в будущем лете придут вновь корабли наши к японским берегам...»

Шлюпка быстро подошла к острову. Японец вышел на берег. Его встретили куряльцы и двинулись к воротам крепости. В этот момент загремели выстрелы японских пушек и ядра шипя упали в воду. Русские корабли стояли далеко, и выстрелы не могли причинить им вреда. Однако такая встреча не обещала хороших результатов для начинающихся переговоров.

Посланный Рикордом японец остался в крепости. Никакого ответа на письмо Рикорда не последовало. Он послал за ответом второго японца, потом третьего, четвертого... Наконец один из посланцев вернулся и объявил:

— Капитан Головин и все прочие убиты...

У Рикорда кровь застыла в жилах. Его глаза загорелись мрачным огнем. Он хотел сейчас только одного — достойным образом отомстить за гибель своих славных друзей, подло умерщвленных японцами.

— К бою!..

«Диана» и «Зотик» быстро были приведены в боевую готовность. Но в последний момент Рикорд, сделав над собою усилие, отложил боевые действия: быть может, японец солгал? Он приказал ему немедленно отправиться на берег и принести письменное сообщение коменданта крепости. Японец на корабль не вернулся.

Время близилось к поздней осени. 6 сентября моряки увидели на море японскую байдару.

— Взять! — приказал Рикорд.

Моряки немедленно спустили шлюпки, и через несколько минут японцы позвали у ног капитана, что-то лопоча по-своему. Рикорд так и не мог добиться у них ответа, где находятся русские пленники и что с ними.

На утро к заливу Измены приблизился большой японский корабль. Шлюпки русских моряков стремительно понеслись наперерез и быстро овладели им. В плен было взято 60 японцев. Среди них находился разряженный купец, называвший себя Такатай Кахи. Видимо, это был очень богатый человек. Он важно объяснил Рикорду, что у него есть 10 таких кораблей и что сейчас он направляется к Хакодате, куда везет сушеную рыбу.

Рикорд нетерпеливо спросил его, что знает он о судьбе пленных русских. Купец ответил:

— Капитан Мур и пятеро русских — в городе Матсмае...

Капитан Мур? Рикорд удивился. Он не мог предполагать, что Мур окажется изменником, и думал, что Головин погиб в плену, поэтому, видимо, Мур стал старшим среди пленников. Но вскоре японец описал приметы пленных, и Рикорд убедился, что Головин жив и здоров. Эта весть его очень обрадовала, и подготовка к военным действиям была немедленно прекращена.

Но как же все-таки вырвать друзей из плена? Сама судьба послала Рикорду в руки этого богача. Если японские власти отказываются менять русских пленников на каких-то безвестных рыбаков, то этот знатный купец найдет средства, чтобы добиться своего освобождения ценой обмена на русских пленных. Его-то Рикорд так просто на берег не отпустит. И он вежливо объявил купцу:

— Вам придется предпринять небольшое путешествие на Камчатку и жить там пока ваши соотечественники не освободят моих соотечественников. Ваш корабль мы отпустим на свободу. Можете послать с ним письмо своим родственникам.

Купец был ошеломлен таким известием, но не подал вида. Наоборот, он всячески изъясляя свою радость по поводу того, что ему придется путешествовать с такими просвещенными людьми. Рикорд иронически посмотрел на лицемерно веселящегося купца и предложил ему поторопиться с приготовлениями к отъезду. Через несколько часов «Диана» и «Зотик» покинули залив Измены и направились на север. Освобождение Головина и его друзей откладывалось еще на год.

Невинностию медленно тянулось время в тюрьме, где находились русские пленники. Их положение все ухудшалось, по вине изменника Мура, который каждый день учинял все новые каверзы. Он составлял для японцев описание Восточной Сибири, в котором всячески поносил Россию, заявляя, что у русских нет хорошей военной силы. Потом он передал японцам черновик одного письма Головина, которое хранилось среди вещей пленных, и доказывал, что в этом письме Головин оскорбляет Японию. На-

конце, он заявил японцам, что шлюп «Диана» приходил с секретной злонамеренной целью и что эту цель Головинник скрывал от экипажа, а потому де надо ее у капитана выпытать. Мур подговаривал японцев потребовать у русского правительства пушки и другое оружие, отнятое у них на Курильских островах Хвостовым и Давыдовым, советовал ни в коем случае не отпускать пленников в Россию.

К счастью для Головинника и его друзей, как раз в это время японцы получили известие о крупнейших переменах в Европе. В июле 1813 г. в Нагасаки прибыли два больших голландских корабля, и японцы узнали о великих победах русского оружия. По обыкновению они скрыли от пленников эти новости и сообщили Головиннику лишь о первой половине истории Отечественной войны:

— Вашей России мало осталось. Наполеон взял и штурм Москву, а русские отступили удались...

Головинник отказывался верить этому. Но японцы вновь и вновь повторяли это утверждение, злорадно поглядывая на русских.

Сами они прекрасно понимали, что сейчас, в июле 1813 года, продолжать издевательскую политику по отношению к России уже опасно. Поэтому пленники скоро почувствовали, что отношение к ним резко изменилось. Их перевели в комфортабельно обставленный дом, стали лучше кормить. Еду подавали на прекрасной лакированной посуде. Чиновники величали русских своими гостями и друзьями.

Пленникам разрешили даже пользоваться чернилами и бумагой. Головинник всерьез занялся изучением японского языка. Он записывал японские слова русскими буквами и изучал построение фраз. Постепенно ему удалось усвоить довольно много слов, и теперь он более или менее успешно объяснялся с японцами без переводчиков.

По ночам Головинник, сверяясь со своим «дневником», сплетенным из ниток, тайно записывал на крохотных лоскутках отдельные, наиболее важные события из истории своего плена. Писал он условными знаками, мешая русские, французские и английские слова, — на случай, если записки попадут в руки врагов.

Исписанные мелким почерком лоскутки он прятал в длинном узеньком мешочке, сшитом для этой цели матросом Симоньевым из жилета, и носил его под поясом. Эти записки — бесценный плод трехлетней работы, произведенной в труднейшей и необычайной обстановке плена, в сущности говоря были настоящей энциклопедией, в которой можно было почерпнуть любые сведения о Японии. Любой путешественник, совершающий свои исследования в нормальных условиях, мог бы позавидовать капитану «Дианы», который ухитрился даже в плену у врага собрать такой богатый фактический материал.

Без ложного предревждения и тенденциозности, совершенно объективно и хладнокровно он показал в своих записках Японию и японский народ такими, какими они были на той ступени развития. В своих «Замечаниях о японском го-

сударстве и народе» Головинник подробно рассказывал о географическом положении, климате и пространстве Японии, о ее государственном устройстве, естественных богатствах, промышленности и торговле, о народонаселении и военных силах, просвещении, языке, законах и обычаях, вероисповедании, обрядах и даже о городах, платящих дань Японии, и о ее колониях...

Вскоре Головинника стали поздравлять с близким отъездом на родину. 2 сентября пленников перевели в Хакодате, куда уже шла «Диана». Рикорд совершил третий рейс к берегам Японии, добываясь освобождения Головинника!

В последний раз он приходил сюда на «Диане» два месяца тому назад. Переговоры тогда опять оказались безрезультатными. Но сейчас, в сентябре, японцы сами спешили замять дело о пленении русских моряков.

28 сентября «Диана» вошла в порт Хакодате. Головинник с волнением смотрел из окна отведенного ему дома на свой родной корабль. Рикорд уверенно вводил «Диану» в незнакомую гавань, искусно лавируя против ветра.

Остановившись на якоре, Рикорд немедленно отправил на берег привезенное им письмо от начальника Охотской области Минницкого, составленное в энергичных тонах.

«Государь император всегда был к японцам хорошо расположен и не желал им никогда наносить ни малейшего вреда, почему и советует японскому правительству, не откладывая нисколько, показать освобождением несправедливо захваченных пленников доброе свое расположение к России и прекращение дружеским образом неприязности... Всякая со стороны японцев отсрочка может быть для их торговли и рыбных промыслов вредна, ибо жители приморских мест должны будут понести великое беспокойство от наших кораблей, буде они заставят нас по сему делу посещать их берега».

Японцы прекрасно поняли этот намек. Поэтому они расспылились в любезностях, хвалили содержание русской бумаги и опять поздравляли Головинника с приближающимся возвращением в свое отечество.

Мичман Мур, который все время добивался, чтобы его приняли на службу к японцам, все еще пытался сорвать переговоры. Он уверял японцев, что русская бумага написана неблагопристойно. Потому что в ней есть оскорбительные угрозы. Но японцы спокойно отвечали, что им и самим хорошо известно, какое великое беспокойство и вред могут на их берегах причинить русские корабли в случае войны.

Когда переговоры приблизились к концу, японские чиновники объявили, что все до одного пленные моряки должны возвратиться в Россию. Мур поблелел и заявил, что он не достоин такой милости. До последней минуты он надеялся, что его оставят в Японии. Но чиновники прямо наставляли на своем, и Муну пришлось подчиниться.

6 октября 1813 г. пленников в последний раз привели к губернатору. Он заявил, что русские по повелению правительства освобождаются и завтра будут направлены на корабль. Потом он

вынул бумагу и прочел поздравительное письмо Головинну:

— С третьего года вы находились в призрачном японском месте и в чужом климате, но теперь благополучно возвращаетесь: это мне очень приятно. Вы, господин Головинн, как старший из своих товарищей, имели более заботы, чем и достигли своего радостного предмета, что мне также весьма приятно. Желало вам счастливого пути...

Трудно описать радость отважных моряков, которые после прехлестней разлуки встретились со своими друзьями, ожидавшими их на борту «Дианы». Матросы шлюпа, стоя на реях, громко кричали — ура. Офицеры обнимали своих друзей, плача от волнения. И только мичман Мур был, как чужой, на этом празднике. Он ни с кем не разговаривал, стыдись смотреть русским морякам в глаза, хотя Головинн, по великодушию своего сердца, объявил немцу, что прощает его.

На «Диане» не было отбоя от японских чиновников, приезжавших прощаться с русскими. Низко кланяясь, они говорили, что разлука их очень огорчает и что они будут скучать без своего друга Головинна.

К вечеру на палубе корабля стало тесно от провожающих. Рикорд дарил японцам, как дикарям, всякие безделушки — бусы, бисер, разные блестяшки. Развеселившийся Головинн хлопнул своего друга по плечу:

— Эх ты, не знаешь, что дарить!..

И он вручил японским чиновникам портреты Кутузова и Багратиона, находившиеся в каюте Рикорда. Когда японцы узнали, кто изображен на этих листах, их лица вытянулись. Головинн весело говорил им по-русски, выставив за двери переводчиков:

— Они Наполеона побили, а мы вас, даст бог, также поколотим!..

И капитан крепко жал руки любезным вельможам...

Утром 10 октября 1813 года «Диана» подняла паруса и навсегда покинула чужой негостеприимный берег.

Два месяца спустя Головинн и Рикорд уже были на Камчатке. Ее сопки покрылись снегом.

Начиналась суровая зима. Но командиру «Дианы» Камчатка казалась раем. Ведь это была часть России.

Всеобщее веселье омрачалось лишь странным поведением мичмана Мура, который попрежнему чуждался всех. Он выпросил разрешение покинуть Петропавловск и уехать в селение камчадалов, говоря, что одиночество вернет ему равновесие. Головинн строго приказал одному из солдат наблюдать за Муром, опасаясь, как бы тот не наложил руки на себя.

Мур попросил разрешения охотиться на птиц. Ружье ему выдали, но солдату было приказано во время охоты не отходить от мичмана ни на шаг.

Однажды, прогуливаясь по берегу Авачинской бухты с ружьем в руках, Мур строго командовал солдату:

— Марш домой! Тебе пора обедать...

Солдат растерялся. Мичман добавил, глядя на него с ненавистью:

— Что стоишь? Если бы я хотел убить себя, давно бы сделал это дома — ножом или вилкой..

Солдат неохотно выполнил приказание. Мичман долго не возвращался домой. Тогда солдат бросился на поиски и нашел на берегу залива холодный труп мичмана Мура, вмёрзший в лужу крови. Пальто мичмана висело на каком-то столбике. Ружье валялось рядом.

В столе у Мура нашли записку:

«Свет мне несносен, и кажется, будто я самое солнце съел.»

На могиле Мура великодушные моряки, забывшие все зло, сотворенное предателем, поставили памятник с трогательной надписью:

«В Японии оставил его провождавший на пути сей жизни ангел хранитель. Отчаяние ввергло его в жестокие заблуждения. Жестокое раскаяние их загладило, а смерть успокоила несчастного. Чувствительные сердца! Почтите память его слезою...»

2 декабря Головинн и Рикорд умчались по санному пути на собаках из Петропавловска в Якутск. Они спешили в Петербург. В умах храбрых капитанов зрели планы новых кругосветных экспедиций.

ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ

ОСИП ЧЕРНЫЙ

★

Не так давно в эфире прозвучала новинка: музыкальный, детский радио-журнал. Обложка его была сочинена композитором Чемберджи, две детские песни — Анатолием Александровым. О мелодии, ее законах говорил с детьми Сергей Прокофьев, а Дмитрий Шостакович, ответственный редактор, рассказал им о задачах журнала.

Задачи эти были поставлены интересно — вовлечь детей в круг искусства, в первую очередь, искусства советского, приучить их к серьезной музыке и приохотить к ней.

Прозвучал и второй номер журнала — с циклом недавно написанных Шостаковичем детских пьес, которые он сам исполнил. И в следующих номерах он принимал деятельное участие.

На первый взгляд могло показаться странным: Шостакович в роли радио-редактора — целесообразна ли эта «загрузка» времени композитора? Однако для себя он решил этот вопрос иначе, отчетливо сознавая, что воспитание слушателя — кровное дело художника.

Художник, идущий аудиторию, всегда готовый притти к ней, ожидающий ее понимания, Шостакович писал и пишет музыку для кино, массовые песни, музыку для балета, драмы, оперы, идя к слушателю с разных направлений и стремясь установить с ним прочную, долговую связь. Он — художник общественный, органически отзывющийся на явления большой жизни, на ее бурный ход и острые столкновения.

Первое произведение, которое он сочинил, было связано с мировой войной 1914 года — оно называлось «Солдат». Ему было одиннадцать лет, когда пришла резолюция. Он написал симфонию, которую назвал «Революционной» и «Траурный марш памяти жертв революции». Творчество Шостаковича, уже зрелого композитора, отличается та же социальная острота — и «Посвящение Октябрю», и симфонию «Первомайскую» и, разумеется, «Пятую», и, наконец, «Седьмую». Пытливый и страстный общественный интерес характерен для Шостаковича. В сочетании с опромным талантом и мастерством, с новизной языка он образует то, что

можно назвать современностью в самом нужном значении этого слова.

Внешний путь композитора событиями не богат. Дмитрий Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Ленинграде, и здесь прошла значительная часть его жизни. С девяти лет его начали обучать музыке. Первой учительницей была мать, сама прежде учившаяся в консерватории. Затем она поместила его в музыкальную школу Гляссера. Он попал к педагогу Розановой. Тринадцати лет Шостакович стал студентом консерватории.

Ученье давалось ему легко, новые вещи он готовил быстро, хотя строение рук было у него и не слишком удачное. Профессор Б. Яворский не предсказал ему больших успехов: изящные, с как бы отточенными пальцами руки не обладали природной растяжимостью. И тем не менее Шостакович развивался в качестве пианиста поразительно быстро.

Он не относился к числу тех трудолюбивых учеников, которые по шесть-восемь часов упорно работают изо дня в день: он вряд ли занимался больше двух-трех часов. Но характер своих способностей Шостакович сумел понять правильно и нашел соответствующую им систему труда.

Глядя теперь на своих детей, Шостакович считает, что характер человека складывается рано, лет до десяти. В эти годы, может быть несколько позже, он сумел привить себе культуру труда: он научился работать продуктивно и споро. Возможно, и основы вкуса были заложены тогда же. Тут сыграли большую роль и среда, и культура семьи, и традиции музыкального Ленинграда.

Впрочем, отец, любитель музыки, питал пристрастие, главным образом, к цыганским романсам и легкому жанру. Юному Шостаковичу это тоже было по душе. И все же переход к серьезной музыке он совершил в короткий срок.

Розанова, правильно оценив масштабы его дарования, поняла, насколько важны для его дальнейшего роста среда и уровень класса. Она передала Шостаковича профессору Нико-

лаву. Выдающийся педагог, из школы которого вышли Софроницкий, Юдина, Павел Серебряков и многие другие пианисты большого плана, Николаев до известной степени предоставил своему ученику простор, поняв и его слабости и необыкновенно сильные стороны его таланта. Не все, скажем, этюды Шопена удавались Шостаковичу — он не шел против своей природы, и педагог не толкал его на этот

путь. Но зато он свободно справлялся с такой виртуозно трудной вещью, как «Исламей» Балакирева. Репертуар его был достаточно разнообразен. Когда дело дошло до выпускных экзаменов, исполнение Шостаковичем труднейшей сонаты Бетховена опус 106 («Гаммерклавирсоната», номер 29) запомнилось многими, как событие незаурядное.

Сочинять он начал почти в одно время с фортепианными занятиями. Его работы были показаны Глазунову, он, признав наличие сильного дарования, сказал, что нужно начать серьезно учиться композиции. Шостакович поступил в класс к Н. А. Соколову, а позднее к Максимилиану Штейнбергу. И в эту пору своего ученичества он нашел правильный, экономный путь и быстро преодолел детскую болезнь диллетантизма.

Так сложился облик подростка-школьника, изучавшего географию, алгебру, естествознание — все то, что проходили его сверстники — и наряду с этим все больше попружавшегося в сложности музыкального знания. Как они велики, знает каждый, кто хотя бы немного соприкасался с музыкой.

Интересы юноши Шостаковича в то же время были очень широки: литература, искусство, спорт. Он хорошо играл в волейбол, в футбол.

Конечно, ярче всего был его интерес к искусству. Из класса Николаева он вышел отличным и тонким пианистом, а в качестве композитора он уже в консерватории успел обратить на себя внимание.

Шестнадцать лет Шостакович закончил консерваторию по классу рояля, а спустя два года — и как композитор.

Его дарование, при всей своей разительности,

развивалось вместе с тем так естественно, словно росло на глазах у всех.

Нужно вспомнить о времени, когда Шостакович вышел на самостоятельный путь. Это были двадцатые годы, годы молодости нашей страны, годы счастливого, юношеского оптимизма.

Что мог сказать в это время композитор, наделенный острым ощущением эпохи?

Творческая индивидуальность Шостаковича,

острая, чуткая, гибкая, еще не вполне определилась и, критически ревиюая старое, одновременно ищет себя в новом, своем. Интенсивнейшая струя творчества бьет изнутри в поисках свободного выхода. Шостаковичу семнадцать лет, он стремится сказать свое слово в искусстве. Он написал уже три фантастических танца, две пьесы для октета и другие вещи.

Он заканчивает консерваторию и создает свою первую симфонию. Меньше всего могла бы тут окаязаться уместной снисходительность к возрсту автора: это — превосходный мастер, знаток оркестра, его колоритов, тембров, всех его нюансов. Он широко образован, неограниченно талантлив и изобретателен. Его взрастил Ленин-

град, город замечательных музыкальных традиций. Шостакович с первых же шагов становится выразителем смелых тенденций музыкальной молодежи.

Молодое поколение начинает с того, на чем остановились предшественники. Недаром Шостаковича — автора первой симфонии — после ее исполнения называют молодым Глазуновым.

Но преемственность его пути это не только Римский-Корсаков, Глазунов, Лядов: это и Игорь Стравинский и молодой Сергей Прокофьев.

Сложный мир окружает в ту пору молодых музыкантов — мир людей, осуществляющих великие идеалы. Нужно уметь заглянуть в него, попытаться раскрыть образ современного человека. 1925 год, год написания первой симфонии Шостаковича, был отмечен в нашей художественной жизни настоячими поисками новой эстетики. В музыке одни пытались дать отражение философско-политических идей, и попытки эти подчас носили абстрактный характер; дру-



гие в поисках конкретного оказались на грани примитива; третьи отдавали неумеренную дань западно-европейскому искусству послевоенного времени, уходили в дебри формализма. Необходимая для творчества художественная среда лишь складывалась.

Симфония в качестве основного музыкального жанра всегда выоажала проблемы наиболее глубокие, она служила мерилом зрелости и самого художника, и окружавшей его среды.

Уверенный, самостоятельный голос молодого Шостаковича привлек всеобщее внимание. То новое, что вошло от эпохи в сознание композитора, оказалось поэтически воплощенным в образах его первой симфонии. В основе этого лежало пристрастие к реальным жизненным наблюдениям. Потому так характерны для Шостаковича маршевые, танцевальные, песенные обороты, образы как бы уже бытующие и осевшие в сознании масс.

Яркость своих впечатлений он сумел передать с помощью оркестровых красок и столкновения тембров. Он уже тогда использовал и в дальнейшем широко прибегал к резко подчеркнутым свойствам каждого инструмента — фэгота с его угловатой, почти человечески выразительной речью; приглушенного звука трубы с его таинственной и в то же время вполне бытовой характерностью; рояля в качестве ударного инструмента. Даже простой мелодии Шостаковича свойственны острота и выразительная новизна сочетания звуков.

Первая симфония обратила на себя внимание своей необыкновенной свежестью, юношеским, широким оптимизмом и самобытной яркостью.

Трудно было бы указать истоки ее новизны, но то, что они связаны с новизной отношений, оптимизмом нашего общества и его верой в себя, несомненно.

Шостакович начал, как художник, стремящийся к открытиям. Он начал, как художник, стремящийся установить эстетические принципы этой новизны. Симфония Шостаковича привлекла одних, заинтриговала других, восхитила и покорила третьих. Симфония, впервые исполненная в мае 1926 года оркестром Ленинградской филармонии, получила широкую известность и за границей. Дирижеры — Тосканини, Стоковский, Клемперер, Бруно Вальтер на долгие годы включили ее в свой репертуар.

В течение года после этого автор молчал. Молодой Шостакович остановился как бы в нерешительности, накапливая силы для прыжка. В 1927 году подводились итоги десятилетия советской власти, подытоживались достижения нашего молодого искусства, и имя Дмитрия Шостаковича упоминалось часто. Игорь Глебов (Б. Асафьев), выдающийся музыкант и исследователь, писал о его симфонии, что она «принадлежит к тем первым сочинениям, которым симпатизируешь за то, что они больше обещают, чем дают». В этих словах не было придирчивого педантизма: человек большой прозорливости И. Глебов соотнес свою оценку с масштабами огромного дарования Шостаковича.

Прежде чем продолжить рассказ о пути композитора, нужно рассказать о пути пианиста. Если первый является как бы стержнем всей жизни Шостаковича и кажется нам безграничным, то второй, спустя несколько лет, слился с путем композитора.

Еще в том же 1927 году Дмитрий Шостакович в качестве одного из выдающихся исполнителей советской страны принял участие в международном конкурсе в Варшаве и получил там почетный диплом. В оценках исполнителей того периода мы встречаем упоминания о нем, как об одном из самых талантливых и своеобразных пианистов советской школы. И тем не менее его самостоятельный пианистический путь вскоре оборвался. Слишком сложны были задачи, стоявшие перед ним в области творчества. В конце концов Шостакович стал интерпретатором собственных произведений, очень своеобразным и очень интересным. Так поступали многие — и Скрябин, и Прокофьев, и другие: свой исполнительский дар они рано или поздно ставили на службу творчеству.

После годичного перерыва Шостакович вступил в полосу интенсивного творчества: он начал работать в различных областях и жанрах с уверенностью зрелого мастера. Он писал для кино, театра, для оркестра, фортепиано, для ансамблей и отдельных инструментов. Достаточно припомнить лишь фильмы с его музыкой — «Встречный», «Одна», «Златые горы», весь цикл «Максима», «Подруги», — чтобы представить себе широту его работы. Через кино он устанавливает связь с бытующими в народе интонационными навыками. Песни, написанные Шостаковичем, получили широкое распространение.

Вместе с тем продолжалась переработка сложнейших впечатлений от музыки Запада: Хиндемит, Альбан Берг, Кшеник по-разному преломились в сознании композитора. Поток современного искусства не мог пройти мимо него — он до некоторой степени влиял на работу в области его языка. Область музыки с особенной убедительностью показывает, что в искусстве проблема новых способов выражения неотделима от самого понятия новизны. Невозможно представить себе мелодику Бетховена, создаваемую в наши дни: как бы блестящими не были подражания, они все равно покажутся архаичными. Мы сопротивляемся мелодической, гармонической новизне современного произведения и сами не замечаем, как мало-помалу оно вовлекает нас в свой поток. Наступает время, когда прежние ритмические и интонационные обороты перестают соответствовать мышлению современного человека.

Шостакович не мог не искать новых способов выражения. Ему необходим был свой мелодический строй. Самой естественной представляется нам мелодическая линия, которую легко спеть. Близость к вокальной основе определяет ее запоминаемость. Однако давно уже инструментальное искусство стало не только передатчиком музыкальной речи человека, но, в свою очередь, стало влиять на мелодику. Инструмент-

тальное мелодическое богатство несравненно разнообразнее и сложнее богатств чисто вокальных. То, что имеет своим происхождением инструмент и его технические возможности и вначале кажется недостаточно вокальным, постепенно ассимилируется в нашем сознании. Многие мелодические обороты прежде казались и прозаичными, и странными, и нарушающими чувство красоты, а теперь воспринимаются, как естественные. Происходит постепенное оседание в психике новых мелодических категорий. Инструментальная музыка и вытекающее из нее инструментальное мышление оказываются тесно связанными с мышлением мелодическим.

Недавно композитор Глиэр написал концерт для голоса с оркестром. Эта любопытная во многих отношениях вещь особенно интересна тем, что композитор трактует в ней человеческий голос, как инструмент: певица поет без слов, вся мелодика инструментальна, она как бы вынесена из привычного для нас мира в мир более абстрактных и обобщенных чувств.

Мелодическое творчество Шостаковича, несомненно, инструментального происхождения. При его блестящей трактовке инструментов, при его поразительной изобретательности открылись совершенно новые возможности для построения мелодических линий. Многого можно было бы сказать и в объяснение гармонической смелости, неожиданности, резкости современной музыки. Если в музыке прошлого мы привыкли к строгому, с отбором, соседству разных тональностей, то в новой гармонии наметилась иная свобода. Логически она обоснована, но слух наш протестует против многих неожиданностей, не желая принять их закономерность, воспринимаемую как нарушение тонального плана.

Работа, проделанная Шостаковичем во всех этих областях, была чрезвычайно широкой и смелой. Он не порывал при этом с русским музыкальным реализмом: традиции Мусоргского, его интонационно выразительный строй и глубокая народность художественного мышления были близки ему; отчасти близок был и Чайковский с его органическим драматизмом. Но в своем стремлении выразить острую наблюдательность, сохранить трезвость взгляда, в точности передать психологический рисунок с помощью интонации, Шостакович оказался больше в мире вымысла, чем в мире действительности. Он не остановился перед жесточайшими прозаизмами и, логически развивая свои находки, дошел во многих из них до натурализма. Он создал оперу «Нос», где реализму Гоголя придал совершенно особые, гротескные очертания. В стремлении к новизне Шостакович дошел до резкой утрировки, перешагнув ту неудовимую, но строгую границу, за которой искусство лишается своей связи с жизнью.

Мало-помалу расхождение между ощущением современности, вообще присущим ему, и стремлением к изобретательности возрастало. В своем блестящем экспериментировании Шостакович ушел от житейской правды в парадоксальность. Он как бы утратил то грузило, которое держит большого художника в равнове-

сии на почве земного и истинно высокое делает истинно человеческим.

Воспользовавшись темой Лескова, видоизменив ее сообразно своему плану, он создал музыкальную драму «Катерина Измайлова». Шостаковичу казалось, что он находится на твердой почве реализма. Однако страсть к новизне оттеснила и заслонила понимание социальных страстей. Быть может, реализм лежал неподалеку, но то, что создал Шостакович, оказалось слишком частным: при острой характерности в передаче чувственных страстей героини, в обрисовке других образов оно не получило той силы полного обобщения, которая делает музыкальный образ емким и полноценным.

Опера «Катерина Измайлова», вначале встреченная с интересом из-за новизны языка и многих замечательных частных находок, вслед за этим подверглась прямой и суровой критике. Печать и, в первую очередь «Правда», без прикрас и смягчений оценила ее, как произведение, неверно ориентирующее наше искусство. И другая вещь Шостаковича была отрицательно оценена — балет «Светлый ручей». Вероятно, многим показалось, что удар наносится по самому композитору. Но Шостакович правильно понял смысл критики.

В 1937 году он создал свою пятую симфонию. Между ней и первой лежали годы поисков и работы. Кроме многого, уже упомянутого, были написаны фортепианные прелюдии, концерт для фортепиано с оркестром, соната для виолончели. Произведения эти, отмеченные печатью яркой талантливости, не определяли, однако, путь Шостаковича. Лишь пятая симфония, созданная Шостаковичем, как бы по-новому создавала его самого.

В пятой симфонии не бросается в глаза работа над разрушением и развенчанием привычных форм музыкального мышления — работа эта была уже пройденным этапом для композитора. Язык Шостаковича ко времени написания симфонии сложился окончательно.

Отказавшись от многих частных находок, сумев стремление к остроте, Шостакович пожертвовал частным для общего, чтобы найти выражение идей современности.

Он сам назвал свое новое произведение «творческим ответом советского художника на справедливую критику». Понадобилось создание этой симфонии для того, чтобы представление об огромном таланте Шостаковича стало очевидным, чтоб оно дошло до сердца, а не только до ума. Пятая симфония привела к Шостаковичу многие тысячи слушателей. Казалось, период исканий кончился, кончилась игра с пламенем искусства, при которой пламя то исчезает, то появляется вновь. И до этой поры Шостакович решал задачи чрезвычайной для него важности, однако легкость, с какой ему давалось решение, по временам за себя мстил: результат, и острый, и новый, не удовлетворял. Равновесия между значительностью идей, которыми жило наше общество, и образами, выражавшими их, не было.

Теперь, в этом впервые возникшем равновесии и заключающаяся, по видимому, причина широкого успеха пятой симфонии. Очевидно, пришло время Шостаковичу разговаривать во всю силу его огромного дарования.

Эпоха величайшего в мире переустройства означала не только полное изменение материальных сил общества, но, в меньшей степени, и изменение его духовных сил. Наделенный большой социальной совестью и впечатлительностью, Шостакович сумел подняться до высот художественного и философского обобщения.

Шостакович пришел к пятой симфонии, как сформировавшийся мастер. Он пришел в качестве изощреннейшего мелодиста, наконец, в качестве композитора, который совершенно оригинально умеет строить целое из отдельных частей.

Четыре части симфонии развертывают перед нами мир душевных страстей, сложных мыслей, сомнений, ослепительных вспышек деятельности и философского погружения в себя. Чувства крайнего одиночества и восторженного сознания могущества коллектива, эти и многие другие чувства захватывают нас своей искренностью. Палитра Шостаковича нашла здесь многообразнейшее применение: контрасты — от тончайшей звучности солирующих голосов до покоряющей мощи всей массы оркестра — гибки, естественны и закономерно сменяют друг друга на всем протяжении симфонии.

Замечательно ее начало: замкнутая, лаконичная, сосредоточенная в струнных тема представляет как бы эпиграф ко всей первой части. В ней можно услышать прямое и непреклонное требование, адресованное к самому себе. Рисунок ее прост, резкая выразительность интонаций придает ей твердый характер. Ей противопоставит тема скрипок — медлительная и полная трудно-го раздумья. Столкнувшись с начальной, она как бы вынуждена вырваться из оцепенения и постепенно приобретает все большую гибкость. Их диалог носит страстный характер. Но вот он стихает, и на мерном фоне стручных возникает новая тема, мечтательная и широкая — побочная партия. Ее повторяют многие голоса, все более уподобляясь звучности человеческого голоса. Резкое и сухое повторение ее на рояле как бы разоблачает ее мечтательный характер и с деспотической требовательностью призывает к действию. Этот сухой властный звук пробуждает энергию оркестра: словно все силы пришли в движение в начавшейся разработке, тема скрипок звучит у валторны призывно, движение захватывает весь оркестр; отчетливым становится маршевый ритм. В неуклонно возрастающей энергии разработка приближается к кульминационному пункту — грандиозному полифоническому проведению начальной темы. Казалось бы, силы оркестра исчерпаны. Но автор находит новые средства: могучему натиску он противопоставляет суровость начального движения. Тема начала звучит на этот раз, как присяга, словно субъективное требование превратилось в закон жизни. Затем резкий короткий переход, и снова всплывает озаренная мечтательная тема

побочной партии. Постепенно затихая, ее мелодия приводит к равновесию, завоеванному в такой страстной борьбе.

Этот весьма условный пересказ содержания имеет единственной целью показать, как сложны и последовательны преобразования тематического материала и как значителен круг идей.

Скерцо второй части словно оттеняет драматичность первой. Классические танцевальные его жанры, напоминающие и моцартовского типа менуэт, и грациозный шубертовский вальс и листовскую кампанеллу, даны в таком современном бытовом наряде, что меньше всего наводят на мысль о прошлом.

В следующей части лирические образы еще более углублены, достигая вершины развития. Образ одиночества и страдания раскрывается с трагической силой. Оркестровая часть с поразительной экспрессией, эта часть дает ощущение крайней напряженности. Из томительного оцепенения ее конца, когда челеста и арфа словно в забытьи роняют отдельные звуки, слушателей выводит резкий призыв финала. Характерным для Шостаковича толчком вторгается ослепительная маршевая тема. Жесткая, но победная мощь духовых вторгается в мир 'единичности, как бы открывая пути к безграничному простору. Чувство жизни возвращается с обновленной силой — чувство связанности с погодом жизни и сознания полноты собственных сил. Они завершают сложное построение симфонии.

В музыкальной жизни Запада, где находчивость и новизна выражения способны иной раз заслонить идейность музыкального произведения, не все смогли, вероятно, оценить, какой силы скачок сделал Дмитрий Шостакович. Для нас, наблюдавших путь его с первых шагов, знавших его во всех извилинах, этот скачок был и понятен и радостен. Он оказался для Шостаковича естественным и законным. После пятой симфонии стало очевидно, что художник такого масштаба и склада, с таким характером интересов не мог не прийти к этому.

Мы и прежде знали Шостаковича как художника оптимистического, современного, обладающего высоким чувством изящного и отточенным ощущением формы. Эти черты выступили теперь с новой силой. Все силы его таланта как бы влились в новое произведение, их объединила глубина философской мысли и обобщения. Многие понадобилось для того, чтобы воплотить круг столь значительных идей и чувств. Автор пересмотрел весь арсенал своих средств. И тут снова обнаружилось, как велико богатство Шостаковича. Путем сгущения одних элементов, нового оттенения других он сумел найти такие способы выражения, при которых образы стали почти скульптурными. Мысль стала видна невооруженному глазу. Я не утверждаю, что пятая симфония сделалась массовым сочинением, но когда мы слышим ее теперь по радио, когда ее играют в симфонических концертах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Новосибирска, Ростова и многих других городов, мы знаем, что новые

тысячи приобщаются к ее слушанию и мало-помалу входят в круг ее идей.

Она оказалась необыкновенно значительной повестью о нашем времени и о яркой индивидуальности нашей эпохи. «Именно человека со всеми его переживаниями я видел в центре замысла этого произведения», — признался автор. Герой симфонии заглянул в глубину своей души, понял всю значительность своих переживаний. Герой современности, глубоко заглянув в это новое произведение искусства, еще сильнее ощутил дыхание эпохи.

При суждении о музыкальном творчестве говорят часто об оптимизме. Но для каждой эпохи это понятие имеет свой особый смысл и свое содержание.

Шостакович отдавал себе отчет в том, к какому жанру относится его новое произведение. «У нас, — писал он, — иногда возникает вопрос о законности жанра трагедии. Я думаю, что советская трагедия имеет полное право на существование. Содержание ее должно быть произвано положительной идеей, подобно, например, жизнеутверждающему пафосу шекспировских трагедий».

В наши дни кто же может сомневаться в том, что трагедия нужна и законна в качестве высокого жанра искусства!

В следующей, шестой симфонии широкое дыхание трагического не составляло ее существа. Композитор взбирался к вершинам духа вовсе не прямой и широкой дорогой — путь был извилист и всегда сложен.

В шестой симфонии есть та же мысль об уединенности человека. Это — уединенность размышлений, отдаленно напоминающая «Сцену в полях» из фантастической симфонии Берлиоза. Ей противостоит открытая реальная жизнь, окружающая каждого из нас. Это не попытка найти забвение в несприятельном народном веселии: в данном случае господствует естественное сознание сложной жизни любого из нас с многообразной жизнью, деятельной и энергичной, обступающей нас.

В шестой симфонии композитор пользуется очень тонкими красками и подчас дает рисунок необыкновенной прозрачности. Тоньше используются, в соответствии с более камерным характером симфонии, солирующие инструменты. Композитор продолжает процесс внутренних поисков, напряженный и безостановочный. Многие в этом новом произведении готовят появление квинтета.

Шестая симфония была впервые исполнена в 1939 году, а уже в следующем году в Москве прозвучал квинтет.

Интересно, как сочиняет Шостакович. Иные художники осмысливают свою работу параллельно ее выполнению. Чем больше она выполняется, тем все полней открывается пишущему основной ее смысл. Дмитрий Шостакович ждет, покамест новое произведение полностью сложится у него в сознании. Ему нужны узлы, вокруг которых мог бы сплотиться материал, и лишь после этого композитор, ощутив целое, садится писать. В процессе рождения нового он бывает одержим возникающей и на первых порах неуловимой идеей. Отдыхает ли он, разгова-

ривает ли, сидит ли за столом, играет ли в волейбол, он не в силах оторваться от процесса, владеющего им. Его видали на волейбольной площадке, увлеченного игрой и вдруг останавливающегося посреди всеобщего возбуждения: он стоит в неожиданной и случайной позе, вдруг забыв обо всем. Быть может, он нашел в это мгновение новый, необходимый ему поворот. Процесс созидания продолжится то подсудно, то вырывается наружу — он скрытыми и явными путями ведет к нужному результату.

В ноябре 1940 года, точнее 23 ноября, в Малом зале Московской консерватории происходил очередной концерт из произведений советских композиторов. Исполнялись в первый раз квартеты Ширинского, Мясковского, Шебалина. Последним должен был быть сыгран квинтет Шостаковича. Слушатели к концу устали, но исполнения квинтета ждали с естественным интересом.

И лишь только оно началось — на эстраде сидели квартет имени Бетховена и автор — словно ток прошел по залу; ощущение значительности происходящего охватило слушателей. Начало квинтета — прелюдия и последовавшая за ней fuga — несло в себе нечто величаво-благородное: можно было вспомнить о полифонистах XVIII века, о глубинах Баха. И в то же время это была музыка, рожденная в наши дни, наделенная выразительностью нашего времени. Быть может впервые в творчестве Шостаковича с такой зрелостью выразилась объективность мышления при прежней ее широте. Третья часть квинтета, противоположная первым двум, — словно мост, продолженный для связи с последними частями, — пронеслась стремительно и увлекательно: в этом скерцо снова открылся внешний мир, утверждающий себя и вовсе не исключающий мира душевных наблюдений: он виден сквозь них, ясный и радостный.

Есть что-то в танцевальных формах крупных произведений Шостаковича жизнемерно веселое, что роднит их с веселостью Гайдна: мир кажется таким хорошим, что освещать его светом изнутри нет необходимости — он сам излучает радостный свет. Эта особенность видения, утраченная романтиками девятнадцатого века, в наши дни возрождается в творчестве русских музыкантов. В этом отношении Шостакович своему продолжает линию Сергея Прокофьева, одного из самых оптимистических художников нашего времени. Он умеет описывать радость, рисовать ее, наблюдать из своего дома. Для него это не внешняя картина жизни — он участвовал в ней не раз и в таких случаях рисует то, что знает по себе. Тут приходит на память его неизменное увлечение футболом, его умение понимать увлечения окружающих, бескорыстную спортивную радость.

Но вот после этого скерцо снова мир углубленной ясности в интермеццо и финале квинтета. Чувство возвышенной красоты искусства охватывает слушателей. Параллель с восемнадцатым веком, с Бахом, ощущение связи сегодняшнего с великим прошлым делает впечатления слушателей еще более объемными. Вероятно, каждый по себе знает это чувство бескорыстной радости, которое испытываешь, когда перед то-

бой впервые раскрывается новое истинное творение искусства. Кажется, будто участвуешь в его рождении. Быть может, ты первый понял его и правильно оценил. Искусса глядишь на соседей, и кажется, что и они захвачены тем же чувством.

Слушатели сидели потрясенные. Они как бы потеряли чувство реального. В искусство вошло нечто значительное, полное благородства и простоты. Шостакович стал в этом произведении еще проще. Однажды ступив на путь самооправдания для более полного утверждения себя, он в квинтете создал еще более пластичные мелодические линии. Печать большой равнинности отметила его мелодии, словно бы простой русский пейзаж, так милый и близкий сердцу, оказал влияние на рисунок мелодии.

С этого вечера квинтет начал свою жизнь среди нас. Он явился одним из самых сильных и полных художественных воплощений нашей новой эстетики. Это было почти накануне войны. Приближался смерч страшной силы. Именно в эти дни провозвучало произведение высокого гуманизма, словно последний предостерегающий голос, обращенный к тем, кто верит в идеалы человечества. Мы не знали еще, какие жертвы потребуются от нас, какой ценой придется платить за спасение культуры и свободы мира. Но в голосе квинтета мы услышали любовь к человеку и веру в неиссякаемые источники гуманизма.

Шостакович продолжал творить. Наряду с сочинением он вел большую педагогическую работу в стенах той консерватории, которая взрастила его. Казалось, такая сильная и своеобразная индивидуальность не могла не подавлять учеников. Этого, однако, не случилось. Ученикам, правда, импонировало острое своеобразие личности педагога. К Шостаковичу привлекал их, в первую очередь, характер его собственной работы. Один молодой музыкант, окончивший консерваторию в качестве пианиста, показав ему оперу, написанную им, заявил, что считает для себя возможным заниматься только у него. Другого привел к нему композитор Иван Держинский: на окраине города, в пивной, он наткнулся на интересного импровизатора, исполнявшего легкомысленную музыку. Шостакович признал в нем незаурядное дарование и принял в свой класс. Сейчас это один из талантливых и образованных композиторов Ленинграда. И первый, у которого шла речь, тоже давно стал на самостоятельный путь и работает интересно. В свое время и самого Ивана Держинского, тогда еще никому не известного, работавшего в одном из детских театров Ленинграда, признал именно Шостакович и оказал ему неоценимую поддержку. При таком полном несомненном направлении, какое было у него с автором «Тихого Дона», нужна была широкая объективность и широта взгляда на разные направления в искусстве.

От своих учеников он требовал твердых знаний, он ненавидел дилетантизм. Сам неограниченно владел репертуаром, он непрерывно расширял их кругозор, знакомя с музыкальной литературой всех жанров, эпох и школ. Ученикам импровизовали огромные знания Шостаковича и

его общая высокая культурность. Он был для них педагогом в том лучшем понимании, которое бывает одухотворено чувством симпатии, эстетической и духовной связи и обычно навсегда оставляет след в душе.

Таким застала его Отечественная война. В первые же дни он лишился некоторых учеников, вступивших в ленинградское ополчение. Работа класса с начала учебного года возобновилась. Шостакович потребовал строжайшей внутренней дисциплины и сам показал пример ее своей работой. Именно в эти дни он познакомил учеников с отрывками своей новой симфонии, седьмой. Мы много знаем о мужественном гражданском поведении ленинградских ученых, художников, музыкантов в те страшные дни. Шостакович был в их числе.

Когда от него потребовали, чтоб он покинул город, он отказался, ссылаясь на свой долг депутата ленинградского совета. Глубокой осенью, после долгих недель бомбежки и уже во время осады, Шостаковича насильно вывели из блокированного города. Он увозил с собой почти готовую рукопись нового произведения, написанного им в эти трагические дни.

Возможно, он начал писать ее еще раньше, однако события войны, та обстановка всеобщей напряженности и концентрации чувств, какая пришла вместе с ней, не могла не сыграть решающей роли в работе над симфонией. Не только возвышенное и благородное, не только трагическое определяли лицо симфонии. Шостаковичу удалось создать произведение героическое, произведение огромного охвата и огромной силы. Дух народа и величие народа стали предметом музыкального воплощения. Если в предыдущих крупных его произведениях в центре замысла оказывался человек, то тут оказалось общество. Недаром произведение это посвящено городу Ленинграду, символу русской стойкости и гордой воли.

Я помню канун Сталинграда—весну и начало лета 1942 года, помню разговоры о симфонии в армии. О ней знали еще до того, как слушали, и ее хотели услышать во что бы то ни стало. Она стала явлением общественной жизни и жгучим выражением того, что было связано с втихом тех дней. Она вскоре стала крупнейшим явлением нашей духовной жизни.

Седьмая симфония оказалась ярчайшим выражением современного гуманизма. Много говорилось о ее так называемой «немецкой» теме, неуказательной в своем однообразии. Интонационный реализм Шостаковича помог ему найти острее средства для выражения того, что казалось бы, находится за гранью искусства. Парадоксализм прошлых работ, давно и блестяще освоенная острота приемов пришли на помощь автору в его работе над теми же. Он сумел построить эту «немецкую» тему, придав ей вполне обобщенный смысл. Но поразительность этой находки не заслоняла от нас великую тему утверждения, которая пронизывает всю симфонию: уже первые ее звуки вводят нас в мир огромных по охвату, необъятно широких чувств. Седьмая симфония, явившаяся декларацией презрения к мраку и тупости, ненависти к угнетению, прозвучала на весь мир, как величайшее

свидетельство непреодолимой духовной мощи советского народа.

Таков путь художника — от «Солдата», сочинения детских лет, от юношеского «Посвящения Октябрю», через многие опыты и поиски, через многие трудно проходимые перевалы. Художник широкого размаха, разнообразнейших стремлений, невероятной жадности к впечатлениям сумел пронести через испытания многих лет свою великую жажду воплощения социальной жизни. Она была спутником его сложных поисков, она стала живым воплощением его таланта.

Весть о седьмой симфонии облетела весь мир. Впервые это произведение было сыграно в Куйбышеве весной 1942 года. Вскоре оказалось возможным перенести исполнение в Москву, отсюда она прозвучала широко, и в тысячах мест за рубежом ловили ее звуки, которые, казалось, несут с собой весть о борющемся советском народе. Москву в те дни отделяло от фронта расстояние немногим больше ста километров.

Микропленки с партитурой симфонии были доставлены на самолетах за границу, 22 июня 1942 года, в первую годовщину войны, она была исполнена в Лондоне оркестром лондонской филармонии под управлением дирижера Генри Вуда. 19 июля она была исполнена впервые в Америке. Многие дирижеры добивались права ее первого исполнения. Эта честь выпала на долю Артура Тосканини.

Сергей Кусевицкий назвал ее «музыкальным шедевром, таким же великим, как мир». Он писал о благодарности народу, «который через тяжчайшие испытания ведет нас к надежде, свету и воскрешению».

«Страна, художники которой в эти суровые дни в состоянии создавать произведения такой бессмертной красоты и высокого духа, — непобедима», — писала одна из крупнейших газет Америки.

С тех пор Шостакович создал сочинения выдающейся силы — восьмую симфонию, второй квартет, трио. Наконец, уже в дни, последовавшие за окончанием войны, он создал девятую симфонию. Произведение это еще не исполнялось в концертах, но то, что стало о нем известно, говорит о новом воплощении опромного таланта Дмитрия Шостаковича. Произведение это, по словам тех, кто его слышал, отличается могучей энергией, широким оптимизмом и яркой силой жизнеутверждения.

Каждое произведение имеет свою судьбу. Быть может, понадобятся годы для того, чтобы восьмая симфония Шостаковича, которую Б. Асафьев назвал «величавым эпосом только что пережитой человечеством страшной поры», осела в нашем сознании и стала составной частью нашей духовной жизни. Девятую симфонию, — так можно думать, судя по первым откликам, — ждет радостная удача.

«Онегин» Чайковского и позже «Пиковая дама» способствовали, в конце концов, тому, что на сцену вернулись те произведения великого художника, которые при его жизни звучали недолго. В свое время Иоганн Себастьян Бах остался при жизни непризнанным и почти неизвестным. Трагедию своей жизни он пронес с достоинством, стойкостью и необыкновенной чистотой души. Мне кажется, творческую судьбу Шостаковича, при всех сложностях ее внутреннего содержания и драматизма исканий, при срывах и неудачах, которые она ему принесла в недавние годы, можно назвать счастливой. Уже сегодня он нашел путь к сердцам многих тысяч людей. На наших глазах его творчество, глубоко прогрессивное, полное новизны и в то же время глубоко национальное, становится все более органической частью нашей духовной культуры. Оно становится неотъемлемой частью духовной культуры человечества.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

(«Знамя» № 4, 5—6, 7, «Октябрь» № 4, 5—6),

А. МАКАРОВ

★

1

Книжки журналов «Знамя» и «Октябрь», которым посвящен наш обзор, вышли в первые послевоенные месяцы. Произведения, напечатанные в них, создавались писателями в дни войны. Редакциям лишь удалось в последних номерах полугодия отметить победу несколькими стихотворениями или публицистической статьей.

Мы переживали эти книжки с чувством некоторого естественного беспокойства. Конечно, оно отнюдь не вызывалось желанием видеть в журналах сборники наспех написанных восторженных панегириков. Величие победы советского народа в Великой Отечественной войне менее всего нуждается в риторических разглагольствованиях: значение ее одновременно и понятно сердцу каждого и будет шириться и возрастать бесконечно в ходе дальнейшего развития истории человечества. Нам волновало — не окажутся ли произведения, написанные вчера, только не лишеными фабульного интереса повествованиями о минувшем? Сохранят ли поднятые в них вопросы свою остроту для сегодняшнего дня или эти вопросы окажутся слишком узкими, временными, случайными?

Наши опасения не оправдались, но они и не были безосновательны. И в журнале «Знамя», и в журнале «Октябрь» мы встретили, как в стихах, так и в прозе несколько произведений, которые ныне представляют лишь «исторический» интерес. Они обогатят память читателя новыми фактами военного времени. В них налицо авторская взволнованность, описываемые события правдоподобны, но отсутствует перспектива, устремление в будущее.

Такие произведения, как повесть Л. Лагица «Броненосец «Анюта» («Знамя» № 7), несмотря на благородные побуждения, водившие рукою автора, несмотря на чувствительность (даже чрезмерную), оставляют нас глубоко равнодушными. Кроме голого описания подвига, в них ничего нет. Всё сказанное в этой повести — повторение пройденного. Мы не будем останавливаться на явных недостатках этой вещи (в предыдущем номере нашего журнала была помещена подробный разбор ее), скажем только, что это — образец примитивной беллетристики.

Не будем также останавливаться на продол-

жении романа А. Первенцева «Огненная земля», первое впечатление от которого мы высказали в предыдущем обзоре, а окончательное мнение надеемся высказать как только роман будет закончен.

Законченная в № 5—6 «Знамени» первая часть романа Фадеева «Молодая гвардия» свидетельствует о том, что роман в целом будет достоин героического поколения, которому он посвящен. Раскрытие в образах новых черт, которыми обогащен характер русского человека в советских условиях, — вот что делает роман Фадеева значительным явлением в нашей литературе.

Откровенно признаемся, кроме романа А. Фадеева, который, однако, не имел уже для нас прелести новизны, мы долгое время не находили в журналах произведения, дающего материал для размышлений. Наконец, в № 5—6 «Октябрь» появилась повесть В. Овечкина «С фронтовым приветом», которая произвела на нас отрадное впечатление. Повесть эта далека от совершенства. Она мало живописна, действительность написана в ней как бы одним цветом, подобно тому, как предстает красочный мир природы на полотне кино-экрана, местами описания и действия затянута. Но в повести есть (что мы напрасно искали в других произведениях) устремление в будущее.

Содержание простое. Инструктор пропаганды полка капитан Спивак возвращается на фронт из короткого отпуска, который провел в родном районе, где до войны работал в райкоме партии. Виденная им картина возрождения хозяйственной жизни района, послевоенного быта людей, обживающихся на разбитом пепелище, вызвала в нем усиленную работу мысли. Война подарила ему зоркое зрение. Из своих наблюдений он вынес радостное впечатление, подтверждающее его веру в творческое, созидательное начало советского строя, обеспечивающего победу на любых поворотах, в дни войны и в дни мира, в бою и в труде. Но он видит также и те недочеты, которые мешают вести восстановление хозяйства в полную силу. Свои соображения и выводы Спивак высказывает другу — командиру батальона Петренко, бывшему агроному того

же района. Оба фронтовых друга — новые люди. Каждому из них внутренне присуще ощущение хозяина жизни, которому принадлежит слава за все доброе, что в ней есть, но который и ответственен за все плохое в ней. Оба — люди активного действия и потому не опраиваются разговором, а решают написать письмо секретарю райкома, чтоб с прямотой фронтовиков указать на недостатки и высказать свои соображения о том, как их изжить. Обсуждение и составление этого письма ведется на протяжении всей повести. Оно прерывается боями, в которых участвует полк, и снова возобновляется в коротких перерывах между повседневным фронтовым трудом. В одном из боев Петренко тяжело ранен, и Спивак уже один дописывает это письмо и «с фронтовым приветом» отсылает его в район.

Правдиво показаны в повести фронтовые будни и поведение людей в бою, искренностью и взволнованностью дышит откровенный рассказ Спивака о виденном, из которого у читателя складывается стройная и довольно полная картина сложных взаимоотношений между людьми, быта и труда в освобожденных районах. Но главное, что выносятся из повести — это впечатление об удивительном советском человеке, с неутомимой душой большевика, носящем в себе священное недовольство собой и не останавливающегося ни на минуту в своем неустанном и стремительном движении вперед.

Мысль о заслуженном покое, о каком-то отдыхе после тяжелых битв не приходит в голову героям повести. Они пришли в мир, имея перед собой созидательные задачи, и в решении их обрели смысл своей жизни. Война как бы отодвинула решение этих задач, но только отодвинула, а не сняла их. В течение четырех лет каждый из них упрямо сдерживал себя, опасаясь даже самому себе признаться, что в душе остался верен своей профессии, своим мечтам изменить лицо земли, научиться брать от природы и жизни все, что они могут дать обществу, родине. Теперь, на пороге завершения той великой миссии, которую возложила на них история, они снова мечтают о творческом труде. У них руки по работе чешутся. Такие не уйдут из жизни, прежде чем не сделают того, что хотят, и в любое время и в любом месте смерть будет для них лишь обидной случайностью. «Хочешь жить — броском вперед!» — думает Спивак, распространяя мудрое указание военного устава бойцу, находящемуся под огнем противника, на все поведение человека в жизни. Война подчас разрушала полностью то, что создавалось годами. Но она не разрушила самого ценного из созданного — души советского человека. Чем больше трудностей впереди, тем злее тянутся люди к труду, стремясь наверстать упущенное. Так чувствуют не только бывшие вожак района Спивак и Петренко, те же мысли волнуют и рядового бойца Завалишина.

«Сделаю я будто много, — говорит он Спиваку, — а работал, как сам свою ухватку знаю, не спеша. Было мне, когда стал у нас колхоз, придать лет. Куда спешить? Вся жизнь еще впереди. Обтешешь бровишко, примеряешь, посидишь, покуришь, на природу полюбуешься...

Теперь же, если не погибну я тут да скоро закончится война, то будет мне, товарищ капитан, уж сорок пятый год. Дети уже у меня взрослые. Теперь надо поторапливаться. Оно-то, конечно, неплохо для детей потрудиться, чтоб хоть дети пожили в добре, так мне и самому охота достигнуть его опять.

— Значит, будешь нажимать?

— Обязательно.

— Скорее восстановим, чем строили?

— Ну ясно... Я так думало, товарищ капитан, что ежели дадут мне еще помощника, подходящего под мысли, такого, что тоже по поводу соскучился, так мы с ним возьмемся, да годика за три и отгяпаем все, как было».

Откуда черпают герои повести уверенность в том, что жизнь, хозяйство удастся восстановить быстро, скорее может быть даже, чем мечтаешь об этом? Из того опыта, который вынес народ и они сами из войны, из опыта не только кипучей фронтовой деятельности, но, мы бы сказали, опыта душевного. Война убедила каждого, прошедшего по ее дорогам, в превосходстве советского строя. Война воспринимается героями повести, как ступень к новой жизни.

«Не назад мы отброшены, а вперед ушли, по ленинским заветам. Далеко вперед! Развалины, конечно, страшные мы видели. Ты видел, я видел, все видели. Громадный труд надо вложить в восстановление хозяйства. Будем строить, конечно, ничего не поделаешь. Но что значит раздавить злых врагов социализма — фашистов? Это же победа из побед! Победа на глазах всего человечества. Ты чувствуешь, говорю, что мы уже перешли тот противосоветский ров, которым от нас мир отгораживался. Уже другими глазами на нас смотрят. Смотрят с удивлением: что это за люди, сломившие шею Гитлеру, перед которым Европа в пыли лежала?».

Фронтовая жизнь не только заставила людей соскучиться по заветному труду, она подготовила, закалила их духовно, придала их характеру стойкость, уверенность в себе, дала практические навыки для успешного труда в мирное время.

За время войны в советском народе укрепились твердые убеждения, что причины его героических побед на фронте и в тылу — результат сталинских пятилеток, изменивших не только экономику страны, но и сознание людей, что

... в далеком,

В ясном свете немеркнущих лет

Все прожитое стало залогом

Сокрушительных наших побед.

(Г. Николаева)

Это верно не только по отношению к пережитой нами войне, но и к настоящему мирному периоду. Героическое и правдивое следствие на этот раз само выступит в качестве плодотворной причины побед на будущем фронте труда. В повести Валентина Овечкина многое из практического, приобретенного на фронте опыта, нужного для мирного периода, выступает ясно и отчетливо. Прежде всего герой повести Спивак не только усвоил, но с сердцем понял ту великую истину, что всякий вопрос решают люди. Это золотое правило получило для него в боях на-

глядную убедительность, оно скреплено кровью. Вот почему так много места в его мыслях занимают размышления о работе с людьми, об изучении их и внимании к ним. В этом для Сливача заключается главное.

Война заставила людей отказаться от многих не верных, но укоренившихся представлений на законность отрицательных явлений в их жизни. Обязательное наличие в районе отстающих колхозов, воспринимавшееся ранее, как явление обычное и неизбежное, теперь для Петренко кажется просто чуждым.

«Мало радости жить людям в таких забытых райдонами отстающих колхозах вроде нашего «Восьмого марта», если только опять будут они у нас... Почему в армии у нас нет этого термина — отстающий полк, отстающий батальон? Вот интересно бы получилось, если бы какой-нибудь полк не выполнил боевого приказа, а командир стал бы оправдывать его перед командующим армией: «Да что с него возьмешь, товарищ командир, это у нас вообще отстающий полк, с самого начала войны». А ведь в районах, даже в лучшее время перед войной, всегда можно было найти за средними показателями такой захудалый колхоз, из года в год проваливающий все кампании, в котором люди, если разобраться, еще и не видели по-настоящему всех благ советской власти».

Из презрой оценки происходящего и учета имеющихся сил, у героев повести рождается твердое убеждение, что новая жизнь должна и может быть лучше, целесообразнее, умнее прежней.

«Жизнь начинается заново. Входите, друзья, в новый дом, оботрите ноги на ступеньках. Не повторяйте старых ошибок...» «Пиши, — говорит Сливачу Петренко, — что в новой жизни на освобожденной земле хотим мы видеть после всех ужасов войны много красоты и радости. Если не сразу создашь ее, красоту, на месте вырубленных садов и выжженных сел, пусть будет она в отношениях между людьми и в их трудовых подвигах. Хотим мы, чтобы никто и ничто не мешало передовым дружинникам вернуться во всю силу. Хотим, чтобы во все закоулки дошла радость победы и восстановления советской жизни и чтобы не было у нас опять через несколько лет этой старой болячки — отстающих колхозов. Хотим в партийных организациях видеть только вожаков и строителей и ни одного шкурника. Многого хотим. Много крови пролили на этой земле, но и многого хотим от будущей жизни. Иначе и быть не может. За что и воюем. Мы ведь не оборону держим. Мы уже давно наступаем. Не сохраняют старые рубежи задача наша, а новые занимать».

Таков завет фронтовика Петренко, еще не знающего, доведется ли ему увидеть эту новую жизнь. Такова основная, очень своевременная мысль повести.

Повесть В. Овечкина — глубинистическое произведение в лучшем смысле этого слова, глубоко эмоциональное, явившееся плодом внутренней жизни самого автора, человека широкого кругозора, обладающего завидным знанием насущных потребностей сельских районов страны. Его книга может иметь и непосредственно практи-

ческое приложение, это несколько не умаляет ее общественной и художественной ценности.

Недавно мне пришлось провести некоторое время в одном из сельских районов, и хотя этот район не подвергался немецкой оккупации, в стиле работы районного руководства видны те же недочеты, может быть еще в большей степени, чем это видел в своем районе капитан Сливач. Сейчас труд возвращающихся демобилизованные бойцы, те самые, о которых Сливач говорил Петренко: «Из одного твоего батальона можно набрать председателей колхозов и бригадиров на три района! Да каких председателей! Один так привык здесь в чистом поле жить, что его теперь и смолой к стулу в кабинете не приклеишь. Другой над траншеями да противотанковыми рвами все головой качал и думал: «Сколько ферганских каналов не дорыли мы до войны...» Каждый из возвратившихся мыслит так же, как герои Овечкина, но не каждый сможет оформить свои мысли с той же ясностью, как они, сделать для себя такие практические выводы, какие сделали Сливач и Петренко. И если бы наши издательства не поспешили издать эту повесть массовым тиражом для села и озабочились, чтобы этот тираж дошел по назначению, было бы сделано очень нужное и полезное дело, не замедлившее дать практический результат.

2

В ряд немногих произведений на военную тему, сохраняющих свою актуальность, следует поставить записи «Из военных дневников» Константина Симонова («Знамя» № 5—6, 7). Казалось бы, что нового могут дать эти дневники читателю? Они охватывают примерно первые полгода войны — дела давно минувших дней. Факты, о которых вспоминает автор, давным-давно известны из его же военных корреспонденций. Тем не менее дневники эти читаются с неослабевающим интересом. Это не художественное произведение, это простые записи, но записи литератора, привыкшего не просто описывать все, что попадет на глаза, а рассматривать окружающее с определенной точки зрения. В предисловии к своим дневникам Симонов говорит:

«В те дни мы отступали... Отступление происходило по всему фронту и было фактом общеизвестным, о котором меньше всего, конечно, приходилось умалчивать военным корреспондентам. И, однако, задачей нашей, как военных корреспондентов, патриотов своей родины и, наконец, писателей, было — найти в опромятой массе военных событий не то, что говорило о трудностях сегодняшнего дня и гозорило не в нашу пользу, а то, что говорило о возможности лучшего будущего, о конечной нашей победе...»

В душе человеческой мы старались подметить не те стороны, которые были слабей, а те стороны, которые были сильней в минуту испытания, и в русском характере мы искали и находили именно те черты, которые говорили о стойкости, о выносливости русского человека, о его умении не отчаиваться ни при каких обстоятельствах.

Найти эти факты, подтверждающие нашу веру в победу, было не только нашим гражданским долгом, но и душевной потребностью».

Симоновские дневники не способны ошеломить читателя никакой психологической или фактической сенсацией, все в них ему знакомо, но они более полно и последовательно раскроют ему картину первых месяцев войны и поведения людей на фронте. Картина эта реальна и живая. Попутные, мимоходом сделанные зарисовки встречаемых фронтовиков очень ярки. Многие люди, например, девушки-военфельдшеры Тансия (одна неунывающая, другая строгая, одна на Черном море, другая на Баренцевом), комиссар Балашов, запоминаются так же, как навсегда запомнилась скромная санитарка из корреспонденции Симонова о переправе через Волгу. Как ни странно, спутники Симонова — фотографии Трошкин, Халип и Зельма, которые занимают в дневниках несравненно больше места, чем случайные встречные, оставляют наиболее бледное впечатление, может быть потому, что автор считал их объектами, не достойными внимания, и не пытался смотреть на них писательским глазом.

Нам кажется, что основное достоинство записок Симонова именно в том, что в характере встреченных им людей он искал и отмечал «те черты, которые говорили о стойкости, о выносливости русского человека, о его умении не отчаиваться ни при каких обстоятельствах». Эти черты в дневниках мы находим в поведении людей в быту, в таких наивных и прогательных мелочах, которые по разным соображениям не могли своевременно попасть в корреспонденцию.

«Из военных дневников» представляют собой ценность еще одной стороной. Это первая книга о жизни военных корреспондентов, об условиях их нелегкого и своеобразного труда. Об этом у нас еще ничего не написано, а написать нужно было: люди, пережившие войну, навсегда хранят благодарную память о тех, кто был их ушами и глазами на фронте. В «Военных дневниках» даны не только внешние условия работы военного корреспондента и сопряженные с ней опасности (о них говорится спокойно, без навязчивости), в них — и это особенно ценно — нашло отражение, хотя и весьма неполное, и творческий процесс. Читатель получает возможность проникнуть частично в лабораторию писателя, ознакомиться с его манерой работать, с некоторыми принципами подхода к материалу. После войны целый легион ее рядовых участников потянулся к перу, многие из них не без практической пользы для своей писательской работы прочтут симоновские дневники.

Повторяем: мы не рассматриваем книгу К. Симонова, как художественное произведение, и потому далеки от того, чтобы вменять писателю в вину неудачи в обрисовке отдельных лиц или неполное, поверхностное описание отдельных событий.

Редакция «Октября» первой из редакций наших «толстых» журналов ввела новый раздел «Из фронтовых рукописей», в котором печата-

ет произведения об Отечественной войне, написанные не писателями-профессионалами, а самими участниками войны. Мы рассчитывали найти в нем материалы, представляющие выдающийся интерес. Пока в № 5—6 опубликованы рассказы: «Генерал-майор» майора И. Святогорова, «Перевал Бечо» лейтенанта К. Катаенко, «Тяжелая слава» старшего лейтенанта А. Кондратовича, «Иван Тишайший» старшего лейтенанта Ю. Гаецкого. Нам кажется, отдел выиграл бы, если бы был разнообразнее по жанрам, и простые воспоминания, а так же стихи, которые в будущем обещает редакция, нашли бы в нем место с первого раза. Думается также, что редакция литературно-художественного журнала должна более строго подходить к отбору материала даже в этот раздел. Если произведение не обладает художественными достоинствами и не способно открыть читателю ничего нового, печатать его на том только основании, что его автор — фронтовик, вряд ли резонно. Написанные без претензий на художественность воспоминания, по нашему мнению, должны занять основное место в этом отделе, хорошие же стихи и рассказы могут быть напечатаны и вне его. Из четырех помещенных «Октябрем» рассказов ни один не является находкой. Останавливает на себе внимание описываемым фактом рассказ Катаенко «Перевал Бечо», радует согретый внутренним теплом, хотя и очень примитивно написанный рассказ А. Кондратовича «Тяжелая слава». Рассказ Ю. Гаецкого «Иван Тишайший» просто плохой рассказ, к тому же случайно попавший в раздел фронтовых рукописей. Ю. Гаецкий — литератор-профессионал, в печати далеко не новичок.

3

Поэтический урожай в журналах, особенно в «Знамени», столь обилит, что мы лишены возможности хотя бы коротко остановиться даже на произведениях, заслуживающих внимания. К сведению читателей нашего журнала сообщаем, что он найдет в «Знамени» ленинградскую поэму Ольги Берггольц «Твой путь», интересный цикл стихов редко появляющегося в печати Ник. Ушакова «Летопись», стихи поэтов старшего поколения — П. Антокольского, А. Ахматовой, и поэтической молодежи — Г. Николаевой, М. Луковина, М. Дудина и других. В «Октябре» напечатаны стихи и талантливая поэма-сказка «Цимбалы» А. Кулешова, превосходно переведенные с белорусского М. Исаковским¹, стихи С. Щипачева, М. Рыльского, Е. Долматовского, А. Яшина, молодых поэтов-сибиряков К. Лисовского и И. Рождественского.

Нам же хочется подробно поговорить лишь об одном поэтическом явлении, необычайном и отпадном. Речь идет о десяти баснях Сергея Михалкова, напечатанных в № 5—6 журнала «Октябрь».

Возрождение басни в нашей советской лите-

¹ См. рецензию о поэме в этом номере нашего журнала.

ратуре почти совпало со столетием со дня смерти Ивана Андреевича Крылова. Столетний юбилей великого русского баснописца был широко отмечен советским народом. Даром его незабываемой памяти является и обращение одного из советских поэтов к создателю Крыловым для родной литературы басенному жанру.

Особая любовь русского читателя к басне — прямой наследнице народных сказок и притчей доказана не только неоднократным обращением русских писателей прошлого к этому жанру, но и тем, что басни Крылова обрели в родной стране бессмертие, они стали неотъемлемым средством воспитания нравственного и патристического чувства.

Басни Демьяна Бедного были выдающимся явлением и оказывали непосредственное влияние на широкие круги читателей. В художественном отношении они значительно уступали крыловским басням. Бедный обладал завидным знанием народного языка (несомненно, более значительным, чем обладает Михалков), в его баснях бытовало и острое слово и грубоватый меткий народный юмор, но в них не было лиц и характеров, поэтически отчеркнутых. Они были лишены комедийности, отрицательные и положительные персонажи чаще всего выступали в своем общественном обличье (капиталист, поп), иногда автор, для указания адреса выведенных в басне лиц, ограничивался исключительно внешним намеком (лапоты и сапоги), прибегая к представителям животного царства, он опять-таки обходился какими-то внешними признаками, не пытаясь использовать индивидуальный характер животного.

Вложенное в басни Бедного содержание было связано с определенной эпохой. Эти басни имели целью не исправление нравов, а борьбу со злом старого общества в момент его крушения и зарождения нового общественного строя. Их острота направлена исключительно против политического врага, врага идейно и физически непримиримого, которого надо было не исправлять, а уничтожить.

Новое общество, нуждаясь теперь в нравоучительной литературе, в литературе, призванной исправлять и учить, обратилось вновь к крыловским басням, содержание, которых во многом отвечало его потребностям.

Во многом, но далеко не во всем. В нашей стране создан новый социалистический строй, рождена новая советская мораль. В первую очередь на литературе лежит почетная задача вести неустанную борьбу за высокие и светлые принципы этой морали, помогать искоренению предрассудков, исправлять те недостатки в человеческом характере и быту, которые мешают свободному развитию и укреплению новой нравственности. Возрождение жанра басни в таких условиях и закономерно, и необходимо. Ни один другой литературный жанр не является столь общедоступным для широких масс, как басня: живая и ироничная по форме, она обладает способностью образно и убедительно воздействовать на сердце и ум. В нашей литературе басня нужна потому, что она обладает чудесным свойством сметать с людей «порохов пыль»,

что истина в ней предстает в столь удобопонятном, одновременно забавном и колющем виде, что прошибает любую тулостью и напускною непонятливостью. Нам кажется, именно сейчас для басни открывается широкое поле деятельности. Не знаем, окажется ли Сергей Михалков поэтом, которому суждено вновь прославить этот жанр в родной литературе, но за ним остается первенство на пути его возрождения.

Содержание его басен ново и свежо, в них мы находим изображение недостатков, бытующих в нашем обществе, мораль их спорится на принципах нашей общественной морали. Отдельные отрицательные явления и пороки человеческого характера, отраженные в них, может быть покажутся скоропреходящими, порожденными у некоторых людей временными обстоятельствами (например, самозабвенное увлечение дам «запраничным» — «Разборчивая крыса»), но эти недостатки не менее нуждаются в искоренении, чем, вероятно, еще очень долговечное прекраснородное стремление слабохарактерных натур всем уподобиться («Слон-живописец»). Общественное чутье поэта, его умение подметить наиболее вопиющие недостатки современного быта прекрасно проявились в таких баснях, как «Лиса и бобр», «Енот, да не тот», «Морской индюк», «Разборчивая крыса», «Ккушка и скворец». Лучшее этому доказательство тот резонанс, который вызвали в читательской среде отдельные басни, опубликованные в центральной печати. Мы знаем факты, когда вырезанная из «Истины» басня «Енот, да не тот» направлялась с читательским приветом непосредственно некоторым районным «енотам».

Басни С. Михалкова могут быть с полным правом названы художественными произведениями. Они вполне отвечают классическому определению этого жанра, которое дано Белинским и которое мы рискуем привести ниже:

«Басня есть поэзия рассудка. Она требует не глубокого вдохновения, которое производится внезапным проникновением в тайноство абсолютной мысли; она требует того одушевления, которое так свойственно людям с тихой и спокойной натурой, с беспечным и в то же время наблюдательным характером, и которое бывает плодом природной веселости духа. Содержание басни составляет житейская, необходимая мудрость, уроки повседневной опытности в сфере семейного и общественного быта. Иногда басня прямо высказывает свою цель, но не холодным резонерством, но бездушными моральными сентенциями, а ироничным оборотом, который обращается в пословицу, поговорку. Басня не есть аллегория и не должна быть ею, если она хорошая, поэтическая басня; но она должна быть маленькой повестью, драмой, с лицами и характерами, поэтически очеркнутыми. Самые олицетворения в басне должны быть живыми, поэтическими образами».

Персонажи басен Михалкова, воплощающие тот или иной порок, всегда сохраняют ту индивидуальную физиономию, которой наградила данное животное природа или народная фантазия. В его баснях видна внимательная учеба у Крылова. Он пишет в крыловской манере, но создает собственную басенную фауну, очень

удачно подмечая «психологическое сходство» между представителями общества и животного царства. Многие представители животного мира введены им в басни впервые (бобер, енот), иные же выступают в новом качестве (чадолюбивый скворец, чванливый индюк, расхрабрившийся заяц) и как удачно! Может быть только один салон не совсем подходит для роли беспринципного добряка-художника.

Мораль каждой басни рождается непосредственно из действия, и полное отсутствие поучительного разъяснения в некоторых баснях («Кукушка и скворец», «Енот, да не тот») только лишь менее доказательство их художественности. Нам кажется, и в других баснях Михалков мог бы избежать ненужных сентенций. Авторская оговорка в конце чудесной басни «Морской индюк» просто порит басню.

«Избави бог меня обидеть славный флот.
Уверая я, что флот меня поймет.
Ведь мы встречаем индюков
Не только в форме моряков».

Да разве же кто не ясно каждому и без этой оговорки. Такая не вызванная внутренней необходимостью концовка может быть объяснена разве только ведомственными соображениями.

Концовки, не несущие оплеченно морализующие нагрузки, а как бы просто подчеркивающие уже ясный из басни смысл коротким режиссом, вполне уместны.

«Смысл басни сей полезен и здоров
Не так для рыжих лис, как для седых
бобров» —

колько и легко поставленная точка.

Но отдельным пуантам нехватает звуковой открытости.

«Известно с испокон веков,
Всегда находится метла для пауков» —

прописная истина, выраженная очень тяжело.

Вообще Михалков сильнее в бытовой басне, чем в политической. Мягкий юмор более свойствен его поэтическому характеру, чем убийственный сарказм.

Мы должны отметить также способность поэта лаконично и образно рисовать обстановку и характеры персонажей.

Приведем для примера блестяще написанную, но малоизвестную басню «Нужный Осел»:

«Обед давали у Вола!

Хлев переполнен был гостями.

А стол — харчами,

Пора бы уж гостям и сесть вокруг стола,

Но тут разнесся слух: «К обеду ждут Осла!»

Как только он изволил появиться,

Хозяин знак подаст гостям за стол садиться».

Вот долгожданный гость явился, наконец!

Напротив племенной Корозы

Посажен он в крупу Овец.

Хозяин налил всем: «Так будем же
здоровы!

Внимание! Осел имеет слово!»

Веселые умолкли голоса.

И тут Осел завел... насчет овса!

Почем теперь овес, да как овес хранится,

Да почему сытней он, чем пшеница...

Он говорит уж полчася.

Один Баран успел напиться,

Заснула старая Овца,

А речи про овес все нет и нет конца:

Ослу невмочь остановиться!

Моем гостям ни есть, ни пить, ни петь,

И начали ряды гостей редеть.

Окончен бал! — как говорится.

Охрипшего Осла остался слушать Вол...

Как мог такой Осел попасть к Вола за стол?

Ужели он с Волом был так сердечно дружен?

Осел в почете был. Осел Вола был нужен.

Когда б кормушками на скотном он не ведал,

Он у Вола бы не обедал!»

Отдельные стихи так легки, остроумны и выразительны, что могут стать крылатыми. К таким относятся, например, хвастливое заявление подгулявшего зайца:

«Да я семь шкур с него спущу

И голым в Африку пушу».

Но таких летящих даустилий в баснях Михалкова еще не много. Остается пожелать, чтоб в дальнейшей работе над басней проявилось большее внимание к живой народной речи, настойчиво искал образных, метких, оригинальных оборотов и слов, совершенствовал разговорную легкость языка.

4

В № 5—6 журнала «Октябрь» опубликовано начало романа Люона Фейхтвангера «Симона». Фейхтвангер один из тех современных европейских художников, чье творчество приобрело в Советском Союзе еще до войны большую популярность.

В новом романе Фейхтвангера образы отдельных действующих лиц поражают своей жизненной реальностью и пластической законченностью. Прекрасно передано настроение трагических дней разгрома Франции, растерянности мирных обывателей небольшого городка перед лицом неожиданных событий, злорадного и напряженного выжидания конца крупными собственниками — предателями родины. Как лютая, предстает перед нами монументальная фигура добродетельного василиска — мадам Планшар, владелицы автотранспортной конторы. Зверинный индицизм буржуа в ней выражен во всей его отвратительной законченности. Мадам Планшар — это не просто удачный образ, это тип, по силе художественной выразительности равный балзакским героям. Превосходны фигуры ее сына Проспера Планшара, одного из тех, кто предал Францию, маркиза де Сен-Брисона — убежденного фашиста, мосе Корделье — слабого и беспомощного префекта, папши Бастида — старика-переплетчика, представителя старой Франции, не желающего верить, что эта Франция давно перестала существовать. Менее удачны, как всегда у Фейхтвангера, остающиеся все же очень далеким от народных низов, образы представителей рабочего класса — шофера Мориса, юноши Этьена. Несмотря на горячую симпатию автора к ним, они пока выглядят по

сравнению с отрицательными персонажами бледными, схематичными.

Центральный образ повести — племянница москве Планшара пятнадцатилетняя девушка Симона Планшар — сирота, живущая в доме на положении бедной родственницы. Созданный писателем характер необычен, жизненно-убедителен и полон внутреннего обаяния. Симона Фейхтвангера — необыкновенная девушка: с большим умом и живым воображением, пламенным сердцем, несколько склонная к экзальтации. Чтение книг о Жанне д'Арк, которыми снабжает ее папаша Бастид, побуждает ее к мечтам о подвиге, происходящие события толкают на путь его свершения. Мы становимся свидетелями трагедии юной души, которая внезапно обнаруживает в привычном мире, кажущемся ей полным добра и честности, глубокие неизлечимые язвы и содрогается перед ними. Мы наблюдаем ту внутреннюю мобилизацию сил, которая происходит в этой юной душе, отважившейся с гордо поднятой головой выступить против несправедливого мира, полного человеконенавистничества и звериных инстинктов. Девушка Симона рисуется Фейхтвангером, как идеальный человеческий образ. Обладая индивидуальными и неповторимыми чертами характера, этот образ идеален в своей духовной сущности и в моральной красоте...

5

В разделе литературной критики внимание читателей, вероятно, будет привлечено необычной по тону гневной статьей Н. Четуннова «Модели и люди» («Знамя» № 7), написанной в защиту повести В. Герасимовой «Байдарские ворота». Поскольку именно автор настоящего обзора явился причиной вдохновенно-раздраженного тона статьи, мы вынуждены мимоходом остановиться на ней. Автор статьи гневно обрушивается на автора настоящего обзора, который осмелился назвать повесть В. Герасимовой литературной забавой. (См. «Новый мир» № 2—3 за 1945 год).

Н. Четуннов не может даже найти в русском языке слова, чтобы выразить всю низость нашего поступка, и прибегает к бесконечному соединению слов, допустимому разве лишь в немецкой грамматике, объявляя наши высказывания «ядовито-научно-критически-педагогически замечаниями». Она (это уж совсем неожиданно для нас) возводит автора обидной статьи на «литературно-критический Олимп», вероятно затем, чтобы с большим эффектом спустить его оттуда. Одним словом, товарищ Четуннов не пожалела ни слов, ни образных выражений, чтобы представить нас в виде кабинетного педагога, «соцвосовца», чуждого жизни олимпийца, и только принятая в литературной среде «вежливость», высмеянная еще Пушкиным, не позволяла ей назвать нас прямо козлом в очках..

Четунновой непонятны причины, вызвавшие резкий тон нашей статьи, она недоумевает:

«Откуда бы «в состоянии задумчивости» (эти слова кстати, т. Четуннова, принадлежат не нам, а вашей подзащитной!), спросит себя читатель,

взяться такому урагану негодования в нашей даже слишком спокойной критической атмосфере. Ведь «процал же и даже, по его собственному признанию, охотно процал критик и «неполноту», и «неумение», и неровность, и сбивчивость рассказа многими и многими авторам».

Охотно объясним откуда. Во-первых, мы не имеем чести принадлежать к тому критическому Олимпу, на который Н. Четуннова нас пыталась водрузить, а потому, высказывая свое мнение, не прибегаем к тем благодушным расшаркиваниям перед писателем, которые приняты среди олимпийцев, а высказываем свое мнение прямо. Во-вторых, мы процали и неполноту и неумение (вовсе не многими и многими писателям, а авторам произведений «Дни и ночи» и «На юге») «за искренность, за честность намерения, за те куски живой жизни, которые удавалось отобразить писателю». Ничего этого мы не нашли в книге В. Герасимовой, а потому и подвергли ее резкой критике. В нашей статье путем детального разбора образов действующих лиц, композиции и стиля повести мы показывали ее полную несостоятельность. Что же касается причин, которые, по нашему мнению, повлекли за собой полнейшую неудачу писательницы, мы их особенно не касались, потому что, нам кажется, они лежат вне сферы искусства.

Об одном принципиальном положении статьи Н. Четунновой мы вынуждены еще сказать несколько слов. Основная мысль статьи в том, что в искусстве нам нужны не модели, а люди. Полностью с этой мыслью согласны. Если т. Четуннова внимательно читала нашу статью, она не могла не заметить, что мы ставили в упрек Герасимовой именно стремление создавать биографии своих героев (например, Махотина) по трафарету. Да, нужны люди, а не модели, нужны образы реальных советских девушек, а не выдуманные Ольги Куроченко. Потому-то мы и указывали писателям на биографии Зои Космодемьянской и Лизы Чайкиной, что эти девушки для нас — живая жизнь, и писатель, желая создать жизненно правдивый, типический образ, не может пройти мимо особенностей их душевного склада. Вот же что пишет Н. Четуннов:

«Только на критически-педагогическом Олимпе могут, как это делает А. Макаров, всерьез тужить о том, что вот де Зоя Космодемьянская «задолго до войны записала в своем дневнике» прекрасные слова чеховского Астрова, а Ольга ничего такого не записала; что Лиза Чайкина «долгое время была передовой представительницей и руководителем деревенских комсомольцев», а Ольга Куроченко — нет, и на этом основании заключает: «Вот почему мы и не можем поверить в реальность Ольги Куроченко».

Увы! Живая жизнь никогда не может быть втиснута в одну-единственную, хотя бы и самую образцовую модель».

Н. Четуннова слишком глубоко выпала в критический восторг. И Космодемьянская и Чайкина никак не могут быть названы моделями. Они-то и есть «живая жизнь», а вот Ольга Куроченко — грубо раскрашенная, плохая модель.

«Байдарские ворота» нам представляются

книгой, наименее подходящей для того, чтобы по поводу ее

...Плодить в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

«Общей, годной для любого содержания формы не существует в природе» — такой оригинальной мыслью заканчивает свою статью Н. Четунцова. Вполне согласны. Готовы даже согласиться с тем, что в произведении Герасимовой форма, в которой нам предстает героиня, вполне соответствует внутреннему содержанию этой удивительной девицы. Только содержание-то это не соответствует реальной советской действительности.

Лишь очень недалекий человек может всерьез предположить, что мы обязательно хотим, чтобы героиня записывала те же чеховские слова, что и Зоя, или была секретарем райкома, как Чайкина. Но мы действительно всерьез тужим о том, что наши писатели проходят мимо того прекрасного и значительного, чем отмечены по-

ведение и интересы передовых девушек нашего времени, мимо их глубоких духовных запросов и серьезного характера, мимо их внутренней культуры, а рисуют нам их, как людей, склонных исключительно к нигилистическому отрицанию, к противопоставлению себя окружающим, к чванливому индивидуализму.

В рассмотренных нами номерах журналов широко представлена публицистика, литературная критика, воспоминания. Обращаем внимание читателя на содержательные статьи В. Гроссмана «На рубеже войны и мира» («Знамя» № 7) и М. Брагина «Крах Восточной Пруссии» («Знамя» № 5—6), И. Лежнева о Ницше «Пророк империализма и фашизма» («Знамя» № 4), на биографический очерк Б. Октябрьского «И. И. Мечников» («Октябрь» № 5—6), включающий большой фактический материал, но, к сожалению, написанный очень будничным языком, без вдохновения, и на интересные воспоминания В. Ардова об Ильфе и Петрове («Знамя» № 7)

МАЛЕНЬКИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В СЕРЬЕЗНОМ РАЗГОВОРЕ

А. ЛЕЙТЕС

★

«...пусть читатель... подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература».

В. И. Ленин.

В семидесятых годах прошлого века в Японии вышел переводный роман. Он имел вычурно-сентиментальное заглавие: «Плач цветов и скорбящие ивы. Последний прах кровавых битв в Северной Европе». Оказывается, это была «Война и мир» Льва Толстого (в ее первом японском издании). В предисловии к роману переводчик указывал, что он «ввиду растянутости и трудности оригинала многие его страницы видоизменял и сокращал». Другой японский издатель, опубликовавший, примерно в тот же период, перевод «Капитанской дочки» Пушкина, преподнес ее под названием: «Сердце бабочки и думы цветка. Удивительные вести из России». В предисловии переводчик не предупреждал о тех изменениях, каким он подверг эту классическую повесть, но о них нетрудно догадаться хотя бы по одному тому, что в переводе Гринев фигурирует под фамилией Смят, а Маша именуется Мери. Впрочем, не меньшей, если не большей жертвой подобного рода «вольностей» переводчика оказался «Дон-Кихот» Сервантеса, где герои пользуются телеграфом и где в одной из новелл почему-то неожиданно появляется Гарибальди.

Как известно, во второй половине прошлого века после так называемого «переворота Мейдзи» японскому читателю приходилось сразу открывать всю многовековую европейскую литературу. Феодалная Япония в результате длительной и абсолютной самозащиты от внешнего мира была вынуждена стать на путь стремительной индустриализации и столь же поспешной показательной европеизации. Переводы европейской литературы давали возможность японскому читателю проходить ускоренным темпом своего рода «краткосрочный курс» познания техники и культуры передового Запада. Потрафляя такому спросу, издатели подходили к лучшим произведениям европейской классики исключительно утилитарно. Их мало интересовало художе-

ственное совершенство и психологическая глубина произведений Толстого и Пушкина, Сервантеса и Шекспира. Японские переводчики беззащитно препарировали лучшие произведения Запада, приспособляя их к отсталым эстетическим вкусам своего читателя, лишь бы дать ему общее представление о техническом, военном и культурном быте Европы. Вот почему испанский «рыцарь печального образа» пользовался у них телеграфом, изобретенным значительно позже. Вот почему проза Толстого и Пушкина представляла у них в таком вычурном обрамлении, которое никак не соответствовало классической ясности, простоте и могучему реалистическому гению этих мастеров слова.

Разумеется, непревзойденная сила художественного воздействия великих писателей России — равно как и великих художников Англии, Америки, Франции — преодолела все рогатки, поставленные отсталостью и косностью феодального строя Японии. В конце концов, и в стране самураев кое-какие издатели, уступая запросам читателей, должны были выпускать и выпускали более точные и полные переводы Толстого и Пушкина, Чехова и Достоевского, Тургенева и Гончарова, Гоголя и Горького.

Русская литература XIX века, во всей своей художественной полноценности, во всем величии своего морального и идейного пафоса, как известно, прошла триумфальным шествием по всему миру, читатель приобщался к ее сокровищам, несмотря на искаженные переводы, несмотря на извращенные комментарии, иной раз злостные, а иной раз попросту курьезные.

Эти «накладные расходы», которые кое-где оплачивал зарубежный читатель, знакомящийся с переводами русской литературы, не исчезли, а, напротив, возросли, когда тот же зарубежный читатель в послеоктябрьские годы стал с особым интересом прислушиваться к голосу советской художественной литературы.

Спрос на произведения советских писателей неуловимо и стихийно возрастал во всем мире — из месяца в месяц, из года в год. Он приобрел опромный размах и интензивность, он стал чрезвычайно настойчивым и разносторонним в дни Великой Отечественной войны, когда перед всем человечеством военных и трудовой подвиг советского народа ярко раскрыл всемирно-историческую роль нашего государства, спасшего от гибели европейскую цивилизацию.

Можно предсказать с глубокой уверенностью, что именно с этого периода начнется триумфальное шествие по всему миру советской литературы, продолжающей и приумножающей лучшие традиции передовых русских писателей прошлого, литературы, несущей человечеству новые прогрессивные идеи.

Если в таких фашистских странах, как Германия, Япония, Испания, книги советских писателей подвергались в течение ряда лет злобному остракизму, то в буржуазно-демократических государствах, которые объединились в прочный союз с нашей страной для борьбы с фашистским варварством, произведения советских писателей приобретали все большую и большую популярность. В последнее время они хорошо издавались и тщательно переводились зарубежными издательствами. Книги советских писателей, в большинстве своем сочувственно, а временами восторженно комментировались и рецензировались. Даже реакционные издатели Запада, вынужденные считаться с пытливым интересом многочисленных читателей этих стран к русской, советской литературе, часто и притом в больших тиражах публиковали в годы войны переводы наших писателей.

Тем не менее, это большое и серьезное дело, дело приобретения зарубежного читателя к лучшим образцам и новинкам советской литературы и по силе пору не обходится без своего рода «накладных расходов». Это можно объяснить. Ведь в течение ряда лет многие реакционные издатели и журналисты в Америке, Англии и Франции держали своего читателя — да и сами находились — в состоянии изоляции от того, что происходило в нашей стране. И естественно, что кое-кому из читателей, переводчиков, редакторов и издателей Запада пришлось в дни Великой Отечественной войны поспешно проходить «краткосрочный курс» объективного познания Советской России.

Простые и правдивые факты о жизни и быте советской страны, о ее людях за рубежом казались не только чрезвычайно интересными, но и сенсационными. Желая сбросить с себя дурман тех клеветнических сплетен, той систематической лжи, которой в течение долгого времени подвергался Советский Союз в реакционной прессе Запада, читатель прежде всего хотел узнавать о фактах, замалчивавшихся и искажавшихся в буржуазной печати. Таким образом любой перевод той или иной книги рядового советского писателя преподносился за рубежом как «удивительные вести из России».

Обостренное внимание к теме в этом случае явно превалировало над интересом к качеству и характеру художественного оформления темы.

Характерно, что в 1942 году в Америке среди переводной русской литературы в равной мере ходкими книгами были и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, и наскоро переведенные очерки Бориса Войтехова, посвященные обороне Севастополя от немецких фашистов. Читатель, разумеется, прекрасно понимал и чувствовал большую дистанцию между художественным уровнем рассказов Льва Толстого и литературным уровнем очерков Бориса Войтехова. Но в данном случае его прежде всего интересовали факты. Его внимание было устремлено на образы русских воинов, героически защищавших Севастополь в прошлом веке, и на дела их потомков, советских людей, которые на том же месте в 1941—42 годах показали еще более высокие образцы героизма.

Когда в осенние месяцы 1941 года в Америке были переведены очерки военного корреспондента «Красной звезды» А. Полякова «В тылу у врага», одно американское издательство срочно опубликовало их отдельной книгой под широковещательным заголовком: «Русские не сдаются». Русские не сдаются! — вот тот факт, который тогда привлекал внимание сотен тысяч американских читателей, с волнением следивших за единоборством советского народа с доселе непобедимой, могуче оснащенной германской военной машиной. Всякое сообщение, точное и правдивое, о людях, принимавших участие в этой героической борьбе, всякий эпизод, связанный с перипетиями этой войны, вызвали их естественный интерес. Потребность глубокого осмысления этих фактов пришла к зарубежным читателям несколько позже, когда весь мир стал убеждаться, что русские не только не сдаются, но и одерживают величайшую победу. В первый период войны, отвечая себе на вопрос, каковы эти русские люди, которые так упорно не сдаются врагу, — читатель мог ограничиваться перечитыванием «Севастопольских рассказов», «Войны и мира» Льва Толстого, чтением очерков и корреспонденций с советско-германского фронта. Но на последующем этапе войны (особенно после Сталинграда), читатель не мог этим ограничиться. Его интерес к русской теме терял элементы сенсационности, но стал значительно глубже. Перед читателем возник другой, более серьезный вопрос: почему побеждают советские люди? Серьезного и глубокого ответа на этот вопрос читатель стал искать в произведениях советской литературы.

В Америке и Англии все чаще и чаще появляются антологии нашей поэзии и сборники наших рассказов. Без особой системы, но в большом количестве стали переводиться советские повести и романы. Тут и «Малахитовая шкатулка» П. Бажова, и «Танкер Дербент» Ю. Крымова, и «Падение Парижа» И. Эренбуога, и «Дмитрий Донской» С. Бородин, и «Морская душа» Л. Соболева, и «Хождение по мукам» А. Толстого, и «Чукотка» Т. Семушкина, и «Фронт» А. Корнейчука, и «Тихий Дон» М. Шолохова, и «Ленинград в дни блокады» А. Фадеева, и «Испытание» А. Первенцева, и «Два капитана» В. Каверина, и «Русские люди» К. Симонова, и «Народ бессмертен» В. Гроссмана, и «Ленинградские рассказы»

Н. Тихонова, и ряд других романов, повестей, рассказов и сборников.

Статистические данные о зарубежных изданиях переводов советской литературы — весьма внушительны. Но статистика никак не может ответить на вопрос о характере, глубине и силе воздействия тех или иных художественных произведений. Об этом ничего не скажет ни сухой язык каталога, ни тщательно подобранные цифры. Каждая книга советского писателя — это ответственный и серьезный разговор на важную и волнующую зарубежного читателя тему. Посредниками в этом разговоре между советским писателем и иностранными читателями являются переводчики, издатели, редакторы и составители соответствующих антологий и сборников, критики, рецензенты и комментаторы. Тем более важно сначала внимательно присмотреться к тем пусть маленьким, но явным недоразумениям, которые возникают в процессе этого посредничества.

2

Издатели и редакторы на Западе придают искусству озаглавливания немаловажное значение. Одни рассматривают заглавие книги как своего рода визитную карточку произведения. Если автор книги уже достаточно зарекомендовал себя в глазах читателей, то текст этой «визитной карточки» может быть предельно лаконичным и скромным. Имя автора достаточно говорит за себя и не нуждается в дополнительных рекомендациях. Но бывает, что заглавие книги служит средством заманить читателя к произведению, теряющемуся на библиотечной полке или на книжной витрине. Тогда для текста «визитной карточки», то есть для заглавия, они ищут большей эффективности.

Когда в Англии публиковался один из первых переводов первой части «Тихого Дона» Михаила Шолохова (тогда еще мало известного за рубежом), одно лондонское издательство выпустило этот перевод под названием «Любовь казака». Спокойное «географическое» название эпопеи Шолохова казалось им недостаточно эффективным. Впоследствии, когда переводы «Тихого Дона» Шолохова в Англии и Америке, как и в других странах, приобрели большую популярность, когда они стали «бестселлером» (ходкой новинкой), издатели охотно восстанавливали первоначальное название эпопеи.

В свое время «На дне» Горького (когда он был уже известен за рубежом как автор рассказов о «боссяках» и еще мало известен как драматург) прошла с огромным успехом по многим европейским театрам под названием «Ночлежка». Это название казалось директорам и режиссерам театров более точным, менее абстрактным, чем заглавие оригинала. Они считали, что прооставленное на афише слово «Ночлежка» скорей напомнит зрителям о бытописателе «бывших людей» (наким в ту пору преимущественно изображали Горького буржуазные критики и рецензенты).

В принципе такая замена заглавий представ-

ляет собою довольно общераспространенное явление на Западе. Так роман Николая Островского вышел на английском языке под названием «Становление героя». «На Востоке» П. Павленко появилось с заголовком «Город в тайге». Роман Василия Гроссмана «Народ бессмертен» опубликован в Америке под названием «Прекрасных ночей не будет». Фильм «Разгром немцев под Сталинградом» назывался на американских экранах «Катюша». Гораздо более умеренному изменению названия подверглась «Седьмая симфония» Шостаковича, которая в Америке часто афишировалась как «Ленинградская симфония».

В каждом конкретном случае не трудно уяснить себе мотивы, которыми руководствовались те, кто, занимаясь продвижением к читателю, зрителю, слушателю наших художественных новинок, заменяли одно заглавие другим.

Естественно, что в дни, когда миллионы людей с восторгом следили за героической обороной Ленинграда, в Америке сочли более уместным и необходимым назвать «Седьмую симфонию» по имени славного героического города, в котором — в условиях блокады — Шостакович создавал свое замечательное произведение. Когда издатели заменяли название павленковского романа «На Востоке», то это опять-таки объясняется тем, что они хотели придать ему большую конкретность и известную экзотичность. Можно, наконец, понять, почему американские издатели заменили заглавие гроссмановского романа «Народ бессмертен». Оно, очевидно, показалось им слишком «пропагандистским». И они решили заменить его другим, романтически-интригующим заголовком. Он навеян соответствующими лирическими страницами романа, где комиссар Богарев, вдыхая аромат прекрасной лунной ночи, размышляет о том, что, если солдаты Гиллер, не будет для человечества ни солнца, ни звезд, ни этих прекрасных ночей...

В других случаях заглавие подчеркивало ту или иную мелкую деталь, отнюдь не характерную для данного произведения. Так, например, в фильме «Разгром немцев под Сталинградом», переименованном американскими кинопрокатчиками в «Катюшу», эпизод, где показывается действие «катюш», длится не более одной-двух минут. Основной пафос и внутреннее содержание этого фильма не исчерпывается этой деталью и меньше всего связано с ней...

Стоит ли начинать наш разговор с такой мелочи, как перемена заглавия? Да, стоит. Ведь вольное обращение с заголовками со стороны издателей, редакторов, переводчиков (иной раз уместное, иной раз абсолютно неудачное) мы рассматриваем, как первый их комментарий к книге, как самый первоначальный отклик на нее, как попытку по-своему осмыслить произведение, а иной раз переосмыслить его и вступить в полемику с его содержанием.

В английском издательстве Хетчинсон, публиковавшем в последнее время не мало интересных, тщательно переведенных, хорошо оформленных советских литературных новинок, в

1944 году вышел роман Алексея Толстого «Хождение по мукам» под названием «Путь на Голгофу» («Road to Calvary»). Действительно, путь на Голгофу (поскольку речь идет об известной евангельской легенде) это и есть «хождение по мукам». Но не всякое хождение по мукам оказывается путем на Голгофу. В переводе заглавия романа Алексея Толстого на английский язык явно смещены смысловые оттенки. Как решительно, однако, искажается этой разницей в оттенках весь идейный смысл и вся эмоциональная направленность знаменитой трилогии Алексея Толстого! Ведь ее основной пафос и центральная идея заключается в том, что представители старой русской интеллигенции сквозь муки блужданий, сомнений и колебаний, сквозь трудности периода империалистической и гражданской войны с радостью и гордостью нашли свое место в строительстве советского государства, что они уверенно стали на путь животворного социалистического патриотизма. Совсем иное звучание приобретает эта тема в заголовке английского перевода. Оно оставляет такое впечатление, будто трилогия рассказывает о том, как русская интеллигенция — в результате своих исканий, блужданий и размышлений — вошла на Голгофу.

Когда-то, еще в 1923 году, в Нью-Йорке под этим же названием «Путь на Голгофу» вышел английский перевод первого варианта «Сестер» Алексея Толстого. В 1921 году, когда писались «Сестры», возможно и сам автор «далеко свободного романа еще не ясно различал». В ту пору американское издательство своим заголовком поспешно дало явно тенденциозную трактовку первой части трилогии. Но с тех пор прошло больше двадцати лет. Трилогия была дописана. Ее концепция стала отчетливо видна всему миру. А старый, тенденциозный заголовок остался.

Что это — случайное недоразумение, абсолютное непонимание основного пафоса эпопеи или явная попытка скрытой полемики, с замыслом и содержанием «Хождения по мукам»?

Что такое заглавие книги? Вдумаемся в корень этого русского слова. Заглавие — это то, что стоит за главным в книге. От заглавия идут, чтобы оно предельно сжато, в нескольких словах обозначило то главное, о чем говорится в произведении. Мы понимаем, что, как правило, не каждое заглавие раскрывает то существенное, что хотел выразить автор. Но не должно же оно противоречить тому главному, во имя чего написана книга!

Известный польский романист Генрих Сенкевич как-то заметил, что разговор о литературе зачастую начинается с «обмена заглавиями». В данном случае разговор начался с явного недоразумения. Получился обмен заглавием...

Таким образом, в некоторых случаях трактовка книги или полемика с ней начинается с видоизмененного заголовка. А затем она в более пространном виде продолжается и развертывается в критических комментариях и отзывах, публикующихся на страницах зарубежных газет и журналов.

3

Много рецензий, откликов, критических статей сопровождает почти каждую появляющуюся за рубежом книгу советского писателя. Выходят отдельными изданиями и краткие истории советской литературы, написанные западноевропейскими и американскими литературоведами.

Правильно ли они ориентируются в нашем литературном процессе? Верно ли они улавливают то основное, чем характеризуется развитие нашей литературы? Вот первый вопрос, который возникает, когда обзвораешь и продумываешь эти многочисленные отзывы, рецензии, критические работы. Перед нами встает довольно пестрая картина. Классовая структура зарубежного общества, различные литературные вкусы и эстетических точек зрения определяют как противоречивости, так и разнообразие этих откликов на наши книги. Все же, при всей своей разноречивости, эти рецензии и критические статьи в большинстве своем отмечают новизну содержания советской литературы, ее высокий моральный дух, ее правдивость, широту ее воздействия на читательскую массу, ее органическое единство с этой читательской массой. Мы сейчас оставляем в стороне те высказывания реакционных публицистов, в которых они пользуются нашими произведениями, как поводом для недобросовестных выпадов и инсинуаций. Если о них мы будем говорить, то только попутно. Нас сейчас интересует непосредственно литературные оценки зарубежной критикой наших художественных новинок и те недоразумения — большие и меньшего масштаба, — которые возникают в процессе этих оценок.

По своему характеру, по своему происхождению эти недоразумения можно сгруппировать по двум категориям. Существуют недоразумения, возникающие в результате недостаточного знакомства критика с той или иной подробностью произведения или недостаточной его ориентированности в деталях нашего литературного процесса. Как известно, «талант — это подробность», и слабое знакомство с художественными подробностями, естественно, влечет за собою искаженное представление о книге, об ее авторе, а тем самым рождает и неправильные выводы.

Можно привести немало примеров того, как даже опытные литературные критики за рубежом, в результате поверхностного ознакомления с текстом оригиналов, проходят мимо ряда подробностей, путаются в них.

Известный американский специалист по русской литературе, профессор Э. Симмонс — автор интересной книги о Достоевском (сравнительно недавно вышедшей в США) и ряда других выступлений по русской литературе, в одном из них характеризует Маяковского, как поэта, оприданвшего наследие классиков. Литературовед ссылается при этом на резкий отзыв Владимира Маяковского о великом итальянском поэте Данте. В качестве примера Э. Симмонс приводит

цитату из стихотворения Маяковского «Юбилейное»:

«Сужин сын, Дантес,
Великосветский шкода»...

Оказывается, профессор не больше, не меньше, как принял упоминание о Дантесе — убийце Пушкина — за упоминание об авторе «Божественной комедии» и на этом строил свои дальнейшие рассуждения.

Такая критика, иной раз основанная на недосмотре одной буквы, на поверхностном чтении оригинала или на недоброкачественных переводах, приводит к курьезам, и их нередко можно встретить в том или ином отзыве, независимо от того, носит ли он положительный или отрицательный характер. К примеру, американский писатель Херси — автор романа «Колокол для Адамо» — в своем отзыве о повести Бориса Горбатова говорит о влиянии на стиль Горбатова переводов Хемингуэя и прозы Гоголя. Такого рода выводы производят впечатление произвольных, случайных, основанных на слишком беглом чтении. Видимо, американский писатель вспомнил о влиянии Гоголя по прямой ассоциации между названием повести Бориса Горбатова «Семья Тараса» (под таким заголовком «Непокоренные» вышли в Англии) и «Тарасом Бульбой» Гоголя. Что же касается Хемингуэя, то тут явно неподходящая аналогия, очевидно, навеянная наличием коротких, обрубленных фраз в прозе Горбатова.

Нет смысла заниматься систематическим вылавливанием таких — больших или меньших — курьезов, а тем более их коллекционированием. Они не дают основания ни для серьезного разговора, ни для принципиальных выводов. Эти курьезы — преходящие. По мере того, как наладится более детальное знакомство с текстами оригиналов, по мере улучшения качества переводов, такого рода недоразумения, несомненно, не будут иметь места.

К той же категории легко исправимых недоразумений относятся и те, которые возникают в результате недостаточной ориентированности зарубежного критика в тех или иных конкретных подробностях нашего литературного процесса. Этой дезориентации частично способствовали и некоторые сборники и антологии русской прозы и поэзии, которые особенно часто начали появляться в Англии и Америке с конца 1941 года. Среди них есть сборники удачно подобранных и добросовестно переведенных образцов нашей литературы. Но наряду с ними встречаются антологии, в которых представлены авторы, отнюдь не характеризующие качественный уровень советской литературы. Так отчасти случилось с антологией советской прозы под редакцией Роджера. В ней мы не встречаем прозы А. Фадеева, Л. Леонова, А. Толстого, Вс. Иванова и многих других крупных советских писателей. Неудачно подобранные рассказы и повести дали повод для несколько пренебрежительного отзыва об этом сборнике в литературном приложении к газете «Таймс» (март 1943 г.). Гораздо удачнее вышедший в Амери-

ке сборник «Ночь летнего солнцестояния», в который включено 20 рассказов советских писателей, отобранных поэтом и критиком Марком Ван-Дореном. И этот сборник все же не дает представления об уровне нашей новеллы. Наряду с рассказами крупных писателей сюда включена новелла начинающей писательницы Татьяны Окс. Не совсем ясное представление о советской поэзии дают некоторые антологии, в том числе и антологии стихов объединенных наций. В одной из таких антологий в числе стихов выдающихся советских поэтов включены переводы явно незрелых стихов Бориса Вессельчакова.

Мы сейчас не будем касаться вопроса о принципе отбора произведений для этих сборников и антологий, которые должны дать представление не только о тематике, но и о художественном уровне современной советской литературы. Несомненно, что в некоторых случаях желание поскорей ознакомить читателя с бытом, в особенности с военным бытом советской страны играли решающую роль при отборе этих произведений. Но бывали случаи и другого порядка, когда составлением таких сборников руководили в качестве специалистов по нашей литературе русские белоохранительцы. Так, например, в составлении одной антологии советской прозы (вышедшей в Америке) принимал участие белоохранительский романист Мих. Алданов. Как бы то ни было, такого рода небрежно и случайно составленные антологии давали не совсем ясное (а временами искаженное) представление о нашем литературном процессе и зачастую предвещали не совсем правильные и недостаточно точные выводы о характере и состоянии советской литературы.

В своем обстоятельном сообщении на заседании иностранной комиссии Союза советских писателей Владимир Рубин (материалы его сообщения мы частично использовали в нашей статье) привел интересное письмо дружественного и близкого нам писателя Джима Фелана. Он пишет:

«Советские рассказы, как и следовало ожидать, в этом году в большом ходу у английских читателей... Но многие из рассказов, переведенных с русского на английский, чрезвычайно слабы. Некоторые из них просто не являются рассказами и совершенно не заслуживают того, чтобы представлять за границей литературу героического советского народа, непобедимой Красной Армии.

Жесткие слова. Но необходимые. Большинство этих рассказов должны провалиться не по какому-нибудь произвольно высказанному суждению и знанию, но благодаря сравнению с многочисленными прекрасными рассказами, которые также приходят из Советского Союза. Авторы рассказов во всем мире могут многому поучиться у Эренбурга, Евгения Петрова, Соболева и других. Так же, как и молодые писатели Советского Союза».

Во всякой литературе существуют, наряду с первоклассными произведениями, вещи второразрядные, средние и посредственные. Литера-

тура движется большим потоком, и в ней встречаются не только «киты», но и «слотва». Это и закономерно и неизбежно. Но когда речь идет о представительстве литературы, а такую роль выполняют сборники и антологии, отбор лучших произведений для таких сборников крайне важен. В Америке ежегодно выходит до 600 фильмов. Странное суждение получили бы мы о передовых представителях американской кинематографии, если бы знакомились с ней не по ее боевикам, а по тем третьеразрядным, стандартным, «ковбойским», или детективным фильмам, которые в таком количестве выходят на экран!

Реакционная пресса на Западе не раз пользовалась некоторыми третьеразрядными малохудожественными произведениями, отнюдь не характерными для советской литературы, для своих тенденциозных клеветнических целей, для выдвижения их на первый план. В первые годы первой пятилетки Пантелеймоном Романовым был написан малозначительный для его творчества, и еще менее заметный в нашей литературе, роман «Товарищ Кисляков». Это произведение было справедливо и сурово осуждено советской критикой за свою нехудожественность и неправдивость. Между тем, в 1931 году, когда антисоветские газеты развивали бешеную кампанию против нашей родины, «Товарищ Кисляков» был переведен на английский, немецкий, итальянский, венгерский, французский, шведский, норвежский, датский, испанский, польский и др. языки. Симптоматично, что на всех языках этому роману был дан заголовок «Три пары шелковых чулок», который оттенял и подчеркивал наиболее пошлые места романа. Судя по количеству этих переводов, можно было бы подумать, что этот роман занимал какое-то видное место в советской литературе и что «три пары шелковых чулок» отражали размах и сущность великой пятилетки!

Времена с тех пор решительно изменились. Подлинные произведения советской литературы все больше и больше вытесняют те мнимые образцы советской художественной прозы и поэзии, которые когда-то нарочито выдвигались буржуазными издательствами. Имена лучших представителей советской литературы становятся все более и более известными на Западе, и на их произведения сейчас в основном ориентируются издатели Запада. К сожалению, бывают случаи, когда смысл и значение этих крупных произведений советских писателей преднамеренно искажаются реакционными критиками.

В 1944 году в Америке вышел в английском переводе роман Леонида Леонova «Дорога на океан». Многие рецензенты отмечали его высокие художественные достоинства. Все же нашлись критики, которые, усердно обрывая название романа, в своих тенденциозно-политических целях попытались усмотреть в нем не больше, как... «манифест русской экспансии». Литературный критик Френсис Хекет так и писал: «Дорога на океан» — манифест русской экспансии... Леонов пишет ненавистно, как пишут чернилами». По мнению другого рецензента, тайный смысл этого романа заключается в том,

что Россия претендует чуть ли не на безраздельное владение Тихим океаном!

Оба рецензента — не столько по невежеству, сколько по злостному и сознательному желанию ввести читателя в заблуждение — перепутали все. Характерно при этом, что «Дорога на океан» была воспринята ими, как произведение, написанное Леоновым под непосредственным впечатлением Великой Отечественной войны, хотя, как известно, роман публиковался у нас еще в 1935 г. Но, перепутав сроки написания книги, они не разобрались в ее сюжетной линии и совершенно ничего не поняли в романтической трактовке образа большевика Курилова, которая дана Леонидом Леоновым в этом романе.

Это уже не первый случай, когда критики, анализируя то или иное произведение, не совсем ясно представляют себе дату его написания. В частности, публикуя вещь, написанную советским писателем до войны, они охотно приспособляют ее к военному периоду. Таким «вольному» обращению подверглась у американских переводчиков пьеса М. Рудермана и И. Вершинина «Победа». Написанная до войны и тогда же опубликованная в журнале «Новый мир», она привлекала к себе внимание переводчиков в период боев под Сталинградом. Несколько переделанная и поставленная в нью-йоркском театре под названием «Контратака», она была преподнесена зрителю Бродвея, как пьеса, чуть ли не отражающая опыт боев под Сталинградом.

Рецензенты, критиковавшие «Контратаку» (и сопоставлявшие ее с «Русскими людьми» К. Симонова), исходили из того факта, что пьеса М. Рудермана и И. Вершинина изображает войну Сталинграда, и делали из этого соответствующие выводы.

Стоит ли заниматься принципиальным разговором по поводу такого рода недоразумений? Они заслуживают только упоминания. Одни из них основаны на недобросовестном искажении фактов, и достаточно эту недобросовестность отметить и разоблачить. Другие недоразумения возникли вследствие недостаточного знания наших текстов или из-за неполного знакомства с нашей литературной жизнью. Надо пожелать многочисленным друзьям и ценителям современной русской литературы более глубокого и полного ознакомления с нею, и эти недоразумения, естественно, будут исчезать.

4

Существуют, однако, недоразумения другой категории. Они основаны на недостаточной ориентированности критиков и обозревателей в самом существе нашего литературного процесса, а не только на неполном знании его подробностей. В этой связи возможен и нужен серьезный принципиальный разговор. Но, прежде чем подойти к нему вплотную, рассмотрим внимательнее к некоторым конкретным отзывам зарубежных критиков об отдельных книгах советских писателей. Отзывы эти, как мы уже

указывали, в основном положительные, а временами восторженные.

Мы приведем для иллюстрации некоторые выдержки из них. «Я прочел воодушевляющий рассказ, который вызвал во мне чувство, не часто возбуждаемое современными романами — чувство благоговения», — пишет в 1944 году рецензент «Ивнинг Стандарт» о повести Бориса Горбатова.

«Его лиризм и изображение обыкновенных человеческих черт волнуют читателя», — указывает литературный обозреватель «Таймса», отсылаясь о той же повести.

«Роман «Падение Парижа» может постоять сам за себя, так как это — очень хорошая книга, попадающая к нам как раз в полосу плохих романов», — пишет «Спектейтор» о романе Ильи Эренбурга.

«Падение Парижа» — роман, получивший Сталинскую премию 1942 года, является работой большого значения. Он служит приятным доказательством жизнеспособности творческого духа в Советском Союзе», — замечает Уильфред Гибсон на страницах «Манчестер Гардиен Уикли».

«Необычайный опыт советского человека в дни войны он вложил в рамки романа настолько успешно, насколько это возможно», — пишет «Нью-Йорк Геральд» об «Испытании» Первенцева.

«Это — искренний, красноречивый роман, развешивающий многое», — замечает рецензент «Таймса» по поводу романа Василия Гроссмана «Народ бессмертен» и восклицает: «Какую же чистую безыскусственную любовь к родине показывает Гроссман!»

Восторженные отзывы о сюжете, о теме, о моральной фафосе наших произведений часто сопровождаются — в зарубежных рецензиях — критическими оговорками. Эти оговорки касаются художественных недостатков или стилистических особенностей. К примеру, рецензент литературного приложения к газете «Таймс», оценивая новеллы Соболева, указывает:

«Это — способный писатель, пишущий с большой живостью, с патриотической страстью и гордостью, которая — местами бессознательно — переходит в риторику. Его книга полезна, хотя и не поражает своими художественными достоинствами».

Такой же оговоркой сопровождается исключительно восторженный отзыв газеты «Ивнинг Стандарт» (1944 год) о книге Бориса Горбатова «Непокоренные» (в английском издании «Семья Тараса»).

«... писавший эту книгу был в какой-то мере отмечен печатью гения, и огонь гениальности нашел отражение на страницах книги, своим отблеском коснулся читателя, даже если самое изложение и не отличается художественным совершенством».

Встречаются рецензии, авторы которых не ограничиваются указаниями на отдельные недостатки формы, а резко противопоставляют волнующую тему произведения — его художествен-

ному несовершенству. С этой точки зрения очень характерен курьезный отзыв о премьере пьесы «Русские люди», напечатанный на страницах газеты «Сандей Таймс».

«Являются ли «Русские люди» путанной пьесой? Да. Скрверно построенной? Да. От начала до конца? Да. Является ли она поочередно то драмой случайностей, то психологическим этюдом о людях, испытывающих нечеловеческое напряжение, то исключительно материалом для кино? Да. Является ли эта история отряда партизан отражением военной бури, бушующей в России, образом бурной русской пьесы о войне? Безусловно, да.

Но эта пьеса волнует? Да. Вызывает ли она в зрителе чувство жалости и ужаса? Да. Есть ли в ней элемент поэзии и героизма? Да. Содержит ли сюжет пьесы благородную любовную историю? Хорошо ли построена пьеса для актеров? И является ли она плодом зрелого ума? Безусловно, да».

Мы сейчас не касаемся существа вопроса — оценки пьесы К. Симонова. Нас интересует другое — своеобразная «методология» рецензента, резко противопоставляющего форму пьесы — ее содержанию. Ограничиваясь сплошными восклицаниями, перемешивая хулу с комплиментами, он так и не объясняет, почему «путанная», «скверно построенная» пьеса в то же время его волнует, дает хороший материал для актеров и является свидетельством зрелого ума.

По существу такое же, хотя и менее резкое по форме, противопоставление правдивости и действительности произведения его художественным достоинствам мы встречаем в отзыве критика журнала «Таймс энд Тайд» о романе Василия Гроссмана «Народ бессмертен»:

«Материал В. Гроссмана имеет документальную ценность, но его характеристики не обработаны, и он явно не позволяет себе интересоваться ничем, кроме успешного исхода войны. Это, конечно, хороший способ вытравывать войны, но это — очень плохой способ писать романы».

Мы не собираемся оспаривать ту или иную литературно-вкусовую оценку зарубежного критика. О вкусах, как известно, не спорят. И наши литературные критики вовсе не единодушны в своих вкусах в оценке того или иного литературного произведения. В выступлениях нашей критики можно встретить и диаметрально противоположные отзывы о художественных достоинствах пьес К. Симонова и оживленные споры о творческих особенностях прозы В. Гроссмана, А. Соболева. И все же одно мы можем и должны сказать со всей категоричностью. Нам вполне по вкусу такие пьесы и такие романы, которые помогают народу вытравывать справедливые войны. И нам совсем не по вкусу такая «методология» литературно-художественной оценки, которая противопоставляет политическую направленность произведения его художественным достоинствам.

Такую «методологию» мы в своей среде рассматриваем как характерный признак вульгаризаторской критики. Мы считаем, что, чем важнее тема художественного произведения, тем

меньше можно оправдать или прощать несовершенство его формы. Недостатки формы, небрежность языка, вялость стиля, бледность образов в нашей среде подвергаются неустанно критике, критике иной раз более резкой и суровой, чем та, которую мы встречаем у зарубежных литературных обозревателей. В этом мы по мере своих сил следуем примеру великого родоначальника советской литературы М. Горького, который с такой любовной внимательностью выдвигал и пестовал молодые кадры нашей литературы и который именно поэтому подвергал отдельные проявления и стилистического неряшества, и языковой небрежности — принципиальной и беспощадной критике.

Но одно дело — подвергать критике форму произведения во имя его содержания, а другое дело — противопоставлять форму содержанию. Это — не в традициях прогрессивной критики. Более того, это может только укрепить те недоразумения и предубеждения, которые все еще бытуют у некоторых зарубежных литературных обозревателей, когда они от оценки отдельных фактов нашей литературной жизни переходят к более широкому обобщению.

У добросовестных зарубежных исследователей советской литературы эти обобщения справедливы и закономерны. Они единодушно отмечают огромное эмоциональное воздействие большинства наших произведений, их правдивость, их идейность, их политическую целеустремленность.

Они восхищаются тем обстоятельством, что наши произведения не только отражают действительность, но и воздействуют на нее, помогают ее изменять к лучшему. Они констатируют органическое единство советской литературы с народом.

В своей книге «Введение в русский роман» Янко Лаврин пишет: «Далеко от Карамзина до Достоевского и от Аксакова до Леонова, но каждый из них отражает некую фазу жизни народа. Сейчас в СССР нет существенных разногласий между писателем и средой, между литературой и жизнью!»

«Советская военная поэзия потому производит впечатление на английского читателя, что в ней сочетается подлинная народность и чувство собственного достоинства», — пишет английский исследователь русской литературы В. де-С. Пинто (журнал «Инглиш» — «Русская поэзия в английских переводах»).

«В Советском Союзе новые книги стихов распространяются в сотнях тысяч экземпляров в течение нескольких недель. Война не уменьшила, а усилила любовь народа к поэзии», — пишет Аллан Морей Вильямс в предисловии к антологии советской поэзии.

Вопрос о силе советской литературы — о ее эмоциональном и идейном воздействии на читателя — для них и бесспорен и ясен. Здесь их обобщения справедливы и закономерны. Вопрос о стиле произведений советской литературы для многих литературных обозревателей и рецензентов еще и спорен и неясен. Здесь вместо обобщений мы часто встречаем предубеждения.

«Любое недоразумение, которое может возникнуть между нами и нашими русскими коллегами, будет вытекать, главным образом, из того факта, что у них одно отношение к творчеству, а у нас совершенно иное к нашей литературной деятельности», — говорил известный английский писатель Д. Б. Пристли на одном из собраний в Лондоне.

К чему сводятся эти недоразумения? Эти критики не понимают того, что расцвет писательских индивидуальностей в Советском Союзе, плодотворное развитие стиля советской литературы обусловлены идейностью, народностью и политической целеустремленностью. Кое-кто исходит из нелепого предрассудка, что политическая целеустремленность тормозит творческое развитие художника, противостоит индивидуальным особенностям его стиля. В силу этого предубеждения, оценивая отдельные литературные факты, они искусственно противопоставляют форму содержанию и проявляют в отдельных случаях «избирательное внимание» к тем писателям, чье творчество будто бы может «подкрепить» это предубеждение. Жертвою такого «избирательного внимания» некоторых английских литературных критиков оказалось, в частности, творчество одного из крупных советских поэтов — Бориса Пастернака.

5

Лидер английской группы литераторов-индивидуалистов, редактор журнала «Трансформейшен» Шиманский в своей статье, напечатанной на страницах журнала «Лайф энд латтерс тудей» (февраль 1943 г.), призывая английских писателей к аполитичности, ссылается при этом на пример поэзии Бориса Пастернака.

Называя Пастернака одним из трех величайших поэтов советской эры (наряду с Маяковским и Есениным), Шиманский восторженно аттестует его, как «подлинного героя борьбы индивидуализма с коллективизмом, романтики с реализмом, духа с техникой, искусства с пропагандой».

Менее категоричен в своих оценках Пастернака профессор Джон Коген, который уже в 1944 году в журнале «Горизонт» в специальной статье, посвященной поэту, говорит о «лихорадочном чувстве» Пастернака, указывая, что Пастернака трудно сравнивать с его «великим современником» английским поэтом Эллиотом, поэтами Лорка, Альберти или Арагоном («которые шли вперед, обогащаясь все новым опытом и достигли зрелости»). Он хвалит Пастернака за его «независимость», за то, что он «оставался верен собственному опыту, куда бы этот опыт ни вел».

К сожалению, о творческом опыте Пастернака, о том, «куда он его привел», меньше всего говорят эти критики. Они оперируют только несколькими старыми стихами Пастернака, только слухами о нем. Бориса Пастернака трудно переводить. Переводы стихов Пастернака редко встречаются в зарубежных изданиях. Его твор-

чество — в особенности его последние стихи «На равнинах поездах», «Земной простор» совершенно неизвестны зарубежному читателю. Между тем именно оно послужило бы лучшим опровержением кривотолков и измышлений этих критиков.

Можно ли без конца — в течение двадцати пяти лет — абстрактно рассуждать об аполичности творчества Пастернака, цитируя все те же пресловутые строки, написанные поэтом в лето 1917 года:

«Какое, милые, у нас
Тысячелетие на дворе?»

— когда послеоктябрьские годы наложили столь явный отпечаток на творческом развитии поэта?

Конечно, в течение определенного периода политические события были для поэта только «движущимся ребусом». Разумеется, был в его творчестве этап, когда он не мог писать на «злобу дня», когда ему казалось, что эпос и лирика не могут сливаться с т. н. «агиткой».

«... как жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой», —

писал Пастернак в стихотворении, посвященном Валерию Брюсову. Но чем дальше, тем больше «злоба дня» входила в творчество Пастернака, заставляла его «смеяться и прустить», волноваться и восхищаться.

Уже поэма «Высокая болезнь» (1923 г.), где он дал замечательную зарисовку Ленина, выступающего на IX съезде советов, становится переломным моментом в творческом развитии поэта. А затем последовали поэмы «1905 год», «Лейтенант Шмидт». Как, наконец, не вспомнить стихотворение Пастернака, посвященное X годовщине Великой Октябрьской революции, в котором он писал:

«... Нас перевели
на четверть круга против зверя.
Мы — первая любовь земли».

Как не вспомнить о той полемической страстности, с которой в дни первой пятилетки поэт возражал тем, кто обличал его в аполитичности:

«Иль... я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?»

Сложными путями шло творческое развитие Пастернака. Наша критика не раз отмечала эту борьбу противоречий в творческом сознании поэта. Но главная, основная тенденция его развития шла в одном и только в одном направлении. Чем дальше, тем больше он оставал «стею» обвешенного рифмами всзнайки и, мечтая о «неслыханной простоте», черпал свое вдохновение в жизни нашего народа. Отдельные штрихи нового все более и более входили в его поэтическое сознание:

«Я молча узнавал России
Неповторимые черты,
Превозмогая обожанье,
Я наблюдал боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.
В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли, как господа».

Эти стихи были написаны в весенние месяцы 1941 года. Все пристальной вглядывался дыряк в простых советских людей — господ своей судьбы. И когда 22 июня 1941 года принесло этим людям страшную новость о нападении гитлеровцев, когда война принесла им не только ужасающие «неудобства», но и много горя и бедствий, — это о них, встретивших войну, как господа своей судьбы, как хозяева истории, писал Борис Пастернак в своих стихах военного периода.

«В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти перекат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад...

А потом, жуя краюху,
По истерзаным полям.
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флагелям,

Вы брались рукой умелой
Не для лести и хвалы,
А с холодным знаньем дела
За ружейные стволы».

Совсем иной язык — прозрачной ясности и простоты — появляется в стихах Пастернака, рассказывающих о том, как «рождались победитель» — о героях Москвы, Сталинграда, Ленинграда:

«Вы помните еще ту сухость в горле,
Когда, брящая голой силой зла,
Навстречу нам горлачили и перли
И осень шагом испытаний шла?»

Но правота была такой оградой,
Которой уступал любой доспех.
Все воплотила участь Ленинграда.
Стеной стоял он на глазах у всех».

(«Победитель»).

В таких же ясных стихах он воспел и Москву наших дней, как «первоисточник всего, чем будет двести столетие». Что же как не новое содержание определило эволюцию стиля Пастернака.

Какая разительная дистанция между стихами «Поверх барьеров», «Сестра моя жизнь» и сборником «Земной простор»! Она знаменует замечательный и поучительный путь в направлении к реализму, к ясности и простоте, путь, на котором Пастернак не только не растерял своих индивидуальных черт, но, напротив, укрепил их, став бесконечно самобытнее, освободившись от

веяний западноевропейского декаданства. Каким анахронизмом звучит сейчас заявление проф. Когена (журнал «Горизонт» 1944 г.), что у Запада, у Верлена, у Георге и немецких романтиков он заимствовал призрачный ландшафт, чуждый всем русским поэтам за исключением Тютчева.

«Прощальных слез не осуша,
И плакав вечер целый,
Уходит с Запада душа —
Ей нечего там делать», —

писал Пастернак еще во «Втором рождении». «Родным войду в родной язык», — уверенно говорил он в том же цикле стихов. И лучшие традиции русских пейзажистов родной лирической стихии отныне безраздельно господствуют в его стихах.

«Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана».

Когда же Шиманский пытается рассуждать о Пастернаке, как о «герое борьбы индивидуализма с коллективизмом, романтики с реализмом», основываясь на его стихах периода 1912—19 гг., то здесь жульническая «игра» на анахронизме не менее разительна, чем тогда, когда «Хождение по мукам» Алексея Толстого преподносится как «Путь на Голгофу».

В своем выступлении на международном антифашистском конгрессе в Париже в 1935 году Борис Пастернак произнес краткую речь:

«Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли...»

Высокопарно «подымая» значение поэзии Пастернака, Шиманский и Дж. Коген прежде всего должны были сделать самую малость — «нагнуться» и заметить ее органическую связь с советской землей, отметить индивидуальные черты его поэтического стиля, его большого творческого роста, обусловленного атмосферой социалистической эпохи. Если этого они не сделали, то только из предубеждения, из нарочитого стремления чем-то «подкрепить» свой явно порочный тезис об аполитичности искусства.

Разумеется, путь Пастернака индивидуален. Его путь к реализму, к большой, ясной, доступной широким читателям теме, был более замедленным и зигзагообразным, чем у других советских поэтов. Во имя дальнейшего расцвета творческой индивидуальности Пастернака советская критика не раз говорила о камерности его стихов, характеризуя их автора то как «гениального дачника», то как поэта «частной жизни». Но как далеки эти камерные черты в творчестве художника от той стандартной схемы «поэта в башне из слоновой кости», в какую решил его вписать зарубежный критик. Желая во что бы то ни стало противопоставить «индивидуалиста» Пастернака «не индивидуалистской» советской поэзии, Шиманский не увидел

подлинного Пастернака со всеми индивидуальными чертами его творчества и тем более не заметил советской поэзии, необычайно богатой разнообразными творческими индивидуальностями, к сожалению, не всегда известными за рубежом, даже понаслышке.

В октябре 1944 года Боура опубликовал в журнале «Горизонт» статью об антологии советской поэзии, выпущенной Гослитиздатом. «Эта антология, — пишет Боура, — действительно показывает, что представляет собой советская поэзия. Приходится удивляться тому, сколько хороших поэтических произведений появилось в России за последние 25 лет».

Чем шире и полнее будут распространяться за рубежом адекватные переводы лучших произведений советских поэтов (в том числе и переводы сборника Пастернака «Земной простор»), тем быстрее развеется не только миф об «аполитичности», «одинокости» Пастернака, но и будет подорван вреднейший предрассудок о том, что политическая целеустремленность мешает расцвету творческих индивидуальностей.

6

Творческая индивидуальность — вот что является чрезвычайно убедительным, когда речь идет о литературе, об искусстве. Интерес к советскому искусству во всем его объеме (а не только-одностороннее любопытство, вызываемое «удивительными вестями из России») начинается с интереса к творческим индивидуальностям, выдвинутым этим искусством. На примере Шолохова это можно подтвердить особенно наглядно. Когда вышел первый перевод «Поднятой целины», зарубежные издатели рекламировали ее как новую повесть о колхозном строе. Имя автора еще ничего не говорило. Могла заинтересовать только тема. Но вот стали появляться переводы «Тихого Дона», переиздания «Поднятой целины», и обаяние незаурядной творческой индивидуальности Шолохова стало сказываться. В настоящее время достаточно издателям объявить о выходе новой книги Шолохова, чтобы это само по себе стало для нее рекламой.

Когда в конце 1941 года был издан в Америке перевод заключительной части «Тихого Дона», ежемесячник «Харперс мэгэзин» опросил двадцать виднейших критиков о том, какую из книг, выпущенных в США за период июль—сентябрь, они считают наилучшей. Большинство критиков — 15 человек — ответило, что лучшей они считают книгу Шолохова. Критические статьи о творчестве Шолохова — а их все больше и больше появляется в Англии и Америке — не только высоко оценивают талант писателя, но и делают интересные обобщения.

Самуэль Силлен пишет о «Тихом Доне», что этот роман является «монументальным литературным трудом, чья красота, широта и сила изображения должны быть прославлены всюду, где любят хорошую литературу. Роман Шолохова — страстное превозношение художником той веры

в свободную и красивую жизнь, которая объединяла народы его страны в нерушимое единство социализма». Именно этот роман — по мнению критики — дает возможность представить характерные черты социалистического реализма. «Шолохов — хороший марксист, — пишет Сиален, — он изображает все без исключения характеры с одинаково превосходным проникновением как в их недостатки, так и в их силу. Ибо правдивое изображение жизни людей во всем ее многообразии и есть суть социалистического реализма».

Другой критик, Малькольм Каули, называя «Тихий Дон» величайшим из всех романов, написанных о русской революции, пишет, что у Шолохова есть «чувство народа, что довольно редко встречается в литературе какой-либо другой страны, кроме России».

Обобщения, касающиеся содержания романа, сливаются с восторженными отзывами о его стиле. В этих статьях нет и намека на противопоставление формы содержанию. Яркая творческая индивидуальность, воздействие которой испытали критики, прочитавшие все четыре тома эпопеи, «сняла» возможность такого противопоставления. Критик Милтон Хиндус, заканчивая свою статью о «Тихом Доне», напечатанную в 1941 году в газете «Нью-Йорк геральд трибюн», пишет: «Несмотря на свои 36 лет, Шолохов стоит в первом ряду европейских писателей нашего времени. Приятна обязанность рецензента сигнализировать о появлении в литературе нового классика». Некоторые критики доходили до того, что сравнивали «Тихий Дон» с «Войной и миром». «Было бы бесполезным спорить о превосходстве одного романа над другим, ибо мысли и чувства, отличающие их, имеют своими корнями совершенно различные эпохи. Если роман Толстого является вершиной прогрессивного искусства XIX века, то роман Шолохова показывает новые горизонты жизни, открывшиеся в современную нам эпоху».

Мы сейчас не касаемся вопроса, в какой мере точна такая оценка прозы Шолохова. Важно отметить основное: Шолохов вызывает к себе интерес, который распространяется тем самым и на всю советскую литературу. Характерно, что когда издательство «Путнем», выпускавшее книги Шолохова, объявило конкурс среди своих читателей на лучшую рецензию о «Тихом Доне», среди лучших рецензий были как раз те, которые говорили не только о советской действительности, изображаемой Шолоховым, но и о месте советской литературы в мировом искусстве. Показательно, что когда год тому назад в западноевропейских литературных кругах развернулась дискуссия о том, кто же будет автором новой «Войны и мира», посвященной эпохе мировой войны, один критик выступил на эту тему с серьезной статьей, в которой доказывал, что новая гениальная эпопея на эту тему будет создана советской литературой, и ссылался при этом на творчество Шолохова.

В своей статье-размышлении «Новая «Война и мир» видный американский литературовед Стенли Эдгар Хаймэн пишет:

«Самым сильным претендентом на новую «Войну и мир» является, повидному, Михаил Шолохов. Его «Тихий Дон» из всей современной литературы ближе всего к «Войне и миру», и теоретические предпосылки у него имеются в большей степени, чем у кого-либо другого».

Почему мы так подробно приводим зарубежные отклики на творчество Шолохова? Дело ведь не в одном этом писателе. Можно было бы привести аналогичные отзывы на книги Алексея Толстого и на некоторые произведения Ильи Эренбурга. Для нас — это прежде всего пример того, как заметно проявившая себя творческая индивидуальность советского писателя постепенно утверждает себя в глазах мирового читателя и тем самым содействует преодолению тех предрешений и недоразумений, которые связаны с еще не достаточным пониманием плодотворных тенденций развития советской литературы.

Отсюда хочется перейти к одному из выводов, который сам собой напрашивается, к выводу о роли и значении нашей критики в этом большом и серьезном разговоре, который ведет советский писатель каждым своим крупным произведением. Когда-то Белинский писал: «теперь вопрос о том, что скажут о великом произведении, не менее важен самого великого произведения». Огромные задачи стоят перед советской критикой. Задачи осмысления — на примерах советской литературы — того нового, что принесла социалистическая действительность. Задачи обобщения и тех процессов, которые происходят в искусстве народа-победителя.

Но так же, как художественное произведение только тогда звучит убедительно и убеждающе, когда оно показывает типические черты действительности через глубоко индивидуализированные образы, так и подлинно художественная критика только тогда сможет убедительно осмыслить нашу литературу, когда увидит и покажет ее типические процессы и характерные черты не «в общем и целом», а на живых литературных портретах тех писателей, «хороших и разных», которых — в таком количестве — выдвигает наша современность. Это тем более важно, что поможет рассеять вредный предрассудок о нашей литературе, как о чем-то «стандартизированном», который кое-где за рубежом поддерживается в результате недоброжелательства одних обозревателей и неосведомленности других.

Когда в этом плане рассматриваешь роль и задачу наших критиков, как роль тех, кто информирует о литературной жизни, о ее подробностях, как функцию тех, кто служит почетным посредником между литературой и читателем, приходится, к сожалению, констатировать, что и эту роль и эту задачу мы, критики, выполняем еще далеко не удовлетворительно. Мы много говорим о темах литературных произведений без конкретной связи с той формой, в которой эти темы выражены. Мы часто выпаиваем ту или иную «обойму» писательских имен, перечисляем сухие сводки писательского «поголовья» вместо того, чтобы дать представление о том за-

мечательном и интересном, что наметилось и намечается в советской литературе. И те формы, которые приобретает наша необходимая и интересная внутрилитературная полемика, к сожалению, зачастую дает представление только об одной стороне той или иной писательской индивидуальности, а не конкретный образ — сложного и противоречивого творческого развития художника.

В результате то или иное произведение писателя (независимо от того, является ли оно его творческой удачей или неудачей) выступает в критике как-то оторванно от общего литературного процесса. В итоге многое в нашей литературной действительности попросту остается незамеченным критикой. Когда в конце 1941 года в Лондоне вышла антология избранной советской прозы, туда была включена повесть Марка Волосова «Шесть крыс». Она вызвала разноречивые отклики в зарубежной критике. Но эта повесть (напечатанная в № 5 «Молодой гвардии» за 1939 год) у нас попросту прошла незамеченной. Мы слишком неясно представляем себе все наше литературное хозяйство. А знать его чрезвычайно необходимо, чтобы и наша полемика и наши обобщения имели тот серьезный характер, которого заслуживает советская литература.

Эти обобщения чрезвычайно нужны. Отсутствие их плодит недоразумения, касающиеся отдельных произведений, да и всей литературы в целом. Тогда обобщениями начинают заниматься зарубежные обозреватели, которые для них не имеют ни фактов, ни оснований. «Советские литературные критики еще не показали нам, в чем социалистический реализм представляет собою явление высшего порядка, чем реализм просто», — указывал журнал «Листенер» в своей довольно путанной статье о советском театре. Но вопросы нашего социалистического реализма требуют обобщения конкретных литературных фактов. Идет ли речь о прозе Шолохова или Василия Гроссмана, Леонида Соболева или Константа Федины, о художественной деятельности К. Симонова или И. Эренбурга, о твор-

честве Пастернака, Твардовского, — по всем этим вопросам нужен серьезный и обобщающий анализ, а не только разговор «от случая к случаю».

Ведь советская литература, утверждая себя во всем мире, ведет тем самым живую и конкретную полемику с реакционными и отсталыми проявлениями зарубежной мысли. Кому, как не литературному критику нужно принимать самое активное участие в этой полемике?

Ровно сто лет тому назад Виссарион Белинский работал над замечательными «Мыслями и заметками о русской литературе».

«В будущем мы, кроме победоносного русского меча, положим на весы европейской жизни еще и победоносную русскую мысль... ..необходимо, чтоб национальный поэт имел великое историческое значение не для одного только своего отечества, но чтобы его явление имело всемирно-историческое значение. Такие поэты могут являться только у народов, призванных играть в судьбах человечества всемирно-историческую роль, то-есть свою национальную жизнь иметь влияние на ход и развитие всего человечества».

Развивая свою мысль, Белинский продолжал: «Когда для России придет время производить поэтов всемирного значения, — этих поэтов будут называть их собственными именами, и каждое имя такого поэта, оставаясь собственным, будет в то же время и нарицательным, будет употребляться и во множественном числе, потому что будет т я п ч е с к и м».

Это время настало для советской литературы. Чем дальше, тем больше она будет выступать перед всем миром не только как литература большой темы, но и как литература больших писателей, самобытных художников, чье творчество несет в себе передовые чувства и мысли нашего народа. Это — самое убедительное в искусстве. С этим уже не могут не считаться зарубежные критики всех видов и оттенков. И в свете этой бесспорности недоразумения и предсудки будут бесповоротно исчезать.

БИБЛИОГРАФИЯ

ГОРДОЕ ДЕЛО*

Книга Эфенди Капиева «Поэт» повествует о народном поэте Дагестана Сулеймане Стальском. Уже нет в живых ни того, о ком написана книга, ни того, кто написал ее, но, говоря словами Сулеймана, «уходит герой, остается его слава».

Под повестью «Поэт» стоит дата — 1940 год. Большая эпоха отделяет эту дату от того времени, когда книга дошла до нашего читателя, — годы Отечественной войны. И если книга Капиева выдержала это испытание, эту проверку, если она за это время ничего не утратила и осталась такой же молодой, сильной, правдивой, как в тот день, когда была написана, значит, книга правильно раскрыла существенные, непреходящие особенности нашей действительности.

Сам автор, определяя назначение этой книги, говорит, что поставил перед собой дерзкую задачу: «не столько показать личность поэта, сколько постичь в нем душу своего крохотного горского народа, свою страну и время».

Прозвучение Капиева очень своеобразно: это работа художника, который почти незримо на страницах книги, — он как бы прячется в тени своего героя, поставленного в фокус внимания. Вся книга — ее точный, сильный, свежий язык, ее живописная обрисовка образов Дагестана подчинена благородному замыслу — раскрыть душу человека, поэта, гражданина великой Советской державы.

Главным героем повести является Сулейман Стальский — старый лезгинский колхозник, так и не изучивший грамоты до конца своих дней. Стараясь разгадать тайну величия этого старца, ставшего любимым поэтом миллионов, автор в то же время раскрывает и величие тех основ жизни народа, певцом которого является Сулейман.

Книга повествует об очень старом, болезненном человеке, но все, что он делает и говорит, полно бессмертной молодости, распространяющей вокруг себя целебную атмосферу нравственного здоровья, бодрости, чистоты и веселья.

* Эфенди Капиев. Поэт. Гослитиздат, Москва. 1945.

Это происходит потому, что поэт всеми корнями связан с жизнью народа и является непосредственным выразителем его духа. В повседневной жизни лезгинского аула Ашага-Сталь Сулейман участвует своим трудом поэта. Певец этого аула — он приходит и на колхозное поле, и на проводы юношей, призванных в армию; он заботится об урожае и о том, чтобы колхоз был первым в социалистическом соревновании, и о многом другом, что связано с его аулом, с жизнью горцев — его сородичей, первых слушателей его песен, которые он порою слагает тут же, у них на глазах.

Казалось бы, Сулейман настолько растворен в жизни своего аула, настолько поглощен его интересами и заботами, что поэзия Сулеймана могла бы замкнуться в пределах родного аула. Но этого не произошло. Наоборот — чем полнее и глубже выражалась жизнь лезгинского аула в стихах Сулеймана, тем вернее они находили путь к сердцам миллионов советских людей.

Как это случилось? В чем тайна великой славы Сулеймана?

Эфенди Капиев так отвечает на этот вопрос в своем вступлении к книге: Сулейман — это капля в жизни народа, — «но ведь достаточно и капли, чтобы ощутить по ней соленый привкус моря». Это правильно. И сам Сулейман так понимал причину своей популярности. Он говорит с присущей ему образной выразительностью:

«Интересно, почему мои старые жернова вертятся так весело? Почему в моем саду все еще поют соловьи и я далек от того, чтобы срывать с деревьев незрелые плоды? Почему костер моей славы сегодня разгорается все ярче и не исжигает жар в моем старом сердце? А потому, Габиб, что большая любовь и большая ненависть не стареют... Есть пословица: «хозяйин многого неутомим». Я поэт не лезгинский и не дагестанский: я советский поэт, хотя и пою только на своем языке, потому что я пою о Красной Армии, а Красная Армия и в Москве и в Самарканде — одна, и в горах и на равнине — единая. Я пою о комсомоле: комсомол и лезгинский, и дажский — все тот же. Я пою о Сталине. Сталин одинаково дорог и русскому,

и лезгинку, и узбеку, и ногайцу. А родина у нас одна. Вот и получается, что я общий поэт, а не только лезгинский».

Так просто и глубоко Сулейман объясняет причину необычайного явления, озарившего его жизнь фантастическим отблеском легенды: скромный горский старик, всю жизнь проживший в бедности и только при советской власти ставший полноправным гражданином, превратился в знаменитого народного поэта, чьи творения вошли неотъемлемой частью в духовную жизнь великого советского народа.

«Дело поэта — гордое дело», — говорит Сулейман, и сознание этого порождает в нем святое беспокойство, не дающее ему мирно наслаждаться своей славой. И даже недуги возраста не укроют в нем страсти поэта — слишком велико в нем сознание ответственности за все, что происходит вокруг, слишком прочно ощущение своей связи с миром:

«Каждый день радио говорит мне в ухо о разных делах, творящихся во всем мире и касающихся меня!.. В мире тревожно, юноша. Война, что ли, новая близится? Надо всем быть на ногах. Я часто слышал, как среди многих имен называют и мое имя, повторяют и мои слова. Как могу я, подумайте, лежать в постели? Или я уже перестал быть поэтом?..»

Так возникает в этой книге образ подлинно народного поэта, который своим гордым делом участвует в творчестве всего народа, стремится повседневным трудом оправдать свое почетное звание. Для него оно — не право на отдых и награду, а неустанная потребность и обязанность творить; это — жажда участвовать в преобразовании основ жизни на новых, социалистических началах, по-хозяйски распорядиться ее благами, — так, чтобы их стало как можно больше и чтобы они стали достоянием всего народа.

В книге Капиева мы видим попытку проследить обычно скрытый от людского глаза сложный, тайный процесс претворения впечатлений бытия во вдохновение, в творчество, в высокое создание поэзии, в песню, «зачатую от дуновения ветра», — как на своем образном языке говорит Сулейман.

Капиев показывает основы, на которых снова и снова возрождается поэзия Сулеймана. Эти основы — в повседневной связи с действительностью, в постоянном воздействии на нее. Творчество песни становится для Сулеймана и творчеством самой жизни.

Все впечатления бытия являются для Сулеймана источником вдохновения, — и мирный труд соревнующихся колхозников, и дети в поле с учительницей, и буivolенок, выравнившийся на свободу, и лето, сулящее обильный урожай, и скала, с которой сбегает ясный, чистый ручей. Все это Сулейман переводит на язык образов, сливающихся в песню, и эта песня становится неотъемлемой частью жизни!

Поэзия Сулеймана рождается, как прямое вмешательство в жизнь, стремление утвердить в ней присущие народу представления о справедливости, о нравственности, исконную мечту о счастье. Много лет тому назад его поэзия роди-

лась, как горячий отклик на боль и ужасения, которые испытывал он — поденщик, батрак, немалодушный, обездоленный человек. Много пришлось ему вытерпеть от богатеев, против которых обращалось гневное жало его поэзии, но это не могло усмирить Сулеймана, ибо, как говорит он, «поэт, если только он не мертв, молчать не может».

О собственной судьбе Сулейман рассказывает, почти как о сказке, — столько в ней необычайного, такого, что в прежние годы не могло стать действительностью. Показывая собеседнику свое изображение в газете, Сулейман говорит:

«— У этого старика было три сына. Потом он поймал индостанскую золотую рыбку.

— Разве он был рыбаком?..

— Был, — говорит Сулейман, — он в море нужды всю жизнь ловил кусок хлеба. Закинет невод, а там морская трава, закинет еще — камни.

— Так ему не везло?

— Тцц! — цокает Сулейман языком и, покачивая головой, утирает слезу, — не везло, стало быть!»

И рядом мы читаем слова, раскрывающие горечь его прежней жизни, исполненной нужды и лишений: «одежду, которую я носил, и осёл не стал бы носить...»

Так бы и прожил всю свою жизнь Сулейман — рыбаком, ловящим в море нужды кусок хлеба, но вот случилось нечто, превратившее его, так же как и миллионы других обездоленных людей, из поденщика и бедняка в полновластного хозяина своей судьбы. Вот почему песня Сулеймана превращается в гимн нашей действительности. Сулейман призывает беречь свое государство, ценить все его блага; он воспеваеет людей, стоящих на страже границ нашей родины, и обращается к ним с такими стихами:

Стерегите ж зорко-зорко! Вам доверив
жизни,
Строит счастье люд свободный на родной
отчизне.
Вижу ль дом заложен новый — вам, герои,
слава!
Слышу ль гул пчелы медовой — вам, герои,
слава!
Вспомню ль прошлого печали — вам, герои,
слава!
Гляну ль в будущего дали — вам, герои,
слава!
Так держите ж, не роняйте славы вашей
знамя,
Пусть не меркнет в нашем доме милой
жизни пламя.

Певцом этой «милой жизни» во всех ее проявлениях, даже самых обыденных, и являеся Сулейман. Для него не было событий будничных, неинтересных — все становилось значительным и ярким, преломившись в его поэтическом восприятии.

Сам Сулейман необычайно скромен, он чужд каких бы то ни было притязаний на внешне выказанный почет к своей персоне. Став послав-

ленным поэтом, он живет в том же самом ауле, в котором родился, ничто не изменилось в его скромном быту, — но как велико у него чувство достоинства человека, делающего гордое дело, достоинство гражданина советской державы! Особенно ярко это показано в сцене встречи Сулеймана с иностранцем в поезде, мчимемся в Москву.

Иностранец-турист, вошедший на одной станции, вообразил, что он может пренебрежительно третиловать старика-горца, неизвестно почему оказавшегося в международном вагоне и чувствующего себя по-домашнему: в бешмете с расстегнутым воротом, в пестрых носках, Сулейман сидел, подобрав под себя ноги и покуривая трубку. Когда чужеземец обращается к нему с претензиями, исполненный сознанием своего превосходства, Сулейман отвечает через переводчика:

«Передай ему... Передай, во-первых, что я колхозник. Понял? Бедный человек, — добавил он притворно жалостливо.— Во-вторых, ты скажешь ему, что я старик. В-третьих, ты скажешь ему, что я, как-никак, народный поэт! Мол, маленький или большой, но в своем ауле. А в-четвертых... — сказал Сулейман, неожиданно повсив голос, — в-четвертых, ты скажи этому

человеку из иного государства, что здесь не его государство, а мое!»

В образе Сулеймана, запечатленном в книге Капишева, сочетаются почти детская непосредственность и живость восприятия с мудростью старца, обладающего опытом народа. В стихах Сулеймана сочетаются и литературные традиции восточной поэзии, выработанные столетиями и небывало новое содержание, образ Сулеймана удивительно своеобразный, глубоко индивидуальный, является в то же время непосредственным выражением нашей советской действительности.

Каким должен быть писатель в нашей стране, в чем его назначение, какова его роль в жизни народа? Ответ, который дает на эти вопросы Эфенди Капиев своей книгой о Сулеймане, является ответом зрелого художника-новатора.

Но в образе Сулеймана мы видим не только поэта. Мы видим человека, для которого труд во благо своих сограждан, является потребностью и который внутренне тем богаче, чем щедрее он отдает народу плоды своего труда.

Именно поэтому высоко оценит наш читатель книгу «Поэт», повествующую о певце из далекого лезгинского аула Ашага-Сталь, — о том, кого Максим Горький назвал Гомером XX века.

Борис Соловьев

СВЕРШЕНИЯ И НЕУДАЧИ *

Большая часть сборника Б. Вадецкого «Шторм» отведена повести «В морях твоя дорога», представляющей собой по жанру «романизованную биографию» адмирала Федора Матюшкина, лицейского товарища и преданного друга Пушкина. Это ему посвящена строфа в стихотворении «19 октября 1825 года»:

Счастливым путь! С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шүтя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя.

Имя Федора Матюшкина неизменно присутствует в каждом труде, научном или художественном, относящемся к лицейской поре биографии Пушкина, но всегда на дальнем плане: как бы любил поэт скромного и милого Матюшкина, тот не оказал сколько-нибудь ощутимого влияния на формирование личности поэта, хотя на всех путях его собственной долгой жизни образ Пушкина сопровождал его неотступно и питал самые высокие стремления его души.

В общем представлении личность Федора Матюшкина как бы растворялась в ослепительных лучах пушкинской славы, он был не более как «деталью» биографии великого поэта, и это почти полностью определяло его место в истории русской культуры. Но это далеко не справедливо: Федор Матюшкин был не только «темным» спутником солнца русской поэзии, но светился и

собственным светом. Его имя, жизнь и обаятельный его образ неразрывно связаны с бессмертной историей русской военно-морской славы, а также с научным исследованием русского Севера.

Повесть Б. Вадецкого — первая художественная (а строго говоря, и вообще первая) попытка воссоздать «крупным планом» жизнь и дела адмирала Федора Матюшкина, его живой облик, движущие силы его личности. Эту попытку следует приветствовать: она в плане той прокладной работы по пересмотру русского культурного наследия, которая с каждым годом открывает в прошлом все новые и новые залежи нетронутых богатств русского народного духа, и тем самым ставит на конкретную историческую почву вопрос об исключительной роли русского народа в истории и становлении мировой культуры. Адмирал Федор Матюшкин — младший брат и современник великих русских флотоводцев Лазарева, Корнилова, Нахимова, он должен быть поставлен в один ряд с замечательными моряками Головинным, Врангелем, Рикордом, чьи славы деяния, кстати сказать, до сего времени пребывают еще во мраке забвения.

Повесть Б. Вадецкого резко интонирована, ее основной, явственно звучащий музыкальный тон — грусть, минор. В этом чувствуется не столько веление материала, сколько воля автора. Но в этом и наибольшая полемика уязвимость повести. Мне не кажется убедительной историко-психологическая предпосылка автора:

* Б. Вадецкий. Шторм. Морские рассказы. «Советский писатель». М., 1945.

разрыв между стремлениями его героя и косностью исторической среды, между идеалами лицейской юности и жестокой действительностью николаевской эпохи. Конечно, гнет подобного противоречия испытывали на себе все лучшие люди эпохи, оно определяло немало трагических судеб, до некоторой степени приглушило жизненную активность многих замечательных деятелей. И все же мне представляется художественно ошибочным — хотя и типичным для ряда наших историко-биографических повестей и романов — эта минорная интерпретация прошлого, низводящая сильных, деятельных, волевых людей, прошедших глубокую борозду на ниве родной истории, до роли вечно вздыхающих печальников, угнетенных «безвременьем».

Тут всё решает чувство художественной меры: нельзя же огулом дореволюционное прошлое русского народа трактовать, как сплошное «безвременье», в котором люди больше «грустят», чем живут и творили жизнь! Откуда бы тогда взялась великой русской культуре, великим народным деяниям, целому сонму могучих характеров и умов, какому может позавидовать любой народ на земле? Богатство и мощь русского народного духа столь велики, что их не могло угасить никакое «безвременье»: сила создания всегда брала верх над силами гнета и разрушения. Тем более близоручко механически переносить общую характеристику той или иной эпохи в план отдельной, индивидуальной судьбы. Можно ли, к примеру, представить себе более разительное противоречие между личностью и средой, чем то, какое пришлось на долю гениального Ломоносова, одного из величайших людей человечества? Но это не помешало ему свершить деяния столь необычайные, что в своей совокупности они поистине граничат с чудом. И общий «тон» его личности представляется нам отнюдь не «грустным» и не ущемленным: мощная, полная жизни, богатырская натура, борец, ругатель, непримиримый враг косности, скудоумия, вельможной глупости...

В изображении Федора Матюшкина автор, увлекательной своей ложной предположкой, явно погрешил против художественной меры. Он привнес в образ своего героя слишком много печали и раздвинутой неудовлетворенности; Матюшкин проходит через всю повесть как бы в понурой позе, как бы нехотя, жизнь его освещена неким сумеречным светом, овевая обреченностью, затнувшейся на целых семьдесят три года. Но с автором полемизирует самый материал повести. Путь Федора Матюшкина — от мичмана до адмирала — идет в русле русского флота и его военно-морской славы. Ученик и почитатель Лазарева и Головинина, Федор Матюшкин всю свою долгую жизнь следовал их заветам и отдавал флоту каждый день и каждый час свой, ни разу и ни на шаг не отойдя в сторону от того дела, мечта о котором с неодолимой силой овладела им еще в лицейском отрочестве.

И художественная вина автора в том, что минорный «музыкальный» тон его повести, резко диссонирова с ее содержанием, лишает жизнен-

ный труд Федора Матюшкина должной выразительности. Матюшкин — дворянин небольшого достатка и невысокой родовитости, и путь от мичмана до адмирала не был накатан для него высокими покровителями: он в значительной степени прошел его сам, усилиями собственного разума и воли. В повести эти усилия опущены, разве что только названы. Это обеднило образ, лишило его той деловой, профессиональной окраски, без которой Матюшкин представляется читателю скорее «морским мечтателем», чем мичманом, капитаном, адмиралом. Отсутствие деловитости и чрезмерное обилие «грустной поэзии» является основным художественным промахом этой повести, посвященной как никак одному из создателей русского военно-морского флота и видному исследователю Севера. Неужто автор не ощутил высокой поэзии жизненного дела моряка Федора Матюшкина?

В повести приведена одна цитата из дневника Федора Матюшкина, который он вел в молодости, в пору своего пребывания на Севере. Эта цитата имеет прямое отношение к затронутому нами вопросу. По своему стилю она резко контрастирует со стилем автора повести. Если автор пишет акварелью — Матюшкин пишет маслом; если автор предпочитает полутоны — Матюшкин говорит во весь голос; если автор боится грубой точности и как бы задерживает реальность романтическим флером — Матюшкин приводит цифры, дает резко очерченные фигуры, четкие бытовые штрихи, проявляет удивительное чутье реальности, редкую для его лет наблюдательность, свежесть, бодрость и энергию разума и чувства. Это подлинно деловой дневник — и сколько же в нем прекрасной, глубокой поэзии!

Эта цитата красноречиво свидетельствует, что Матюшкин принадлежал к тем натурам, которые не выводят поэзию за скобки жизни, которым чужда раздвоенность чувств и дела, которые находят поэтическое удовлетворение в созидательном труде на пользу общую, отдавая ему все силы своей души. Такими цельными, деятельными натурами были и его старшие братья по флоту — Лазарев, Корнилов, Нахимов. Вот таким и следовало автору показать Федора Матюшкина, и нет сомнения, что поэтическое, художественное достоинство повести от этого в высокой степени выиграло бы. С автором приключилась странная вещь: поставив перед собой цель «вывести» Матюшкина из-под лучей пушкинской славы, обнаружить его собственный свет, он не смог отделиться от примитивной схемы пушкинской судьбы и перенес ее на своего героя. И вот моряк Матюшкин становится в повести жертвой «безвременья», его душа раскалывается надвое, поэзия моря отделяется от «прозы» морской службы, в груди Федора Матюшкина поселяются две души — лицейская и адмиральская...

Апогей жизни Федора Матюшкина — организация им защиты Свеаборта от английского флота. Но в повести это отнюдь не самое выразительное место и, уж во всяком случае, не самое «поэтическое». Этот подвиг, потребовавший

от него промáдного напряжения сил, Матюшкин совершает как бы похода, словно выполняя лишь свой адмиральский долг. Ибо не в этом усматривает автор главную ценность его личности, а в постоянном ощущении разрыва между идеалом и эпохой. Так, в угоду предвзятой концепции, доведенной до крайнего предела, деформируется образ одного из замечательных русских флотоводцев.

Конечно, это весьма серьезный недостаток повести Б. Вадецкого, но было бы несправедливо отрицать за ней ч серьезное достоинство. Всё вышесказанное относится к общему тону повести, к основной ее установке. Но и сквозь флёр условной поэзии, чуждой данному материалу, читатель не может не увидеть тех координат действительности, в которой жил и творил русский флотоводец Федор Матюшкин, впервые вызванный автором из несправедливого забвения. Нередко здоровое чувство художника побуждает автора прорвать сотканный им поэтический туман — и тогда историческая реальность предстает читателю во всей ее трехмерности. Таков, в частности, прекрасный эпизод, где читатель знакомится с адмиралом Лазаревым и его способами воспитания моряков. Таковы главы, относящиеся к адмиралу Головинну, к путешествию Матюшкина на Камчатку, и ряд других. Когда художественная манера автора совпадает с требованиями материала — это относится, главным образом, к юности Матюшкина, — он создает отличные сцены и образы; подлинной поэзии исполнена встреча Матюшкина с Людмилой Рикорд в пору камчатской экспедиции; да и вообще образ Людмилы Рикорд — большая удача автора.

Надо думать, что если бы автор исходил в своей работе от подлинной личности Федора Матюшкина, а не от своей предвзятой мысли, — тех незаурядных изобразительных средств, которые проявились в указанных эпизодах, вполне хватало бы для решения поставленной им от-

ветственной и трудной задачи: показать сквозь жизненную судьбу Матюшкина одну из существенных глав истории русской военно-морской славы.

Помимо повести в сборнике имеются семь военно-морских рассказов из эпохи Великой Отечественной войны. Лучший из них — «Сестра волка». Содержание его несложно. Когда подводная лодка по сигналу тревоги погружалась в глубину, боцман Каложный, любимец команды, не успел соскользнуть с палубы в трюм. Его смыло волной, он гибнет, и осиротевшая команда в горькой печали возвращается к месту своей стоянки. Об этом коротко рассказано на первой странице. А дальше автор повествует о том, как претворилась гибель Каложного в сознании и поступках его товарищей по подлодке. Без натяжки, без нарочитой «литературной теплоты» сумел автор раскрыть глубину советского морского братства. В этом рассказе многое удалось автору. И командир Гришулин, и его жена, и водолаз Пронин, и новый боцман Жигитрев, и командир тральщика Гирияк, и вдова Каложного, к которой команда с добрым словом и помощью направила водолаза Пронина.

Хорош рассказ «Эстафета». На смену двум поочередно погибшим санитаркам в отряд морской пехоты является третья. Моряки ждали обратно свою Таню, к которой привязались сердцем, а на ее место явилась... Аня. Что делать, придется Ане заменить Таню. И эти три образа сливаются для читателя в один: в образ героической русской девушки...

Остальные рассказы сборника — за исключением разве «Семьи Госвиани» — распылчатые и оставляют смутное впечатление.

Общее суждение о сборнике Б. Вадецкого хотелось бы заключить пожеланием автору быть на высоте тех значительных удач, которых в его книге немало.

Я. Рыкачев

+

НОВАЯ ПОЭМА АРКАДИЯ КУЛЕШОВА *

В годы Великой Отечественной войны Аркадий Кулешов создал свои самые крупные произведения, принесшие ему широкое признание.

В его превосходных стихах выразилась сила народного гнева против врага, нежность и задушевность сыновнего чувства к родной Белоруссии.

Главная тема поэтической работы Кулешова в дни войны — тема животворящего советского патриотизма. Любимый его герой — человек, самоотверженно и бесстрашно идущий навстречу любой опасности во имя родины. Это — советский человек, воспитанный социалистическим

строем, защищающий в битве с врагом высокие гуманистические идеалы.

В поэзии Кулешова преобладает мягкая лирическая интонация, но излюбленной формой, в которой он выразил с наибольшей силой свои поэтические замыслы, стала поэма — жанр эпической поэзии.

Поэмы Кулешова строятся на сложной фабульной основе и почти всегда дают широкую картину событий, связанных с мирной и военной жизнью народа. Это подтверждают два его крупные произведения — «Знамя бригады» и «Цимбалы».

Законченная в конце 1944 и напечатанная в 1945 г. поэма «Цимбалы» с полным основанием может быть признана произведением народным и поэтическим.

Жизнь и фантазия, действительность и леген-

* Аркадий Кулешов. Цимбалы. Журнал «Октябрь» № 4, 1945 г.

да слились в поэме в одно целое. Трудно сказать, какие из названных элементов нашли здесь более яркое выражение — каждый из них строго подчинен единому замыслу, помогает раскрытию многообразных мотивов.

Действие поэмы развивается в рамках своеобразного сюжета, заключающего в себе приключенческие, сказочные и реалистические мотивы. Однако основной колорит поэмы создается развитием собственно реалистических мотивов и образов.

Вступление знакомит нас с «историей создания» цимбалов. На первый взгляд речь идет о самой простой елке, которая росла «в лесу под небом синим», затем была срублена, распилена на доски, впоследствии превращенные руками мастера в музыкальный инструмент, именуемый цимбалами.

В мирное время без цимбал не обходились ни веселые крестины, ни крестьянские пирушки. «Говорят — на декаду в Москву те цимбалы возили, говорят, будто Сталин сказал, что им нету цены. Так они кочевали, играли до самой войны».

Началась война. Цимбалист, ушедший из родных мест, вручил свои цимбалы Васильку. В деревню пришли немецкие солдаты «все с рогами на касках, а на ружьях штыки».

С этого момента цимбалы претерпевают одно за другим приключения, которые, однако, не выступают на передний план, как главный предмет повествования. Их роль — подсобная, служебная. Они не загораживают главного в поэме — рассказа о борьбе народной. Сюжет поэмы разматывается, как клубок, нить которого скрепляет в единое целое сложный эпический замысел, который без крепкого сюжета неизменно распался бы на отдельные куски.

Аркадий Кулешов возвращает жанру поэмы ее действительную первоначальную основу — сюжетность, событийность, которые характерны для «Думы про Оганаса» Эдуарда Багрицкого, «Страны Муравин» А. Твардовского и других лучших произведений советской литературы этого жанра.

«Цимбалы» — поэма о воюющем народе, о стойких мужественных людях, не покорившихся врагу.

Партизаны во главе с дядькой Кузьмой, скрываясь в лесу, руководят борьбой народа. Кузьма — конспиратор. Дороги к нему закрыты для немцев, но открыты для непокоренных, борющихся людей. Он существует незримо. К нему стекаются все новые и новые люди. В этом почти условном, но очень важном для идейного смысла поэмы образе, концентрируются все силы сопротивления советского подполья.

На переднем плане поэмы — Василек и его цимбалы. И романтический характер поэмы обусловлен переплетением детской непосредственности восприятия Василька с трезвыми взглядами, формирующимися в огне и буре военных событий.

Василек дал себя уверить, будто мама его уснула, тогда как на самом деле она умерла. По-детски он поверил лживой Лизавете, будто

цимбалы отданы соседу, а когда почуял обман, то пригрозил ей дядькой Кузьмой, оторвав тем самым перед пособником врага свою связь с партизанами.

Раскрывая «детское» восприятие мира, автор легко переходит к аллегорическому, сказочному мотиву.

Глянул хлопчик — вдали
Поднялись косари,
На заклятых врагов
Шли с полей и лугов.
Брат по струнам певучим
Ударил, тряхнул головой, —
Тыщи кос. — аж до тучи —
Взметнулись над землей.

Рать поднявшихся косарей — аллегорический образ матери-родины, которая хочет спасти своих детей.

Это мать из дубравы родная
Выходит детей вызволять.
Для великого дела готова,
Во весь поднимается рост.
И в руках ее тысячи кованых
Остро наточенных кос.

Из арсенала волшебной сказки Кулешов заимствует прием, одухотворяющий цимбалы. И цимбалист, за сотни верст находящийся от цимбалов, «жарким сердцем до струн достает» и таким нереальным способом играет на них.

Василек в полном основании может быть назван маленьким героем. Отечественной войны. Оставшись без родителей, он проходит через тяжкие испытания немецкой оккупации и после изгнания немцев возвращается к свободной жизни на родной земле.

Василек обнаруживает честность, смелость, любовь и преданность своему народу и по-своему участвует в борьбе против врагов родины. С помощью цимбалов он, путешествуя от села к селу, собирает непокорных немцам людей в отыскивает вместе с ними дорогу к партизанам. Немало геройских поступков совершает маленький советский патриот. Самоотверженна его борьба за спасение цимбалов, доверенных ему знаменитым цимбалистом: Цимбалы, как вечовой колокол, извещают народ о близкой беде, вдохновляют его на борьбу с заклятым врагом, радостно возвещают начало великой победы. Только чистому сердцем сыну народа могла быть доверена такая бесценная вещь, как цимбалы. И это доверие Василек оправдал.

При всех достоинствах, образ Василька не свободен от недостатков. Мы не найдем в поэме изображения его индивидуальных особенностей.

В поэме повествование преобладает над непосредственным изображением, дающим живое представление. Между тем, поэма, как жанр эпической поэзии, требует большей конкретности, пластичности образов, чем это дано в «Цимбалах».

Что представляют собой цимбалы в общем замысле автора? Цимбалы — образ многогранный. Это и песня, и музыка, и душа, и сознание народа, не покорившегося врагу. Цимбалы — символ непобедимости и бесстрашия народа.

От деда к внуку, от внука-цимбалиста к Васильку переходят они, как заветное кольцо, и несут родному народу песни счастья и радости.

Чтобы судить о том, что будет представлять в будущем Василек, надо взглянуть на другого героя поэмы — цимбалиста. Мы не знаем имени этого человека. В поэме он упоминается, как цимбалист. Биография его нам почти неизвестна. Мы знаем только, что он — внук того самого деда, который умел делать цимбалы. До войны он играл в селах, «в ладу и согласии» с цимбалами жил, выступал в Москве как участник декады белорусского искусства. Осенью, в год войны, цимбалист «пропал». «Шел к востоку он лесом, дубравой глухой, не от хаты — от песен ключи уносил он с собой». Тот, кто владеет ключами от цимбалов, владеет ключами от счастья и доли. В народе жива вера в то, что талант — это счастье, что цимбалист — счастливый обладатель таланта.

Цимбалист наделен большой и чуткой душой. К детям, ставшим сиротами, он относится как к детям родным, ибо самое дорогое для цимбалиста его родина. До боли в сердце «родной ему жаль стороны».

И не в силах от этой дубравы
Он сердца отнять своею,
Каждой ветке готов он
На память оставить его.
Но пришельцам позволить
Не может он сердце топтать,
Вместе с сердцем на волю
Всю родину хочет он взять.

Покидая родные места, цимбалист уносит в своей душе самое дорогое — образ горячо любимой родины. С ним он никогда не растается.

И вместил в своем сердце
Он все, от земли до небес,
В нем, укрывши от смерти,
Унес он и реки и лес.
Пока кровь не остынет, —
Родная его сторона
Будет жить, не загинет...

Сменив цимбалы на винтовку, цимбалист вместе с Красной Армией ведет героическую борьбу за освобождение своей родины от врагов. Певец всегда вместе со своим народом. И если народ ушел на войну, значит, место певца — в стане воинов. Как воин, цимбалист стяжал себе немеркнущую славу героя. На его отважной груди засияла золотая звезда.

Сквозь всю поэму Кулешова проходит образ матери, светлый и обаятельный. В одном случае это мать Василька, в другом — незнакомка, беззаветно отдающая свою жизнь за чужих детей, в третьем — это мать-родина, сзывающая своих детей на священную битву с проклятым врагом. Во всех случаях поэт дарит этому образу самые задушевные чувства, самые нежные и привлекательные краски.

На грозные звуки цимбалов, возвещающих об угрозе врага, мужественно и смело «мать из дубравы выходит детей вырчать».

Когда детям угрожает смертельная пытка, мать-спасительница появляется в образе незнакомки. Когда Красная Армия, нанося смертельные удары врагу, стремительно двигалась в сторону Германии, казалось, «то не мать ли родная на запад пошла?»

Василек и сестренка, потерявшие свою мать в первые дни войны, отнюдь не кажутся сиротами. Везде и во всем им помогает народ. В этой чуткой, любовной заботе и помощи детям чудится материнская ласка: им кажется, что их мать с ними.

Поэма утверждает: тот, кто любит родину, никогда не чувствует себя сиротой. Ярким патристическим образом в поэме противопоставлена Лизавета, которой чуждо и непонятно чувство любви к родине. Вся в мелких корыстных расчетах, в сделках и комбинациях, она торгует вещами, награбленными у людей, свобода которых отнята немцами.

Главная забота этой мелкой, ничтожной личности состоит в том, чтобы выслужиться перед немцами. Для Лизаветы нет ничего святого. У нее нет родины. Продавшись немцам, Лизавета перестала быть человеком.

В поэме Кулешова выражено подлинно народное мировоззрение. Именно это придает ей глубоко национальный характер в самом лучшем значении этого слова. И цимбалы, этот народный инструмент, в своеобразно развивающемся сюжете поэмы, выступают как голос Белоруссии, выражающий непокорность врагу, гнев и мсть народную.

Кулешов, как поэт, идет своим особым путем, у него есть свой особый поэтический голос, свое видение мира.

Кулешов любит звучный, напевный стих, увенчанный полной музыкальной рифмой. Однострочное строфическое деление поэмы автор считает не обязательным. Четырехстишие иногда сменяется у него двух- и трехстишием. Иные строфы заключают в себе стихи размерные, разноstopные, приближающиеся к вольному стиху.

Сила поэмы Кулешова заключается в свежести поэтических образов, в благородстве и красоте изображенных им человеческих идеалов, за которые с таким героическим упорством сражался весь советский народ.

Вновь кочуют открыто
Цимбалы в просторах родных,
И не слышно, не видно
Конца похождения их.
... Всюду их по-родному
Встречают людские сердца,
И пути их большим
Не видно конца.

Так заканчивается эта поэма, отлично переведенная с белорусского Михаилом Исаковским.

И. Астахов

У „ЛУКОМОРЬЯ“ Л. МАРТЫНОВА *

Книжка стихов Л. Мартынова обещает читателю очень много. Тема «Лукоморья» в наши дни, надо думать, прозвучит сказкой о новой, чудесной яви. Совершим же вместе с поэтом путешествие в его заманчивую страну.

По улицам неназванного города блуждает человек — пришелец, прохожий, «непохожий» на постоянных обитателей этих мест. Он рвется из города на поиски прекрасного, красивыми словами зовет следовать за собой. Но людям непонятен его язык.

— Лукоморье! А? — Что? — Мукомолье?
— Какое еще Мухоморье? —

переспрашивают они его. Пришелец играет на флейте, но при первых звуках его песен горожане опасливо захлопывают двери: гость чужой, песни и сказки его непонятны.

Нежданный и нежеланный гость!.. Против него восстает вся налаженная установившаяся жизнь. Песни не могут пробудить в горожанах высоких порывов, — жалуется поэт.

Что же это за город, в котором мечется одинокий человек, певец, не нашедший слушателей своей волшебной флейты? Наш ли это, русский, советский город, и наше ли время, и наши ли люди? Поэт не говорит: нет. Значит — да. Значит, это в родном городе он так оскорбительно одинок.

И поэт уходит «за город». Вдали от людей он дышит полной грудью. Он с-глазу-на-глаз с рассветом, с землей, с тишиной. Ему сопутствует «медвяный запах подлня» и «пахнет перезрелой земляничкой» теплый хлеб, зреющий на полях. И природе понятен язык поэта:

— Как ласкова к скитальцам
Веснающая, мудрая природа!

Поэт плывет через символическую реку Тишину. Его спутник неотчетливо проступает в полутьме. Поэт не слишком нуждается в близости друга-человека. Туман. Незримы и молчаливы берега символической реки. «Трубят долгий сигнал ледостава». Так передано томление ожидания.

И вот поэт причаливает, наконец, к берегу своей мечты. Он входит под сень девственного леса, чтобы здесь, в образах старой сказки, обрести близость с действительностью.

Язык поэта полнокровен, исполнен оптимизма в разговоре с природой. Природа — друг поэта его союзник. Она вместе с ним протестует против человеческой неблагодарности. Обиженную природу, как друга, трогает за плечо поэт, ласковыми руками поворачивает чашку подсолнуха как лицо любимой.

Он говорит с деревьями, как с людьми, к ним обращается с самым сокровенным, которое непонятно людям.

— Послушай, береза, — убеждает он, — власть человека неизбежна, с ней нужно смириться. Живая душа природы все равно пройдет невредимой сквозь огонь и топор. Только вооружившись таким убеждением, можно искать Лукоморье. Счастье — в познании души природы, в этом, по убеждению поэта, настоящая жизнь.

Но сказочный словарь, которым пользуется поэт, подчеркивает идейную противоречивость его Лукоморья. С одной стороны, близость к образам сказки сообщает силу его стихам. Он чувствует богатства земных недр, могущество, скрытое в лесных чащах. Природа бессмертна и неисчерпаемо богата. Это в особенности хорошо передано в образах Севера. Поэт приподымает «косматые тучи», и из них «соболя летят седые». В снеговых облаках, в меховых выях «прячутся живые белки».

Но слово Мартынова бессильно оживить в сказочных образах новую действительность, творимую человеческим обществом. Всегда в основе русской сказки лежало предвосхищение дерзаний человеческой мысли. Между тем людям нет места в сказке Мартынова, и те, что встретились ему, лишены творческих порывов. Это обыватели и духовные слепцы.

Только раз на перекрестках дальних дорог он встретил любимую женщину. Но и ее приходится отъездивать у обывателя. И она выросла в «чужой огород», и нелегко поэту пересадить милую на «родимые поля любви».

Все же другие люди, встреченные поэтом в городе, уродливы, карикатурны.

Вот художник, «высохший, как посох», с тупым усердием соскабливающий краску со своих полотен, чтобы употребить их на портянки. Городская жизнь иссушила его, убила в нем гворческие порывы. Теперь это только «прочный хозяин квартиры», запирающий окна от мотыльков, дорогих сердцу поэта. Вот «старец хохлатый, непосредственно связанный с книжной палатой» — и он пытается высушить мечту о прекрасном, неизведанном Лукоморье. Бездельник в полосатой пижаме. Злая спорщица, валяющаяся от безделья на диване, по которому ползают клопы.

Обыватель — вот единственная разновидность человека, встреченного поэтом в городе. Обыватель, навсегда утративший сказку, приниженный раб чудовища вырастающих вокруг него вещей. А город — враг человеку, враг природе.

Отношение Мартынова к городу и его дворцу — человеку становится все более предвзятым, болезненным. Даже в дружеском обращении к читателю поэт не может удержаться от полупрезрительной издевки. Мало есть избранных, — говорит он, — которым доступно подлинное ощущение «сладости весны», «горечи осени», всей сложной прелести земного существования.

Да, друг мой! Ты в Кунцево часто бывал,
И, кажется, даже на даче живал,
Там в парке Смирновском ты пиво пивал.

* Леонид Мартынов. «Лукоморье». Стихи. «Советский писатель», Москва, 1945 г.

Глотал «эскимо», торопясь на вокзал,
А вот не вдыхал ты отечества дым...

(«Дым отечества»).

Поэт не устает обвинять своих сопративан в глухоте и закоснелости. Но почему так хочется заступиться за них, почему в этой размолвке между ними и поэтом читатель становится не на стороне поэта? Привлекательный приятными звуками его флейты читатель, как и эти горожане, остается глухим к ее жалобам и молебам. Смутные и тревожные настроения поэта выливаются в красивые и смутные стихотворения, которые бессильны убедить, как этого хочет поэт, что сказочное Лукоморье может заменить нашу действительность.

Русский воин бьется с врагом за Дон («Баллада о глубоком тыле»). А в это время «пустыри» (!) далекого тыла кропит живой водой чудодейственная рука, и на это «глушайшее место» (!) явилась «она», «бела и румяна» в «дущегрее своей меховой».

Явилась подруга твоя, жена,
а может быть и невеста, —

обращается поэт к далекому бойцу.

И в результате сказочного появления героини, чудодейственным мановением ее руки

Выросли разом дворцы, терема
Дворцы, что не выдумать лучше!

Так «по шущему веленью» вырастает у Мартынова

Повсюду, куда только ни поглядишь —
Заводы, заводы, заводы!

В лубочных образах, в риторических восклицаниях изображает поэт народную «борьбу», героический труд советского тыла. «Пустыри»,

«глушайшее место» — эти и другие, не приведенные здесь, образы шеверны.

Неожиданно звучат в «Лукоморье» и мотивы искусства.

В стихотворении «Кружево», в этом гнилом искусству кружевницы, есть много подлинно поэтических строк. Можно разгадать «узор сполох», «заплетения серебряного мха», — говорит поэт. — Можно прочесть «письмена горностаевого меха, разобраться в тайнах древнего леса, озаренного майским огнем». Но узор искусного кружева — недоступная тайна.

Итак, вот идея стихотворения: тайна искусства принадлежит одиночкам, возвышающимся над остальными людьми, и только в тайне — обаяние искусства. Как видим, это все та же идея одиночества, проходящая в «Лукоморье».

Ярки у Мартынова художественные образы, когда дело касается его настроений одиночества и ухода в природу. Талантливо и своеобразно выписаны поэтом орнаменты враждебного ему обывательского уютя.

Вошел я,
Сел к столу без приглашенья.
Густое ежевичное варенье
Таращило засахаренный глаз,
И пироги пыхтели, осуждая,
И самовар заклокотал, как тульский
Исправник, весь в медалях за усердьем...

Но без человека нет жизни. И потому в «Лукоморье» Мартынова нет и сказки, слившейся с жизнью, с действительностью наших дней.

Трудно допустить, что поэт умышленно обедняет образы сегодняшнего. Он ищет их, а на пути подлинных исканий неизбежны ошибки.

О. Ивинская.

★

ЧЕТЫРЕ КНИЖКИ О КРЫЛОВЕ

Многообразие творческого дарования и особенности психологического склада личности Крылова делают весьма ответственной задачу любого автора, задавшегося целью дать популярный очерк жизни и деятельности великого баснописца. Рецензируемые издания далеко не в одинаковой мере удовлетворительно разрешают эту задачу.

Среди вышедших к юбилею И. А. Крылова книг удачными нужно признать работы Н. Л. Степанова и С. Дурылина¹. Они представляют собой стройные и лаконичные рассказы об основных этапах жизни и деятельности писателя. обстоятельно, насколько позволяет небольшой объем книжек, рассматриваются драматургия и публицистика Крылова и его басни. Авторы приводят немало ярких примеров, свидетельствующих о живой, неразрывной связи творчества

Крылова с тогдашней русской действительностью.

На примере басни «Листы и Корни» Н. Степанов показывает, как Крылов противопоставляет тунеядству и паразитической идеологии дворянско-крепостнических верхов идеалы народа-труженика. «Листы» кичатся своей пышностью и красотой и знать не хотят, что их жизнь и благополучие зависят от питающих их корней. «Корни» напоминают о себе:

Мы те —
Им снизу отвечали:
Которые здесь роясь в темноте,
Питаем вас. Ужель не узнаете?
Мы — корни дерева, на коем вы цветете.
Красуйтесь в добрый час!
Да только помните ту разницу меж нас:
Что с новою весной лист новый народится;
А если корень иссушится, —
Не станет дерева, ни вас.

Крылов превозносит идеал служения народу, полезного труда на общее благо и осуждает барское презрение к труду.

¹ Н. Степанов. И. А. Крылов. М., «Советский писатель». 1944, стр. 47; С. Дурылин. И. А. Крылов. М., ОГИЗ, Гослитиздат, 1944, стр. 71.

Басне «Орел и пчела» предпослано знаменательное нравоучение:

Счастливей, кто на чреде прудится
знаменитой:
Ему и то уж силы придаст,
Что подвигов его свидетель целый свет.
Но сколь и тот почтен, кто, в низости
сокрытый,
За все труды, за весь потерянный покой,
Ни славою, ни почестями не лытится,
И мыслью оживлен одной:
Что к пользе общей он трудится.

В басне «Крестьянин и Река» иносказательно обличается лихоимство и бюрократический произвол, царившие в царском государственном аппарате от его низших звеньев до самых высших. Крестьяне, идущие жаловаться реке на зло, причиняемое им ручьями и речками, видят добрую половину своего добра, уносимого рекой, и приходят к выводу:

На что и время тратить нам!
На младших не найдешь себе управы
там,
Где делятся они со старшим пополам.

Крылов-баснописец выступает обличителем общественных пороков. Как и ранее в своих сатирических журналах и комедиях, так и впоследствии в баснях он с новой силой обрушился на социальные язвы того времени: неправоудие, взяточничество, служебные злоупотребления. С убийственной иронией изображены судебные нравы феодально-крепостнического государства в басне «Щука».

Остро осудил Крылов главное зло эпохи — крепостничество. Обличению крепостнических порядков посвящены десятки басен. В басне «Слон на воеводстве» высмеяны лицемерные попытки ограничить произвол эксплуататоров народа. После отчаянных жалоб овец, что от волков житья не стало, воевода-слон, тронутый мольбами несчастных, разрешает брать с овец не более... одной шкурки...

Обстоятельно рассмотрена С. Дурлыным патриотическая деятельность Крылова во время Отечественной войны 1812 года. Именно в это грозное для нашей Родины время с особой силой проявилось величие Крылова как истинно народного писателя, правдиво и ярко выражавшего волю и думы народа. В баснях, написанных в 1812 году, Крылов отозвался на все важнейшие события. Суровый укор всем, кто в заботах о личных делах и собственном честолюбии забывает об общественном долге и судьбе отечества, слышится в басне «Раздел».

Крылов был горячим защитником тактики и стратегии Кутузова в войне с Наполеоном. Ряд басен: «Ворона и Курица», «Волк на псарне», «Обоз», «Щука и Кот» — откликается на события Отечественной войны, связанные с действиями Кутузова, как главнокомандующего русской армией. Басни имели громадный успех в армии и народе, поддерживая веру в Кутузова, как в народного вождя, и осуждая его противников. Вся Россия повторяла ответ ловче-
«Новый мир», № 10.

го — Кутузова — попавшему на псарню волку — Наполеону:

Ты сер, а я, приятель, сед
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делай мировой,
Как снявши шкуру с них долой,
И тут же выпустил на волка гончих стаю.

Эти слова были символом непримиримости народа к коварному и вероломному врагу. В книгах хорошо показана органическая связь басен с предшествующей сценической и журнальной сатирой Крылова. Убедительно аргументирована реалистическая сущность творчества Крылова, приведены примеры использования метких сатирических образов Крылова Лениным и Сталиным.

Более сложные задачи поставил перед собой И. Сергеев¹. Автор делает, пожалуй, впервые в нашей литературе попытку дать полное законченное монографическое жизнеописание великого баснописца. Книга обладает несомненно многими достоинствами. Она построена на богатом фактическом материале, используются некоторые новые архивные сведения. Следует признать в основном удачную трактовку автором психологического облика Крылова.

В дореволюционной литературной науке и отчасти еще в наше время культивировалась легенда о загадочности и «непонятности» Крылова. И. Сергеев указывает во вступлении к своей книге, что в дореволюционных жизнеописаниях Крылова изображали так: «будто он родился стариком, будто у него не было ни молодости, ни отрочества... Биографии обычно снабжались тучей неправдоподобных анекдотов из жизни баснописца. Жизнеописания эти в малой степени соответствуют истине. Они легендарны. Так, вымысел, сказка стали историей долгой и трудной жизни человека». Автор правильно поступил, взяв исходным пунктом для расшифровки этой непонятой многими загадочности баснописца его первую оригинальную басню «Ларчик», напечатанную в 1803 году.

Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться,
За дело просто взяться.

Оказывается, уж вовсе не столь строго «зашифрован» был автор этих строк — Крылов. Под внешней неподвижностью и флегмой билось могучее сердце русского человека, жил ярчайший творческий ум, чудесный талант. Непонятное становится понятным при внимательном и последовательном изучении.

Современники Крылова тотчас угадывали живые человеческие оригиналы, его львов, лисиц, волков, щук и т. п. Хорошо был понятен читателям подтекст басен. Автор на примере мно-

¹ И. Сергеев. Крылов. «Молодая гвардия» («Великие русские люди»), М., 1945 г., стр. 224.

гих басен убедительно показывает отзывчивость Крылова на все события современной ему русской действительности.

В былые времена делались попытки изолировать Крылова-сатирика и журналиста от Крылова-баснописца. П. А. Плетнев утверждал, что Крылов для русской литературы «родился только в сорок лет». Социальное бунтарство сатирика, нападки на крепостничество и дворян-эксплуататоров были камнем преткновения, мешавшим представить Крылова в ореоле верноподданничества и благонамеренности. Отсюда стремление перечеркнуть предшествовавшее басням журнально-сатирическое и драматургическое творчество Крылова, игнорирование преемственной связи между этими творческими этапами писателя.

И. Сергеев на ряде примеров хорошо показал, как «поэт Крылов в точности повторил прозаика Крылова». Например, басня «Оракул» связана с девятым письмом журнала «Почта духов», «Гуси» — с двадцать вторым письмом, «Мешок» — с повестью «Камб» и т. д.

При всей обстоятельности изложения И. Сергеев, однако, оставил вовсе без внимания или недостаточно осветил ряд интересных моментов из жизни Крылова. Так, в книге ничего не говорится о таком немаловажном факте из биографии Крылова, как избрание его членом Российской Академии в 1811 году. Поверхностно и скупо освещена деятельность Крылова в эпоху Отечественной войны 1812 года. Басни Крылова о событиях Отечественной войны имели успех, их читала вся Россия, потому что они были произведениями высокого патриотизма. С. Н. Глинка, ратник Московского ополчения, писал: «В необычайный наш год и под пером баснописца нашего Крылова живые басни превратились в живую историю». Крылов настолько удачно и пронизательно сумел передать смысл происшедших событий, что сам фельдмаршал Кутузов читал вслух войскам одну из басен Крылова. Объем книги позволял более полно осветить эти вопросы.

В книге имеется ряд существенных ошибок при изложении фактов общественного движения и русской литературы второй половины XVIII и начала XIX веков. Так например, И. Сергеев указывает, что в 1778 или 1779 гг. Крылов пристрастился к чтению журналов, которые «издавал в Москве Новиков, основатель знаменитой «Типографической Компании». Толстые листы «Трутня» и «Живописца» перечитывались им по многу раз...» Это неточно. Никаких журналов, издававшихся в Москве Новиковым, разумеется, Крылов читать в эти годы не мог, так как «Трутень» и «Живописец», при чем в весьма тонких листах, издавались в Петербурге. Новиков только в 1779 году переехал в Москву и взял в аренду университетскую типографию, а «Типографическая Компания» была основана не ранее 1784 года. «Трутень» в Москве не переиздавался, а московское издание «Живописца» вышло в 1781 году.

Неверно также утверждение И. Сергеева, что Новиков был редактором комедии Екатери-

ны II. Неправильно указано, что он выпускал в последние годы своей издательской деятельности газету «Московские ведомости». Газета издавалась Новиковым с 1779 по 1789 годы, т. е. с первого до последнего дня аренды им университетской типографии. Арестован же был Новиков в апреле 1792 года.

Нельзя согласиться и с некоторыми общими утверждениями Сергеева. Недоумение вызывает такая мысль: «именно проза могла погубить Крылова. Для него было ясно: Крылова-прозаика уберут с пути, Крылова-поэта будет терпеть, ибо он пока никаких опасностей, как поэт, не представляет. И он сам решил отложить в сторону свое разящее оружие — сатирическую прозу».

Все это звучит крайне необдуманно. Сам автор на многих страницах своей книги стремится доказать, что нельзя отрывать Крылова-прозаика от Крылова-поэта и что между различными этапами творческого развития Крылова существует органическая связь. Своим же утверждением И. Сергеев сам разрушает эту связь. Хорошо известно, что решение прекратить прозаическое сатирическое творчество принято Крыловым под внешним насильственным давлением.

Указанные здесь ошибки и недостатки несомненно снижают качество работы И. Сергеева. На интересном материале построена книга А. К. Дремова о Крылове¹. Автор приводит много любопытных примеров из сатирических статей и басен, убедительно свидетельствующих об отношении Крылова к феодально-крепостническому строю, к явлениям современной ему русской жизни. Хорошо освещено значение творчества Крылова в истории русской классической литературы.

Однако ценность работы А. К. Дремова также снижается фактическими ошибками. Так например, А. К. Дремов указывает, что Крылов служил в театре, возглавляемом Соимоновым. Это неверно. Крылов служил под началом Соимонова в горной экспедиции, а не в театре. Неверно указан год издания журнала «Зритель» — 1791 г. вместо 1792 г. Нужно было точно указать, когда издавался журнал «Санкт-Петербургский Меркурий», а не ограничиться такой общей фразой: «Крылов попытался издавать еще один журнал, однако и он вскоре прекратил свое существование». «Санкт-Петербургский Меркурий» выходил, как известно, на протяжении всего 1793 года. Ошибочно мотивированы обстоятельства ареста Н. И. Новикова. Автор пишет: «Оппозиционная правительству масонская организация была разгромлена. Ее руководитель, издатель антиправительственных журналов Новиков, заключен в Шлиссельбургскую крепость». Из этого контекста следует, что масонская организация, по мнению А. К. Дремова, занималась едва ли не революционной деятельностью. Нужно было более точно указать, почему масонская организация была в оппози-

¹ А. К. Дремов. Иван Андреевич Крылов. ОГИЗ, Облиздат, Новосибирск, 1944, стр. 27.

ции к правительству Екатерины II. Нельзя назвать антиправительственными сатирические журналы «Трутень» и «Живописец» Новикова, которые к тому же издавались им задолго до вступления в масонскую организацию. Нуждается в уточнении и утверждение, что Крылов пер-

вый переводился на иностранные языки. Известно, что первым переводился на иностранные языки Фонвизин.

Эти недостатки могли быть устранены при более серьезной обработке материала и более тщательной редакции.

Л. Светлов

★

ЛИРИКА СТЕПАНА ШИПАЧЕВА *

Прочитав небольшой сборник Степана Шипачева, хочется говорить не о достоинствах и недостатках стиха, не о том, как сделаны стихи, а о главном — о поэтическом смысле книги.

«Строки любви» — поэзия чувства, которое не знает измены, которое не только не гаснет от ветра времени, но становится богаче и крепче:

И сегодня — нет ее милее,
Так же все ладонь ее тепла,
Пусть твердят: что и моря мелеют,
Я не верю, чтоб любовь прошла.

Это поэзия любви, когда между любящими — полная, счастливая, единственно возможная гармония, согласно «навек».

Это та высокая культура чувства, когда в любимой все удивительно, ново, по-особому значительно и через десять лет, как впервые. Такая любовь возвышает человека, умножает его гордость, достоинство, вызывает глубокое чувство ответственности и за себя, и за любимую.

Люблю тебя и потому, наверно,
Не перед девушкой — перед женой,
За что б ни взялся, хочется быть первым,
Чтоб ты могла гордиться мной.

Свою любовь поэт пронес сквозь суровые годы войны: война не только не разучила хранить в сердце милое имя, но сделала его еще милей, еще дороже. Даже смерть бессильна перед силой этого чувства. Эпиграф к сборнику гласит:

Былинка над моей возросшая могилой,
И та еще любви останется полна.

О любви «навек», гордой, счастливой любви. мечтали поэты всех времен. Мгновенность, случайность, безымянность любви — трагическая тема многих поэтических произведений.

Скорбно звучат строгие, четкие строки Блока:

Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдет, как снег,
О, разве, разве клясться надо
В стаинной верности навек.

Трагедия Блока — в страшном, непреодолимом противоречии между мечтой о большой.

* Степан Шипачев. Строки любви. «Советский писатель», Москва, 1945 г.

единственной любви и действительностью, где все случайно, непрочно, неверно, где мгновения восторга падают, гаснут в бездне мрака и пустоты.

Блок завершил эпоху, после него невозможно стало воспевать «демоническую» женщину, причудливость, изменчивость страстей. Но ослепительная мечта поэта о большой и счастливой любви получила реальное воплощение, новую жизнь в социалистическом обществе.

Ромэн Роллан писал: «Никто не вправе жертвовать своими обязанностями во имя сердца. Но зато, исполняя свой долг, надо признать за сердцем право не быть счастливым».¹

Мы не только верим, но и знаем, что исчезнет противоречие между долгом и счастьем, что человек социалистического общества завоеует себе прочное, нерушимое право на большую и счастливую любовь.

Но мы отнюдь не требуем от поэта прописной морали, приведения к одному знаменателю неповторимого разнообразия сложных и противоречивых человеческих чувств. Здесь все индивидуально, непохоже одно на другое.

В «Строках любви» нет однообразия. Здесь встречаются легкие, грациозные, эпикурейские строчки:

Где дверь на кухню? Створка где?
Стоим, не зажигая света.
А ветер, северный, седой,
Шумит, свистит в подзвездном мире,
И мы с соседкой молодой
В такую ночь — одни в квартире.

Совсем по-иному звучит стихотворение «Вот ветер...», которое своим полнокровием, почти осязаемой предметностью напоминает скульптуру:

Вот ветер налетел упругий
И прядь волос растеребил,
Почти девические груди
И бедра платьем облепил.
А женщина стоит, где саввы
И яблони листвою кипят, —
И ветер скульптором счастливым
Должно быть чувствует себя.

Автор хорошо знает, что «не к лицу мораль поэту». В коротком стихотворении, иногда состоящем из четырех строк, он умеет непосредственно и правдиво передать большое, жизнью оправданное чувство:

Любовь пронес я через все разлуки
И счастлив тем, что от тебя вдали —
Ее не расхватала воровски чужие руки,
Чужие губы по ветру не разнесла.

Этой непосредственности, искренности мы не чувствуем в стихотворении «Д. Е.» Оно как-то выпадает из общей поэтической темы сборника:

Долгою дорогою земною
Я пошел бы следом за тобой,
Если бы не встал передо мною
Тонкий профиль женщины другой,
Если бы и до сих пор не бредил
Той, которую в счастливый час
Я когда-то в молодости встретил...
Не затем, чтоб разлюбить сейчас.

Образ единственной, любимой женщины тут и словесно риторичен. Мы не верим, ему, как, к

примеру, не можем поверить слову «бредил», никак не оправданному всем ходом поэтической мысли стихотворения.

Здесь любовь подменена чувством долга, которое утверждается холодно и рационалистически.

Суть книги не в этом. В ней есть, конечно, недостатки, но не будем же в свою очередь и мы читать мораль поэту.

Сборник стихов Степана Ципачева радует чистотой, свежестью, подлинностью чувства. Здесь в какой-то степени нашло поэтическое выражение мироощущение нового человека. Возможно этим и объясняется та глубокая, душевная заинтересованность, которую проявляют к «Строкам любви» самые широкие круги читателей.

Б. Брайнина

НОВЫЕ КНИГИ

★

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БАЖОВ, П. — *Уральские сказы. Рис. В. Таубера.* — М., Л., Детгиз, 167 стр. с илл. — Книга Бажова, изданная для детей старшего возраста, включает 16 сказов из его широко известной книги «Малахитовая шкатулка».

В далекие времена крепостничества на заводах и фабриках Урала народ создал множество поэтических и мудрых сказов. В них воплотился протест рабочих против подневольного труда, любовь к свободе, уважение русских людей к умелому человеку — мастеру. Современный уральский писатель, сталинский лауреат Павел Петрович Бажов любовно собрал эти сказы и создал из них замечательные поэтические произведения о труде, упорстве, моральной чистоте и талантливости русского трудового народа.

В книгу вошли сказы: Ермаковы лебеди; Две ящерки; Тютюкино зеркальце; Травяная западёнка; Ключ земли; Синюшкин колодец; Жабреев ходок; Золотой волос; Огневушка-поскакушка; Серебряное копытке; Солнечный камень; Иванко Крылатко; Веселухин ложок; Кошачьи уши.

БЕДНЫЙ, Д. — *Слава.* — М., Гослитиздат, 1945, 191 стр. — В сборнике собраны стихи о наступлении Красной Армии, о непобедимости советского народа, о преданности Родине и вождю, написанные поэтом в 1943—1945 годах.

Этапы победоносного пути нашей армии от Орла и Белгорода до Берлина нашли отклик в стихах «Кинжал», «Над Харьковом взошло родное наше знамя», «Москва Варшаве», «Окруженный Берлин» и многих других.

Кроме стихов в сборнике представлены басни: «Волк-моралист», «Доверчивый кум», Врага пощадить — в беду угодить» и др.

БРЕТ-ГАРТ, Ф. — *Счастье Ревущего Стана и другие рассказы. Перевод с английского под редакцией А. Старцева.* — М., Гослитиздат, 1945, 304 стр. — Содержание: Счастье Ревущего Стана; Изгнанники Покер-Флета; Млсс; Компаньон Тенесса; Миггас; Браун из Калавераса; Иллада Сэнди-Бара; Блудный сын мастера Томсона; Как Санта-Клаус пришел в Сэндсон-Бар; Монте-флетская пастораль; Наследница; Дженльмен из Лапорта; Ван-Лиязычник; Случай из жизни мистера Джона Окхрста.

Приложения: I. Брет-Гарт. Стихи; II. А. Старцев. Чернышевский о Брет-Гарте.

Брет-Гарт вошел в литературу как мастер острого, интересного сюжета, тонкий наблюдатель, автор замечательных рассказов, полных юмора и поэзии. Его внимание привлекали парадоксальные характеры и необычайные события, свойственные быту калифорнийских золотоискателей 40—50 годов XIX века. Центральная тема его рассказов — самопожертвование, бескорыстная дружба и преданность. Эта тема положена в основу лучших рассказов сборника «Счастье Ревущего Стана», «Изгнанники Покер-Флета», «Миггас».

Чернышевский высоко ценил творчество Брет-Гарта. Он перевел «Миггас» на русский язык и говорил, что это «рассказ очаровательный своей гуманностью».

БРЮСОВ, В. — *Избранные стихотворения. Составление и редакция И. Брюсовой. Вступит. статья А. Мясникова.* — М., Гослитиздат, 1945, X, 471 стр. — Сборник знакомит с поэтическим наследием выдающегося русского поэта XX века — Валерия Брюсова.

Здесь представлено избранное из книг Брюсова: Юношество; Лучшее; Это — я!; Третья стража; Граду и миру; Венок; Все напевы; Зеркало теней; Семь цветов радуги; Последние мечты; В такие дни; Миг; Дахи; Спешу.

Сборник заключают стихи 1914—1924 гг., не вошедшие в названные выше книги. Некоторые из этих стихов печатаются впервые.

Сборнику предослана краткая автобиография поэта и вступительная статья А. Мясникова.

ЕРИКЕЕВ, А. — *Стихи о друзьях.* — М., «Советский писатель», 1945, 103 стр. — Ерикеев — известный татарский поэт, участник Великой Отечественной войны. В сборнике представлены его предвоенные стихи и стихи, написанные в 1941—1944 годах.

Это стихи о родине, о дружбе народов, о мужестве советских людей. В эти произведения поэта органической темой входит война.

Стихи переведены самим Ерикеевым и С. Липкинским, П. Дружининым, А. Адалис, М. Алигер, М. Тарловским и др.

КАЛАДЗЕ, К. — Стихи, песни, баллады. В переводах Н. Асеева, П. Антокольского, Б. Брика, В. Державина, В. Звягинцевой, В. Левика, С. Спасского, В. Серебрякова, Б. Пастернака и С. Шервинского. — Тбилиси, «Заря Востока», 1945, 73 стр. — Карло Каладзе — известный грузинский поэт. Сборник открывается стихами 1941—1944 годов, объединенными в цикле «В дни войны». Это стихи о боях за Кавказ, о славных сынах Грузии.

В разделах «Стихи о Хертовиси» и «Разные стихотворения» представлены произведения, написанные поэтом в 1929—1939 гг. В них воспевается солнечная родина поэта и отважные советские люди, то «поколение верных и упорных», которое вычерпывало древние болота и прокладывало русло новых рек.

КОВПАК, С. А. — От Путивля до Карпат. Литературная запись Е. Герасимова. — М., Л., Детгиз, 1945, 147 стр., с илл. и карт. (Военная б-ка школьника). — Имя дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ковпака, одного из выдающихся руководителей партизанского движения на Украине, широко известно советским читателям. Мемуары Ковпака знакомы с замечательной историей его отряда. Они рассказывают о том, как этот маленький партизанский отряд, насчитывавший в момент организации не более тридцати человек, постепенно разрастаясь, превратился в мощное воинское соединение, прошел с боями 10 тысяч километ-

ров по 18 областям Украины, России и Белоруссии, уничтожил 18 тысяч фашистов, совершил сотни смелых диверсий.

Книжка Ковпака — интереснейший человеческий документ.

ЛИФШИЦ, В. — Зарево над заливом. Стихи. — Л., Гослитиздат, 1945, 124 стр. — Владимир Лифшиц — ленинградский поэт, участник Великой Отечественной войны. Стихи, вошедшие в этот сборник, написаны в 1942—1944 гг. Большинство из них посвящены Ленинграду.

Сборник содержит разделы: Ленинград обороняется; Ленинград наступает; Письма в пространство; Весна; Юность. Многие стихи уже известны советским читателям. Среди них — «Баллада о черством куске», «Кружка».

МАРШАК, С. и КУКРЫНИКСЫ. — Черным по белому. — М., Гослитиздат, 1945, 74 стр. — Сатирический сборник, созданный сотрудничеством известных советских художников Кукрыниксов и поэта Маршак. Это острое политическое карикатуры и стихи, направленные против фашистов и их сообщников. Многие работы Кукрыниксов и Маршак, представленные в книге, печатались в 1942—1944 гг. в центральной прессе и хорошо известны советским читателям («Сталинградское колечко», «Красная Армия шельму метит» и другие).

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ — ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ВИНОКУР, Г. — Русский язык. (Исторический очерк). — М., Гослитиздат, 1945, 190 стр. — Автор ставит своей задачей дать популярную историю русского языка, рассчитанную не на специалистов-языковедов. Книжка написана простым, доступным языком и полезна для «всякого способного воспринимать Россию не только в ее исторических деяниях, но и в ее языке».

НЕЧКИНА, М. В. — Следственное дело о А. С. Грибоедове. — М., Л., Изд-во Академии наук СССР, 1945, 95 стр. (Академия наук СССР. Институт истории). — Автор впервые подверг специальному изучению неоднократно опубликованный документ «Следственного дела о А. С. Грибоедове». На основании анализа показаний участников декабрьского восстания, проверки фактических данных следствия по делу А. С. Грибоедова и оценки их достоверности, М. В. Нечкина пришла к выводу, что Грибоедов не только разделял политические взгляды

декабристов, но и организационно был связан с тайным обществом. Разрешив этот спорный в литературе о Грибоедове вопрос, М. В. Нечкина по-новому освещает и ряд других фактов из биографии великого русского комедиографа.

ОРЛОВ, А. С. — Героические темы древней русской литературы. — М., Л., 1945, 143 стр. (Академия наук СССР. Научно-популярная серия). — В своем обзоре светской повествовательной литературы русского средневековья с XI по XVI век академик Орлов пересказывает и анализирует летописные сказания, «Слово о полку Игореве», воинские повести и другие памятники древнерусской письменности. Перед читателем раскрываются повести о Татарском нашествии, об Александре Невском, о погибели Русской земли, о Куликовской битве, о татарских нашествиях на Москву, о взятии Царьграда, о Казанском царстве и его завоевании Иоанном Грозным и целый ряд других художественных произведений.

ИСТОРИЯ — ФИЛОСОФИЯ — ЭКОНОМИКА

АДМИРАЛ НАХИМОВ. — Под ред. кап. I ранга И. В. Новикова и кандидата исторических наук П. Г. Софинова. Предисловие акад. Е. В. Тарле. — М., Л., Военмориздат.

1945, 250 стр. с илл. (Главное архивное управление НКВД СССР. Ин-т истории Академии наук СССР. Материалы для истории русского флота. Серия «Русские флотоводцы»). — Публи-

куемые документы дают возможность восстановить полностью весь жизненный путь замечательного русского флотоводца Павла Степановича Нахимова. Здесь представлены приказы, которые получал Нахимов, его собственные приказы, его записная книжка, шкандечный журнал корабля «Три святителя», частные письма Нахимова (среди них чрезвычайно ценное письмо к М. Ф. Гейнеке с описанием Наваринского сражения) и др. В сборник включены также записки, дневники и воспоминания сослуживцев и современников Нахимова.

ВОРОНИН, Н. Н. — Памятники владимиро-суздальского водчества XI—XIII веков. — М., Л., Изд-во Академии наук СССР, 1945, 91 стр. с илл., 20 вкл. л илл. (Академия наук СССР. Научно-популярная серия.) — Книга знакомит читателя с итогами изучения советскими учеными наиболее выразительных и ярких памятников архитектуры Владимиро-Суздальской Руси, воспринявшей высокую культуру строительного искусства Византии, но, под влиянием гениальных русских мастеров деревянной архитектуры («древделов»), сохранившей свой глубоко своеобразный национальный характер.

ГОНЧАРОВ, В. — Адмирал Сенявин. Биографический очерк с приложением записок адмирала Д. Н. Сенявина. — М., Л., Военмориздат, 1945, 142 стр. (Б-ка морского офицера). — Гончаров описывает ряд блестящих военных операций, проведенных Сенявиным в водах Черного и Средиземного морей. Ученик адмирала Ф. Ф. Ушакова, Сенявин с успехом осуществлял оперативные и тактические идеи своего учителя и внес много нового в дальнейшее развитие военно-морского искусства. Записки Сенявина, охватывающие период с 1763—1788 гг., дают интересный материал для истории русского флота.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК. — Исторические науки. Сост. Любименко И. И., Токарев С. А., Будовниц И. У., Альтман В. В., под ред. В. П. Волгина. — М., Л., Изд-во Академии наук СССР, 1945, 43 стр. (Академии наук СССР, 1725—1945). — Работа распадается на две части. Первая посвящена дореволюционному периоду. Здесь дается оценка состояния исторической науки в России и оценка крупнейших русских историков: С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, В. В. Бартольд, В. Г. Васильевского, А. А. Шахматова, А. С. Лапте-Данилевского, А. А. Иконникова и др. Во второй части дана краткая история советской исторической науки, для развития которой имели промадное значение работы Ленина и Сталина.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ. — Сборник материалов. Ч. II. Ноябрь 1917 года —

1945 год. — М., Изд. 2, Госполитиздат, 1945, 400 стр. с портр. — В сборник вошли основные статьи и высказывания В. И. Ленина и И. В. Сталина о печати, а также отдельные статьи, письма и речи руководителей партии и правительства, характеризующие деятельность большевистской печати после Великой Октябрьской социалистической революции и в условиях Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. В приложение дана аннотированная библиография произведений Ленина и Сталина, содержащих высказывания о печати.

АНАНЬЕВ, Б. Г. — Очерки психологии. — Л., Лениздат, 1945, 160 стр. (Ин-т философии Академии наук СССР. Серия популярная). — «Очерки психологии» являются попыткой научной популяризации психологии в свете новых достижений советской психологической науки и охватывают лишь некоторые ее проблемы, относящиеся к психологической теории умственной деятельности и характера человека.

Основные разделы: Природа психических процессов. — Происхождение и развитие сознания. — Ощущения и восприятия. — Представления и память. — Мыслительные процессы и речь. — Способности и деятельность. — Сила и полнота характера.

КРУЖКОВ, В. С. — О русской классической философии XIX века. — М., Госполитиздат, 1945, 55 стр. (Академия наук СССР. Ин-т философии). — Автор брошюры характеризует русскую классическую философию как одно из могучих и оригинальных проявлений нашей национальной жизни и, вместе с тем, как закономерный этап в развитии мировой общественной и философской мысли.

Приведенные в брошюре высказывания классиков русской философии дают читателю материал для суждения о том вкладе в мировую науку и культуру, который был сделан русскими философами.

ИОВЧУК, М. — Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. Обработанная стенограмма лекции, прочитанной в марте 1945 г. офицерам Н-ского соединения. — М., Воениздат, 1945, 56 стр. — В брошюре показано, как в ходе войны опровергнуты и сокрушены те политические и идеологические расчеты, на которых основывалась германская экспансия, как в единоробстве с фашистской Германией еще более окрепли морально-политические устои, на которых зиждется советское государство. Характеризуя реакционные группы и течения, пытающиеся спасти фашизм от разгрома, автор останавливается на задачах длительной систематической идейно-политической борьбы, которая является условием полного и окончательного разгрома фашизма и выкорчевывания его корней.

ПАРОДИИ И ШАРЖИ

Я. Сашин

А. АХМАТОВА
(Из дневника)

*Я сперва научилась плакать,
А потом разучилась снова.
В первый раз в осеннюю слякоть
Мне сказали страшное слово.*

Галина Николаева. Лирика. «Знамя» № 4,
1945 г.

Николаева... Странное слово...
Незнакомо. — знакомый труд...
Хоть сама я не стала новой,
Но Галиной меня зовут.
Почему же так? Почему же?
Вот стихи про любовь, про Русь...
Все такое же, только хуже —
Я дисква лифици руюсь!

★

ЗАМЕТКИ НЕ РЕЦЕНЗЕНТА

В театре эн поставлена премьера.
У кассы стыннут длинных два хвоста.
Администратор скрылся у курьера,
Дабы сберечь свободные места.

Для прочих смертных мест в театре нету,
А я с самим директором в ладу! —
Сижку, согласно взятому билету,
В распривилегированном ряду.

Нельзя не счесть вполне отрядным
фактом,
Что всех пленила наружностью герой
И что с похвальной точностью и тактом¹
За первым актом сыгран акт второй.

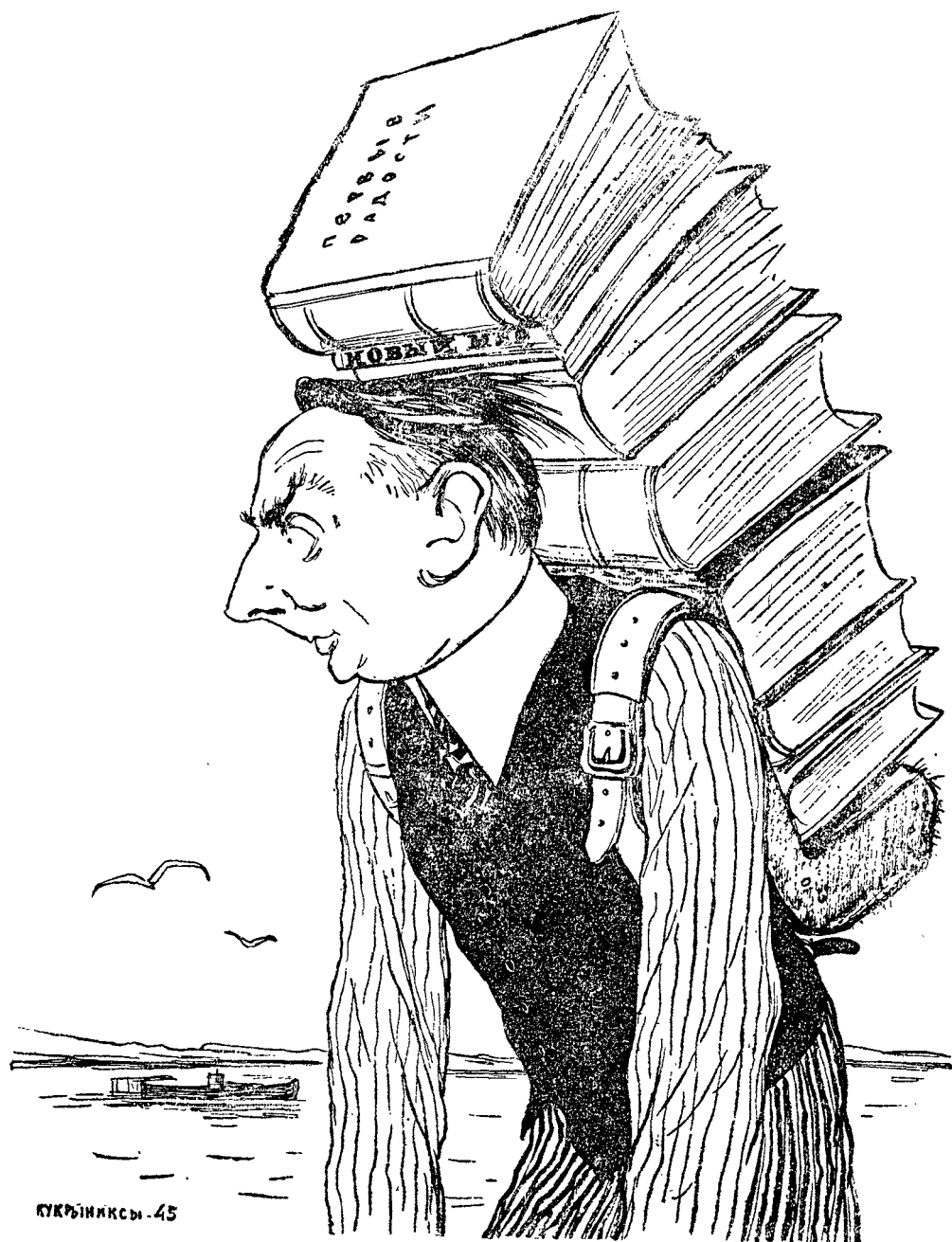
Но сверх того мы в заключение скажем
В порядке «сердца горестных замет»:
Актрисе А. с сорокалетним стажем
Нельзя играть неопытных джудьетт.

Ее прыжки, порывы, трепетанья
Бесспорно зрелой мудрости полны,
Но в них — неумолимость расстоянья
От осени до нежных дней весны...

Мой друг худрук!
Пойми, пойми скорее,
Чтоб славы блеск не превратился в дым:
Не в том беда, что человек стареет, —
А в том, что долго ходит молодым.

★

КОНСТ. ФЕДИН



КУКРЫНИКСЫ - 45

Дружеский шарж худ. Кукрыниксы

ПРОЗАИКИ

СЛУЧАИ

М. Пришвин

Вот ведь какие бывают дни — и зима еще не кончилась, холодно, и весна не началась. Но вышел я на улицу и слышу — что такое? Да, точно, что-то хрустит. И не очень далеко. Собаки мои Чижик и Муза вышли со мной и тоже слушают. Кто бы это так хрустел? — подумал я. Гляжу на собак и вижу — они тоже об этом думают. Особенно Чижик. Муза, та поглупее, та сразу к тумбочке. И вот стою я. — пожилой человек и две моих собаки, и все трое посмотрим мы друг на друга и слушаем это непонятное хрустение. И не можем его понять. Много я повидал и слышал на своем веку, а такое хрустение вроде не попадалось. Если бы кто чужькнул или же затолтъюлькал, я бы сразу сказал — это тетерев! или — это еще там ка-

кая-то птица. И собаки мои сказали бы то же. Но здесь, признаюсь, я растерялся. Чижик смотрит на меня, я на Музу, а Муза от меня отворачивается. Мол, решай сам, тебе лучше знать. А я не могу решать. Постояли мы так, послушали и пошли домой. Стыдно мне было перед собаками, и они тоже долго потом краснели и смущались при встречах со мной. Так и не понял я, что это было за хрустение. Уже много времени спустя рассказал я этот случай старому охотнику Ивану Григорьевичу.

— Так это ж лошадь овес ела, — сказал он мне. — А вы не узнали. Это бывает.

И точно, бывалый я человек и сам видел, как Волга впадает в Каспийское море, а вот, что лошадь овес ела, не понял.

★

КАТЯ

В. Каверин

Катя опять была со мной, и я знал, что теперь все будет хорошо. Я смотрел на нее и не мог рассмотреть.

— Катя... — тихо говорил я иногда и прогал ее рукой. Я знал, что она любит меня и сам любил ее. Это знали все. Ей было все равно, что я закрыл Северный полюс, ей было неважно, что я открыл, кто написал «Евгения Онегина». Катя, милая моя Катюшка, как я знал ее!

Друзья сидели вокруг, тут были все — и Валька Шпунтиков со своим хохолком и желтым гаустуком, и Петя, и Петр, и Петруша. Галля и Оля сидели рядом и пересмеивались, глядя на меня и Катю. Я погрозил им пальцем. Много тут было и таких, кого я не знал совсем и знать не хотел, но это были, в общем, неплохие люди, и я терпел их. Не помню, что мы пили и что мы ели, помню только, что все ушли, и вот мы с Катей были одни и смотрели друг на

друга, и северное сияние сверкало только для нас.

— Катя, — сказал я тихо, — неужели это действительно ты?

Катя улыбнулась мне, и я обнял и поцеловал ее.

Утром она сказала:

— Я давно знаю тебя. Я видела, как из мальчика ты превратился в мужчину, а из мужчины в писателя. Я знаю, что у тебя какое-то несчастье. Не спорь, не спорь, я знаю. Неужели опять?

Ну что мне было делать? Конечно, я сказал ей все. И что я написал пьесу, и что ее поставят и будут писать о ней. Катя плакала тихо, но долго, я утешал ее как мог, но что я мог сказать ей, когда пьеса была уже написана и я уже писал другую пьесу и обдумывал третью? Ведь Ромашов-то писал. Неужели я должен был уступать ему? Я был не в силах сделать это.

★

ЗЕЛЕНАЯ ШЛЯПА

Леа Никулин

Человек, сошедший на станции Завидово вслед за инженером Королевым, на первый взгляд ничем не отличался от обыкновенного советского гражданина. Только очень опытный глаз мог бы рассмотреть в нем хорошо скрытые черты морфиниста, кокаиниста, потомственного алкоголика, незаурядного шулера, развратника и бандита. На нем была зеленая шляпа. Короче говоря, это был шпион международного класса. Почувствовав затылком его пристальный взгляд, инженер Королев как бы нечаянно уронил портфель с чертежами своего изобретения. Шпион кинулся к нему. Не поворачивая головы, Королев резко выбросил правую ногу вбок и метко угодил ею в левый бок шпиона. Королев рассчитывал, что от боли мерзавец потеряет самообладание и начнет ругаться на иностранном

языке. Но человек в зеленой шляпе перехитрил его. Человек выбранился по-русски с удивительной чистотой и силой. Королев растерялся. Дело поправил белобрый пионер Вадик, прошедший рядом.

— Не видите, что ли, ведь это шпион! — сказал Вадик.

И тут все заметили, что человек в зеленой шляпе вздрогнул. Королев метким выстрелом выбил из его рук револьвер, из его ног бомбу, из его зубов ампулу с ядом. Все было кончено в одну минуту. Шульд поставил крест на своей карьере. Королев расписался с сестрой Вадика на следующий же день. Зеленая шляпа лежит на перроне до сих пор. До нее противно дотронуться людям.

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, [А. Н. Толстой],
К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А—21168

Подписано к печати 5/XI-45 г.
11¼ печ. листов. Тираж 60.300.

Зак. 2622

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл. 5.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

ПРИНИМАЮТ ВКЛАДЫ

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ,

по которым вкладчик получает доход в размере 3% годовых;

С Р О Ч Н Ы Е

на срок не менее 6 месяцев, по которым вкладчик получает доход в размере 5% годовых;

ВЫ И Г Р Ы Ш Н Ы Е,

по которым доход выплачивается вкладчикам в виде выигрышей, разыгрываемых тиражами два раза в год. В каждом тираже из 1000 вкладчиков выигрывают ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ.

Сумма выигрыша зависит от величины вклада и продолжительности его хранения в сберегательной кассе.

**Вносите вклады
в сберегательные кассы!**